

НОВЫЙ Журнал



НЬЮ-Йорк

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)
Г. Андреев, Л. Ржевский
1976 – 1981 редактор Роман Гуль
1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Е. Магеровский
1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Ю. Кашкаров, Е. Магеровский
1986 – 1990 Редакционная коллегия
1990 – 1994 редактор Юрий Кашкаров
1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Восьмидесятый год издания

Главный редактор – Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Марина Гарбер, Ренэ Герра, Елена Дубровина, Мария Рубинс

Ответственный секретарь – Наталья Бернадская

Редакция: Владимир Гандельсман, Наталья Гастева, Рудольф Фурман

The New Review, Inc.:

T.Bobrinskoy; T.Chebotareva; G.Glinka; M.Jordan; P.Khlebnikov;
V.Kreyd; G.Mesniaeff; A.Neratoff; I.Sikorsky; P.Tcherepnine;
L.Vulfina, Y.Vulfın, M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW

№ 306, март 2022

© 2022 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» онлайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly
by The New Review, Inc., 1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y.
10001. Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No.
596680. POSTMASTER: send address changes to The New Review,
1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y. 10001

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

<i>Владимир Гржонко</i> – Разочарованный странник	5
<i>Евгений Чигрин</i> – Сочинитель кристаллов. Стихи	107
<i>Михаил Юдовский</i> – Стихи	114
<i>Емельян Марков</i> – Невидимый дождь. Стихи	120
<i>Елена Литинская</i> – Памяти Д. И. Стихи	124
<i>Сергей Зельдин</i> – Рассказы	128
<i>Сергей Золотарёв</i> – Стихи	140
<i>Нина Горланова, Вячеслав Букур</i> – Пермские побывальщины	146
<i>Инна Кулишова</i> – Стихи	166
<i>Эмилия Песочина</i> – Стихи	172
<i>Владимир Яськов</i> – Imparfait. Стихи	179
<i>Евгения Джен Баранова</i> – Голубика. Стихи	187

СО СТРАНИЦ «НОВОГО ЖУРНАЛА»

<i>В. М. Зензинов</i> – Иван Алексеевич Бунин. НЖ, № 3, 1942	191
--	-----

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

<i>Елена Дубровина</i> – «Я странником пришел на краткий час...» Поэт Владимир Диксон (1900–1929)	210
<i>Владимир Диксон</i> – Письма. Стихи (Публ. – <i>Е. Дубровина</i>)	242
<i>Лариса Вульфина</i> – Художник Борис Арцыбашев. По материалам дневников и писем художника	255
Переписка Б. Арцыбашева с матерью (Публ. – <i>Л. Вульфина</i>)	268
<i>Ирина Кочергина</i> – Эмигрантские публикации Ю. И. Айхенвальда о С. А. Толстой и толстовцах. Письмо А. Гольденвейзера к Ю. Айхенвальду (Публ. – <i>И. Кочергина</i>)	281
<i>Борис Чичибабин</i> – «Только любовь может научить любви». Из писем (Публ. – <i>П. Брейтер</i>)	293

КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ. ЛИТЕРАТУРА

<i>А. Красильников</i> – Неизвестные линии предков А. С. Пушкина	315
<i>Рита Джулиани</i> – Последний шедевр «Русского Ренессанса». «Образы Италии» Павла Муратова	333
<i>Елена Кулен</i> – Миссия честного историка. С. П. Мельгунов	345
ОБ АВТОРАХ	394

ОТ РЕДАКЦИИ

В этом году «Новый Журнал» отмечает свое восьмидесятилетие. Это были годы, наполненные борьбой и несомненными победами многонациональной русскоязычной эмиграции. НЖ стал достойным преемником интеллектуального наследия «Философского парохода», покинувшего берега России 100 лет тому назад. Русские изгнанники не затерялись в волнах Истории; они продолжили трудиться на ниве мировой культуры, обогащая ее, внося свой уникальный вклад в ее сокровищницу. Русскоязычная диаспора может с полным основанием сказать, что ее НЖ – это нематериальное достояние всей европейской культуры во всем ее многообразии рас, национальностей, традиций, языков и стилей; интеллектуальное наследие, спасенное эмигрантами и ожившее с новой силой на американском берегу.

Да, именно эмиграция хранила, собирала и развивала лучшие традиции русской литературы, скорбя о судьбе своих товарищей, попавших под Молох большевистского эксперимента. Мы не раз говорили – и готовы повторить, – что хранили и продолжим хранить завет, переданный новожурналистам старой русской эмиграцией первой волны: Свобода – Россия – Эмиграция. Россия как исток и вдохновение, Свобода как имманентное основание человека, Эмиграция как воплощение права на свободное творчество, мысль и выбор.

Этот номер создавался в один из сложнейших моментов современной истории XXI века; в дни, когда на украинской земле началась война. Клевреты Ленина–Сталина вообразили себя властелинами мира, вершителями его судьбы. «Нет», – говорим мы им, – как весь двадцатый век говорил НЖ свое твердое «нет» советским тиранам, борясь против тоталитарного режима, выстроенного на родине и покрывшего метастазами весь мир.

Сегодня мы хотим повторить слова создателей «Нового Журнала», запечатленные в его первом номере в 1942 году: мы с тобой, Россия, – и это значит: мы против твоих угнетателей; мы будем, как прежде, противостоять большевистскому насилию над нашей несчастной родиной.

Мы с тобой, Украина, в твоём отстаивании своей национальной независимости. Мы с вами, свободные народы, в вашей справедливой борьбе за права человека.

Мир не будет прежним после февраля 2022-го. Но мы верим, что он – будет! И вопреки всем диктатурам, всем фарисеям от политики, мы будем и впредь противостоять энтропии культуры и отстаивать идеи гуманизма и право свободной личности на свободное творчество, на независимость, на мир.

С юбилеем вас, наши авторы и читатели!

Ваш «Новый Журнал»

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Владимир Гржонко

Разочарованный странник*

По-моему, Россия есть игра природы, не более!

Ф. М. Достоевский, «Бесы»

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ ВДУМЧИВОМУ ЧИТАТЕЛЮ

Сие произведение не является трудом историческим, а есть лишь плод фантазии автора. Потому похвальное в иных случаях рвение читателя, желающего поймать одного автора на искажении известных фактов, обречено пропасть втуне.

Часть первая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В селе Пушенское Минусинского уезда, которое стоит на берегу Большой Пуши, к бабам-ведуньям относились спокойно. Так же как к домовым, лешим и прочим сомнительным сущностям, изгнанным из жизни просвещенного российского общества второй половины девятнадцатого века. Впрочем, изгнанным не до конца, потому что как раз в то самое время всё высшее петербургское общество повально увлекалось спиритизмом и учением госпожи Ган, из которого в меру разумения постигало мистические тайны бытия.

Пушенские жители ничего необычного в колдовстве не находили, для них оно было чем-то привычным вроде охоты или рыбалки. Жила в Пушенском бабка Фрося, про которую поговаривали, что ежели тишком пойти за ней в лес да невпопад окликнуть, то обернется она не старушечьим лицом, а вовсе медвежьим... И ничего,

* Лауреат Литературной премии имени Марка Алданова, 2021.

жила себе бабка Фрося и жила; говорили даже, уездного пристава, который в село ссыльных из России привозил, от запоев избавила. А вот у Даши Татутиной, тоже считавшейся в селе ведуньей, жизнь как-то не заладилась. Хотя была она не старухой, а молодой шестнадцатилетней девкой, невысокой, по-сибирски крепкой, с хорошими женскими формами.

Приключилось с Дашей страшная история. Сергунька – парень, с которым Даша в то время гуляла, – назначил ей свидание в сараюшке на краю примыкавших прямо к тайге огородов. Летом мест для свиданок вокруг села было хоть отбавляй, но осенью, когда уже подмораживало, сараюшка эта, числившаяся в общественном пользовании, становилась для сельской молодежи самым что ни на есть удобным гнездышком. Вешал парень прямо на кривую, сколоченную из горбыля дверку свою шапку, и все знали, что в сараюшке уже кто-то разместился, и не совались...

Чтобы никто прежде не занял местечко, уговорились они с Сергунькой встретиться пораньше, еще дотемна. Уж очень нравился Даше этот парень – может, и не писанный красавец, но... когда обнимал ее Сергунька, голова у нее шла кругом.

Даша прибежала в сараюшку, когда еще совсем светло было. По крайней мере, света из обращенного к огороду оконца хватило, чтобы разглядеть, что никакого Сергуньки там нет, а на нее надвигается кто-то огромный, вонючий и неуклюжий. Медведь? А может и не медведь. Потому что неоткуда было взяться медведю в закрытой сараюшке. Выскочить наружу Даша успела, но от страха, а может быть и еще почему, вдруг как будто лопнуло что-то у нее в голове, как молнией ударило, и от виска к виску разлилась острая боль. Боль вскоре прошла, но что-то случилось с глазами. Так что Даша добежала до дома едва живая, и всё казалось ей, что этот медведь гонится за ней и дышит грязной пастью в затылок. А стоило ей войти в избу, мать заголосила так, будто за Дашиной спиной и впрямь стоял медведь.

Зеркал в обиходе у пушенских жителей не водилось, да и толку от них в тот момент всё равно не было бы, поскольку Даша почти ничего не видела. Но мать, когда немного успокоилась, рассказала сквозь слезы, что глаза у Даши разъехались в разные стороны, «быдто кажный аж сам по себе». Чуть позже Даша в кадке с водой кое-как разглядела, что левый ее глаз скошен к левому виску, а правый – к правому, да еще и смотрит слегка вверх. От этого миловидное Дашино лицо приобрело жутковатое нечеловеческое выражение. Соседки, первыми прибежавшие подивиться на чужую беду, вскрикивали от страха и близко подходить не решались. Мужики, потянувшиеся за женами, тоже мялись во дворе и на Дашу глядели издали,

как на дикое животное, от которого не знаешь, чего ждать. Приглашенные старики качали головами и ничего толком не говорили. Такого в Пушенском еще никогда не случалось. Старики постановили Дашу не трогать, а посмотреть, что будет дальше.

Бабка Фрося, тоже приглашенная Дашиной матерью, мелко затрясла головой, поплевала сначала через одно плечо, потом через другое и в конце концов заявила, что «дело тут не ейное, потому как не слева и не справа, не черное и не белое, а вовсе *Того, который посередке*». Дескать, от бабки своей она слышала поучение, что есть *Добрый*, а есть *Злой*, но и третий еще есть, *Тот. Добрый* да *Злой* далеко – один вверху, другой внизу, а вот *Тот* – он как раз здесь. Вот только не учена она с *Тем* дело иметь...

Из этих объяснений ни мать, ни Даша ничего не поняли, но на всякий случай покивали головами. Что ни говори, а бабку Фросю всё ж таки побаивались в Пушенском. Хотя видно было, что бабка и сама боится. Но не Дашу – чего с нее взять? – а именно *Того, который посередке*... А потом то ли бабка Фрося, несмотря на просьбы, проболталась, то ли сама мать с отчаяния что-то ляпнула соседкам, но с того момента стали в Пушенском считать Дашу ведуньей. Но не обычной, вроде бабки Фроси, а... В общем, сторонились ее. Так что проку от своего ведовства для Даши никакого не было.

Со временем Даша кое-как приновилась. Закрывала один глаз, наклоняла голову – и тогда могла кое-как разглядеть избу. А потом научилась смотреть перед собой, как бы между разбежавшимися глазами. Только вот видела она тогда вещи странные... для ведуньи даже какие-то несурзные, что ли. Ведь ведунья потому и ведунья, что ведомо ей то, что только должно случиться. Вон бабка Фрося как-то напроорочила, что Ермолаич – самый богатый в селе мужик – той осенью сгинет в тайге. И точно, сгинул. Сказал жене утром, что пойдет шишковать. И всё, как не было Ермолаича. Мужики потом только лодку его нашли на реке в полуверсте от села...

Даша же видела совсем другое. Рассказывать про свои видения она никому не решалась, потому что и так уж побаивались ее даже свои, даже мать и младший братишка, несмотря на то что, благодаря этой истории, он стал чуть ли не первым парнем на селе. Может, только Сергуньке Даша могла бы довериться. Потому что раньше, до приключившейся с ней беды, рассказывал ей Сергунька всякие диковинные истории, которые с ним будто бы случались. Да такое выдумывал, что не всегда понятно было, про что это он. Врал, конечно. А может, и нет, как знать. Только и Сергунька теперь обходил ее стороной...

Видения эти проклятые так измучили Дашу, что она уж старалась не глядеть посередке, чтобы совсем про них позабыть. Но тогда

начинались у нее головные боли и кружения, и непонятно было, какой глаз зажимуривать, чтобы не упасть...

А потом, уже в конце зимы, в санях по Большой Пуше в Пушенское привезли сыльного барина. И на постой к ним в избу определили. Когда Даша его разглядела, то из-за своей беды не сразу поняла, кажется это ей или в самом деле... Потому что глаза у барина были точно такие же, как и у нее, смотрящие в разные стороны, хотя и не карие, а светло-серые. Она так удивилась, что в первую же ночь сама пришла к нему. Сыльный барин сначала хотел прогнать Дашу, но, разглядев ее, рассмеялся и только головой покачал. Он вообще часто смеялся, хотя смешного вокруг не было ничего. Над чем можно смеяться в глухой деревеньке, окруженной зимней тайгой? Но барин то ли ничего не боялся, то ли знал что-то такое, о чем не рассказывал.

Александр Яковлевич Калашевский навсегда запомнил звук ломающейся стали над головой. То, как звук этот эхом метался по Семеновскому плацу, неведомо от чего отражаясь, но непременно возвращался к нему и колол, колол виски. И был страшнее выстрела, который вот-вот должен был прозвучать. Да не прозвучал... Тогда Александр Яковлевич крепко сжал кулак и почувствовал, как вливается в ладонь перстень, повернутый камнем внутрь. За восемь месяцев, проведенных перед этим в камере-одиночке Петропавловской крепости, Александр Яковлевич привык разговаривать с этим камнем. Когда-то, будучи студентом Гейдельбергского университета, Александр Яковлевич услышал занятную теорию, согласно которой кристаллы и, в частности, бриллианты, способны накапливать информацию.

В Петропавловку, а потом и в сибирскую бессрочную ссылку Александр Яковлевич попал случайно. История вышла скверная, глупая и, если вдуматься, просто ридикульная. Потому даже и расстрел оказался шуточным, не взаправду. Александр Яковлевич считал, что и вся жизнь его, с самого рождения, была как бы не совсем всерьез, а представляла собой цепочку каких-то скверных анекдотов. Как-то он даже рассказал об этом знакомым сочинителям — братьям Постоевским. Один из них потом написал произведение, где будто бы вывел Александра Яковлевича под видом главного героя.

Александр Яковлевич появился на свет с довольно редким заболеванием — расходящимся косоглазием. Отец новорожденного, будучи военным врачом, сам принимал у жены роды и на оханья мамок и нянек только пожимал плечами. Да-с, случай редкий, но страшного ничего нет. Что же до необычного вида младенца, то и это пустяк: в просвещенный век живем как-никак. А малыш свыкнется и видеть

будет, может, и не так хорошо, как остальные, но... мозг человека пока еще совсем не изучен, так что вполне возможно, что справится сынишка со своей э-э-э... особенностью и всё будет у него хорошо. Тем более что, конечно же, пойдет Александр Яковлевич по стопам отца и станет врачом, а не военным, как хотелось бы его матушке.

Отец, Яков Александрович, был человеком особенным – старой, как сам говорил, закваски. Родом из обедневшей дворянской семьи, самостоятельно выбился в люди, получил образование. А потом случилось так, что он, тогда еще совсем молодой врач, делал перевязку генерал-губернатору, пытаясь его спасти. Тот был ранен во время волнений на Сенатской площади. К сожалению, генерал-губернатор, герой наполеоновской войны, всё же умер от раны, нанесенной рукой бунтарей. Но Яков Александрович считал эту встречу самым ярким событием своей жизни. Тем более, что, по досадной случайности, был привлечен к делу о волнениях. И даже на короткое время сослан. Но об этом отец, обычно разговорчивый, распространяться не любил. Он вообще был человеком особенным, с весьма своеобразными принципами. Никогда не наказывал маленького Александра Яковлевича. За провинность вызывал к себе в кабинет и часами читал мораль. Наклонял голову, отводил взгляд в угол и, причмокнув, начинал рассказывать о собственном детстве. Александр Яковлевич любил отца, но порой думал, что было бы лучше, если бы отец его просто выпорол, да и отпустил.

А еще у отца была своя система воспитания, согласно которой, например, десятилетнему Александру Яковлевичу следовало пить воду непременно маленькими глотками, неторопливо, даже если остро мучила жажда. Любое воздержание возводилось отцом в какую-то не ясную до конца самоцель. Уже подростку Александру Яковлевичу отец внушал, что жизнь неимоверно трудна, а попытку облегчить ее воспринимал как опасную лень, как желание достигнуть всего сразу без упорной тяжелой работы.

– Трудолюбие, – поучал отец, – вот единственная добродетель! Из нее всё остальное произрастает! А удовольствия, знаете ли, до добра не доведут!

– Да ведь, – пытался возражать юный Александр Яковлевич, – коли вы трудиться любите, то выходит, что труд вам в удовольствие...

Тогда Яков Александрович вспыхивал, топал ногами и кричал, что сын у него растет негодным и распущенным демагогом...

Тем не менее Александр Яковлевич прилежно получал домашнее образование, и всё шло в его жизни так, как надо. Про недостаток свой он понимал, но уродцем себя не чувствовал. Да, иногда на улице он ловил на себе удивленные взгляды, но такое случалось

редко. Петербург – город большой, там мало кто обращает друг на друга внимание.

Но когда его отправили изучать медицину в Германию, в Гейдельберг, и Александр Яковлевич попал в университет, положение его немедленно изменилось. Нет, над ним, конечно же, не смеялись в открытую – это было бы неблагородно, но на веселые студенческие пирушки, которые заранее рисовало его воображение, Александра Яковлевича не приглашали. Даже профессорам его разведенные в разные стороны глаза, казалось, внушали брезгливую жалость. Поняв это, Александр Яковлевич и сам начал сторониться людей. Учеба стала ему не в радость. А однажды он, не выдержав, пожаловался на свое положение Платонову, земляку, с которым они вместе снимали квартиру в Старом городе под горой. Платонов немного помялся, а потом всё же признал, что близкого знакомства с Александром Яковлевичем, пожалуй, никто вести не будет. Кроме него самого, конечно.

– Потому что, видите ли, дело не в том, что у вас уродство. Этим вы никого не фраппируете. Мы же будущие медики. А в том дело, что нет никой возможности понять, куда вы, собственно говоря, смотрите. Всё время ощущение, как будто подглядываете, – Платонов виновато отвел глаза и добавил: – Вы уж не сердчайте, но это, знаете ли, чрезвычайно нервирует...

Хотел было Александр Яковлевич вызвать Платонова на дуэль, как и полагалось в студенческой среде. Но потом сообразил, что выставит себя на посмешище.

Кроме того, Платонов был совсем беден, из разночинцев. Александр Яковлевич чувствовал перед ним какую-то смутную вину за свое относительное материальное благополучие, хоть и его отец зарабатывал деньги своим трудом. А самое главное, Платонов был его единственным другом, да еще разделявшим страсть Александра Яковлевича ко всяческой мистике. Вместе они читали сочинения некоего господина Крашенинникова о Начале и таинственной Оси, вокруг которой и вертится этот мир. В полном соответствии с физическими законами центробежные силы тянут человека от Оси к краю Бытия, всё дальше и дальше, пока не теряется он в Безвременье.

Но существуют и иные силы, центростремительные, дарующие человеку бессмертие и много чего еще... Игру центробежных и центростремительных сил принято считать борьбой Добра со Злом, да только это примитивное представление, возникшее во времена детства человечества. Хотя, по утверждению господина Крашенинникова, еще древние последователи Будды использовали символы *инь-яна*, заключенные в круг и вращающиеся на той самой Оси...

Искали они с Платоновым и доказательств того, что некий доктор Иоганн Георг Фауст, когда-то учившийся в Гейдельберге, действительно оживил пивную бочку. Про это говорилось в местных хрониках. Якобы работники пивоварни никак не могли выкатить из подвала тяжелую бочку с пивом. Фауст же сел на бочку верхом и прочел какое-то магическое заклинание. Бочка ожила и сама вынесла седока на улицу. Это был тот самый Фауст, описанный известным сочинителем Гёте. Свидетельств магического происшествия, как выяснилось, осталось много, несмотря на то что таинственный доктор произвел сие действие тремя веками ранее.

Фауст интересовал Александра Яковлевича особенно остро. Александр Яковлевич ощущал с ним странную связь. У Фауста хоть и не было физических недостатков, но он так же, как Александр Яковлевич, сторонился людей – и так же искал вечной любви. Александр Яковлевич находился как раз в том возрасте, когда всякая любовь представляется вечной. Кроме того, не зная еще вовсе никакой любви, он видел в ней магию и таинство, талантливо описанные великим немцем.

Вместе с Платоновым Александр Яковлевич однажды свел знакомство с местным продавцом всякой всячины, знатоком окрестностей и менялой, говорившим, кажется, на всех языках мира – не то цыганом, не то мадьяром по имени Мордко Вайнберг. Мордко клятвенно обещал найти то самое заклинание, с помощью которого Фауст оживил пивную бочку. Да только, похоже, оказался мошенником, потому что, взяв деньги и пообещав прийти с заклинанием на квартиру к студентам не позже чем через три дня, исчез и более не являлся.

Именно из-за своей любви к мистике Александр Яковлевич, так и не окончив курса наук, вынужден был покинуть Гейдельберг. Случилось вот что.

Однажды пасмурным осенним утром Александр Яковлевич сказал Платонову, что не пойдет вместе с ним на штудии в анатомический театр, а отправится к Мордку требовать назад свои деньги. Заодно и прогуляется. Он любил такие дни, чуть мрачноватые, но всё же легкие, «перламутровые», как он говорил, когда воздух как будто светится сам по себе. Городок Гейдельберг мал: центральная торговая улица, куча уютных домиков, разбросанных по сбегаящему к реке склону, да полуразвалившийся замок на вершине горы. И еще университет. Александр Яковлевич не заметил, как забрел на улочку, круто уходящую от реки вверх. Улочка оказалась совсем короткой и упиралась в старинной кладки стену из серого камня. А за стеной, выше по склону, плотный туман скрывал висящий над городом замок. Александр Яковлевич поправил студенческую фуражку,

набрался решимости и направился к невысокому дому с облупившейся штукатуркой. Стоило ему сделать несколько шагов, как в окне появилось яркое оранжевое пятно.

Александр Яковлевич подошел поближе. На подоконнике за ветхой двустворчатой рамой сидел большой рыжий кот. А рядом с котом стоял недопитый стакан с чаем в старинном серебряном подстаканнике. Кот равнодушно посмотрел на пришельца огненными, под цвет шкурки, глазами и отвернулся.

– Интересно, – подумал Александр Яковлевич, – неужели этот выжида Мордка любит животных? И кто мог оставить здесь этот стакан?

Тотчас же вообразил он прекрасную незнакомку вроде гётевской Гретхен. Впрочем, Александр Яковлевич видел Гретхен за каждым окном – красивую и таинственную, недоступную ни для кого, кроме разве что самого Фауста. Или – Александра Яковлевича... Александр Яковлевич, как Фауст, готов был купить *такую* любовь ценой своей бессмертной души. Да только дьявол никаких сделок ему не предлагал, а лишь насылал ночные виденья, которых утром Александру Яковлевичу становилось нестерпимо стыдно...

Кот, как будто угадав его мысли, презрительно фыркнул и соскочил с подоконника куда-то вниз, за тяжелую портьеру. Тут же портьера колыхнулась вновь, и Александр Яковлевич остолбенел. К оставленному на подоконнике стакану протянулась женская рука, чуть смугловатая, но прекрасной формы, с тяжелыми перстнями, надетыми на указательный палец и на мизинец. А вслед за рукой показалось из темноты комнаты молодое женское лицо такой красоты, что Александр Яковлевич прикрыл глаза и отступил на шаг. Сделал он это не столько потому, что был ослеплен красотой, а больше от нежелания, чтобы его физический недостаток оттолкнул незнакомку. Потому что такое с ним в Гейдельберге случилось не раз.

А однажды совсем уж комичный выдался случай.

Это когда Платонов уговорил Александра Яковлевича посетить укромный домик у моста. Эдак недорого, но весело провести время. Пора, черт возьми, и ему приобщиться к радостям жизни! После мучительных раздумий Александр Яковлевич наконец согласился. Но не укрылось от него, что встретившая их на пороге веселая фрау, взглянув на него, округлила глаза от удивления. И губки брезгливо поджала. И без того трепещущий Александр Яковлевич позорно бежал, оставив Платонова развлекаться одного. Хотя позже, по зрелом размышлении, решил, что позор состоит как раз в том, чтобы покупать любовь; что низводится, таким образом, великое таинство до простой физиологии, которую они с Платоновым как раз в то время

изучали. А Александру Яковлевичу нестерпимо хотелось именно великого таинства.

Но незнакомка за окном, посмотрев в лицо Александра Яковлевича, не отшатнулась и глаз не округлила. Наоборот, чуть улыбнувшись, поманила его пальцем и указала на дверь, что находилась слева от окна. Совсем не похожа была эта девушка на веселых фрау. Кроме того, именно в этом домике и жил Мордко... Незнакомка так очаровательно поднесла пальчик к губкам и сами пухлые губки сложила так невинно, что Александр Яковлевич решился и отворил дверь дома. И представил себе свою еще неизведанную будущую жизнь: раннее утро, тепло женской руки, прохладу лестницы, по которой он спускается, любящие глаза, провожающие его, топоток детских ножек на веранде...

На ощупь пройдя темную, заставленную какой-то рухлядью прихожую, попал Александр Яковлевич в комнату. В ней было душно и витал незнакомый пряный запах. Окно было завешено портьерой, а освещала комнату стоявшая в углу на комодике одинокая свеча. Поэтому Александр Яковлевич не сразу сообразил, что никакой девушки в комнате нет. Но удивиться не успел. Откуда-то из-за спины вынырнула невысокая фигурка и, несмотря на полумрак, Александр Яковлевич немедленно узнал в ней мошенника Мордка.

– Как?! – шепотом вскричал Мордко. – Это вы?! Сами пожаловали ко мне?! Какая честь! Но зачем же?..

Немного оправившись от изумления, Александр Яковлевич хотел было тут же потребовать назад выманенные обманом деньги. Но присутствие где-то рядом красавицы сдерживало его. Кроме того, Мордко, казалось, совершенно не был смущен его появлением, а, наоборот, как будто бы обрадован.

– Да-да, – Мордко потер длинными пальцами плохо выбритый подбородок. Лицо его при этом все время дергалось, будто пытался Мордко без помощи рук отогнать навязчивую муху. – Понимаю, у молодых совсем нет терпения. Я ведь тоже был молод... И знаете, я тогда жил в России...

Мордко мелко покивал головой:

– Удивительная страна, скажу я вам.

И тут же, видя, что Александр Яковлевич собирается возразить, замахал руками.

– Всё! Я всё помню! Вы за своими заклинаниями! Вы даже были так добры, что заплатили вперед. Я бы сам их вам принес... О, Мордко не обманщик, вы уж поверьте! Только... на что вам эти заклинания? Вы же современный образованный человек, студент. Ну хорошо, хорошо, дам я вам заклинание, если уж непременно этого желаете...

Тут Александр Яковлевич почувствовал, как что-то толкнуло его чуть пониже колена. Он вздрогнул, но, увидев ластившегося к нему рыжего кота, вспомнил о красавице. Неужели она дочь этого пройдохи? Но спросить о девушке отчего-то не решился.

– А-а-а, – пропел Мордко, – я вижу, вы уже познакомились с Йоселе! Вот смотрите, Йоселе – мудрое существо, хотя, казалось бы, всего лишь кот. Он такое понимает про эту жизнь, что и царю Соломону не было ведомо. Так вот, он не ко всякому идет, знаете ли. Ох, не ко всякому...

Мордко смешно задвигал носом, как-то странно, словно оценивая, оглядел Александра Яковлевича с головы до ног и вдруг расплылся в улыбке, обнажив кривые белые зубы.

– Ах, ну конечно, как же я сразу-то не сообразил? Знаете, что я вам скажу? Сейчас-сейчас... Обождите секундочку...

Отчего-то заторопившись, Мордко взял кота на руки и вместе с ним выбежал из комнаты.

«Почему я здесь?» – подумал Александр Яковлевич. Им овладело странное беспокойство. Может быть, стоило просто скрыться, пока не вернулся этот Мордко. Бог уж с ним, с деньгами. В конце концов, можно будет прийти потом, вместе с Платоновым...

В этот момент в комнате снова появился Мордко. Он амикошонски похлопал Александра Яковлевича по плечу. Потом, как будто прислушиваясь к чему-то, суетливо полез в комод, дергая его ручки так, что чуть не уронил свечу. Наконец он достал небольшой сверток и протянул Александру Яковлевичу.

– Вот тут, – сказал он, тяжело дыша, – вот тут вы найдете для себя кое-что важное. Да берите же!

Поймав недоуменный взгляд Александра Яковлевича, Мордко сказал, что рукопись стоит немалых денег, но Александру Яковлевичу она достанется бесплатно. Так что он готов даже вернуть выданную вперед плату. И протянул будто бы заранее приготовленные деньги. Пораженный Александр Яковлевич взял и то, и другое. Но вдруг вспомнил про девушку. Да что же это он?!

И тут Александру Яковлевичу все стало ясно. Он случайно проник в страшную тайну: девушка, которую он увидел в окне, была украдена этим негодяем. И тот жест, который он, Александр Яковлевич, принял за приглашение, был просьбой о помощи. Да иначе и быть не могло! Зачем Мордко стал бы безвозмездно отдавать ему какие-то свертки, да еще и возвращать выманенные хитростью деньги? Только не на такого напал, мерзавец! Лицо девушки, возникшее перед мысленным взором Александра Яковлевича, показалось ему еще более красивым, только очень грустным. Ее прекрасные

глаза смотрели на него с укоризной. Александр Яковлевич кинулся на Мордка с кулаками. Освободив девушку от старого развратителя – а от кого ж еще? – обретет он свою Гретхен, к тому же никакой души дьяволу продавать не придется. На миг Александр Яковлевич почувствовал себя древнегреческим Персеем; показалось ему, что движет им та самая центростремительная сила Бытия, убедительно описанная господином Крашенинниковым.

Но только получилась из всего этого ужасная и даже непереносимая для достоинства Александра Яковлевича сцена. Стоило ему оттолкнуть Мордка, чтобы проникнуть во внутренние покои, где, без сомнения, негодий держал свою жертву, как вдруг в комнату ворвались какие-то люди. Штора на окне была немедленно сорвана, и оказалось, что Александра Яковлевича держат за руки двое полицейских. А третий, немолодой господин в штатском, стоит перед ним и улыбается. Улыбка его показалась Александру Яковлевичу отвратительной.

Случившееся далее Александр Яковлевич видел словно отстраненным взглядом. Как будто все это происходило не с ним. Полицейским Мордко заявил, что древняя рукопись, а главное, перстень – неимоверной цены перстень! – украдены у него вот этим молодым студентом, пришедшим занять денег. И прискорбный сей факт готов он подтвердить клятвенно.

– Да-с, – закивал головой Мордко, – да-с, такое, увы, случается. И часто. Проиграется студентик в кости или карты. А долги-то, долги отдавать нужно. Вот и крадет...

От негодования и творящейся несправедливости Александр Яковлевич онемел и ничего толком в свое оправдание сказать не смог. А Мордко всё говорил и говорил, поглядывая на господина в штатском.

– Ого, какой улов! – перебил его тот. – И что же нам теперь с ним делать?

– Господа, господа, – вдруг нехорошо засуетился Мордко, – да что вы? Прошу вас, только не в моем доме... Я и так рискую.

– Ну-у, – протянул немолодой господин, – как раз именно в вашем доме, милейший.

У Александра Яковлевича упало сердце. Он дернулся, но вырваться не получилось. Полицейские держали его крепко.

– Вы, вероятно, мистикой интересуетесь, коли с Мордко связались? – вдруг по-русски спросил господин в штатском. Он оценивающе оглядел Александра Яковлевича, бесцеремонно остановил взгляд на глазах и скривил губы. Над верхней губой – Александр Яковлевич только сейчас это заметил, – красовались тонкие черные усики. Затем повелительно повел подбородком, и Александра Яковлевича немедленно отпустили.

– Да-а, вы, сударь, попали в переделку. Да я вас, кажется, знаю. Студент медицинского факультета, не так ли? Господин Калашевский? Однако же и натворили вы дел. Еще спасибо скажите, что я рядом оказался. А то забрали бы в участок, ну и... сами понимаете, врывается в дом незнакомый господин, накидывается на нашего милейшего хозяина. Германия, как вы знаете, страна орднунга. Тут даже грабители ведут себя вежливо. И вдруг такой дебош...

Александр Яковлевич покраснел. Его романтический порыв обернулся совершеннейшей мальчишеской глупостью. Он вляпался в отвратительную историю.

– Да уж ладно, не следует все истолковывать в дурную сторону, – успокаивающе сказал господин в штатском. – Вашему делу помочь можно. Кстати, позвольте представиться, барон фон Берг, Ксаверий Иванович.

К своему стыду, Александр Яковлевич почувствовал огромное облегчение. Он начал сбивчиво и путано объясняться про обстоятельства, приведшие его к Мордку, и еще сбивчивей про девушку, позвавшую его на помощь.

– Да-да, конечно, – закивал головой фон Берг, – благородно получается. Но, к сожалению, у Мордка другая, так сказать, версия. Отвратительный тип, согласен, но дура лекс сед лекс*, как говорится. Ну-с, молодой человек, давайте-ка поступим вот как...

Фон Берг сделал паузу, будто желая выслушать возражения, а потом добавил, что будет рад помочь земляку, раз уж такой, как говорят французы, пердимонюкл с ним приключился. Правда, полицейский протокол, увы, уже составлен: немецкая аккуратность, ничего не поделаешь. Но это не страшно. Уж как-нибудь. Не портить же жизнь молодому человеку из-за такой нелепости. Только вот здесь, у Мордка, объясняться неудобно, поэтому барон просит прийти прямо к нему в апартаман, так сказать. Если, конечно, не придет Александру Яковлевичу охота, как Фаусту, верхом на бочке прыскавать...

– Шучу-шучу! – фон Берг, взъерошив усики, растянул узкие губы в улыбке. – Вы ведь не масон, верно? Они тоже любители таинственного. Или всё же состоите в какой-нибудь ложе?

Фон Берг вдруг уколол Александра Яковлевича острым взглядом, который тут же стал насмешливым.

– Нет? Ну и ладно. Давайте-ка мы с вами встретимся завтра же, прямо с утра. Вы не против? Прекрасно! Да, и последнее: вы уж другу своему, Платонову, не говорите ничего о сегодняшнем происшествии. Человек-то он хороший, не спорю, но ведь обязательно проболтается.

* Dura lex, sed lex – Закон суров, но это закон. (лат.)

А зачем вам это? Ведь он и про ваше неудачное посещение э-э... веселого дома не утерпел, рассказал в теплой компании... Да вы не смущайтесь, чего уж там. Просто примите к сведению. Хорошо?

И не дожидаясь ответа, крепко взял Александра Яковлевича под руку. Вместе они вышли из домика, спустились к набережной, и на прощание фон Берг вручил ему свою визитную карточку. В этом человеке было что-то такое, что вызывало одновременно и опаску, и интерес... Как он оказался в этом проклятом доме? Ну, про негодяя Мордка все понятно – не захотел отдавать денег и вызвал полицию. Но вот барон... И главное, почему полицейские ему подчинились? Ведь тут не Россия, местные полицейские – не городовые, взятки не берут.

Александр Яковлевич задумчиво шел по набережной. Его не покидало ощущение, что кто-то сыграл с ним злую шутку, за которой таится нечто опасное...

Туман истаял, но осенний день, перевалив на вторую половину, угасал; с реки потянуло промозглой сыростью. Александр Яковлевич уже собирался было свернуть с набережной, когда вдруг сзади к его локтю прикоснулась чья-то рука. Вздвогнув, он обернулся и увидел перед собой ту самую красавицу. Сейчас она показалась Александру Яковлевичу уже не таинственной и даже как будто не такой привлекательной. Может быть, виновата в этом была глупая шляпка с вуалью, какие носили все городские мещанки. И еще, несмотря на поношенный салоп, успел заметить Александр Яковлевич, что фигурка у нее гибкая, а ножки в легких башмачках изящные. Даже утратив таинственность, незнакомка всё же оставалась трогательной и милой.

– О, господин, – проговорила девушка, – я совершаю ужасное! Но пожалуйста... Отец отдал вам бумаги... Умоляю, верните их! Ведь деньги вам возвращены сполна...

Тут только вспомнил Александр Яковлевич о свертке, который ему вручил Мордка. Странно, но полиция так и не обыскала его и, следовательно, сверток должен быть здесь. Он опустил руку в карман шинели, но в кармане ничего не оказалось. Деньги, переданные ему Мордком, были, а вот сверток исчез. Александр Яковлевич растерянно покачал головой. Незнакомка поняла его жест по-своему.

– Я готова на все! – прошептала она. – Я честная девушка, но тут... вы понимаете? Абсолютно на всё!

Оглянувшись, незнакомка шагнула еще ближе, так что Александр Яковлевич снова уловил тот самый пряный запах, что стоял в комнате Мордка, и коротким движением распахнула салоп. Будто бомба разорвалась перед Александром Яковлевичем. Видел он женские тела в анатомическом театре. Там, лишённые движения, раз-

мякшие и безликие, они, казалось, были напрочь лишены пола. А чтобы вот так... Нет, что скрывать, еще совсем недавно Платонов показывал ему тайные картинки, сделанные по методу месье Дагера, рассмотрев которые, Александр Яковлевич немедленно почувствовал жгучий стыд. Но то картинки! Александр Яковлевич скорее ощутил, чем увидел нечто невероятное, головокружительное и даже страшное в своей откровенности, открывшееся ему под распахнувшимся салопом. Потому что девушка мгновенно запахла, глядя на него со слезливой решимостью.

– Но... – растерянно пробормотал Александр Яковлевич, – я не знаю, кажется, я где-то обронил... Да вот, посудите сами, сударыня...

Он похлопал себя по пустым карманам.

«Господи, – подумалось ему в этот момент, – это чудо... или чудовище, не знаю... Но я так *не могу!*»

И не заботясь о том, что выглядит смешным, бросился бежать в сторону моста, к университету, к людям. Как назло, набережная была пустынна, и, даже свернув у пивоварни Брегера к дому, Александр Яковлевич не встретил ни души. К счастью, дверь у Платонова оказалась приоткрыта. Значит, хозяин был дома. Александр Яковлевич ворвался в комнату так, что сидящий с книгой у стола Платонов вздрогнул.

– Да всё ли с вами в порядке, – с участием спросил он, – на вас лица нет... Что же, не вернул вам этот негодяй денег? Вы потому так расстроены?

Как ни рвалось только что пережитое наружу, вспомнил Александр Яковлевич предупреждение фон Берга; вспомнил и то, что, кроме него самого и Платонова, про происшествие в укромном домике действительно никто более знать не мог. Вот ведь, оказывается, и на Платонова положиться нельзя... Получается, он совсем одинок, оставлен один на один со своей новой бедой. Пробормотав что-то невнятное, Александр Яковлевич забежал в свою комнату. И когда бросился ничком на кровать, вдруг снова накатило ощущение, что его пытаются обмануть, увести в сторону от чего-то важного. Уж не прикоснулся ли он ненароком к *настоящей тайне*?

ГЛАВА ВТОРАЯ

Александр Яковлевич провел ужасную ночь. Он уверял себя, что девица, способная на *такое* ради получения каких-то бумаг, мало чем отличается от веселых фрау, но и сам понимал неубедительность таких доводов. Что он знает об этой девушке? Практически ничего. Возможно, ее поступок был следствием крайнего отчаяния... Разве

что это – часть какой-то таинственной истории. Слышал Александр Яковлевич, что по всей России, да и за границей, действует множество тайных обществ. Отец перед отъездом в Германию строжайше предписывал ему держаться подальше от подобных дел, ибо тайно действуют только бунтовщики и враги отечества...

Ближе к утру в голове у Александра Яковлевича сложилось окончательное решение. Он отправится к фон Бергу и потребует объяснений. Нельзя же позволить, чтобы с ним обращались, как с подростком... Хотя в глубине души Александр Яковлевич понимал, что влечет его к барону, в первую очередь, как раз мальчишеское желание проникнуть в тайну. Тем более что ему и выбора не оставили. Как бы там ни было на самом деле, а история с мнимой кражей может дорого ему обойтись. Что же касается незнакомки, то... Можно по-разному относиться к Мордку, но заплаченные деньги действительно были возвращены сполна, и теперь долг чести обязывал найти и вернуть девушке то самое заклинание, черт бы его побрал. Вернуть совершенно бескорыстно, разумеется.

Утром не выспавшийся Александр Яковлевич оправился по указанному на визитке адресу. Он был полон решимости. Правда, до каких пределов распространялась его решимость, он и сам не знал...

«Ничего, – бодро сказал себе Александр Яковлевич, подходя к богатому бюргерскому дому красного кирпича, – разберемся. Сначала с этим бароном – что-то же ему от меня нужно, – а потом и с... семейством Мордка.»

При мысли о семействе Мордка Александр Яковлевич дернулся, словно от гальванического удара, и постарался отогнать не вовремя подоспевшее видение. Нужно было сконцентрироваться на визите к барону фон Бергу.

Барон занимал квартиру во втором этаже. Двери открыл слуга, из чего Александр Яковлевич сделал вывод, что фон Берг – человек состоятельный. В комнате, куда его привели, он уверился в своей догадке: солидная мебель, все эти кресла и канапе, картины в тяжелых рамах и gobelены, а также хрустальная люстра ясно свидетельствовали о достатке. Бросив надменный взгляд на Александра Яковлевича, слуга сообщил, что ему велено ожидать, и скрылся. Против воли Александр Яковлевич несколько оробел и внутренне возмутился. Ожидание показалось ему унижительным. Но продолжалось оно недолго, потому что почти сразу в комнату бодрым шагом вошел барон фон Берг. Одет он был по-домашнему: в длинный шлафор с кистями и мягкие туфли. И улыбался уже не насмешливо, как прежде, а весьма приветливо.

– А-а, господин Калашевский! – воскликнул фон Берг. – Доброе

утро! Рад, что не игнорировали, как говорят англичане. Да вы присаживайтесь! Не угодно ли кофе?

От кофе Александр Яковлевич отказался, но в кресло с высокой спинкой, на манер вольтеровского, принужден был сесть. Сам фон Берг расположился у стола и снова стал бесцеремонно разглядывать Александра Яковлевича.

Александр Яковлевич признался себе, что фон Берг ему, странным образом, и нравится, и не нравится. Нравится, потому что очень уверен в себе и наверняка из укромного домика не сбежал бы ни при каких обстоятельствах. И еще что-то такое было в нем, от усиков до крепких кулаков, что внушало если не уважение, то желание быть отчасти на него похожим. А вот что не нравится?.. Да если разобьются, так то же самое и не нравится.

– Вы вот, – начал после паузы фон Берг, – я вижу, ночь-то не совсем спали. Не осуждаю, сам в студентах, бывало, по три ночи кряду кутил. Да только Вы, господин Калашевский, как человек совестливый, небось, угрызениями совести терзались. Хоть и мистикой увлекаетесь. Это я к тому, что Фауст ваш ради удовольствия душу бессмертную дьяволу не погнушался продать. И ничего, не особо и мучился, насколько я помню. Эх, мистики!

Фон Берг неприятно рассмеялся, но тут же смех оборвал и добавил, что под мистикой он понимает всё то непознаваемое, чему посвящено множество теорий, популярных среди студентов. Ну вроде учения господина Крашенинникова. А что, занятно, хоть, разумеется, и противно христианскому канону.

– Ну да вы, я думаю, всерьез-то в Бога и не верите, – взгляд у фон Берга стал острым как бритва. – Понимаете, какая беда... ведь если глубоко по-христиански верить, тогда нужно Божьим угодноком становиться. Вы, господин Калашевский, читали, конечно, «Жития святых»?.. Ну там все эти столпники, мученики, юродивые, блаженные. Да и антураж соответствующий: власяницы, вервия, грязь, насекомые, уж простите... А мы с вами – люди, Богу неудобные. И вера у нас с вами для проформы. И не спорьте.

Александру Яковлевичу очень хотелось перехватить инициативу и вместо того, чтобы выслушивать не относящиеся к делу философствования, получить от фон Берга внятное объяснение вчерашнему происшествию. Но фон Берг такой возможности ему не оставил.

– Да вот, позвольте, – сказал он, фамильярно закидывая ногу на ногу, – я вам историю расскажу. Простую, но поучительную. И главное, непосредственно относящуюся к делу.

Есть у меня в Санкт-Петербурге знакомый. Учились когда-то вместе. Но человек не нам чета, влиятельный и с положением. И

надумал он как-то со скуки чем-нибудь эдаким заняться, кружок что ли организовать какой-нибудь. Именно со скуки. Ведь только так говорится про скуку, что, дескать, это когда делать нечего. Неправда. Скука, скажу я вам, двигатель прогресса. И не только современного. И в прошлом, если внимательно всмотреться, многое из того, что потом приписывалось озарению или какой-нибудь страсти, делалось именно со скуки.

Вы, наверное, слышали про коммунистический манифест. Да уж, конечно, слышали. Сколько времени в списках по рукам ходит. Там, ну просто как у шекспировского Гамлета, всё с призрака начинается. Кстати, о Гамлете. Казалось бы, вот уж накал страстей! Быть или не быть? Звучит-то как! Но отчего-то вздумалось Шекспиру ввести в действие еще и Призрака. Согласитесь, Гамлету про убийство отца мог рассказать и кто-то другой. Хоть времена тогда были простые, но сомнения по поводу роли Клавдия в этой темной истории имелись у многих. Не могли не быть. Очень уж кстати отец-король погибает. *Куй продест*, так сказать. Это ясно, особенно если на пьесу с профессиональной точки зрения взглянуть. Тем не менее, Шекспиру для завязки интриги потребовался именно Призрак. Но ведь Гамлет в рассказанное Призраком всё равно не особенно поверил. Иначе для чего бы ему устраивать свою «Мышеловку». Зачем тогда в пьесе действует Призрак? Ведь он, если вдуматься, своим появлением самый знаменитый монолог совершенно компрометирует. Какое там «не быть», если призраки не только существуют, но еще и в придворных интригах участвуют? Так вот, зачем Шекспиру Призрак?

Фон Берг наклонился вперед и замолк, лукаво глядя на Александра Яковлевича. И Александр Яковлевич, подавившись его обаянию, с трудом сдержался, чтобы не спросить наивно: «А действительно, зачем?»

— Да затем, что так занятней! Ведь у зрителя — что тогда, что теперь — волосы дыбом, когда Призрак-то на сцену является. Одно дело — какой-нибудь придворный наушник информирует, и совсем другое, когда из-за гроба... И сразу вся интрига вкуснее становится, острее ощущается. Вот вам и всё объяснение!.. Так вот, о моем знакомом. Заскучал он. Всерьез заскучал. И сначала, как водится, подался к масонам. Знаете, наверное, их ритуалы графом Толстым очень талантливо описаны... Только вот всё равно скучно. Потому что чепуха эта безо всякого смысла. И главное, дальше-то ритуалов ничего нет. Собрались в ложе, подурили да и пошли в ресторацию «Вдову Клико» потреблять. Вот если бы им, как Гамлету, Призрак являлся... Ну, чтобы хоть нервы пощекотать. А так...

Фон Берг снова обжег Александра Яковлевича испытующим взглядом.

– Что, неинтересно? Думаете, развел турысы... Но уж вы потрудитесь выслушать. Гамлет, хоть и совершенно выдуманный персонаж, а в нашем деле фигура важная. В общем, махнул мой знакомый рукой на масонов и решил, что пора бы что-нибудь новенькое измыслить. Обладая средствами и возможностями, искал он новых ощущений и мыслей. Но, будучи человеком умным и зрелым, искал не в разврате, не в веселых домах, ибо это, как вы понимаете, безнравственно. Да и тоже скучно, в конечном итоге. Всякие там ворожеи, медиумы, вызывание духов усопших и прочие модные в высшем свете увлечения не годились: повторяю, человек он умный. И, представьте себе, однажды совершенно случайно – вот уж, воистину, ищите да обрящите – привел к нему камердинер некоего мужичка. Вот, кстати, тоже занятно: казалось бы, своих поисков он ни перед кем прямо не обнаруживал, даже перед друзьями. Боялся показаться оригиналом, ну то есть, попросту говоря, смешным. А вот дворян, черная кость, оказывается, прекрасно знала, что барин ищет «эдакого».

С секретами вообще всегда так – хоть страстишка какая, хоть убеждения вредные, а долго в тайне не удержишь. И знаете почему? Вовсе не потому, что языки у людишек длинные. Хотя и это есть. Но прежде всего из любой тайны проистекает *действие*. Такое, которое от обычных действий отличается. И тут уж ничего не скроешь, как ни старайся.

Ну-с, камердинер моего знакомого в таких тонкостях не разбирался и привел к нему мужичка, родства не помнящего, которого вроде бы каким-то ветром занесло в Петербург аж из самой Сибири. Мужичок сей занимался извозом, но среди петербургской прислуги ходили слухи, что умеет он что-то эдакое... Фокус какой-то показывает. Знакомый мой сначала посмеялся наивности своего камердинера, но на этого, так сказать, факира из извозчиков решил взглянуть. Опять же, скуки ради. Так вот, проделывал тот мужичок один-единственный трюк. Или штуку, как он сам говорил. И на месте моего приятеля кто-нибудь другой посмеялся бы да и отпустил мужичка восвояси. Но приятель был поражен до глубины души. То есть настолько, что готов был заплатить мужичку за его секрет большие деньги... Да-с, – фон Берг оглянулся на дверь и тут же, как будто подглядывал, появился слуга. – Так как насчет кофейку? Нет? Ну как угодно, а я выпью.

У Александра Яковлевича появилось ощущение, что фон Берг намеренно растягивает историю, убаюкивает его, как какой-нибудь гипнотизер. Тем более что в комнате было жарко натоплено, и не

выспавшегося Александра Яковлевича против воли начало клонить в сон.

Фон Берг дождался, пока слуга принесет поднос, не торопясь налил в крохотную чашечку кофе, добавил каплю сливок, помешал ложечкой и только тогда повернулся к гостю.

– Да-с, – повторил он, – так вот, понимаете ли, мужичок-то ничего объяснить не мог. То есть, темнота, примитив совершеннейший, он и сам толком не понимал, как *это* у него получалось. Повторил саму штуку несколько раз, и еще повторить был готов, а вот объяснить... нет, не мог. Говорил только, что это бабка его научила. А сама, дескать, и не такое могла. Но всё же после нескольких повторений моему знакомому стало очевидно, что показанное ему – не фокус вовсе. И вообще никакого отношения ни к магии, ни к трюкам не имеет. А имеет прямое отношение к некоему не изученному прежде феномену. Вы же знаете, бывает в жизни так, что пустяк, мелочь дает толчок чему-то крайне важному. Ну как это случилось с сэром Исааком Ньютоном. И тогда рождается крайне любопытная теория. Тем более что мужичок-то – вот он, живое подтверждение теории на практике, так сказать. То есть это уже не теория получается, а, скорее, метода.

Вот тут-то самое интересное и начинается. Как я уже говорил, мой знакомый – человек со связями. Поведал он о методе своему приятелю. И мужичка показал. А приятель этот уж и вовсе в самые высокие круги вхож, с Великими князьями в дружеских отношениях состоит. И вот, после мучительных размышлений, решил он, этот приятель, что всё это уже не лекарство от скуки, а дело государственной важности. Самому Государю Императору доложили. А наш Государь, знаете ли, хоть и придерживается прогрессивных взглядов, но в последнее время, особенно после покушений на его святую особу, склоняется к...

Фон Берг неопределенно помахал рукой, но тут же спохватился и нахмурился.

– В общем, дело получило статус особой секретности. У нас ведь как – среднего-то нет: либо волокита бесконечная, либо всё одним махом делается. По указу Государя в отдельном корпусе жандармов Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии немедленно был организован Особый комитет. Времена сейчас тревожные, политическая ситуация... ох, какая непростая! Казалось бы, крестьян освободили, а господа хорошие всё недовольны. Да что я вам объясняю, сами знаете. Отечество не то чтобы в опасности, но...

Фон Берг покачал головой и замолк, как будто задумался. Александру Яковлевичу начало казаться, что о нем забыли. Но через

минуту барон рассмеялся и отодвинул от себя так и не тронутый кофе.

– А дальше совсем уж непонятное началось. Нам, просвещенным людям, в просвещенный век вроде бы и говорить об этом неловко. Хотя, опять-таки, именно плоды просвещения получаются. Потому что вольномыслие – это ведь не только когда идут против Бога или царя, вольномыслие – еще и теории, в которых допускается недопустимое. И это самое страшное, господин Калашевский! Отчего инквизиторы преследовали Коперника, Галилея и иже с ними? Думаете, изуверы средневековые? Да какая, собственно, разница, что вокруг чего вертится, коли всё это – Божье творение? Не-ет, тут тоньше, я полагаю. В ту пору, в Средневековье, предположение, что не Земля – пуп Вселенной, означало *допущение недопустимого*! А тут ведь как: если единожды допустишь, отступишь от канона, то далее начнется такое, что...

Казалось бы, чем опасны всяческие кружки? Почему с ними бороться нужно? Ведь болтовня одна. У нас в России любят болтать! Да еще обязательно назовут себя каким-нибудь *тайным* обществом. Вроде бы ерунда, но в своей болтовне, пусть и безвредной на первый взгляд, они допускают самые немыслимые вещи. А допустив, сами начинают в них верить. Да еще и тайну из этого делают. Вот вам и заговорщики. Знаете, как в поговорке: *коли назвался груздем...* Тогда-то и возникает опасность! Страшная опасность. И речь не о каких-нибудь сукиных детях бунтовщиках вроде Стеньки Разина или Болотникова, а как раз наоборот, о просвещенных умах, так сказать...

Фон Берг разгорячился. Повернувшись вместе со стулом к Александру Яковлевичу, он жестикулировал, резко, как саблей, рубя воздух ладонью. И левый глаз его, это Александр Яковлевич отчетливо видел, задергался нехорошо, как у припадочного.

– Вы по молодости лет бунта на Сенатской не застали, а я вот вам скажу – в чайльд-гарольдов друг перед другом молодые господа офицеры заигрались! Опять же, со скуки!..

Опомнившись, барон покачал головой и рассмеялся.

– Давайте-ка к делу. Так вот, метода эта, став, так сказать, государственным секретом, обросла такими бумажными подробностями, что, признаюсь вам, здравомыслящему человеку, она может показаться совершенно нелепой. Щелкоперы, им бы только циркуляры писать! Это я уж с вами, как со своим, делюсь откровенно. Другой бы на моем месте, знаете, вилял, туману напускал. Но я, друг мой, предпочитаю действовать прямо и открыто.

У Александра Яковлевича шевельнулось внутри возражение, что как раз наоборот, туману его собеседник напустил такого, что и вовсе

ничего не понятно. Но высказать его не решился. Объяснить такую нерешительность Александр Яковлевич не мог бы, но осознавал, что барон – человек умный, обаятельный и при этом чрезвычайно опасный.

– В общем, Александр Яковлевич, пусть это прозвучит напыщенно, но на вас возлагается крайне важная, просто даже государственная миссия...

– На меня? – робко удивился Александр Яковлевич. – Да я-то...

– Уж поверьте, можете пригодиться – и еще как! Кстати, если вы о вчерашнем полицейском протоколе беспокоитесь, так вот он. – Фон Берг вынул из внутреннего кармана листок бумаги. – Изъят, как видите. Теперь его можно и разорвать. Вы ведь никакого перстня цены немалой, разумеется, не крали. Впрочем, пусть пока полежит. Знаете, все-таки официальная бумага. С немецкой полицией шутить не стоит.

Неожиданно в комнату быстрым шагом вошел слуга и, наклонившись к уху хозяина, что-то зашептал. Фон Берг поднялся и, подойдя к окну, глянул вниз. Потом усмехнулся и поманил пальцем Александра Яковлевича.

– Знаете эту мадам? – указывая на противоположную сторону улочки, спросил фон Берг. Александр Яковлевич немедленно узнал салоп и шляпку вчерашней незнакомки. И снова почувствовал нечто вроде гальванического удара. Вот она. И может быть, как и вчера, у нее под салопом ничего...

– Вижу, что знаете, – уже без ухмылки обронил барон. – После того как мы с вами вчера расстались, она вас догнала и, верно, просила о чем-то. По лицу вашему вижу, что даже пикантное зрелище вам устраивала прямо посреди улицы. А зрелище вам, как человеку высоко нравственному, это я уж без шуток, было невыносимо. То-то вы и ночь провели ужасную, верно?

Александр Яковлевич окончательно растерялся.

– Послушайте, – пробормотал он, стараясь сохранить достоинство, – честь дамы...

– Да какая уж там честь! – фон Берг презрительно кивнул за окно. – Эта особа немецкой полиции известна как Магда Шлиман, в то время как в Швейцарии и Италии проходит под именем Анны Ригельштерн. А уж в России у нее имен...

Барон презрительно махнул рукой.

– Могу я полюбопытствовать, что она у вас пыталась выманить? Неужели деньги?

Александр Яковлевич запнулся. Вопрос ему сильно не понравился. Он чувствовал: начини фон Берг разбираться со всей этой путаницей с бумагами Мордко, как выяснится еще что-то несусальное, и из

невинной мальчишеской затеи дело может превратиться в чуть ли не политическое. Ему захотелось немедленно уйти. Встать и гордо покинуть этот дом. Но и уйти было страшно, ведь на руках у фон Берга оставался компрометирующий Александра Яковлевича полицейский протокол.

– Молчите? – барон покачал головой, но тут же рассмеялся. – Ну да, как же это я не подумал: кодекс чести! Действительно, мало ли какие дела могут быть у молодого человека с красивой барышней.

Александр Яковлевич попытался возразить, что барышни этой он совсем не знает, только видел мельком в доме у Мордка. И что даже если она и подходила к нему вчера на набережной, так он и сам не понял, чего, собственно, ей было нужно. Но барон не дал ему объясниться.

– Да бог уж с ней, – проговорил он, возвращаясь к столу. – Повторяю, у меня к вам серьезнейшее и не терпящее отлагательств дело. Проще всего было бы использовать вас, что называется, втемную. То есть вовсе не сообщая, что к чему. Но я уверен, дело пойдет гораздо быстрее, если вы хоть в общих чертах будете знать его суть. Да будь моя воля, я бы вам всё в подробностях разъяснил. Но, увы, говорю вам, живое дело обросло секретными циркулярами да формулярами... Так что не обессудьте, во все детали посвятить не могу. Но кое-что все же позволю себе объяснить.

Я вам про мужичка-факира говорил, а в чем именно состояла его штука, не сообщил. Делал же он вот что. Брал подсвечник, тяжелый такой, литой, свечей на восемь, и ставил на высоченный шкаф о четырех дверцах, что в передней у приятеля моего находился. Потом мужичок как-то странно мялся, губами жевал, глядел куда-то в угол и вдруг падал на пол, прямо на паркет. Просто-таки как подкошенный. Приятель мой даже поначалу испугался, что тот насмерть убили. Мало ли припадочных. Да только мужичок-то оказался не припадочный. Потому что секунду спустя – вы только представьте! – подсвечник, как живой, подпрыгивал и, знаете ли, летел со шкафа вниз, прямо мужичку на голову. И тот его в последнюю секунду ловкой рукой ловил. И сколько потом ни проверяли, ни ниток, за которые можно было бы подсвечник сдернуть, ни других приспособлений обнаружить не удалось. Да и какие приспособления, если знакомый мой на расстоянии вытянутой руки стоял и внимательно за всем наблюдал.

Потом предложили мужичку тем же манером сам шкаф опрокинуть. А в том шкафу весу-то пудов пять, наверное. Да еще и рухляди всякой... И что вы думаете, опрокинул-таки шкаф, подлец! Чуть не задавило его. Да-а, штука! Ну тут уж знакомый мой стал ко всему

происходящему совсем всерьез подходить. А мужичок почувствовал, что господа с ним носятся, ну и нос задрал.

– Я, – говорит, – если желаете, и не такое могу сотворить. Давайте мне чего потяжелее, я и тут не оплошаю, опрокину.

И тогда, вообразите, знакомому моему приходит в голову совсем уж несусветное. Вместе с приятелем сажают они мужичка среди ночи в сани и везут на Дворцовую к Александровской колонне, сиречь Александрийскому столпу, по словам поэта.

– А можешь ли, голубчик, – спрашивает мой знакомый, – эдакую махину опрокинуть?

Мужичок бороденку задрал, прищурился, колонну на глазок пальцами измерил и головой покачал.

– А чего, – говорит, – попробовать-то всегда можно.

Тут уж всем присутствующим стало не по себе. Одно дело шкаф, а тут... Штука-то, согласитесь, получается совсем другого масштаба. Ну-с, отъехали подальше от греха. С одной стороны, посмеиваются между собой: не верится, что *такое* возможно. А с другой стороны, кто ж его знает. И вот представьте себе картинку. Полночь, фонари уж погасили. Ни души. Ветер с Невы облака низкие гонит, белесые, вспаленные какие-то. Если поднять голову, то колонна на их фоне вроде как сама на тебя валится. И мужичок этот один посреди площади застыл перед столпом. Жутко! А мужичок, как назло, нервы на кулак мотает – стоит и стоит, только бормочет что-то себе под нос. Наконец, знакомый мой не выдержал, вылез из саней – и к нему. И тут мужичок упал...

Фон Берг взглянул на Александра Яковлевича и встопорщил в ухмылке усы.

– И что? – не выдержал Александр Яковлевич. – Неужели уронил?!

Фон Берг выдержал паузу, лицо его приняло выражение не то сожаления, не то сдерживаемого гнева.

– Ну а вы-то сами как думаете? – спросил он. И тут же рассмеялся: – Ах да, всё время забываю, что вы уж более года живете в загранице. Так вот, не упала колонна. Не упала! Мужичок вздыхает, в затылке чешет. Говорит, хочет глыба упасть, да не смеет: тут место особое, заговоренное.

Ну-с, все присутствующие, конечно, разочарованы, но, в то же время, в глубине души испытывают несказанное облегчение. Ведь страшно подумать, что бы случилось, если бы и вправду колонна рухнула. Но история на том, увы, не закончилась...

Фон Берг посверлил Александра Яковлевича взглядом, как бы взвешивая, стоит ли открывать ему все секреты. Видно было, что фон

Бергу что-то в Александре Яковлевиче всё же не нравится, оттого и тянет, и туману нагоняет. В эту минуту Александр Яковлевич и сам не знал, чего ему хочется больше – уйти отсюда, так ничего и не узнав, или все же оказаться облеченным доверием. Ведь барон фон Берг даже не скрывал, что он – сотрудник того самого Третьего отделения, о котором отец отзывался со смесью уважения и страха. Была какая-то история, связанная с гибелью поэта, в которой отец будто бы принимал участие не только как лекарь. Это Александр Яковлевич смутно припоминал из слышанных в детстве обрывков разговоров родителей. Отец, словно оправдываясь, говорил матери, что не было у него тогда выбора...

– Так вот, – фон Берг со значением прищурился, – чуть позже, ну буквально пару дней спустя, выяснилось, что высеченный из гранитного монолита Александровский столп вдруг пошел трещинами... даже существовала опасность, что и совсем развалится. Скажете, совпадение? Вот тогда-то, чтобы всё проверить, по высочайшему указу и был учрежден этот самый департамент, из соображений секретности названный «Комитет для исследования повреждений Александровской колонны». В нем действительно приняли участие архитекторы, ибо, как сказано в протоколе осмотра, «увеличение числа и размеров трещин может породить обрушение колонны». Но это, так сказать, видимость. На самом же деле работают в этом комитете специалисты совсем другого рода. И вот при внимательном анализе «штуки» выяснилось, что единственным ее объяснением может быть то, что мужичок этот каким-то образом *умел менять местами причины и следствия*. *Перестановка*, понимаете?

Александр Яковлевич ничего не понял, однако на всякий случай кивнул. Но барона обмануть не смог. Фон Берг покачал головой и сказал, что и сам не очень-то понимает, как это всё работает. И вообще отдаст себе отчет, что история эта звучит как анекдот. Да только люди поумнее их решили, что метода эта может много пользы или, наоборот, вреда принести. Смотря на что ее направить.

Фон Берг задумчиво постукал пальцами по столу. Взгляд у него, как показалось Александру Яковлевичу, стал растерянным и даже как будто недоумевающим.

– Понимаете ли, – нехотя произнес он, – я, как и многие мои коллеги, человек трезвый и приземленный, но тут приходится иметь дело с вещами не совсем... осязаемыми, что ли. И, однако же, циркулярами вполне очерченными... Я вам, Александр Яковлевич, искренне признаюсь: самому неловко. Но ведь есть высшее повеление. Как офицер и дворянин, я просто обязан...

И вот тут самое важное. Наиважнейшее. Ведь коли существует

метода, она может и в руки негодяев попасть... Понимаете? Нет? Как вы знаете, Государь наш, реформатор, совсем недавно отменил крепостное право. Сам, высочайшим повелением. Это же всё меняет в корне! Эдакие вещи – сохрани нас Всевышний – только после переворотов случаются. По смерти правителя. А тут... Да вы хоть про Северо-Американские Штаты вспомните. Как их президента после отмены рабства пристрелили. Можно, конечно, всякое предположить, но аналогия неприятная получается.

Фон Берг оглянулся на дверь и, придвинувшись к Александру Яковлевичу, зашептал. Александр Яковлевич содрогнулся, осознав, что плетется какая-то замысловатая, пожалуй, даже политическая интрига, и что сам он отчего-то оказался в ее центре. Ему стало жутко и, в то же время, он почувствовал странную гордость от принадлежности к избранным – тем, которым, доверено *такое*.

– Да отчего же я? – пролепетал он, боясь разочароваться.

– А-а, – протянул фон Берг, – понимаете, мужичок тот... Не знаю уж, какими способностями он обладал, но чутьем – несомненно. После истории с Александровской колонной не уследили – так он исчез, скотина такая, как сквозь землю провалился! Стали судить да рядить, как дальше быть. Ведь совершенно непонятно, за что уцепиться. Как я уж говорил, метода методой, а мужичок и сам не знал, как у него получается причины со следствиями менять. И тут вспомнили... Как бы это поделикатней выразиться? В общем, было у мужичка редкое заболевание. Ну, словом, такой же... э-э... физический недостаток, как и у вас. Как это со способностями к *Перестановке* соотносится, непонятно, но это пока всё, чем мы располагаем. И есть высочайшее повеление имеющих оный недостаток найти и, так сказать, привлечь.

Фон Берг мельком взглянул на Александра Яковлевича, и тут же, будто ему стало неловко, отвел взгляд.

– Опять же, – с досадой сказал он, – живое дело в руках бюрократов превращается в анекдот. Вы-то в это время были здесь, в Германии. А в России... Спустили, значит, циркуляр из канцелярии. Ну и городовые начали ловить всех подходящих по приметам. А что да за чем, никому не объяснялось. Ввиду особой секретности. Что далее началось, понятно. Слухи пошли нелепые, графиня Заланская, у которой, говорят, дочь на один глаз кривая, от греха в Италию уехала. А простой народ прятаться стал. Да не только те, кто с расходящимся косоглазием, уж извините, а и вообще... Нижние чины этим, понятно, воспользовались. В нижегородском уезде купец Анофриев сдуру тысячную взятку дал за то, чтобы его не забрали. А он всего лишь рябой до невозможности. Всё это было бы смешно, *когда бы не*

было так грустно. Пришлось циркуляр в срочном порядке отзывать и действовать по-другому. В рамках высочайшего повеления, но по-другому.

Я потому вам всё это рассказываю, что вижу перед собой человека просвещенного и понимающего свой долг. В Италию не сбежите, верно? Приказы, знаете ли, не обсуждают. Тем более высочайшие. И хотя, скажу честно, вы, Александр Яковлевич, не единственный, на кого пал выбор, весьма возможно, именно вы будете представлены Его Величеству. Думаю, мне не нужно говорить вам о строжайшем соблюдении тайны. Сами понимаете...

Александр Яковлевич не верил своим ушам. Его жизнь разделилась на две половинки. В прежней жизни остались мальчишеские страхи и увлечения. И даже воспоминание о незнакомке осталось там и как-то померкло. Но зато в новой жизни виделись ему залитые светом дворцовые залы, муаровая лента через плечо и колючий орден Святого Станислава... Да разве можно сравнить какие-то пустяки вроде поисков заклинания Фауста с важнейшей государственной миссией? Фон Берг, конечно, прав, и то, что его выбрали из-за физического недостатка, дела не меняет. Тут Александр Яковлевич даже в мыслях запнулся... Слишком уж невероятным было то, что с ним происходило.

Он плохо запомнил, как попрощался с фон Бергом, еще раз пообещав ему сохранять тайну. Незнакомки перед домом уже не было, и Александру Яковлевичу на секунду показалось, что не было и самого фон Берга, что всё это ему только привиделось. Перейдя на другую сторону улицы, он невольно поднял глаза на окно только что покинутой квартиры. Барон, отодвинув занавеску, махал ему рукой. Значит, всё правда. Значит, завтра же ему предстоит возвращаться в Россию, в Санкт-Петербург. Александр Яковлевич заторопился: ему нужно было успеть сообщить в университет, рассчитаться за комнату и попрощаться с ничем еще не подозревающим Платоновым.

Он почти успел дойти до дома, когда перед ним снова появилась незнакомка. Скорее всего, она вынырнула из-за угла, но погруженному в свои мысли Александру Яковлевичу показалось, что девушка материализовалась из воздуха, как шекспировский Призрак. Лицо ее на этот раз выражало уже не испуг, а сочувствие. Александр Яковлевич не мог еще раз не отметить ее удивительную красоту.

– Господин, – томно произнесла красавица. И снова что-то вроде электричества пробежало по его телу. – Господин, произошло ужасное недоразумение! Я приняла вас за другого. Поэтому забудьте всё... всё, что я вам предлагала.

Она опустила глаза и тут же снова подняла их на Александра Яковлевича:

– Я пришла предупредить вас о страшной опасности...

Она бросила взгляд куда-то за плечо Александра Яковлевича и тут же, метнувшись в сторону, исчезла в переулке. Александр Яковлевич оглянулся, но за спиной никого не было.

Часть вторая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В ту ночь Александру Яковлевичу казалось, что он совсем не спал. Да и как тут заснешь? Виделось ему всякое... и словами-то не объяснимое, но захватывающее дух. Ночь, Дворцовая площадь, Александрьевский столп, а под ним он, Александр Яковлевич. И рядом спасенный им Государь, который, прослезившись, прижимает его к увешанной орденами груди.

И трясет. Рука у него жесткая и сильная. И только секунду спустя Александр Яковлевич понимает, что трясет его склонившийся над кроватью фон Берг, и колышущееся пламя свечи бросает страшные тени на его перекошенное лицо.

– Вставайте! – шепотом кричит фон Берг. – Немедленно вставайте! У нас беда!

И спустя еще несколько секунд, убедившись, что Александр Яковлевич окончательно проснулся, рассказывает. Только что на улице полицией был найден труп небызвестной ему девицы. А при трупе – измазанная кровью перчатка с его, Александра Яковлевича, инициалами. Кроме того, опрошенные свидетели указали, что видели мужскую фигуру, убегавшую от лежавшей на тротуаре девицы. И убийца этот, по описаниям, очень похож на Александра Яковлевича...

– Проверьте, на месте ли ваши перчатки! – приказал фон Берг. – Да извольте шевелиться! – добавил он, увидев, что Александр Яковлевич стесняется при нем своего исподнего. – Какие уж тут церемонии?

Александр Яковлевич вскочил и, накинув на плечи шинель, бестолково заметался по комнате. Из перчаток в наличии оказалась только одна, левая... Но зато в кармане шинели, в уголке, Александр Яковлевич неожиданно нащупал предмет, который никоим образом не должен был там оказаться. А именно – перстень, тяжелый, с крупным камнем. Тот самый, о котором говорил Мордко! Обескураженный Александр Яковлевич открыл было рот, чтобы сообщить о находке фон Бергу, но вовремя сообразил, что об этом

говорить сейчас никак нельзя: ведь получится, что перстень он действительно украл. Чего доброго, фон Берг решит, что и незнакомку убил именно он...

Обо всем об этом Александр Яковлевич думал, уже сидя на пароходике, идущем вверх по реке в Базель. А тогда казалось, что кто-то недобрый плотно укутал его в тяжелую мокрую простыню, лишив воли и возможности соображать. Поди теперь докажи, что ты никого не убивал... А ведь за такое в Германии, кажется, голову рубят... Александр Яковлевич содрогнулся. Хорошо еще, что фон Берг не терял присутствия духа. Сам он нисколько не сомневался, что Александр Яковлевич тут ни при чем. Но все улики... Перчатка-то действительно пропала. Поэтому нужно было немедленно скрыться. И бежать не в сторону российской границы, а на юг, в Швейцарию, — туда, где, вероятнее всего, искать не будут. Вещи были собраны в принесенный фон Бергом поместительный саквояж в несколько минут. Следовало торопиться, чтобы успеть на пароход, который делал остановку у гейдельбергской пристани в пять утра.

Фон Берг заставил Александра Яковлевича надеть принесенные им пальто и котелок взамен студенческой шинели и фуражки. Пальто оказалось не по размеру коротким, а шляпа напозвала на глаза, но выбирать было не из чего. По дороге к пристани Александр Яковлевич промямлил, что искренне благодарен за помощь, без которой он бы пропал. Ему было по-настоящему страшно.

— Бросьте, ни к чему! — отмахнулся фон Берг. — Скорее всего, убийство напрямую связано с нашим делом и, таким образом, я становлюсь ответственным за вашу участь. Подозреваю, что наш с вами приятель Мордко работает на кого-то, кому выгодно, чтобы вы не добрались до Петербурга. Впрочем, тотчас по отъезде вашем я это проверю.

На прощание фон Берг вручил Александру Яковлевичу пачку банковских билетов и инструкции. В Базеле ему следовало пересесты на поезд до Цюриха, а оттуда, тоже железной дорогой, доехать до Люцерна. В Люцерне он должен остановиться в гостинице «Пилатова гора», неподалеку от вокзала, и ждать вестей от него, фон Берга.

Александр Яковлевич плохо помнил, как добрался до Цюриха. Он и самого Цюриха не запомнил бы, если бы не досадное недоразумение. Получилось так, что, несмотря на хваленую местную пунктуальность, поезд из Базеля пришел в Цюрих с получасовым опозданием, и Александру Яковлевичу пришлось полдня неприкаянно бродить по городу, дожидаясь нужной ему пересадки на Люцерн. Остаться на вокзале не было никакой возможности: Александру Яковлевичу

всё время казалось, что каждый полицейский – и на перроне, и в залах ожидания – подозрительно глядывается в него и вот-вот арестует. Поэтому он подхватил свой саквояж и торопливо вышел на улицу.

День стоял серый, то и дело начинало моросить. Александр Яковлевич шел куда глаза глядят, переходил по мосткам через какие-то каналы, сворачивал в переулки и неожиданно для себя очутился посреди широкой центральной улицы, ведущей к Цюрихскому озеру. За озером открывался вид на горы, далекие и безмятежные. Александру Яковлевичу вдруг остро захотелось оказаться где-то там, далеко отсюда, на покрытой снегом вершине, откуда все людские беды виделись бы пустяком, да и сами люди – мелкими незначительными букашками... Но в то же время, когда прямая опасность уже миновала, почувствовал Александр Яковлевич, что в нем зарождается какой-то новый, ему самому неведомый человек. Этот новый Александр Яковлевич наверняка не сбежал бы позорно из укромного домика. И возложенная на него фон Бергом тайная миссия, отягощенная к тому же грузом ужасных обвинений, теперь показалась Александру Яковлевичу еще более привлекательной.

«Что ж, – думал он, выходя на площадь, испещренную рельсами конки, – было бы даже странно, если всё то, что представлялось в мечтах, свершилось бы без трудов и опасностей... Да, сейчас он отверженный беглец, но... в отверженности есть своя прелесть.» И безудержная фантазия стала рисовать ему картинки новой, полной опасностей и приключений жизни.

– Я вижу, господин – иностранец, — раздался у него над ухом неуверенный голос. – Если у вас есть немного времени, то...

Александр Яковлевич, сжавшись от страха, обернулся и увидел субъекта странной наружности в потертом зимнем фраке, поверх которого было брошено нечто, более всего напоминавшее женскую шаль. На голове же красовалось недавно вошедшее в моду теплое английское кепи. Сам субъект был тощ, с длинным мексиканским лицом и широким затейливо вырезанным ртом. Взглянув на Александра Яковлевича, он заметно смутился.

– Дайте мне пройти! – воскликнул Александр Яковлевич. Менее всего ему сейчас хотелось общаться с подозрительными типами. Стараясь не переходить на бег, он быстро двинулся в сторону озера.

– О-о, – убитым голосом протянул вслед ему незнакомец, – понимаю, господин серьезный и занятой человек. Но постойте, пожалуйста! Вы не подумайте, я не попрошайка. Я бы мог объяснить свои обстоятельства, но разве кому-нибудь могут быть интересны такие обстоятельства? Хотелось бы мне самому их не знать!

Александр Яковлевич остановился. В голосе этого нелепого человека было что-то такое, что Александр Яковлевич вдруг ощутил жалость к нему. Неожданная мысль, что есть на этом свете люди, которым, возможно, приходится хуже, чем ему самому, обожгла Александра Яковлевича. Он опустил руку в карман пальто, чтобы подать нищему мелочь, но вместо монет пальцы наткнулись на холодные острые грани камня.

«Господи, – пронеслось в голове у Александра Яковлевича, – да как же это?»

За всеми приключениями он совершенно забыл о треклятом перстне, и уж точно не помнил, когда успел переложить его из кармана шинели в пальто. И главное, зачем?!

– Да вы напрасно беспокоитесь, – горько сказал нищий, увидев, как Александр Яковлевич застыл с опущенной в карман рукой. – Я вовсе не денег у вас хотел просить. Дело в другом.

– Так в чем же, позвольте полюбопытствовать? – спросил Александр Яковлевич и, почувствовав, что довольно ловко подражает уверенной манере фон Берга, удовлетворенно хмыкнул.

Нищий принял это на свой счет и улыбнулся. Улыбка у него была детская, обезоруживающая, совершенно меняющая выражение его мефистофельского лица. Откуда-то из недр своего немислимого фрака он выудил несколько фотографических карточек и издала показал Александру Яковлевичу.

– Желаете взглянуть?

Александр Яковлевич отступил на шаг и отрицательно покачал головой. Этот сомнительный прилипчивый субъект того и гляди начнет кричать и хватать его за руки. Что привлечет ненужное и даже опасное внимание прохожих. Нищий мгновенно угадал смену настроения Александра Яковлевича и горестно приподнял брови.

– Ну вот, – сказал он убитым тоном, – какой из меня коммерсант... Мадам опять будет недовольна. А может быть, вы все-таки согласитесь? У нее такие девочки...

Девочки? Александр Яковлевич дрогнул. Но нисколько не смутился и даже, наоборот, усмехнулся – почти совсем как фон Берг! – и подумал, что, может быть, следует, черт подери, пойти с этим неуклюжим сводником. Пора уж, наконец, стать настоящим мужчиной! Нищий, казалось, читал его мысли. Он снова изменился в лице, противно захихикал и поманил Александра Яковлевича за собой.

– Тут совсем рядом, пойдемте, пойдемте. Это приличное заведение, даже господа театралы не брезгают, благо, – нищий взмахнул костлявой рукой, – оперный театр непосредственно напротив.

Следуя за нищим, Александр Яковлевич свернул налево, на

набережную, идущую вдоль озера, прошел мимо нарядного, не хуже петербургской Мариинки, здания оперного театра и снова свернул налево, на тихую улочку.

– Вот сюда, господин, прямо сюда, – вился вокруг него нищий. – Уверяю вас, эти девочки... О, это не обычные девочки! Вам откроются тайны древних индусских трактатов о любви. Говорят даже, что там описывается путь к бессмертию. Впрочем, бессмертия я обещаю вам не могу, но девочки у мадам действительно самые лучшие в городе.

Они остановились перед крыльцом солидного дома красного кирпича. Прежде чем войти, Александр Яковлевич огляделся по сторонам. Странное место для... для девочек. В Гейдельберге укромный домик действительно стоял у моста, в стороне от жилищ добропорядочных бюргеров. А тут... Вдруг словно молния сверкнула у него перед глазами, закололо под языком и на затылке шевельнулись волосы. В окне на противоположной стороне улицы мелькнуло яркое рыжее пятно. Забыв о нищем, что-то верещавшем ему вслед, Александр Яковлевич бросился через дорогу. Да, никакой ошибки не было – точно так же, как в Гейдельберге, за окном, на подоконнике сидел большой рыжий кот и брезгливо глядел на подскочившего Александра Яковлевича. И самое поразительное, рядом с котом в тяжелом темного серебра подстаканнике стоял недопитый кем-то стакан чаю.

У Александра Яковлевича перехватило горло. Вот сейчас кот прыгнет вниз, а вместо него появится прекрасное лицо незнакомки... мертвой незнакомки. Правда, кот и не думал уходить с подоконника, а принялся вылизывать лапку, искоса поглядывая на назойливого прохожего.

Александр Яковлевичу тут же захотелось уйти. Ему было страшно. Но, с другой стороны, он человек здравый и, в отличие от Гамлета, в призраки решительно не верящий. И если сейчас за окном появится незнакомка, то, значит, произошла ошибка и она жива! Хотя как бы она могла оказаться в Цюрихе? Тогда что же это? Совпадение? Или все же вот-вот появится ее дух? Александр Яковлевич действительно почувствовал себя датским принцем, мучительно решающим, как ему быть.

– Что же господин сразу не сказал, что именно ему нужно? – нищий стоял рядом с укоризненной миной на вытянутом лице. – Если вас интересуют не девочки, а древности, то я готов лично познакомиться с господином Абрахамсоном. Это его окно, но сама торговля находится внизу. Вот сюда, по ступенькам.

Нищий метнулся в сторону от окна и жестами указывал на дверь в полуподвал.

– Ну-с что же, – с интонациями фон Берга сказал себе Александр Яковлевич, – ситуацию следует прояснить. *Веди меня, мой Лепорелло!*

В полуподвале размещалась лавка старьевщика или, говоря по-модному, антиквара. Помещение было полутемным и довольно обширным, уставленным старой мебелью, на которой в беспорядке была разложена всякая всячина вроде пыльных стеклянных ваз, потемневших статуэток из слоновой кости и бронзовых подсвечников с остатками свечей. Под низким потолком витал запах пыли, воска и мышиного помета. У расположенного почти на уровне тротуара окна находился невысокий прилавок, на котором стояло несколько обернутых холстиной ящичков. В ответ на звук дверного колокольчика сверху раздались тяжелые шаги, скрипнула скрытая занавеской дверь и, наконец, к прилавку, тяжело ступая, подошел грузный седой старик, одетый в длинный, серой ткани, сюртук. Высокий воротник сорочки подпирал полные гладко выбритые щеки. Хриплое дыхание выдавало в старике астматика.

– Господин Абрахамсон, – тут же заюлил нищий, высунувшись вперед и чуть ли не пополам согнув длинное неуклюжее тело, – я, изволите видеть, привел к вам покупателя... то есть господин интересуется, и я подумал, что могу быть полезен как комиссионер...

– Э-э, – отмахнулся старик и бросил на Александра Яковлевича тяжелый недовольный взгляд. – Веди своего клиента к мадам. Что ему здесь делать?

Александр Яковлевич невольно оскорбился.

– Да отчего ж вы знаете, что я не покупатель? – запальчиво спросил он.

– Ну давайте допустим, – подумав, сказал старик непроницаемым тоном, – что вы – собиратель древностей. И что вас интересует конкретно?

– Меня, – холодно произнес Александр Яковлевич, – более всего сейчас интересует некая девица, имеющая обыкновение пить чай на подоконнике.

Кажется, брось Александр Яковлевич посреди лавки бомбу, она произвела бы меньший эффект. Старик выпучил блеклые глаза и стал ловить внезапно посиневшими губами воздух. Его пухлая рука с короткими пальцами пыталась разорвать крахмальный воротник.

– Вы... – хрипел он, – вы... Да я вот... полицию...

При упоминании полиции Александру Яковлевичу следовало бы испугаться, но он сразу догадался, что никакой полиции старик звать не будет, потому что напуган чем-то, во что полицию, да и вообще посторонних, вмешивать никак не следует. И оказался прав: отдышавшись, старик еще раз внимательно оглядел Александра

Яковлевича и покачал головой. Потом глянул на нищего и сделал рукой повелительный жест. Нищий всхлипнул, понятиливо закивал и тут же кинулся вон из лавки.

– Та-ак, – протянул старик, когда за нищим закрылась дверь, – значит, вы знакомы с ней?

С ней? Александр Яковлевич почувствовал, что, едва выбравшись из одной интриги, стремительно оказывается вовлеченным в другую. Причем весьма вероятно, что вторая является лишь продолжением первой. Этот старик вполне может оказаться в родстве с Мордко, следовательно, и с незнакомкой. Причем, судя по всему, радости ему это родство не доставляет. Александр Яковлевич вдруг вспомнил, что незнакомка мертва, сам он в розыске по обвинению в убийстве, а фон Берг, его единственный друг и спаситель, находится далеко отсюда, в Гейдельберге.

– Я... – пролепетал Александр Яковлевич, отступая к двери, – я не знаю, о чем вы говорите...

– Все вы прекрасно знаете! – убежденно произнес старик. – Я ждал, что кто-нибудь явится от нее. Ей опять нужны деньги? Так я больше не дам ни гроша! Интересно, чем она будет меня шантажировать на этот раз? Да говорите же, наконец, коли имели наглость явиться сюда!

На мужественном лице старика отразилась такая злость, что Александру Яковлевичу стало понятно: никаким образом он не сможет переубедить этого человека. Александр Яковлевич в панике бросился к двери. Вслед ему неслись проклятия.

Очутившись на улице, Александр Яковлевич немного отдышался. И даже заставил себя рассмеяться. Да как же это он так ридикульно вляпался-то? Если вдуматься, то получается даже занятно: покойная незнакомка – опасная международная авантюристка, которая обвела вокруг пальца еще и этого старика. Только вот рыжие коты и чай на подоконнике... Что-то вроде тайного знака? Но как-то уж больно затейливо.... Размышления Александра Яковлевича были прерваны вновь появившимся нищим.

– Вы знаете, – робко сказал тот, – я всю жизнь думаю: почему лошади разрешают на себе ездить? Ну, то есть, я могу понять, если у лошади один хозяин, она к нему привыкла, полюбила и вообще... Говорят, укротитель в цирке может приказывать только своему, воспитанному им лично тигру. Другой тигр его просто-напросто растерзает. А вот кучер может править любой, даже совершенно незнакомой лошастью. Странно, правда? Ведь лошадь тоже животное, и даже очень сильное. И умное. Как вы думаете, отчего она подчиняется кому попало?

Нищий вопросительно поглядел на Александра Яковлевича и тут же опустил глаза.

– Ну да, – грустно промолвил он, – я несу чепуху, и вы меня сейчас прогоните.

Александру Яковлевичу опять стало жаль этого несчастного.

– Послушайте, – сказал он покровительственно, стараясь подражать фон Бергу, – мне про лошадей сейчас неинтересно. Вы вот лучше скажите про этого господина Абрахамсона.

– Ну как же так, – удивился нищий, – чтобы про лошадей было неинтересно? Они ведь почти как люди. В этом-то всё и дело, наверное, потому их и мучают. Тигры себя мучить не дают. Или даже кошки. А вот лошади, они позволяют...

Заметив нетерпеливый жест Александра Яковлевича, нищий покладисто сменил тему.

– Впрочем, если хотите, могу объяснить и про господина Абрахамсона. У него несчастье. То есть сначала он думал, что счастье. Но потом оказалось, что нет. Понимаете, у господина Абрахамсона есть жена. Вернее, была. Господин Абрахамсон – человек пожилой, но может себе позволить жениться на молодой девушке. Я бы сказал, на очень молодой. Обычное дело – старый муж и молодая красота... Господин Абрахамсон, как полагается, сразу захотел создать ей все условия. Ну, чтобы у нее было всё, чего бы она желала. Вопрос в том, *чего* она желала. А она только и потребовала, что завести рыжего кота, – и целыми днями сидела у окна, распивая чай. Да-а, на самом деле это очень грустная история. Вы про Гамельнского флейтиста слышали? Давным-давно, кажется, в Нижней Саксонии, появился такой флейтист и увел за собой всех детей славного города Гамельна.

Нищий оглянулся по сторонам и, хотя на углу, где они остановились, не было ни души, понизил голос.

– Так вот, эта история – не вымысел, не легенда! Нет-нет! – оборвал он сам себя. – Я не сумасшедший, не подумайте! Как раз совсем наоборот, рад был бы помутиться в рассудке и не видеть очевидно-го... Но послушайте! Гамельнский флейтист, или, если хотите, дудочник, действительно существовал. И дети за ним ушли. И нет тут никакой тайны!

Александр Яковлевич демонстративно достал из кармана часы. До поезда в Люцерн оставалось чуть более часа. Пора было возвращаться на вокзал.

– Ну вот, – огорченно протянул нищий, – сами же спросили, а теперь... Ну да, я постоянно отвлекаюсь от главного и много болтаю. Как тут заработать? Хотя, с другой стороны, кто знает, что есть главное? Вот вы знаете?

Александр Яковлевич пожал плечами и направился в сторону вокзала. Тем не менее он продолжал испытывать к этому неуклюжему субъекту странную симпатию. И нищий, словно понимая это, заторопился вслед за ним, неловко семеня длинными ногами.

— Гамельнский флейтист время от времени продолжает появляться до сих пор. Молодая красивая жена господина Абрахамсона ушла за ним. Я даже подозреваю, что и у окна она сидела как раз для того, чтобы не пропустить появление этого самого Флейтиста...

Нищий искоса взглянул на Александра Яковлевича и комично замахал руками.

— Я опять не о том! Так вот, если подумать, как могло случиться, что дети вдруг взяли и все вместе покинули город? Какая сила могла это сделать?

Александр Яковлевич, не останавливаясь, шел к вокзалу, пытаясь на ходу определить направление. История сбежавшей жены господина Абрахамсона показалась ему занятой.

Нищий не отставал. У Александра Яковлевича сложилось впечатление, что этот несчастный изголодался по общению и теперь торопливо выкладывал невольному собеседнику все свои накопившиеся изрядно запутанные мысли.

— Простите великодушно, вы, конечно, не иудей? Нет? Это хорошо, это просто замечательно! Нет, не подумайте, ничего такого! Понимаете, христианский мир не любит иудеев не оттого, что они жадны или, например, отравляют колодцы. Это уже потом придумали, чтобы самим было *понятнее ненавидеть*. На самом же деле причина ненависти в том, что иудеи лишают мир чудес. Их учение, может быть, убедительно, да. Но оно невыносимо скучно! Ну как же это — не сотвори себе кумира? Да это не только невозможно, а просто даже и убийственно! Ведь желание иметь кумира как раз и есть самое восхитительное качество человека. У тех же лошадей или тигров кумиров быть никак не может...

Нищий так увлекся, что забежал перед Александром Яковлевичем, обернулся к нему лицом и шел, делая длинными ногами огромные шаги назад. Выражение его вытянутого лица стало задумчивым и торжественным.

— Ведь кумир — это символ высшей веры... и даже не веры, а надежды, великой надежды на то, что существует в этом мире нечто больше и лучше тебя, к чему можно прикоснуться. Не сухие тексты Писания, и не Господь где-то там, далеко, а именно *материализовавшееся чудо*! Понимаете? Ведь это же самое главное!

— Вы, сударь, рассказчик совершенно никудышный, — сказал

Александр Яковлевич, представляя, как нелепо они оба выглядят со стороны. – Начали рассказывать о сбежавшей жене господина Абрахамсона, а теперь вот куда вас занесло, аж к иудеям.

– Да я как раз о ней и рассказываю, – удивился нищий. – В Гамельне как дело было? Всё же задокументировано – это начало тринадцатого века. Так это же время *детского крестового похода!* Вообразите, раннее Средневековье, фанатизм. Считалось тогда, что дети – чистые безгрешные существа – только и способны отвоевать Гроб Господень. И дети – совсем маленькие и подростки – уверовали в свою миссию. Да, это была великая миссия! Сотнями, да что там, тысячами шли они со всей Германии к морю. Дети... Ведь если даже сейчас дети ежедневно страдают от насилия взрослых, иногда даже собственных родителей, то можно себе представить, как им жилось в те времена. И вот эти совершенно обездоленные существа вдруг почувствовали себя избранными, чуть ли не святыми! Над ними уже нельзя было издеваться, эксплуатировать, развращать... Само море должно было расступиться перед ними. И конечно, пасть, как от трубы иерихонской, должны были стены, укрывающие неверных сарацинов!

Не останавливаясь, нищий поднял глаза к серому, сочащемуся дождем небу, и, как будто представив себе эту картину, мечтательно улынулся.

– Ну а что было дальше, известно: детей посадили на корабли, отвезли в Алжир и, недолго думая, продали в рабство. Но это, так сказать, официальная версия. Кто в тринадцатом веке мог бы с уверенностью сказать, что там произошло на самом деле? Кроме того, подрывившиеся переправить детей в Палестину шкиперы сами были религиозными фанатиками, так что вряд ли они могли решиться на такое святотатство. Нет, мне почему-то кажется, что дети как раз добрались до Иерусалима. И Гроб Господень они освободили. Но по-своему, по-детски. То есть совсем не так, как это виделось взрослым... Ведь прежде, врываясь Палестину, рыцари-крестоносцы просто-напросто убивали всех без разбора на своем пути. Даже христиан. Тут какая-то другая, удивительная история с детьми приключилась... А чтобы хоть как-то объяснить себе, куда подевались дети, взрослые придумали эту историю о продаже в рабство.

Александр Яковлевич покачал головой и усмехнулся. Если бы не обстоятельства, он бы с удовольствием пообщался с этим нищим подольше. Но сейчас ему было не до занятных теорий.

– Поэтому, – не унимался нищий, – есть все основания полагать, что именно Флейтист увел детей в землю, текущую молоком и медом! Видите, как всё просто? Я подозреваю, что этот Флейтист

приходил и раньше, просто о нем не осталось достоверных сведений. Конечно, он и теперь появляется время от времени...

Нищий замолк и остановился так неожиданно, что Александр Яковлевич чуть не натолкнулся на него. Тогда нищий сдвинулся в сторону и протянул руку, словно собираясь взять Александра Яковлевича под локоть, но в последнюю секунду не решился.

– Представьте себе на секунду человека, здорового человека, случайно оказавшегося пациентом в психиатрической лечебнице. Ведь бывает же такое, правда? А когда он пытается доказать, что нормален, что его присутствие среди сумасшедших – нелепая ошибка, то вдруг с ужасом понимает, что все доказательства его... как бы вам сказать?.. Штука в том, что *настоящий* душевнобольной стал бы приводить те же самые доводы. А что еще страшнее, оказывается, что никаких веских доказательств его нормальности просто не существует. И тогда он начинает смотреть на себя иначе, чем раньше, и замечать, что, может быть, и действительно с ним не всё в порядке...

Нищий наклонил голову и испытующе поглядел на Александра Яковлевича. Александр Яковлевич почувствовал, что еще немного, и он поверит этому комичному типу. Платонов всегда говорил, что Александр Яковлевич слишком впечатлителен и, скорее всего, подвержен гипнотическому влиянию. Нет-нет, с него довольно! Александр Яковлевич твердой рукой, совсем как это сделал бы фон Берг, отодвинул нищего и решительным шагом двинулся к вокзалу.

– Позвольте! – вслед ему торопливо воскликнул нищий. – Я же вам самого главного про жену господина Абрахамсона не рассказал... Пойдите, да куда же вы?

Понимая, что выглядит ужасно нелепо, Александр Яковлевич всё же не смог заставить себя идти медленно и побежал. На бегу он обернулся, чтобы взглянуть на оставленного позади нищего и увидел, что тот даже не пытается его догнать, а стоит посреди улицы, улыбаясь и машет ему рукой.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Поезд отошел от вокзала. В окне проплывали великолепные альпийские ландшафты, но Александр Яковлевич обзирал окрестности рассеянно. Его терзали смешанные чувства. По зрелом размышлении всё случившееся с ним за последние дни стало видеться в другом свете. Разве что встреча с бароном фон Бергом, да и то... Александру Яковлевичу решительно не нравилась поневоле принятая на себя роль пассивного участника событий. Складывалось впечатление, что все остальные знали что-то скрытое от него или, вернее,

открывающееся ему по частям, разрозненным и отрывочным и потому совершенно сбивающим с толку.

Александр Яковлевич отвернулся от окна и посмотрел на своих спутников. Напротив сидела пожилая, никак не моложе сорока лет, женщина. Обычная мешчанка со стертым незапоминающимся лицом. У двери расположился невысокий толстенький господин, почти карлик, с лукавым взглядом, – по виду мелкий коммивояжер. Вот только руки его показались Александру Яковлевичу подозрительно ухоженными. Правой рукой коммивояжер безостановочно похлопывал себя по колену, как будто пытался выстучать какой-то мотивчик. Александр Яковлевич заметил, что женщина несколько раз раздраженно взглянула на его постоянно находившуюся в движении ладонь. Впрочем, она и на Александра Яковлевича смотрела с таким же выражением. И дело было не в его недостатке. При взгляде на него приличные люди просто отводили глаза. А неприличные, наоборот, глядели не отрываясь. Наверное, этой мешчанке просто не нравилось ехать в купе одной с двумя мужчинами.

– Вы в Люцерн? – спросил карлик-коммивояжер, поймав взгляд Александра Яковлевича. Этот бессмысленный вопрос был задан явно с целью завести разговор. Александр Яковлевич неохотно кивнул.

– Едете по делам? Или... – карлик сделал приглашающую к беседе паузу.

«Этот тип, – подумал Александр Яковлевич, глядя коммивояжеру в глаза, – навязывается мне в собеседники, конечно же, только для того, чтобы скоротать дорогу. Прежде я бы и сам был не прочь поболтать с попутчиком. Но, странное дело, мое новое положение как будто отделило меня от остальных людей. И я еще не знаю, нравится мне это или нет.»

Он вспомнил слова нищего о человеке, случайно попавшем к душевнобольным. Черт возьми, такое ощущение, что в последнее время его самого окружают какие-то странные люди. Интересно, кому он должен доказывать свою нормальность? Уж не этому ли коммивояжеру?

Между тем пауза затягивалась. Карлик убрал ладонь с колена, хихикнул и кивнул на стоявший у ног Александра Яковлевича саквояж.

– Да вы не подумайте! Это я просто так. Игра у меня такая. Понимаете, ездить приходится много, и, чтобы убить время, я обычно пытаюсь определить по багажу попутчика, с какой целью он едет из одного пункта в другой. Попробуйте сами, увидите – это занятно. Ну вот, например, наша соседка, – коммивояжер поклонился подозрительно глядевшей на него женщине, – сдала в багажное отделение

два баула и сундук. Скорее всего, в Люцерне живут ее родственники, к которым она давно собиралась в гости, да только сейчас выбралась. А по тому, как она растерялась на перроне, можно с уверенностью сказать, что это ее первая поездка по железной дороге. Не так ли, фрау?

Женщина возмущенно пожала плечами и, не проронив ни слова, отвернулась к окну. Коммивояжер удовлетворенно хмыкнул.

– Ну вот. А вы... – карлик прищурился и щелкнул пальцами, – вы, скорее всего, студент, а в Люцерн едете ненадолго, по каким-то неожиданным, но неотложным делам. Ну что, верно угадал?

Александр Яковлевич растерялся. Неужели по его виду так легко определить затруднительные обстоятельства, в которых он находится?

– Если, разумеется, вы не бомбист, – добавил карлик и рассмеялся. – Сейчас, говорят, по всей Европе разъезжают благонадежные с виду молодые люди и возят вот в таких саквояжах бомбы. Все они будто бы являются членами какого-то тайного общества.

– Господи, – жалобно сказала женщина, – ну зачем вы меня пугаете?

Она скользнула взглядом по саквояжу Александра Яковлевича, потом по его лицу и боязливо подобрала ноги под сидение. Александр Яковлевич растерялся еще больше. Никакой бомбы в его саквояже, разумеется, не было, но само по себе глупое подозрение вызывало неприятное желание немедленно оправдаться. Александр Яковлевич с трудом подавил в себе порыв открыть саквояж и показать попутчикам его содержимое.

– Зачем же вы так? – произнес он, стараясь подражать фон Бергу. – Это глупо, я вас тоже могу в чем-нибудь заподозрить.

– Ну вот, вы сразу и обиделись! – карлик довольно потер ладони. – Ведь я только предположил, верно? Просто, студент, судя по акценту, иностранец, да еще путешествующий с очень подозрительным саквояжем... Конечно-конечно, какой из вас бомбист? Вполне приличный молодой человек.

Александр Яковлевичу наконец удалось взять нужный тон.

– Да вы и сами выглядите благонадежно, – уверенно сказал он, с улыбкой глядя на карлика. – Следует ли из этого, что и вас нужно подозревать?

– Конечно же, нужно! – карлик обрадовано взмахнул руками. – Ведь, посудите сами, мне, опять-таки, часто приходится путешествовать не только по Швейцарии, но и по всей Европе. И сколько раз случалось сидеть в купе напротив... ну, только не обижайтесь, напротив такого, как вы, господина, и думать: «А что если это тот самый бомбист и есть?» И разное, знаете, на ум приходит. Ну, например, что

бы я чувствовал, вези я с собой бомбу? Наверное, власть над окружающими. Ведь могу казнить, а могу и помиловать. Бомба-то вон она, захочу и... А с другой стороны – жутко. Бомба и сама по себе взорваться может. Случайно. По *чужой воле*. И тогда все... Чужая воля – это, знаете, ужасно. Вот вы обращали внимание: когда сам порежешься – ну там по пальцу случайно ножом полоснешь, – то не так уж и страшно... да и не больно почти. А вот если, например, вы меня за руку схватите и ножом замахнетесь, тогда – да, тогда очень страшно. Даже если точно знать, что речь идет всего лишь о маленьком порезе на пальце.

– Да перестаньте же вы! – вдруг взвилась женщина. – Я не хочу этого слушать! Выдумали каких-то тайных бомбистов! И вообще, зачем вы всё это говорите? Я ведь знаю вас, вы фармацевт Георг Шмидт, в Люцерне у вас маленькая аптека на Хиршенграбен. Я и сама там живу. А была я в Цюрихе по делам мужа и теперь еду домой, а вовсе не в гости. И никаких двух баулов я в багаж не сдавала! Вам просто нравится изображать из себя неведомо кого, чтобы на других страху нагнать...

– Ах, да-да, всё верно! – коммивояжер, оказавшийся фармацевтом, снова начал похлопывать себя по коленке. – Как же это я сразу не сообразил? Вы – фрау Вернер. Вот видите, – несколько не смутившись, обратился он к Александру Яковлевичу, – я мог бы сейчас отречься и сказать, что никогда этой фрау не видел, и тогда бы вы стали ломать голову, пытаясь понять, кто из нас говорит правду. Потому что, согласитесь, ведь и женщины могут – уж простите великодушно, фрау Вернер, – могут оказаться сомнительными личностями. Говорят, даже среди бомбистов есть женщины... В какое время живем!

Александр Яковлевич ничего не отвечал. В этот момент поезд нырнул в туннель, и купе мгновенно погрузилось в темноту.

«Да, – подумал Александр Яковлевич, – все эти нищие, фармацевты и прочие господа видят во мне что-то такое, чего я и сам про себя не понимаю, и поэтому обращаются ко мне без церемоний. Странно, что раньше, до встречи с незнакомкой, ничего подобного со мной не происходило. Или, может быть, дело не в ней, а в фон Берге?»

Александр Яковлевич вспомнил свою жизнь в Петербурге, потом приезд в Гейдельберг, их совместное с Платоновым увлечение теорией господина Крашенинникова, поиски записок Фауста, встречу с Мордком, незнакомкой и, в результате, с бароном фон Бергом. Да, пожалуй, раньше он просто не обращал внимания на то, что теперь бросается в глаза. Человеку свойственна такая слепота. Взять

того же фон Берга. Миссия, порученная Александру Яковлевичу этим человеком, была столь ответственна, что хотелось, чтобы барон оказался человеком высоких моральных качеств. Иначе роль самого Александра Яковлевича становилась не такой привлекательной и благородной. А может быть, даже и сомнительной...

Поезд тем временем выкатился из туннеля и, прибавив ходу, пошел вдоль берега озера, как догадался Александр Яковлевич, Люцернского. Это означало скорый конец путешествия. Карлик больше не пытался заговаривать с Александром Яковлевичем и только изредка лукаво поглядывал на него, продолжая выстукивать на колёнке свой мотивчик.

Александр Яковлевич не ошибся. Не прошло и получаса, как поезд стал замедлять ход и тут же подъехал к нарядному, словно пряничному, зданию вокзала.

Выйдя на привокзальную площадь, Александр Яковлевич остановился. Проще всего было нанять извозчика, но, по словам фон Берга, гостиница «Пилатова гора» находится где-то здесь, совсем рядом с вокзалом. Александр Яковлевич огляделся. День был довольно теплым для ноября. В воздухе висела легкая дымка, через которую мягко просвечивало солнце. Слева, совсем неподалеку, парили над городом острые вершины гор. Справа, на другой стороне реки виднелся шпиль ратуши. От берега к берегу наискосок вел деревянный мост под двускатной крышей. Прибывшие вместе с Александром Яковлевичем немногочисленные пассажиры быстро разошлись по прилегающим улочкам. Площадь опустела.

«Тихий городишко, – решил Александр Яковлевич, – почти как Гейдельберг.»

Вспомнив о Гейдельберге, он невольно поморщился. Оставленные медицинские штудии в университете, дальнейшая карьера врача, да и вообще вся его прошлая размеренная жизнь показалась теперь Александру Яковлевичу случайной, как пустая бумажка, брошенная за ненадобностью в урну. Предвкушение новой, еще неведомой жизни снова наполнило его уверенностью в себе, желанием опасностей и побед над ними, интриг и приключений.

– Любуется славным Капельбрюкке? Как-никак, самый старый деревянный мост в Европе, наша достопримечательность. Четырнадцатый век.

Рядом стоял фармацевт Шмидт.

– Вы сейчас куда? Наверное, в гостиницу?

Александр Яковлевич замялся. Отчего-то ему не хотелось, чтобы этот прилипчивый фармацевт знал, где он остановится.

– Я это к тому говорю, что никуда не тороплюсь и, если не воз-

ражаете, готов проводить вас. Тем более что вы в первые в Люцерне, и было бы просто невежливо оставить вас без совета и помощи.

Шмидт беззастенчиво улыбался.

– Послушайте, любезный, – не скрывая раздражения, сказал Александр Яковлевич, – я совершенно не нуждаюсь в вашей помощи.

– Ну-у, – протянул Шмидт, не меняя выражения лица, – а вам не приходило в голову, что это, может быть, я нуждаюсь в вашей помощи? Но если вы сочли меня чрезмерно навязчивым, так отчего бы не кликнуть полицейского? Вон он стоит. Полицейские в Швейцарии прекрасно знают свое дело, и стоит только позвать их на помощь... Уж поверьте, полиция не даст в обиду мирного путешественника. Ну что ж вы его не зовете?

Александр Яковлевич запаниковал, не зная, что в этом случае следует делать. Менее всего ему хотелось привлекать к себе внимание полиции. Конечно, вряд ли за эти пару дней до них успела дойти информация об убийстве в Гейдельберге, но всё же...

– Пожалуйста, – ненавидя себя, пролепетал Александр Яковлевич, отступая на шаг от наглого фармацевта, – что вам от меня нужно?

– А-а, – удовлетворенно протянул Шмидт, – что и требовалось доказать. Полиции вы откровенно боитесь. Вы ведь поляк, верно? Я слышал, у поляков в крови всякие мятежи и восстания. А в саквояже у вас как раз бомба. Я ведь еще в Цюрихе выследил, как вы от полицейских шарахались.

– Да что вы, – ужаснулся Александр Яковлевич, – я не шарахался! И потом, какая бомба? Хотите, я покажу...

– Ай-ай-ай, – покачал головой Шмидт, видя, что Александр Яковлевич потянулся к застегкам саквояжа, – вот этого делать как раз и не следует. Знаю я ваши самодельные бомбы. Рванет еще ненароком. Да я ведь совсем не враг вам. Подумайте сами: в противном случае вас давно бы уже арестовали. Сообразили? Я не только не враг, я, скорее, друг. Да вот пойдёмте-ка...

Шмидт подхватил растерявшегося Александра Яковлевича под руку и увлек в сторону реки. Рука у него, несмотря на размеры, была крепкой – почти как у фон Берга.

– Вот тут у нас общественный променад, тут и поговорить можно без помех. Шмидт усадил Александра Яковлевича на невысокую, выкрашенную в белый цвет скамейку и неторопливо взобрался на нее сам.

«Да что же это, – с тоской подумалось Александру Яковлевичу, – опять кто-то, не спрашивая разрешения, лезет в мою жизнь! Ну почему я всё время попадаю в какие-то нелепые, ридикюльные ситуации?»

– Так вот, – значительно произнес Шмидт. – Давайте-ка я вам объясню, что к чему. Я хоть и обычный фармацевт, но человек обеспеченный, к тому же вдовец, поэтому свободного времени у меня достаточно. А когда у тебя есть свободное время, поневоле начинаешь задумываться обо всем на свете. Вы про Нострадамуса слышали? Занятный был французик. Кстати, мой коллега, аптекарь. Но он еще и будущее предсказывал. Я было заинтересовался. Ну, честно говоря, предсказания у него расплывчатые: как хочешь, так и поймай. Но об одном он пишет определенно – о грядущих войнах...

Фармацевт как-то неуловимо изменился, спрятал голову в плечи, решительный блеск в глазах потух.

– Не кажется ли вам, что в мировой истории хватает странных, ничем не объяснимых поступков, совершенных теми или иными историческими личностями? Например, сожжение Рима Нероном. Просто так, для потехи, взял и сжег император свою столицу. Или Герострат. Для чего ему было ему поджигать храм Артемиды? Говорят, под пыткой он сознался, что сжег его для истории – для того, чтобы имя его осталось в веках, но... чего не скажешь под пыткой? А главное, если Герострат хотел сохранить свое имя для истории, то получается, пытка-то была ни к чему; он сам должен был кричать о своем «подвиге» на каждом углу. А он *сознался*. Понимаете разницу? И еще: все как-то забывают, что сжег он не просто красивое здание, а именно храм, то есть жилище богини.

Кстати, о богах. Был у древних иудеев такой вождь, называвший себя сыном звезды. Так вот, обратившись к Богу, он отказался от помощи, попросил только не мешать ему. И это, заметьте, случилось не в сегодняшнее безбожное время, а тогда, когда вера во Всевышнего была безусловной! К чему такая дерзость? Уверенность в своих силах? Но даже в этом случае... зачем отказываться от всемогущего сообщника?

Потом Сократ, принявший отраву. Как так? Мыслитель, известный человек, у него был выбор, мог в живых остаться, если бы захотел... И вдруг самоубийство. Во имя чего? Ведь бессмыслица. Разрушение ради разрушения? Или вот еще, персидский Ксеркс, могущественный царь, мудрый политик и, следовательно, трезвый человек. И вдруг этот анекдот – наказание моря за потерянные корабли! Да зачем же? Ведь должен был понимать, что над ним смеяться станут!

И вот начали меня мучить эти несоответствия. Под ними скрывалась некая неясная, но глубокая истина. Если говорить о древности, то да, конечно, в каждом времени своя мораль... Тысячу лет назад по-другому относились к жизни и смерти, к вещам и людям. Но бес-

смысленных поступков не совершали даже самые примитивные варвары. Значит, тут скрыто что-то такое, чего мы просто не знаем. И вот однажды я понял...

Шмидт оценивающе поглядел на Александра Яковлевича, как будто решал, стоит ли ему доверять.

«Да отчего же, – подумал Александр Яковлевич, – я сижу здесь, когда в гостинице меня, может быть, уже ждет известие от фон Берга. Этот тип шантажирует меня полицией, но чего, собственно, я испугался? Что может сделать мне местная полиция? Нет, нужно решительно объяснить этому фармацевту-философу, что не на такого напал. И избавиться от него, наконец.»

Но то, что Александр Яковлевич услышал в следующий момент, заставило его застыть на месте.

– Мне, как фармацевту, ничего не стоит изготовить хорошую бомбу. Скажу больше: все ваши самodelки – ерунда по сравнению с той бомбой, которую могу сделать я.

Шмидт замолчал и снова стал постукивать ладонью по коленке.

– Да, впрочем, от вас, *господин бомбист*, мне скрываться незачем. Я ее уже изготовил.

Взгляд фармацевта испугал Александра Яковлевича.

– Понимаете ли, какая беда, я много лет живу в Люцерне. Сами видите, городок у нас маленький, тихий. Лет сто пятьдесят, наверное, никаких происшествий. Даже мелкие кражи – и то редкость.

Ладонь фармацевта стала двигаться еще быстрее, взгляд сделался задумчивым, как будто обращенным внутрь.

– Я давно искал человека, с которым мог бы поговорить начистоту. А тут как раз вы со своим подозрительным саквояжем... Кто, кроме вас, поймет меня? Я убежден, все ваши тайные общества только прикрываются всякими политическими целями. И хотя многие юноши, вроде вас, искренне верят, что их бомбы избавляют мир от тиранов и прочих негодяев, поверьте, это причина *ненастоящая*. Я уж говорил вам давеча в поезде о власти над чужими жизнями... Да что же это я, вы и сами должны это понимать!

Шмидт оторвал ладонь от коленки, прижал обе руки к груди и игриво подмигнул Александру Яковлевичу.

– Но я не философ, я, знаете ли, аптекарь. Я всё вижу со своей колокольни. И вот, много лет оделяя страждущих опиумом и ипекакуаной, слыша жалобы больных и похвалбу здоровых, я пришел к смешному выводу. Жизнь, если на минутку представить ее себе, скажем, в виде девицы... Знаете, бывают такие, – Шмидт пощелкал холеными пальцами, – такие избалованные мужским вниманием вет-

реницы, которые вроде бы поощряют ваши ухаживания – да что там, откровенно искушают вас! – но при этом им доставляет удовольствие мучить мужчину неопределенностью: показывать вам свои прелести, иногда даже позволить запечатлеть короткий поцелуй на холемом челе – и немедленно ускользать. Держать ухажера в постоянном страхе разрыва. А разрыв этот, как вы понимаете, есть смерть!

Фармацевт внезапно оживился. Он ловко соскочил со скамейки и, переминаясь на коротких ножках, потряс кулаками.

– О, как же мы все боимся смерти! Человеческий организм – это ведь невообразимо сложный механизм, куда там нашим хваленым швейцарским часам! В нем всё время что-то ломается, уж поверьте аптекарю. Кроме того – вы заметили? – это же откровенная насмешка: устроить так, что органы, предназначенные для переживания самых возвышенных любовных чувств, также отводятся для низменных выделений! Да только ли это? И вот она, жизнь, пользуясь таким положением вещей, капризничает и требует, чтобы человек слепо повиновался всем ее прихотям, даже самым нелепым. И главное, постоянно, постоянно грязно шантажирует его!

А когда измученный этими капризами человек окончательно становится ее рабом, коварно бросает его навсегда! Обычные простые люди, они что? Они покорно следуют своей судьбе. Но великие или наделенные властью – нет! Они никак не могут смириться и позволить кому-то, хоть бы и самой жизни, диктовать им условия! И Нерон, и Герострат, и Сократ, и Ксеркс, и иудей Бар-Кохба, и, может быть, еще десятки других... они шли наперекор. Они доказывали, что *не любят* эту пустую обманщицу! Отсюда бессмысленные, на первый взгляд, поступки. И что происходит тогда? Может быть, для вас это прозвучит неубедительно, но, поверьте: тогда жизнь, как рабыня из восточных сказок, сама начинает лнуть к ним, становится покорной и ласковой.

Неправильно думать, что древние приносили жертвы, чтобы умилиستивить богов. Наоборот, жертвы должны были доказать независимость от чужой воли, пусть даже это высшая воля. «Вот, видишь, я бросаю в огонь данное Тобой и, может быть, самое дорогое для меня. Забирай обратно, ибо только такой ценой я избавляюсь от бремени покорности Тебе.» Так говорит тот, кто понимает, что происходит *на самом деле*. Но окружающая его толпа обывателей наивно надеется, что жертвоприношение смягчит гнев всемогущих. Особенно, если это человеческое жертвоприношение. Помните, из Писания: Бог повелел Аврааму принести в жертву своего сына. Зачем? А именно затем, чтобы выковать из него личность. Но Авраам хитрит, он, увы, человек слабый. Он подносит Богу вместо сына

овцу... Вот и всё. Что в итоге случилось с избранным народом – известно.

А простые люди сбегались со всех сторон, чтобы с жадностью поглазеть на жертвоприношения! Потому что каждый ничтожный индивидуум в толпе думал: «Сейчас этого принесли в жертву, а я, смотри-ка, жив. На него пал гнев богов, а мне теперь достанется благодать! Значит, я – грязный, трусливый, похотливый и невежественный – избранник судьбы!» Гнев богов... Вы когда-нибудь видели паровую машину? Нет? Ну, представьте себе: куча каких-то железяк, штырьков, циферблатов. И всё это шипит, вибрирует, брызгает горячим маслом. Если по незнанию не тот рычаг сдвинуть, может и паром обжечь, а то и вовсе взорваться. Страшно? Конечно. Но делает ли это паровую машину всемогущим божеством?..

– М-да, – протянул фармацевт, – а вообще-то, я заметил, что чем менее объясним поступок *с точки зрения здравого смысла*, тем для толпы он более значителен и весом. Я думаю, бессмысленность наказания моря плетями еще больше укрепила авторитет Ксеркса в глазах его воинов, подняла их дух. В отсутствии смысла заключена великая *целесообразность*...

Шмидт вдруг успокоился и снова деловито уселся рядом с Александром Яковлевичем.

– Но вернемся к моей бомбе. Изготовить-то я ее изготовил. И поверьте мне, получилось превосходно. Разрушительная сила превзошла все ожидания. А вот практики в бомбометании у меня, увы, нет никакой. И вот тут-то мне нужна ваша помощь, господин бомбист.

Александр Яковлевич хотел возмутиться, объяснить наконец этому странному карлику, что никакой он не бомбист, что не имеет отношения ни к бомбам, ни к тайным обществам. Но, взглянув на Шмидта, промолчал. Всё равно он ничего не докажет. Даже если предъявит содержимое саквояжа. И тут вдруг странная мысль обожгла Александра Яковлевича. Ведь он до сих пор не знает, каким образом в карман подаренного ему фон Бергом пальто попал украденный у Мордка перстень. Следовательно, и среди вещей в саквояже, который тоже принадлежал фон Бергу, вполне может оказаться что-то, чего там быть ни в коем случае не должно...

Александр Яковлевич попытался избавиться от этой нелепой мысли. Он спрашивал себя, зачем фон Бергу – а более некому – было бы нужно подкладывать ему бомбу. Но, с другой стороны, что он знает о планах и замыслах фон Берга? Ничего. Так можно ли полностью полагаться на этого человека? Фон Берг служит в Третьем отделении. Но является ли данный факт гарантией абсолютной чест-

ности фон Берга с ним, Александром Яковлевичем? Этого никто с уверенностью сказать не может. И потому в саквояже, что сейчас невинно стоит рядом на скамейке, может таиться нечто ужасное. Та же бомба, например. Александр Яковлевич покосился на саквояж и отодвинулся, с трудом удерживаясь от того, чтобы не вскочить на ноги. Испуг ведь только подтвердит грязные подозрения Шмидта.

И странное дело: этот фармацевт вполне уверен, что бомба здесь, в саквояже. Более того, говорит, что самодельные бомбы иногда взрываются сами по себе. А между тем, сидит рядом и совсем не боится. Он что, сумасшедший? Однако то, что он рассказывает, звучит хоть и странно, но не безумно. В то же время из университетских лекций по психиатрии Александр Яковлевич знал, что душевнобольные могут быть удивительно логичны и последовательны в своих высказываниях.

– Понимаете, – помолчав, доверительно произнес фармацевт, – я согласен с вами: сложившееся в мире положение вещей несправедливо и требует немедленных и кардинальных действий. Но мне кажется, что избранный вами путь точечных ударов ничего не может изменить. Для этого нужно событие, мощный всплеск, тогда всё изменится буквально на глазах. На самом деле, это правильно – хотеть всего и сразу. Только глупая мораль запуганных обывателей робко твердит о том, что всего нужно добиваться долгим упорным трудом. Ложь! Можно и должно получать всё и сразу! Для этого нужен *настоящий поступок*. Но кто я такой? В моем распоряжении нет храма Артемиды, я не великий философ и не правитель, даже не древний иудей... Я всего лишь провинциальный аптекарь. Да еще и коротышка.

– Вот вы, – Шмидт описал рукой круг, – вы, когда бросаете свои бомбы, наверное, понимаете, что вместе с тем, кого вы взялись уничтожить, могут погибнуть и совершенно посторонние невинные люди? И что, это вас останавливает? Нет, конечно. Я тут думал: а кто нынче идет в бомбисты? Может, мрачные, жаждущие крови негодяи, прирожденные убийцы? Нет, нет и нет! Как раз наоборот, самые чистые, самые возвышенные души. Идеалисты вроде вас, уж извините. И опять-таки, дело вовсе не в неправильном мироустройстве. А знаете в чем? Да в том, что, как и в древности, как и всегда, любому *живому делу* обязательно нужна *смертная жертва*. Причем желательно невинная! Это Иисус Христос хорошо понимал!

Шмидт замолчал. Вид у него был такой удрученный, как будто сделанные им выводы испугали его самого. Александр Яковлевич с ужасом начал догадываться, что перед ним действительно человек больной – и при этом по-настоящему опасный. Если в руках этого

фармацевта в самом деле имеется бомба большой разрушительной силы, то страшно себе даже вообразить, как он может ее использовать. И тут же, словно подслушав его мысли, Шмидт заявил, что совсем скоро собирается применить свою бомбу в деле. Дело в том, что не далее, как шестого декабря, в день рождения Санта-Клауса, муниципалитет устраивает для детишек большой праздник на городской площади.

– Трудно себе представить лучший случай, – фармацевт увлеченно ухватил Александра Яковлевича за рукав. – Вы понимаете? Ведь обязательно кого-то не заденет взрывом, кто-то из детей опоздает на праздник; потом еще будут заболевшие, которые на площадь вовсе не придут. Они, чудом спасшиеся, навсегда запомнят этот день. Они почувствуют себя *избранными*. И жизнь их кардинально изменится. А я, простой аптекарь, ничем не примечательный человек, переломлю сам *ход событий*! Мир должен содрогнуться. А содрогнувшись, проснуться! Но вот беда, правильно бросить бомбу... этого я не умею. Могу ведь все испортить в самый ответственный момент. Тут специалист нужен.

Александр Яковлевич был потрясен. И не только ужасным планом Шмидта. Что-то опасно привлекательное и в то же время отвратительное и даже ускользающее от понимания таилось в рассуждениях фармацевта.

«Да за что же мне это? – в отчаянии подумал Александр Яковлевич. – Я даже не могу сообщить о нем полиции. Кто я? Беглый студент с темной историей за плечами. А то, что я знаю об этом Шмидте, – так это ведь только с его слов. Да и вообще, здесь не Россия, где носятся с иностранцами. Местная полиция скорее поверит своему гражданину, чем какому-то сомнительному чужаку. Так что же делать-то?»

Решение пришло внезапно. Александр Яковлевич встал со скамейки и положил руку на саквояж. Сердце билось так, что, кажется, вопреки всем анатомическим законам, поднималось прямо к горлу, сбивая дыхание.

– Так вы желали бы, чтобы я научил вас бомбометанию? – сдвоенно произнес Александр Яковлевич. – Что ж, извольте...

В устремленном на саквояж взгляде Шмидта промелькнуло непонятное выражение – то ли страх, то ли удовлетворение. Александр Яковлевич даже не старался разобраться, что это было. Он оторвал саквояж от скамейки и на вытянутой руке – тут он не смог себя пересилить, – стал медленно поднимать его вверх.

– Э-э... – заверещал Шмидт, следя за его движениями, – погодите, что вы делаете?

– То, о чем вы просили, – не разжимая зубов, промычал Александр Яковлевич, чувствуя, что рот отчего-то заполняется царапающим нёбо сухим песком.

Подняв саквояж на уровень плеча, Александр Яковлевич неожиданно обнаружил, что, во-первых, проклятый фармацевт наблюдает за ним все-таки скорее с любопытством, нежели с испугом; а во-вторых, что пальцы, которыми он сжимал ручку саквояжа, категорически отказываются слушаться. Станные вещи творились с Александром Яковлевичем. Умом он понимал, что бомбы в его вещах нет. И бросить саквояж на землю он хочет только для того, чтобы испугать Шмидта, – доказать ему, что не бомбист. Тем не менее нечто такое, что было сильнее его воли, не позволяло выпустить поклажу из рук. Он так и видел, как из саквояжа вырывается раздражающее тело в клочья яркое пламя, слышал сухой режущий звук взрыва. И никак не мог решиться.

– Ну так что же вы медлите, господин Калашевский? Решили, так бросайте к чертовой матери! – внезапно произнес знакомый голос.

Александр Яковлевич с трудом повернул ставшую будто каменной шею. Рядом стоял улыбающийся фон Берг. Александр Яковлевич расслабил руку с саквояжем и устало опустился на скамейку. Радость от появления фон Берга, который, конечно же, знал, что делать с безумным карликом Шмидтом, не смогла омрачить даже его, Александра Яковлевича, откровенная трусость. Но никакого стыда он почему-то не испытывал, а только чувствовал огромное, просто безграничное облегчение. Он не понял, в какой момент исчез со скамейки фармацевт. Отметил только, что рядом с ним, одетый в элегантный редингтон и помахивая изящностью тростью, сидит фон Берг. Его острые усы иронически пошевеливались, но Александру Яковлевичу было все равно.

– Что уж вы все так близко к сердцу-то берете? – успокаивающе сказал фон Берг после небольшой паузы. – Помните, мы с вами о Гамлете беседовали? Ну-с, вот вам вариант «Мышеловки». Только на современный лад.

– Ну-ну, – тут же торопливо добавил он, увидев, что у Александра Яковлевича задрожали губы, – пожалуйста, не сердитесь! Вы и сами должны понимать, что дело, порученное вам, требует напряжения всех сил; что такие человеческие качества, как отвага, независимое мышление, умение делать выводы и принимать решения совершенно необходимы для успешного завершения нашей миссии. Вот и пришлось попросить коллегу изобразить перед вами эдакого безумца, готовящегося совершить какой-нибудь немыслимый варварский акт.

Или, может быть, вы нашли его взгляды разумными и привлекательными?

Фон Берг, по уже знакомой Александру Яковлевичу привычке, кольнул его острым взглядом и тут же опять улыбнулся.

– Да нет, конечно, иначе стали бы вы его взрывом пугать. Очень убедительно получилось, должен вам сказать. Нет-нет, – взмахнул тростью фон Берг, – я знаю, что вы сейчас испытываете. Поверьте, любой на вашем месте чувствовал бы себя точно так же. Но меня радует ваше умение размышлять и выстраивать, так сказать, версии. Это вы ведь очень ловко рассудили, что в вашем багаже и впрямь может оказаться бомба. Хоть и неверное соображение, но, в принципе, логичное.

Прошло несколько долгих минут, прежде чем к Александру Яковлевичу вернулась способность здраво мыслить.

– Так, значит, никакого фармацевта Шмидта на самом деле не существует, и всё это – только проверка? – Александр Яковлевич понимал, что уже получил ответ на свой вопрос, но не мог удержаться. Им овладело эйфорическое возбуждение.

– Признаться, не имею ни малейшего представления, что именно вам наговорил мнимый Шмидт, но, судя по вашему поведению, прозвучало это весьма убедительно. Впрочем, оно и понятно: дураков в здешнем департаменте секретной полиции не держат.

– Так он не наш, не русский? – весело удивился Александр Яковлевич. – А я и не знал, что вы сотрудничаете. Так он тоже в курсе?..

– Ну-у, – протянул фон Берг, оглядывая Александра Яковлевича и тоже заражаясь его веселостью, – вы должны понимать, что сотрудничество далеко не всегда предполагает обмен информацией. Шмидт занимается своими делами и для прикрытия даже открыл аптеку. Про наше дело ему было известно только, что вас следует проверить. А зачем да почему... Это уже и неважно. Главное, вы прекрасно себя вели в предлагаемых обстоятельствах. Просто прекрасно!

Фон Берг многозначительно умолк. Высокая похвала опьянила Александра Яковлевича, вскружила голову.

– Послушайте! – вдохновенно воскликнул Александр Яковлевич, предвкушая удивление фон Берга от его пронизательности. – Признайтесь, что и господин Абрахамсон из Цюриха, и нищий – тоже ваши люди. Они проверяли меня, да?

– Какой господин Абрахамсон? – Более всего фон Берг сейчас напоминал готовящееся к прыжку дикое животное. – Какой нищий?

Поняв, что ляпнул неслучайно, Александр Яковлевич попытался представить все в невинном свете. Ну да, в Цюрихе ему не сиделось

на вокзале, и он решил прогуляться, случайно зашел в лавочку старьевщика, некоего Абрахамсона, от которого, как выяснилось, сбежала молодая жена. А еще на улице к нему приставал забавный нищий, кажется, не совсем психически нормальный. Вот, собственно, и всё.

– Нет уж, – усы фон Берга хищно подрагивали, – вы мне сейчас всё подробненько изложите. Как и почему оказались в лавке, о чем говорили, чего хотел от вас этот нищий. Ну же!

Александр Яковлевич мгновенно пал духом. От недавней эйфории не осталось и следа. Чувствуя себя провинившимся школяром, он хоть и сбивчиво, но подробнейшим образом рассказал фон Бергу обо всем случившемся с ним в Цюрихе. После некоторого колебания упомянул даже о несостоявшемся визите к девицам.

– Во-от оно как, – протянул фон Берг, совершенно игнорируя сообщение о девицах, – значит, Флейтист, говорите, появился? Ах, черти! Это значит, что времени у нас почти не осталось!

Фон Берг пружинисто вскочил на ноги.

– Нам с вами следует немедленно отправляться в Петербург.

Часть третья

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В отделении второго класса на пароходе, идущем в Одессу, Александр Яковлевич страдал от неожиданно открывшейся морской болезни.

«Ну, – думал Александр Яковлевич, уныло глядя на бесконечную череду мелких волн, заставлявших пароходик нервно вздрагивать, подпрыгивать и переваливаться с боку на бок, – по крайней мере, хоть в Россию еду».

Александр Яковлевич вспомнил отца, их небольшой уютный дом с мезонином в Коломне – и загрустил. Он чувствовал себя одиноким и неприкаянным. Как какой-нибудь Демон из сочинений поэта Лермонтова.

Посадив Александра Яковлевича в Константинополе на пароход, барон фон Берг снова исчез, объяснив, что случайно полученная Александром Яковлевичем информация требует тщательной проверки и подключения к работе целой агентурной сети. Ведь речь не о каких-нибудь кружках юных искателей приключений. Похоже, что в Европе снова объявился опасный авантюрист Джузеппе Гарибальди.

Александр Яковлевич много слышал об этом знаменитом бунтаре и возмутителе спокойствия. И в Петербурге, и позже, в Германии. Студенты восхищались Гарибальди, его незаурядным умом и муже-

ством. Говорили, что, натворив дел в Старом Свете, он теперь скрывается в Северо-Американских Штатах. Или в Аргентине.

– Есть основания полагать, что обстоятельства нашего с вами дела стали известны ряду лиц в Германии и Австрии. У Российской империи врагов много, а завистников и того больше. Значит, и шпионов хватает. Даже, как это ни прискорбно, в Третьем отделении. В общем, учитывая общую политическую ситуацию, можно предположить, что этого самого Гарибальди захотят использовать в своих целях наши мнимые друзья, направив его разрушительную энергию на Россию. Однажды так уже случилось с Наполеоном. И кстати, в связи с его русской кампанией тоже много непонятного и, вполне возможно, с нашим делом связанного. Странно ведь, что сначала взяли французишки Первопрестольную, а уж только потом пожары начались. Хотя, казалось, должно было быть наоборот. И потом – вдруг побежал французский император сломя голову из Москвы. Говорят, есть французу нечего стало, да еще морозы. Ну-с, Бонапарт всю Европу под себя подмял, а тут вдруг... Это что ж, только в России морозы, что ли? И уж точно понимал Наполеон, что возвращаться придется по разоренной земле. А это катастрофа. Куда разумней было двинуть армию на восток или на юг. Так ведь нет, назад побежал... У сочинителя графа Толстого, конечно, свое объяснение, но ведь и у него проскальзывает: *не могла Москва не загореться...* Но это так, теория. Сейчас другие игры начались. Лет десять-пятнадцать назад ходили по нашим южным губерниям странные слухи о некоем гетмане Загребайле, который вот-вот придет дать крестьянам настоящую волю. Разумеется, никакого Загребайлы в природе не существовало. Мало ли небылиц ходит в народе? Только вот Загребайло... Звучит подозрительно похоже. Откуда бы такое имечко? Понятно, что крестьяне о Гарибальди и слухом не слыхивали – это вам не студенты.

Они сидели за столиком маленького кафе под открытым небом, прямо на берегу моря. Несмотря на позднюю осень, здесь было полетнему тепло. Что и неудивительно: Турция – страна южная. Выбравшись из Швейцарии, они с фон Бергом всё время двигались на юг и вот теперь в старинном городе, в незапамятные времена бывшем столицей Византии, ожидали парохода в Россию. В компании с фон Бергом Александр Яковлевич чувствовал себя значительно лучше: он уже не опасался ни полицейских, ни случайных прохожих. Особенно после одного происшествия.

Однажды вечером в городке где-то на севере Италии, куда они приехали поездом, на узкой улочке неподалеку от вокзала дорогу им преградили трое крепких молодцев. Выражение лиц – жестокое и

одновременно довольное – не оставляло никаких сомнений относительно их намерений. Александр Яковлевич растерянно ухватился за рукав фон Берга и почувствовал, как у того напряглись крепкие мышцы. И тут же услышал взвизг стали: из щегольской трости барона, блеснув в свете далекого фонаря, вырвался тонкий хищный клинок и, словно обрадовавшись свободе, заплясал перед лицами грабителей. Но Александру Яковлевичу показалось, что испугались молодцы не столько шпаги, сколько взгляда, брошенного на них фон Бергом. Положительно, барон был совершенно бесстрашным человеком. Александр Яковлевич, не сдержавшись, тут же сказал об этом фон Бергу.

– Это уж вы, голубчик, преувеличиваете, – фон Берг мягко улыбнулся. – Разве тут в бесстрашии дело? Кабы не эта, как говаривал покойный поэт, бабья игрушка, – барон приподнял трость, – пришлось бы нам с вами отдавать свои кошельки. А то и жизни. Впрочем, вы правы, я мог напугать этих мерзавцев взглядом.

Фон Берг весело рассмеялся. Его голос эхом отразился от стен домишек с окнами с плотно закрытыми ставнями. Хорошо быть человеком, умеющим громко смеяться поздним вечером на пустынной улице незнакомого города!

– Давайте-ка, Александр Яковлевич, условимся, что вы теперь ни в какие случайности и совпадения не верите и ведете себя осторожно и предусмотрительно.

Фон Берг повертел в руке крохотную чашечку с остатками кофе.

– Местные женщины умеют ловко гадать на этой вот гуще. Дело-то, вроде, нехитрое: опрокидываешь чашечку, гуща стекает, а потом разглядываешь оставшиеся на стенках узоры. Пустяк, суеверие. Но ведь есть такие мастерицы, что действительно могут предсказывать будущее. Да и прошлое ясно видят, вот как я вас сейчас. Казалось бы, это вам не пифии дельфийские, эдак и я могу то же самое разглядеть. Ан нет! Каждый в этих узорах свое видит. В меру, так сказать, собственной фантазии. Вот и получается, что дело совсем не в этой кофейной кашнице, а в том, что *ты* способен в ней увидеть. Зачем же тогда, спрашивается, весь этот ритуал? Для чего сначала кофе пить, потом чашку кофейную опрокидывать, причем обязательно от себя? А затем, что именно ритуал в нашей жизни чаще всего и есть самое главное.

Фон Берг отодвинул чашечку и хитро взглянул на Александра Яковлевича.

– Вы вот медицине учились, верно? Так скажите мне, всегда ли много толку во всех этих ваших выслушиваниях через трубочку, простукиваниях пульса да простукиваниях?

– Ну-у, – неопределенно протянул Александр Яковлевич, не понимая, к чему клонит собеседник, – видите ли, существует сложившаяся практика осмотра больного...

– Вот именно! – фон Берг удовлетворенно покивал головой. – Ваша сложившаяся практика – не что иное, как ритуал. А нарушьте его, так вас и за врача-то считать не будут. Или возьмем другой пример. Что есть анекдот? Короткая смешная история с неожиданным концом и с моралью. Так вот, если эту самую мораль своими словами рассказывать, то какой уж тут анекдот. Суть вроде как передана, а не смешно. Опять же, потому что – ритуал, или паттерн, как говорят англичане. А с другой стороны, нарушать сложившееся положение вещей иногда как раз полезно.

Фон Берг спросил у подобострастно кланявшегося турка в смешной шапочке еще кофе, подождал, пока тот отойдет, и придвинулся ближе к Александру Яковлевичу.

– Секретная служба, в первую очередь, требует особого отношения ко всему. О паттернах я не зря с вами заговорил. Возьмите любую религию. В каждой из них мир обязательно делится на черное и белое, на добро и зло, на жизнь и смерть. То же самое и в полюбившейся вам теории господина Крашенинникова. Считается, что между этими двумя противоположностями и существует этот мир. Это и есть дуализм, если по-научному. Носит человека от одного полюса к другому, иногда он ближе к добру, а иногда и к злу. Отсюда, дескать, все колебания и страдания души, нашими отечественными литераторами замечательно описанные. Почитать занятно, но к реальности, в которой мы с вами принуждены действовать, никакого отношения это не имеет. Беллетристика, одним словом.

Вы вот восхитились тем, как я поступил с итальянскими грабителями. А дело в том, что в их умишках сложилась раз и навсегда определенная картина мира – тот же дуализм, только на примитивном уровне. Обыватели – трусливы; женщины – глупы; если один хороший, то другой обязательно плохой. Ну и так далее. *Терциум non datur*. Это латиняне как раз для таких случаев придумали. По их логике двое прохожих на безлюдной улице должны были немедленно испугаться и подчиниться насилию.

Так вот, в результате подобного устройства мира вам то и дело предлагается выбор: либо – либо. То есть, выбор, который человек делает из естественных побуждений. Уйти или остаться, испугаться или смело атаковать противника. Но запомните, на самом деле существует *Третий путь*. Только его не каждый способен увидеть. Поэтому важно уметь в нужный момент отказаться от привычного ритуала, от, так сказать, *паттерна двоичной системы*. И тогда перед

вами открывается совершенно иной мир. Как бы вам объяснить, чтобы нагляднее было? Ну вот представьте себе на минуту, что вы обрели способность двигаться с невероятной скоростью. Да что двигаться – жить в сотни раз быстрее других! Понимаете, какое преимущество вы получите? При желании сможете своим противникам носы поотбивать, как варвар римским статуям. Или, наоборот, пользуясь этим навыком, можете спасти кого-нибудь... или даже подвиг во имя Отечества совершить.

Но штука в том, что найти этот Третий путь нужно немедленно, практически без раздумий, потому что времени на принятие решения в критической ситуации у вас просто нет. Говорят, не то в Китае, не то в Японии есть секты, практикующие всякие боевые единоборства. Что-то вроде нашего кулачного боя или английского бокса. Приходилось мне читать их трактаты. Так там вовсе не о боевых искусствах говорится, а как раз о Третьем пути...

Фон Берг замолчал, пытливо глядя на Александра Яковлевича. Александр Яковлевич подумал, что барон, пожалуй, знает о сверхъестественном куда больше, чем Фауст и господин Крашенинников вместе взятые. Только знание это куда более тесно связано с реальной жизнью. Да, пожалуй, и со смертью.

– Я вам совсем заморочил голову, – в конце концов произнес фон Берг. – Вы, главное, не старайтесь переварить всё сразу. Просто подумайте на досуге. И при случае примените на практике. Тем более, что и для того и для другого у вас будет достаточно времени.

Тогда-то фон Берг и объявил, что далее Александру Яковлевичу придется путешествовать в одиночестве. Впрочем, до России было уже рукой подать. А по прибытии в Одессу Александру Яковлевичу следовало немедленно разыскать контору присяжного поверенного Кашкина Григория Алексеевича, передать означенному господину привет от барона и...

– Небось, думаете, – фон Берг лукаво усмехнулся, – что придется запоминать какой-нибудь затейливый пароль? Впрочем, отчего бы и нет? Господин Кашкин в дело посвящен лишь частично. Но и того, что знает, вполне достаточно, чтобы стать подозрительным. Потому вы скажете, что явились по делам Александровского комитета. В сочетании с упоминанием моего имени этого будет достаточно. Кашкин снабдит вас деньгами и дальнейшими инструкциями.

Александр Яковлевич поднялся с жесткой скамьи, накинул на плечи пальто и, преодолевая тошноту и головокружение, отправился на палубу. Нет, никогда он не полюбит море и морские путешествия! Слишком уж однообразный пейзаж. Ей-богу, лучше уж приключения и опасности, но на твердой почве. Александр Яковлевич еще раз

посмотрел по сторонам и вдруг мгновенно позабыл свои тоскливые мысли. Не далее, как в десяти шагах от него, у самого борта Александр Яковлевич увидел тонкую женскую фигурку. Силуэт ее на фоне бесконечной водной стихии был трогательным и незащищенным, лежащая на перилах ручка в черной печатке – изящной, а прикрытое вуалью лицо – милым и загадочным.

Изнуряющая Александра Яковлевича тошнота удивительным образом прекратилась. А головокружение осталось. Только теперь оно стало совсем другим, легким и волнительным, как от бокала шампанского вина. Александр Яковлевич не смог бы объяснить, почему именно эта молодая женщина сразу же вызвала в нем не только жгучий интерес, но и не менее сильное желание встать на ее защиту. Хотя ни в какой защите она, кажется, не нуждалась.

Вспомнив фон Берга, он подумал, что, если верить барону, то первым его побуждением было уйти в каюту и постараться выкинуть понравившуюся женщину из головы, вторым – подойти и представиться. А вот Третий путь...

Пока Александр Яковлевич сжимал горячими ладонями холодный поручень, мучительно пытаясь сообразить, что же делать, искомым путь нашел его сам. Женщина оторвала взгляд от пустынного горизонта и, придерживая тонкой рукой шляпку, направилась к Александру Яковлевичу. Когда она подошла совсем близко, он увидел, что не прикрытые вуалью полные губы мягко улыбаются, а из-под вуали смотрят огромные голубые глаза. Заглянув в эти глаза, Александр Яковлевич задохнулся от неожиданно разлившейся в груди нежности, как будто встретил давно потерянную, но бесконечно родную душу: оба прекрасных, наполненных, как говорили поэты, влажной глубиной глаза были – точь-в-точь как у него – разведены к вискам!

Кажется, на женщину их сходство произвело не менее сильное впечатление. Она трогательно склонила голову и, приподняв вуаль, рассмеялась весело и по-дружески. Несмотря на кажущуюся хрупкость фигурки, голос у нее был чарующе низким и бесконечно женственным.

Александр Яковлевич не помнил, как они оказались на жесткой скамье отделения второго класса. Он влюбился столь стремительно, что совершенно позабыл и наставления фон Берга, и зачем он возвращается в Россию, да и вообще обо всем на свете. Что самое поразительное, любовь его, казалось, была взаимной. Александр Яковлевич чувствовал это, когда Ася дотрагивалась до его ладони своими пальчиками.

Да, он уже называл ее Асей. Про себя, конечно. А вслух звал

Анастасией Филипповой. Хотя по документам звали ее Анджоли Де Лос Сантос. История, рассказанная Асей о своей жизни, глубоко тронула Александра Яковлевича и, хотя была в высшей степени удивительной, показалась ему не более невероятной, чем коротенькая история их любви.

Совсем маленькой девочкой Анастасия Филипповна – в ту давнюю пору еще Пороховщикова – жила с матерью, вдовой мелкого земского чиновника, в крохотном городишке в Бессарабии. Выросшему в столичном Санкт-Петербурге Александру Яковлевичу трудно было себе представить простые нравы и тиший уклад жизни, царившие в дальнем захолустье на окраине империи. Но, поскольку речь шла об Асе, место, где она родилась и росла, казалось ему удивительным.

Однажды поздней весной, когда Асе шел четырнадцатый год, к ним в городок приехали цыгане. Услышав о расположившемся неподалеку, прямо за околицей, таборе, маменька строго-настрого запретила Асе выходить из дома. Всем известно, что цыгане крадут детей, особенно девочек ее возраста. И уж тем более с некоторыми м-м... изъятиями. Таких детей они потом показывают на ярмарках за деньги, как диких животных. Цыгане и раньше часто появлялись в их городке, но тогда Ася была еще маленькой и боязливо жалась к маменьке, когда к их забору группкой подходили крикливые женщины в пестрых нарядах с детишками на руках.

Но теперь – совсем другое дело! Ася уже успела прочесть пушкинских «Цыган». Ни маменька, ни покойный папенька читать не любили, поэтому трудно сказать, откуда в доме взялась потрепанная книжка – альманах «Полярная звезда» чуть ли не полувековой давности. Ася не без трепета читала, как «цыганы шумною толпой по Бессарабии кочуют». Значит, именно здесь, прямо в степи за их скучным городком происходили описанные Пушкиным удивительные события!

И совсем не были цыгане ни ужасными, ни опасными. А наоборот, были добрыми. Ася хорошо представляла себе «лай собак да коней ржанье», звуки табора, ночные запахи степи. В общем, она положила для себя непременно повидать цыган. Сделать это можно было только поздней ночью, когда маменька и их кухарка Матрена крепко заснут. Но так получалось даже интересней. Она вообразила себя молоденькой цыганкой, гуляющей под луною среди степных просторов. И юношу, следующего за ней, тоже представила. Совсем как у Пушкина.

– Наверное, – нежно проговорила Ася, глядя на Александра Яковлевича так, что он был заранее со всем согласен, – мне не сле-

довало совершать столь легкомысленных поступков. Тем более, вопреки воле маменьки...

Надо сказать, что маменька рассчитывала через несколько лет отдать ее замуж за сына богатого мясника. Сын этот был горбат и потому, по мнению маменьки, Ася могла составить ему прекрасную партию. Но Асе не хотелось замуж, тем более за горбуна-мясника...

Возможность отправиться в табор представилась Асе только через несколько дней. Ася дождалась, когда в доме все утихнет, накинула поверх легкого домашнего платища старую накидку, растворила окно и задумалась, глядя на свои славные недавно купленные маменькой козловые башмачки. Ей показалось, что идти в них к бедным цыганам будет неловко: слишком уж эти башмачки новые и богатые. Поэтому Ася сняла с ног чулочки и решила отправиться к цыганам босиком. Ходить без башмачков оказалось ужасно неудобно и даже больно. Ася поняла это сразу, сделав несколько шагов по палисаднику. И удивилась: как же ходят безо всякой обуви и их кухарка Марфа, и все окрестные бедняки? На земле оказалось множество мелких камешков, веток и всякой колючей гадости, которой она раньше никогда не замечала. Но Ася отправилась дальше, стараясь не наступить в темноте на что-нибудь острое. Делать нечего, ведь иначе не почувствуешь себя настоящей цыганкой.

К счастью, до табора было рукой подать. Оказавшись за околицей, Ася почувствовала, что идти по степной пыли значительно приятней – и восприняла это как добрый знак. Она пошла быстрее и совсем уж скоро добралась до крытой парусиной кибитки, рядом с которой стояла распряженная лошадь. За кибиткой горел костерок, у которого сидели двое цыган. Вдруг что-то горячее и скользкое коснулось Асиной босой ноги. Подумав, что это змея, она чуть было не вскрикнула, но тут же увидела, что никакой змеи нет, а к ней ластится незаметно подобравшаяся маленькая лохматая собачка. Она погладила псину по жесткой, в колтунах, шерсти – и вдруг подумала, что пришла к цыганам незваной. Пожалуй, с ее стороны было невежливо явиться вот так, без приглашения.

Сопровождаемая собакой, Ася сделала еще несколько шагов и замерла в нерешительности. От сидевших у костра цыган ее скрывала кибитка и, наверное, было еще не поздно уйти восвояси...

– Наверное... – повторила Ася, склонив голову, но Александр Яковлевич успел заметить блеснувшую в уголке глаза слезу, – я была рождена не для тихой провинциальной жизни, а для приключений... для барышни даже неприличных. И вы, пожалуй, не захотите со мной знаться, услышав то, что случилось дальше...

Александр Яковлевич горячо заверил Асю, что ни за что не оста-

вит ее своим вниманием и заботой, а главное, какие бы страшные испытания ни пришлось ей пережить, он уверен: душа ее осталась чистой и прекрасной. Равно как и тело. Последнее, разумеется, Александр Яковлевич вслух не произнес, побоявшись показаться Асе вульгарным. Вместо этого, поддавшись знакомому всем влюбленным наитию, он попросил девушку взглянуть ему в глаза и прочесть там, искренен ли он. В ответ Ася горячей рукой пожала его руку. Стыдно признаться, но только усилием воли заставил он себя слушать рассказ девушки, потому что никакие признания не повлияли бы на его отношение к Асе. И это было сейчас самым главным.

А там, в таборе, Ася неожиданно услышала разговор, не предназначенный для ее ушей.

– Так что, Флейтист, – спросил сидевший лицом к Асе худой носатый цыган с жестким, заросшим щетиной лицом, – не свезло тебе, коли ты к нам явился?

– Э-э, – ответил второй, сидевший спиной, – почему не свезло, наоборот. Ты, Игнашка, совсем дурак, если такое говоришь. Мое дело не твое, а твое – не мое!

– Ну да, – уныло согласился носатый цыган, – левое не правое, правое не левое, знамо дело. Только, – добавил он, помешав палкой в костре, – тебе что? Пришел да ушел, а кто в результате виноват? Игнат, бэро цыганский.

– Э-э, – повторил Флейтист, – а то, можно подумать, на вас и без моих дел грехов не хватает. Ты что ли один такой бэро, кому я плачу, чтобы сбить со следа тех, кто пустится в погоню? Есть среди моих друзей и цыгане, и иудеи, которых вы жидами зовете. И ведь что смешно? Верят, все верят! И про цыган, и про иудеев! Про вас говорят только, что вы детей, как коней, крадете. А вот про иудеев вовсе несуразное болтают. Дескать, кровь христианскую невинную они проливают ради праздников своих. И ничего, терпят иудеи, не жалуются, как ты, Игнашка!

Флейтист засмеялся, а Асе стало не по себе. Она сделала шаг назад, наступила босой ногой на что-то железное – холодное и острое... И, не удержавшись, вскрикнула. А собачка проклятая тут же залаяла навзрыд. Ася и сообразить ничего не успела, как перед ней оказались Флейтист и цыган Игнат.

– Но, поверьте, испугалась я напрасно! – торопливо заверила Александра Яковлевича Ася, увидев, как изменилось его лицо. – Если кого и следовало бояться, так только саму себя.

Увидев перед собой всего лишь маленькую девочку, Флейтист хмыкнул и, взяв Асю за руку, подвел к костру. Когда же разглядел ее лицо, то охнул и неожиданно упал перед ней на колени. Ася была так

испугана и поражена, что беспрепятственно позволила ему подползти к ней ближе и припасть, склонившись до земли, твердыми горячими губами к ее пыльным босым ногам. Цыган Игнат оторопело смотрел на Флейтиста выпученными глазами.

– Ах, барышня, – воскликнул, наконец, Флейтист, поднимая голову, – чудесная вы моя, барышня! Мара-Марена! Сама пришла! Ну не чудо ли?! Кизмет! Кизмет!

– Тогда я ничего не могла понять, – Ася ласково поглядела на Александра Яковлевича. – Но позже, в своих странствиях, я узнала слово «кизмет» и до конца поняла его смысл. Кизмет – это судьба, рок, но только совсем не обязательно злой рок. Просто если *кизмет*, то уж противиться ему нельзя совсем, только хуже сделаешь. И себе хуже, и другим.

– Кизмет, – мечтательно повторил Александр Яковлевич. Это дикийинное слово показалось ему восхитительным и тревожащим, как сидящая рядом девушка. Вот уж воистину – судьба! – Но продолжайте, продолжайте!

Там же у костра рассказал Флейтист сказочную историю. Ася была в этой сказке главным действующим лицом. И не какой-нибудь девочкой-цыганкой, как в поэме у Пушкина, а настоящей королевой.

– Но самое удивительное, что ни единым словом не соврал Флейтист, – Ася тревожно взглянула на Александра Яковлевича, словно проверяя, верит ли он. – Всё обернулось именно так, как он рассказывал мне тогда, у цыганского костра. Ну или почти так...

Ася замолкла. Любщим сердцем Александр Яковлевич понял, что ей трудно продолжать, и, удивляясь своей смелости, сам взял ее за руку. Ася благодарно улыбнулась. На этом валком неказистом пароходике с ним происходили сказочные и в то же время простые с виду вещи.

– Вам я могу это доверить, – Ася потерла пальчиком переносицу и улыбнулась. – Чуть позже узнала я, что наша с вами особенность – вовсе не недостаток. Говорят, что когда-то давным-давно упал на землю с невероятной высоты и разбился прилетевший неведомо откуда огромный кусок хрусталя. Крупные осколки ушли глубоко в землю, а вот мелкие, незаметные и невесомые, до сих пор носятся в воздухе. А когда попадают в глаза новорожденному, то он оказывается отмеченным Знаком Третьего. Так это называют знающие тайну монахи. Потому что разведенными в стороны глазами можно научиться видеть такое, что другим не видно. А еще будто бы у этого человека появляются и другие необычные способности...

Рассказала Ася, как, переодев ее мальчиком, Флейтист в ту же ночь уехал с ней из городка. Конечно же, маменька напрасно боялась,

что Асю станут показывать на ярмарках. Или, чего хуже, польстятся на ее невинность. Наоборот, относился к ней Флейтист, как к настоящей королеве, уважительно и услужливо, насколько позволяли обстоятельства их путешествия.

После долгих странствий Флейтист привез Асю в город Иерусалим. Много приключений – странных, а порой и просто невероятных, – пришлось пережить ей в этом городе. Хотя и великом, но маленьком и грязном, летом душном, а зимой пронзительно холодном. Чтобы рассказать обо всем, потребовалось бы, наверное, несколько недель.

– Я совсем не хочу что-нибудь от вас скрыть! – воскликнула Ася, и Александр Яковлевич вздрогнул от нехорошего предчувствия. – Но знайте: то, что случилось со мной, наверное, до сих пор великая тайна, да и...

Она подняла на Александра Яковлевича милые улыбающиеся глаза.

– Впрочем, кизмет... Я знаю, вы мне поверите!

Каждый год в сентябре привозил Флейтист в Иерусалим детей. В миссию Ордена Храма. Принимали их там с большим почетом. Особенно отличали монахи девочек Асиного возраста. А перед ней самой и вовсе благоговели и, как и обещал Флейтист, звали королевой и Марой-Мареной. Хотя, к ее удивлению, разместили ее не в роскошных покоях, а в крохотной комнатке-келье. Единственное окошко выходило во внутренний дворик, столь тесный, что росшее там корявое фиговое деревце совершенно заслоняло дневной свет. Изредка во дворик заглядывал большущий рыжий кот и подозрительно косил глазом на прильнувшую к окну Асю...

Кормили Асю тоже не по-королевски – пресным хлебом, финиками и водой, чуть подкрашенной красным вином. Впрочем, Ася не жаловалась. Она чувствовала, что вот-вот должно произойти такое, что объяснит и ее пребывание в святом городе, и удивительное отношение к ней монахов. А потом...

– Был среди монахов один, звали его брат Даниэль Фиктульд...

Ася поморщилась, пытаясь то ли вызвать в памяти образ этого человека, то ли, наоборот, отогнать его. Брат Даниэль был еще не стар, хотя уже и не молод, и ему были открыты самые сокровенные тайны Ордена. По крайней мере, так казалось Асе. Потому что остальные монахи оказывали ему знаки внимания, которыми пренебрегали, общаясь между собой. Ася часто ловила на себе его ласковые, но полные почтительности взгляды, когда он приносил ей пищу.

За те несколько месяцев, что Ася провела в миссии Ордена, монахи посвятили ее во множество своих великих таинств. Ася при-

нимала участие и в удивительных службах, проводимых в полнолуние на крыше старинной башни, высоко над спящим великим городом. К сожалению, многого из того, во что ее посвящали, Ася совсем не поняла. Ей казалось, что и сами монахи лишь силились понять смысл древних знаний, бесконечно повторяя одни и те же заклинания и ритуалы. Но всё равно, то, что они делали, было красиво и таинственно, и благовонные курения, которые дымились в ее честь, пахли восхитительно. А уж отводимая Асе роль королевы была просто головокружительной. Потому что однажды довелось ей как будто и взаправду вознестись высоко-высоко надо всеми, прямо к луне, и оттуда по-королевски взирать на букашек-монахов, которые, распростершись далеко внизу, истово целовали ее босые ноги.

Да, так было. До того момента, пока...

Пока однажды глубокой ночью брат Даниэль без стука не вошел в Асину комнатку. Необычно резким тоном он потребовал, чтобы Ася немедленно проснулась, и когда девушка встала с кровати, объявил, что сейчас она узнает, ради чего привезли ее в Священный город. И чуть помедлив, спросил, известно ли ей, что такое страх. Ася неуверенно кивнула. Брат Даниэль усмехнулся в свои узкие, словно отточенные усы и сказал, что имеет в виду *настоящий страх*. И когда девушка пожалала плечами, не зная, что ответить, зверем кинулся на нее, разорвал грубую ночную рубаху так, что она свалилась на пол, оставив Асю совершенно обнаженной и...

Никогда Александр Яковлевич не подозревал, что способен на смертоубийство. А сейчас понял, что этого проклятого монаха мог бы убить, не задумываясь. Растерзать голыми руками.

– Нет-нет, – Ася успокаивающе погладила Александра Яковлевича по руке, – напрасно вы про *такое* подумали!

То, что рассказала ему Ася дальше, было еще страшнее, чем Александр Яковлевич мог себе вообразить. Даниэль Фиктульд толстой пальмовой веревкой безжалостно связал своей несчастной жертве руки и ноги...

– Вы очень добрый и хороший, – Ася снова сжала своей маленькой ручкой ладонь Александра Яковлевича и уже не выпускала, – но только должны понимать, что судьба моя необычна и очень отличается от судеб других барышень, с которыми вы, должно быть, привыкли вести знакомство... И кроме того, – с очаровательной непоследовательностью добавила она, – откуда же мне было знать, что я встречу вас? Кизмет...

Александр Яковлевич ни с какими барышнями вести знакомство не привык. Он окончательно уверился, что Ася – его Ася! – существо действительно необычное. Судорожным движением Александр

Яковлевич проглотил застрявший в горле ком и попытался улыбнуться. Кизмет!

...Брат Даниэль схватил Асю на руки и понес куда-то в темноту. Не привыкшая к такому обращению девушка почти не сопротивлялась и лишь содрогалась от стыда, не имея возможности прикрыть свою наготу руками. А брат Даниэль, пробежав по узкому коридору, выскочил в тот самый крошечный дворик, потом, толкнув ногой калитку, в другой, значительно больший, и поставил Асю на ноги в центре двора. И тотчас же другие более грубые руки подхватили ее и затащили на возвышение. Только спустя несколько минут поняла Ася, что привязана к столбу и ногами упирается в вязанки колючего хвороста. А вокруг в мертвенном молчании стоят темные фигуры монахов. Лица их были упрятаны в капюшоны так глубоко, что колеблющийся свет факелов, которые они держали в поднятых руках, лишь изредка освещал то бледные подбородки, то горящие глаза. Своей неподвижностью они напоминали статуи. И только один – низенький и горбатый монах с жутким, перекошенным усмешкой лицом двигался, набирая черпаком на длинной ручке темное масло из большой деревянной кадлушки и поливая им хворост.

– Мара-Марена, – раздался голос, но Ася не могла сообразить, кто именно говорит с ней, – понимаешь ли ты, что избрана? Понимаешь ли, что тебе сейчас предстоит огненное посвящение, пройдя через которое, послужишь ты великому делу, и откроется тебе *то, что сокрыто*? Обещаешь ли ты отдать его нашему великому Ордену?

По мере того, как Ася осознавала происходящее с ней, ужас, непередаваемый словами смертный ужас охватывал ее всё сильнее и сильнее, лишая воли и возможности соображать. Впрочем, в какое-то мгновение Асе показалось, что всё это происходит не с ней. Она увидела себя со стороны и почувствовала, что на самом деле эта обнаженная, приговоренная к сожжению девушка – вовсе не она, Ася, а королева Мара-Марена. *Настоящей* же Аси вроде как и нет. Но все-таки она есть, потому что больно впиваются веревки в скрученные за спиной руки и острые сухие ветки причиняют боль ногам.

А отвратительный горбун все подливал и подливал густое остро пахнущее масло, и в тишине слышно было, как он бормочет и цокает языком, подправляя сползшие связки хвороста. И тогда ужас стал таким непреодолимым, что с негромким хлопком лопнул и разлетелся где-то высоко над головой несчастной Мара-Марены. И тут же услышала она голос брата Даниэля – близкий, словно шепчущий ей на ухо.

– Бойся, королева, бойся! – вкрадчиво говорил ей брат Даниэль. –

Смертельный страх – это ключ. Ключ к двери, за которой *находится то, что сокрыто*. Но только единицы могут им воспользоваться. Ты должна открыть эту дверь! Ну, Мара-Марена! Только не медли, а то соришь заживо...

В отчаянии и надежде приподняла Ася голову, но тут же, увидев, как сужается вокруг нее кольцо монахов с факелами, потеряла сознание. А очнулась уже в постели. Но не в своей полутемной келье, а в большой светлой спальне. И кровать была большая, с балдахином, каких Ася никогда раньше не видела.

Потом выяснилось, что ее нашел лежащей без сознания на одной из узких улочек Старого города богатый аргентинский землевладелец Армандо Де Лос Сантос, приехавший в Иерусалим поклониться Гробу Господню. Он забрал пораженную жестокой нервной горячкой Асю с собой в Аргентину, в город Буэнос-Айрес.

– Ну а что случилось дальше, – Ася грустно улыбнулась, и сердце у Александра Яковлевича безнадежно упало, – вы, наверное, и сами можете догадаться.

Александр Яковлевич ни на секунду не усомнился, что бедная Ася стала жертвой шайки негодяев, включая и этого аргентинца, Де Лос Сантоса, воспользовавшегося беспомощным положением девушки.

– А кизмет, помните? Напрасно вы тотчас же разуверились в нем. Коли вы в кизмет не верите, так и он от вас может отвернуться.

Ася рассмеялась, да так весело, что у Александра Яковлевича вдруг стало легче на душе.

«Главное-то, – подумалось ему, – главное не в прошлом, а в том, что будущее ее теперь накрепко связано с ним. А уж он больше никому не позволит...»

Александр Яковлевич, забывшись, крепко сжал нежную Асину ручку.

– Да что же это? Вы совершенно неправильно догадались! – воскликнула Ася, вырывая руку и даже как будто сердясь на Александра Яковлевича. – Де Лос Сантос, конечно, оказался негодяем, но в другом смысле.

Только в Аргентине Ася узнала, что монахи продали ее Де Лос Сантосу, пообещав ему, что, пройдя огненное испытание, девушка стала настоящей Мара-Мареной. Хотя честно признались, что открыть дверь, ведущую *туда*, ей оказалось не по силам.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Александр Яковлевич был настолько поглощен Асей и ее историей, что прибытие в Одессу застало его врасплох. Он не на шутку

растерялся, сообразив, что совершенно не представляет, как им с Асей быть дальше. До их встречи Ася собиралась вернуться к маменьке, справедливо полагая, что возвращение блудной дочери в образе Анджели Де Лос Сантос будет по достоинству оценено и Ася получит полное прощение. Теперь же, встретив Александра Яковлевича, она и сама не знала, что делать.

Душа Александра Яковлевича рвалась на части. Ах, как хотелось ему сейчас же отправиться вместе с Асей в Бессарабию! Бросились бы они к маменьке в ноги, получили бы родительское благословление, а после увез бы Александр Яковлевич Асю в Санкт-Петербург, к своим. Конечно, курса наук он не окончил, но как-нибудь всё бы устроилось. Вот уж, воистину, кизмет!

Но тут же вспоминалось Александру Яковлевичу лицо фон Берга и миссия, отказаться от которой, пожалуй, было бы решительно невозможно. Да и, кроме того, денег у Александра Яковлевича почти совсем не было, и потому рассчитывать он мог только на щедрость господина Кашкина. А тратить выданные казенные деньги на что-либо, кроме поездки в Петербург, было бы просто непорядочно.

Наверное, он мог бы просить денег у родных. Но, во-первых, было легко предсказать реакцию отца, когда тот узнал бы, что сын сбежал из Германии из-за подозрения в убийстве и находится в Одессе с неведомо откуда взявшейся невестой. А во-вторых... фон Берг существовал не сам по себе, за ним стояло грозное Третье отделение, иметь дело с которым было куда опаснее, чем с отцом. А тут еще не подозревавшая о его трудностях Ася то и дело спрашивала Александра Яковлевича, куда же они теперь отправятся, тем самым усугубляя и без того отчаянное положение.

В порту обнаружилось, что они оба путешествуют налегке. Дамская сумочка да небольшой потертый кожаный баул – это был весь Асин багаж. Исходя из этого наблюдения, Александр Яковлевич пришел к грустному выводу, что даже если бы он решил отправить Асю домой одну, то денег на это предприятие у нее всё равно не было. Но Александр Яковлевич теперь и не мог позволить ей тратиться. Ведь он мужчина и ее защитник! Следовательно, он и должен заботиться о ее благополучии.

В Одессе, как и в Константинополе, было по-летнему тепло и солнечно. Даже не верилось, что уже начало зимы. Они стояли у подножия широкой лестницы, ведущей от берега вверх, в город. Ася рассказывала ему что-то занятное о Буэнос-Айресе, но Александр Яковлевич ее не слышал. Он мучительно размышлял над тем, что же делать дальше. И снова вспомнились ему рассуждения фон Берга о Третьем пути. Получается, первое его побуждение – уехать с Асей к

ее маменьке, второе – каким-то образом отправить ее домой одну, а самому добираться до Петербурга, как и было условлено с фон Бергом. А что же третье?

И снова решение нашло его само. Задумавшись, Александр Яковлевич засунул руки глубоко в карманы пальто, и в правом тут же наткнулся на что-то твердое и холодное. Перстень! Как же он мог позабыть?! Ведь если верить Мордку, стоит этот перстень огромных денег. Конечно, достался он Александру Яковлевичу не совсем честным путем, а уж как оказался в кармане принесенного фон Бергом пальто, и вовсе непонятно. Но коли так, то...

Асин баул был хоть и невелик, но тяжел. С Александра Яковлевича семь потов сошло, пока он нес его вверх по лестнице. Но зато наверху, на бульваре, Ася так покорно согласилась подождать его с вещами на лавочке, что Александр Яковлевич почувствовал совершеннейшее удовлетворение от взятой на себя роли. Не переставая оглядываться на оставшуюся на скамейке под облетевшей акацией Асю, он зашагал по оживленной улице в сторону центра. Судя по витринам магазинов, выглядевшим вполне по-европейски, где-то неподалеку должна была находиться и лавочка ювелира.

И действительно, не прошел Александр Яковлевич и ста шагов, как обнаружил небольшую вывеску, гласящую, что в узком проеме между двумя нарядными трехэтажными зданиями «имеет место быть продажа, починка, а также и скупка золотых и серебряных украшений». Отчего-то чувствуя себя чуть ли не преступником, Александр Яковлевич, прежде чем шагнуть в проем, оглянулся – и увидел на противоположной стороне улицы солидную медную табличку конторы присяжного поверенного Кашкина Г.А.

Александр Яковлевич всплеснул руками. Господи, да как же он сразу-то не сообразил?! Господину Кашкину можно объяснить, что случилось непредвиденное и прежде, чем отправиться в Петербург, он вынужден заехать в Бессарабию. Благо от Одессы до нее рукой подать, следовательно, круг получится небольшой. А после продажи перстня они и в деньгах-то нуждаться не будут! Вот он, Третий путь!

С легким сердцем Александр Яковлевич перешел дорогу и открыл тяжелую дверь адвокатской конторы. Прихожая была отделана темными дубовыми панелями, а пахло в ней, как и во всяком присутственном месте, навощенными полами, слежавшимися бумагами, сургучом и табаком. Тут же появился молодой парнишка в больших коленкорových нарукавниках, натянутых на рукава несвежей белой рубахи чуть ли не по самые плечи.

– Вы... – растерянно спросил парнишка, – вам, собственно, кого?

«Однако странный вопрос для конторского служащего», – подумал Александр Яковлевич. Вслед за парнишкой в прихожей появился невысокий полный господин с мягкими благодушными чертами лица.

– Господин Кашкин? – спросил Александр Яковлевич. – Я к вам от барона фон Берга.

Вместо того чтобы понимающе кивнуть, Кашкин как-то странно скривился и зачем-то засунул пухлую руку во внутренний карман сюртука.

– Да-да, конечно, – наконец проговорил он, глядя куда-то за спину Александра Яковлевича.

Александр Яковлевич невольно обернулся. Стекланную половину двери снаружи, заслоняя дневной свет, загораживала чья-то огромная фигура. Александру Яковлевичу сделалось не по себе.

– Да вы проходите, проходите! – Кашкин указывал куда-то в глубь прихожей. – В моем кабинете нам будет удобней.

Краем глаза Александр Яковлевич отметил усмешку стоявшего сбоку парнишки в нелепых нарукавниках. От него исходила опасность. Совсем как тогда, в Италии, когда их с фон Бергом остановили на улице бандиты. Но там рядом был барон. Теперь же Александр Яковлевич мог рассчитывать только на себя. Он не понимал, что происходит, просто чувствовал опасность. Хотя стояло яркое солнечное утро и по улице, в двух шагах от него, неторопливо прогуливалась солидная публика. А там, на бульваре, на лавочке его ждала Ася...

– Ну-с, – Кашкин нетерпеливо двинул рукой, – может, все-таки поговорим? Пойдемте, пойдемте! Ну отчего вы такой нервный, право слово!

Александр Яковлевич прошел вслед за Кашкиным по коридору, ощущая спиной присутствие парнишки в нарукавниках.

Окна большого кабинета выходили во двор с наглухо запертыми высокими воротами. За ними виднелась всё та же центральная улица. Кашкин сел за большой стол спиной к окну и указал Александру Яковлевичу на кресло для посетителей. На столешнице перед ним стоял недопитый стакан чаю в тяжелом потемневшем подстаканнике.

Александр Яковлевич вздрогнул. Снова этот чай! Теперь только коты рыжего не хватает, чтобы совсем свести его с ума...

– Позвольте узнать имя-отчество? Александр Яковлевич? Прекрасно! – Кашкин поправил на столе какую-то бумагу и снова нехорошо скривился. – Так что же вас просил передать мне милейший Ксаверий Иванович?

То, что Кашкин назвал фон Берга так запросто, несколько успокоило Александра Яковлевича. Не тот человек фон Берг, чтобы кто

попало знал его имя и отчество. Но, по-видимому, некоторое колебание на лице Александра Яковлевича все же отразилось.

– Да вы зря беспокоитесь! Дело наше, сами понимаете, непростое, иной раз приходится знаться черт знает с кем, уж простите. Ну и, само собой, – Кашкин указал на дверь кабинета, – принимаем меры предосторожности, так сказать.

Александр Яковлевич невольно повернул голову к двери, но по пути взгляд его зацепился за темное пятно на бежевых обоях, которыми были оклеены стены кабинета. Словно бы маляр, окунув в краску большую кисть, изо всех сил мазнул ею, не заботясь о разлетевшихся брызгах. Пятно было совсем свежим.

«Да ведь это кровь», – внутренне ахнул Александр Яковлевич.

– Ну-с, – сказал Кашкин, – давайте-ка теперь всерьез поговорим. Вы человек, как я вижу, совершенно посторонний, в деле оказавшийся случайно и, скорее всего, просто сбитый с толку нашим с вами общим знакомым. Нет-нет, не подумайте чего!

Кашкин улыбнулся, но тут же стер с лица улыбку. Вместе с ней исчезло и благодушие.

– Не в моих правилах дурно говорить о коллегах. Тем более за глаза. Ксаверий Иванович фон Берг – замечательный человек и прекрасный офицер. Его, кстати, у нас Пруссакom зовут за педантичность и вьедливость. Но... мечтателен и доверчив чрезвычайно. Эти качества хороши для барышень на выданье, знаете ли. А для служащего Третьего отделения они лишние. В результате позволил себе наш барон увлечься и, вместо того чтобы исполнять свои непосредственные обязанности перед царем и отечеством, занялся какой-то, уж извините, глупой теорией. Да и вас, как вижу, подбил...

– Послушайте, господин Кашкин! – перебил его Александр Яковлевич. Он не мог позволить этому толстячку обижать фон Берга. И уже совсем невозможно было поверить, что порученная ему государственная миссия – всего лишь фантазия барона.

– Нет, это вы послушайте! – возвысил голос Кашкин, и лицо его тут же превратилось в маску. – Во-первых, никакой я не Кашкин, а глава специального отдела Первой экспедиции Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии Василий Алексеевич Трубецкой. А во-вторых, вы, юноша, плохо себе представляете, в какую историю оказались замешаны. И чем это вам грозит, тоже не ведаете.

Александр Яковлевич похолодел. Ему стало по-настоящему страшно. И в то же время... странным образом ему хотелось думать, что всё еще может быть в порядке; что это просто недоразумение. Сейчас оно каким-то образом разрешится, и он выйдет обратно к

людям, к ждущей его на бульваре Асе. Что-то такое отразилось на лице Александра Яковлевича, отчего Трубецкой, совсем как фон Берг, вдруг резко сменил тон и укоризненно покачал головой.

– Впрочем, что же это я? Всё это наши внутренние дела, к коим вы и не причастны вовсе. То есть, как я понимаю, Пруссак вас каким-то макарон запутал или запугал. Может даже что-нибудь эдакое, – Трубецкой неопределенно помахал пухлой ручкой, – романтическое вам представил. Возможно, дама какая-нибудь тут замешана. Да что это я? Не какая-нибудь, а уж, наверное, молодая и красивая. Ну? Угадал?

Трубецкой азартно подался вперед, цепко вглядываясь в лицо Александра Яковлевича. Александр Яковлевич подумал об Асе, терпеливо ждавшей его на скамеечке... Правда, была еще другая женщина, погибшая авантюристка, но... А что, если встреча с Асей тоже устроена фон Бергом? Нет-нет, это невозможно! Потому что тогда придется допустить, что нет никакого *кизмета*, а есть только еще одна служащая Третьего отделения. Поверить в такое Александр Яковлевич категорически отказывался.

– Ах, молодой человек, молодой человек! – Трубецкой мечтательно улыбнулся. – Впрочем, не так давно я и сам был молод. И тоже верил. И знаете ли, даже гордился оригинальностью и самостоятельностью мышления. Самонадеян был. Боже, говорил, не давай мне ничего, а только отними у меня сомнения. Как какой-нибудь протопоп Аввакум. А на деле – сопляк-с и ничего более...

Трубецкой помолчал, как будто раздумывая, следует ли продолжать, а потом показал коротким пальцем на пустую столешницу.

– Недавно в докладной Его Величеству один умный человек, генерал, – палец Трубецкого вознесся вверх, – написал, что умственный желудок общества не в состоянии переварить последних нововведений. Позвольте, как же так? Ведь нововведения-то как раз в угоду господам либералам сделаны! А они их, видите ли, не переваривают! Но ведь, простите, на то и касторка придумана. Так нет же, мы в мистику ударились! И со всех сторон... да что там, в своем же собственном учреждении мистификаторы завелись. А тут еще вы, молодежь прекраснородная! И вот, вместо того чтобы серьезно работать, приходится заниматься всяческой чепухой. Покушение, видите ли, готовится на здешнего градоначальника Гудим-Левковича Сергея Николаевича. И этот ваш Кашкин, представьте, оказался замешан. Нет, конечно же, непременно нужно пресечь, и пресекаем, как видите, но... тут другое, тут страшнее. Тут ведь на империю покушаются!

Пухлым кулачком Трубецкой с досады стукнул по столу. Дзинькнул о подстаканник хрустальный стакан – и тут же дзинькнул

еще пронзительней, потому что вдруг дрогнул и зигзагом ушел из-под ног пол в кабинете, а из-за забора плеснула нестерпимо яркая даже в свете солнца волна. Александру Яковлевичу показалось, что тяжелый жестяной звук распахнул настежь запертые ворота, мгновенно выдавил стекло в окне за спиной Трубецкого и ворвался внутрь, покачнув стены.

Трубецкой замер в неудобной позе, чуть пристав со стула. И вместе с ним замерла, как будто ошиблась дверью, влетевшая в кабинет ослепительная волна. Изогнутые ятаганами куски оконного стекла повисли в воздухе. Один из них – самый острый – нацелился прямо в спину Трубецкого. Оранжевый солнечный зайчик, вспыхнувший на его неровной грани, ослепил Александра Яковлевича. Александр Яковлевич вздрогнул, отвернулся от режущего глаза света, и тут только сообразил, что он, кажется, единственный, кто сохранил способность двигаться в этом внезапно застывшем, потерявшем звук мире. Впрочем, мир был не вполне застывшим: кусок стекла, нацеленный на Трубецкого, как оказалось, не висел в воздухе, а очень медленно, но неуклонно двигался, приближаясь к его спине. Да ведь еще немного и...

Александр Яковлевич хотел было вскочить на ноги, но и ноги его, и руки, и спина сделались очень тяжелыми, почти чугунными... Так что у него получилось не вскочить, а выползти из кресла. Неподъемные ноги не желали отрываться от пола, и Александру Яковлевичу пришлось волочить их, но даже это оказалось неимоверно трудным делом. Самое ужасное заключалось в том, что Александр Яковлевич чувствовал: никак он не поспевает туда, за спину Трубецкого, чтобы отвести проклятый осколок, которому лететь оставалось совсем немного: вот-вот он вопьется в спину живого еще человека, делая его *неживым*.

Наклонившись вперед, как будто навстречу сильному ветру, Александр Яковлевич медленно двигался к окну, до которого и было всего три-четыре шага, пытаясь дотянуться чугунными руками до проклятого осколка. И видел, как у Трубецкого ползут вверх брови, кривятся полные губы и глаза делают испуганными и несчастными.

Александр Яковлевич с трудом добрался до стола и, поняв, что обойти его недостает ни сил, ни времени, повалился прямо на столешницу, с ужасом представляя, как глубоко вонзается осколок в спину Трубецкого, как, в такт судорожно работающему сердцу, фонтаниками выплескивается кровь... До хруста, до боли выворачивая левую руку, Александр Яковлевич потянулся к проклятому осколку, но не достал, хотя оставалось совсем немного. Тогда правой рукой он оттолкнулся от края столешницы – так, что тело повисло в воздухе, –

и достал-таки! Но как ни наваливался Александр Яковлевич на горячий осколок, тот продолжал свое страшное движение и уже почти касался спины Трубецкого чуть ниже лопатки и левее позвоночника – там, где сердце. Александру Яковлевичу даже показалось, что он видит, как встали дыбом волоски добротного сюртучного сукна, которое сейчас распорет свирепый стеклянный клюв... Александр Яковлевич всей ладонью уперся в упрямый осколок и с облегчением почувствовал, что тот поддался, чуть-чуть отклонился в сторону.

В то же мгновение в застывший мир вернулись звуки: в ушах Александра Яковлевича один за другим как будто бы начали взрываться огромные мыльные пузыри. И снова всё пришло в движение. Трубецкой рухнул на столешницу, сметая на пол стакан, во все стороны полетели осколки, в разбитое окно с улицы ворвались крики. Александр Яковлевич уже не мог бы сказать наверняка, привиделся ли ему застывший мир или всё это случилось на самом деле. Ужасно болело левое плечо, но возможно, что он ушиб его при падении на пол. Правда, непонятно, почему он оказался под окном, за спиной Трубецкого, хотя до взрыва – а в том, что это был взрыв, не оставалось никаких сомнений, – Александр Яковлевич сидел в посетительском кресле с другой стороны стола. Впрочем, обо всем этом Александр Яковлевич задумался позже, уже в поезде, везущем его в Петербург.

А тогда, после взрыва, Трубецкой исчез, даже не взглянув на Александра Яковлевича. Александр Яковлевич немного посидел на полу, приходя в себя. А потом встал, огляделся и вышел из конторы на улицу. Никто ему теперь в этом не препятствовал, да он никого и не встретил на своем пути. Александр Яковлевич был в каком-то странном сомнамбулическом состоянии. Когда-то, впервые посетив анатомический театр в Гейдельберге, он дивился препаратам младенцев, помещенных целиком в банку с формалином. Он тогда долго разглядывал эти дикийвинные существа. У одного из них припухлые веки были чуть приоткрыты, и в щелку проглядывал вполне осмысленный человеческий глаз, смотрящий прямо на Александра Яковлевича. Александр Яковлевич вздрогнул и представил себе, как видится этому младенцу, сидящему в формалине, мир вокруг него.

Сейчас Александру Яковлевичу казалось, что он и сам помещен в банку и отстраненным взглядом через густой формалиновый раствор рассматривает происходящее там, за стеклом. Он даже не почувствовал запаха гари в прихожей присяжного поверенного, не заметил разбитых в щепки парадных дверей, через которые совсем недавно входил в этот дом. Александр Яковлевич попытался было вспомнить какие-то наставления фон Брега, но не смог, и безучастно, будто всё это его совсем не касалось, махнул рукой.

звучно шевелила белыми губами. Молодцы нехорошо загоготали. Александр Яковлевич увидел, как стоявшая рядом нарядно одетая дама средних лет вдруг закатила глаза, вскрикнула, и боком стала оседать на мостовую. Юбки у нее некрасиво задрались, обнажая кружевные панталоны. Ей никто не помог: другие прилично одетые дамы и господа торопливо выбирались из толпы.

– Да не та это! – вдруг визгливо закричал извозчик, стараясь ослабить хватку господина в котелке. – Другую держите! Во-он ту, говорю же, с глазами!

Вместе со всеми Александр Яковлевич повернул голову и среди мельтешения чужих взволнованных лиц неожиданно увидел Асино лицо, очень серьезное и отстраненное, и от этого показавшееся чужим. Александр Яковлевич сразу же вынырнул из своего формалина и бросился к ней, готовый, если нужно, проложить себе дорогу кулаками. К его удивлению, толпа покорно расступилась, и Александр Яковлевич уже потянулся было, чтобы взять Асю за руку и вывести из этой страшной толпы. Ася, увидев его, обрадовалась, улыбнулась и опять стала родной. Александр Яковлевич просиял. Но тут его грубо оттолкнули, а Асю – его Асю! – схватили чьи-то сильные и безжалостные руки.

– Убивцы! – надсаживалась где-то рядом баба в жакетке. – Безбожники! Наемники жидовские! Да чё вы стоите?! Рвать ее в куски, чтоб другим неповадно было!

– А-а-а! – качнувшись, отозвалась толпа. – Рвать!

И снова почувствовал Александр Яковлевич, что исчезли все звуки и мгновенно налилось чугуном его тело. Только на этот раз мир не застыл, а наоборот, люди вокруг стали двигаться с невероятной скоростью и ему, Александру Яковлевичу, никак было не успеть за ними. Всё виделось каким-то размазанным и искривленным. Как будто сквозь густые слезы. А может, и действительно плакал Александр Яковлевич. Плакал, пытаясь сбросить с ног чугун и спасти свою Асю – глупую девочку, неосторожно забравшуюся в толпу, вместо того чтобы спокойно сидеть на лавочке...

Вдруг, каким-то чудом, Ася снова оказалась совсем рядом. Александр Яковлевич даже не удивился, а только очень обрадовался. Ася хоть и была бледна, но улыбалась почти безмятежно. Воистину, кизмет!

– Помните, как в сказках бывает? – как ни в чем не бывало Ася вложила свою невесомую ручку в ладонь Александра Яковлевича, и он сразу же почувствовал, что его рука стала легкой и теплой, словно ей передалось тепло Асиной руки. – В тех самых, где влюбленные жили долго и счастливо? А потом умерли в один день? Помните? А

что если жить очень счастливо, но совсем недолго? Совсем-совсем недолго? Хотите?

Александр Яковлевич еще ничего не успел понять и только увидел, что Ася достает из стоявшего у ее ног саквояжа – да как же она донесла-то сама такую тяжесть! – нечто, завернутое в плотную коричневую бумагу.

– Брат Даниэль, помните, я вам еще на пароходе рассказывала? – Ася крепче сжала руку Александра Яковлевича. – Так вот, он мне говорил и повторял, чтобы запомнила: в этом мире всегда есть два пути. Жить долго или коротко, хорошо или плохо. Время от времени открывается нам и Третий путь. Но не все достойны пройти его. Ох, не все!

Александр Яковлевич вздрогнул. Да как же так? Этот мерзкий брат Даниэль говорил Асе то же самое, о чем ему, Александру Яковлевичу, говорил фон Берг! Может ли такое быть? Но тут же встревоженная мысль его оборвалась, исчезла без следа. Потому что Ася крепко прижалась к нему всем своим тоненьким горячим телом и доверчиво посмотрела снизу вверх чудными разбежавшимися в стороны глазами.

– Знаете, ведь это очень важно, что ты думаешь и ощущаешь в самый последний момент перед смертью. Я вам давеча не сказала, о чем думала, когда монахи хотели меня сжечь. Хотела, да постеснялась. А мне привиделось, что рядом со мной были вы. Да-да, вы! Вот как сейчас. Только я тогда не знала, какой вы. Теперь знаю. И это чудо...

– Но, – потершись щекой о его пальто и вздохнув, продолжала Ася: – чудеса, они очень-очень капризные. Прямо беда с ними. И живут они в узеньком пространстве между жизнью и смертью. Только там – и больше нигде. Это я точно знаю. Вот вы скажите, отчего раньше, в древности, чудеса случались часто, а теперь почти никогда?

Ася на секунду оторвалась от Александра Яковлевича, переложив пакет из руки в руку и снова прижалась к нему.

– Да оттого, что раньше в ходу была кровь, много крови. Теперь вот нет, теперь водой крестят. А тогда – кровью, человеческой кровью. Мне в Аргентине рассказывали: жил там когда-то давно мудрый народ. Они вырезали у людей сердца и приносили в жертву богам. Кажется, вот ведь варвары, правда? Но нет, всё не так! У них те, кому вырезали сердце, они... они сами просились в жертвы. Потому что, понимаете...

Ася вдруг запнулась, ее лицо исказила неузнаваемо меняющая его гримаса. Она снова отпрянула от Александра Яковлевича, но

теперь уже не по своей воле. Он понял это сразу. Мир вокруг снова стал обычным, вернулись крики, свистки и топот, и Александр Яковлевич увидел, что стоит посреди улицы и что на Асю наваливается неведомо откуда взявшийся городской. В высоко поднятой руке Ася держит свой пакет, и грузный городской, задыхаясь и громко пыхтя от усердия, пытается разжать ей пальцы и вырвать этот пакет. И всё никак у него это не получается. Может быть из-за какой-то таинственной силы, овладевшей Асей, а может, ему мешает высокий пронзительный не то вой, не то визг, который она издает, не разжимая зубов.

Александр Яковлевич шагнул было вперед, чтобы помочь Асе, но остановился. Он не понял, что случилось, но в Асе вдруг проявилось что-то чужое и извращенное, что-то такое, чего просто невозможно представить в любимом человеке. Но в то же время... это была *его Ася*, ведь он же поверил в кизмет, в то, что она – *та самая* женщина. И что это уже навсегда.

Пока Александр Яковлевич колебался, на помощь к городскому прибежали двое молодцов в картузах и своими телами заслонили от него Асю. И захлебнулся, потух ее страшный крик. Тут же как по команде улица снова наполнилась людьми, совершенно оттеснившими Александра Яковлевича в сторону. А он всё стоял и стоял, не понимая, что ему следует делать. Предал он Асю или нет? Но ведь она действительно бомбистка! Или, может быть, он просто струсил?

Вдруг прямо перед ним появилось озабоченное лицо Трубецкого. Только тогда сообразил Александр Яковлевич, что он уже не стоит, а вовсе даже сидит на тротуаре прямо перед развороченными взрывом дверями конторы присяжного поверенного.

– Да вы, батенька, просто герой, – с непонятной Александру Яковлевичу интонацией произнес склонившийся к нему Трубецкой. – Это ж надо – не испугаться, не растеряться, выбежать сразу после взрыва на улицу да и поймать бомбистку! Признаться, я сам впал в прострацию. Хотя ненадолго, а всё же. Да и мои помощнички растерялись! И кабы не вы... Просто исключительной храбрости вы человек. Хотя по виду и не скажешь, уж не обессудьте. Вам бы действительно у нас послужить. Большая польза от вас отечеству будет. И вам почет обеспечен.

Трубецкой озабоченно оглянулся по сторонам и еще ниже склонился к Александру Яковлевичу. Так низко, что снова стали видны освещенные полуденным солнцем ворсинки на его сюртуке.

– Вы ведь не просто бомбистку задержали; получается, что вы еще и господина Гудим-Левковича, градоначальника, можно сказать, от смерти спасли. Ну или почти спасли. Он ведь с минуты на минуту

проезжать тут должен был в пролетке – к себе в резиденцию. Если бы бомбистка не ошиблась, страшно себе представить, что могло случиться. Да для вас ордена за это не жалко! И обязательно дадут орден, это уж поверьте. Пруссак-то расстарается, вы же его человек, как-никак. Только... давайте-ка мы с вами вот как поступим. Ведь если вдуматься, что получается? Получается, мы с моими сотрудниками зря только хлеб государев едим. Мышей, что называется, не ловим. А тут возникает ниоткуда штатский, уж простите на слове, и раз-два, извольте-с, сгеройствовал!

Лицо Трубецкого налилось кровью, в уголках его перекошенного рта скопилась липкая слюна.

– И тогда выходит, что гнать нас всех нужно к чертовой матери, потому как и яйца выеденного мы не стоим! Сей же час следует рапорт об отставке писать! Да-с! Только вот... Трубецкой впился глазами в лицо Александра Яковлевича. – Кто вместо нас на себя заботу о безопасности отечества примет? Кто? А вот вы и примете. Вы!

Резким движением Трубецкой поднял Александра Яковлевича на ноги.

– Пойдемте, пойдемте! Нечего рассиживаться! Вам орден получать, но с этого самого момента вы за всё в ответе!

– Да позвольте, – пролепетал Александр Яковлевич, вырывая руку, – я ничего такого... какой орден? При чем здесь я?

Он хотел было объяснить, что никого он не ловил и уж тем более не спасал. Потому что Ася никакая не бомбистка, а... его невеста. Но в последнюю секунду отчего-то замялся. Да невеста ли? А не потопропился ли он, не пренебрег ли советами и предостережениями фон Берга? Александру Яковлевичу стало страшно.

– Ну и ладно, – покладисто сказал Трубецкой, по-своему поняв растерянность Александра Яковлевича. – В самом деле, вы человек хоть и бесстрашный, но все же молодой и неопытный. Это уж я погорячился, с рапортом-то. Куда вам сейчас Отчизну оберегать? Вам самому, кажется, помощь нужна.

Трубецкой доверительно взял Александра Яковлевича под руку.

– Мы с вами вот как поступим. Орден ваш от вас никуда не денется, это уж святое, сами понимаете. Но сейчас ведь набегут сюда чины всех служб. Вас обязательно допрашивать начнут, таскать, что называется, по инстанциям... И какой-нибудь там служака, желая выдвинуться, может еще и вас в бомбисты записать. Поди потом отмойся. Тут уж не то что орден, тут как бы в каторжные работы не загреметь ненароком. Зачем это вам – вместо ордена-то? Верно? Совершенно это вам ни к чему...

Говоря всё это, Трубецкой успел довести ошеломленного

Александра Яковлевича до перекрестка и, взмахнув рукой, подозвал извозчика.

— Родители ваши, я так понимаю, жительствоуют в столице. Вот и славно, вот сейчас мы вас туда и направим. Прямо на вокзал, к поезду отвезем. И оглянуться не успеете, как будете дома. А там уж... мы вас обязательно найдем. И поговорим еще. В спокойной обстановке.

Так Александр Яковлевич оказался в вагоне второго класса. Он чувствовал, что снова погружается в отгораживающий его от остального мира тягучий формалин и смотрит сквозь него, чуть приоткрыв глаза. В точности, как тот младенец-препарат из банки. Кизмет?

Часть четвертая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Александр Яковлевич не помнил, как оказался на московском перроне, где остро пахло угольной гарью; холодный зимний ветер бесцеремонно забирался под пальто. Александр Яковлевич поежился и шагнул к вагону. Он опустил на неудобное жесткое сиденье у окна, против движения, и поневоле вспомнил уютные купе швейцарских поездов. Ну ничего, ехать теперь оставалось совсем немного. Александр Яковлевич снова поежился: предстоящая встреча с родителем не обещала ничего хорошего. Батюшка Яков Александрович будет метать громы и молнии. Сын недоучкой вернулся в родительское гнездо! Как объяснить отцу всё с ним приключившееся, Александр Яковлевич не понимал. Нет, сейчас он был не в состоянии думать об этом!

По перрону оживленно сновали носильщики в белых фартуках, вагон постепенно заполнялся пассажирами. Поезд вот-вот должен был отправиться. Места на скамейке напротив Александра Яковлевича, тем не менее, оставались свободными. Он был этому даже рад. Не хотелось сейчас вступать в обязательную дорожную беседу. Хватит с него собеседников.

Далеко впереди загудел паровоз, поезд дрогнул и медленно двинулся. Александр Яковлевич равнодушно смотрел на удаляющийся перрон, на стоявший по другую его сторону поезд, на людей, погруженных в свои дела. Кто-то кого-то провожал, а может, наоборот, встречал. Кто-то неторопливо шел по перрону, кто-то, приподнявшись на цыпочки, выглядывал носильщика; старушка обнимала смущенного, норовящего вырваться из ее рук подростка; два серьезных господина средних лет, степенно переговариваясь, курили сигары, а из вагонного окна на них поглядывала молодая дама в шляпке с вуалью.

Поезд чуть ускорил ход, но вдруг что-то пронзительно завизжало, вагон закрипел, Александра Яковлевича тряхнуло и отбросило на спинку сиденья. Поезд остановился. И сразу, как по сигналу, люди на перроне оставили свои дела и повернулись в одну сторону, к голове остановившегося поезда. На секунду всё замерло, но тут же снова задвигалось. Совсем, как тогда, в Одессе... Александр Яковлевич прильнул к окну, но разглядеть ничего не смог.

«Да что же это со мной, – в тревожной тоске подумал он, – это всё неспроста.»

Александр Яковлевич нащупал в кармане перстень и огорченно покачал головой.

«И началось-то всё с этого проклятого Мордка! Далось же ему тогда тащиться к этому цыгану. А пошел бы вместе с милейшим Платоновым на занятия, и ничего бы не случилось. Учился бы, трупы препарировал, врачом бы стал.» Теперь Александру Яковлевичу казалось, что Гейдельберг, университет, Платонов – всё это было в его жизни давным-давно...

Только очутившись в Москве, на Николаевском вокзале, где ему нужно было пересесть на уходящий в Санкт-Петербург поезд, Александр Яковлевич до конца осознал, что произошло. Вернее, пытался убедить себя, что осознал.

Он погрузился в свои мысли и не заметил, как поезд снова тронулся. В самом конце перрона, на открытой платформе несколько человек в форме железнодорожников окружили нечто бесформенное, грязное, ни на что не похожее, лежавшее прямо у них под ногами. По неестественно вывернутому башмачку, по оставшейся неповрежденной маленькой руке в перчатке было件件но, что это лежащее нечто совсем недавно было женщиной. Александр Яковлевич видел трупы в анатомическом театре. Да только не такие... Когда вагон проплывал мимо, затесавшийся среди железнодорожников невысокий бородастый носильщик поднял голову и, как показалось Александру Яковлевичу, посмотрел прямо на него раздвинутыми к самым вискам темными глазами. Александр Яковлевич вздрогнул и невольно отпрянул от окна.

– Интересноесь? – напротив Александра Яковлевича усаживался молодой красnofлицый тип в стоящей колом куртке грубого сукна. – Да и не мудрено. Я вот даже сбегал глянуть. Хотя и страшно, конечно, а всё равно любопытно. Женщина из высшего света, при солидном состоянии, поди. И, говорят, сама же под поезд кинулась. Ну и всё, в кашу. Самое что ни на есть исподнее наружу. М-да, жизнь...

Красnofлицый покачал головой, перекрестился и хотел было что-то добавить, но тут на сиденье рядом с ним опустился еще один пас-

сажир, постарше, в легком изрядно потертом пальто и потерявшей форму шляпе, в пенсне, аккуратно надетом на крупный пористый нос. Краснолицый тут же повернулся к нему, обрадовавшись еще одному слушателю.

– Вот ведь как – барахтаешься себе, червь божий, и рад, что день прожил, и хоть не сыт до конца, да не голоден. А тут...

– А тут, – недовольным тоном перебил его пассажир в пенсне, – почище материи будут.

Пассажир глянул на Краснолицего, потом смерил оценивающим взглядом Александра Яковлевича и, уже обращаясь к нему, добавил:

– Как знать, может быть, тут имела место любовная драма. Впрочем, теперь уж трагедия. Да вот ведь незадача! Она, несчастная эта, может, просто запуталась, поддалась порыву, мужу, хорошему человеку, изменила. Ну что ж, хоть и прискорбно, но бывает, слаб человек. Да ведь фокус в том, что господа литераторы из обычного адюльтера уж непременно выведут эдакое, что добропорядочному человеку и читать-то неприлично. У нас ведь всегда так: распустит сопли юноша, узнав, что прижит незаконно, а его сразу же в роман впишут. Да таких незаконно прижитых пруд пруди, что же теперь, надо писать про каждого? Или вот дурачок в светском обществе объявился, сам не знает, что болтает, так его непременно в пророки зачислят – и опять-таки в роман. И читают потом господа, головами умными качают: во-он, дескать, как дело-то обстоит. Понимать надо! А что тут понимать-то?

– Это так, – покладисто кивнул Краснолицый и свернул на свое, – женщины, хоть аристократки, хоть с самых низов, чуть что, сразу в трагедии бросаются. Трудно с ними.

– Женщину, дорогой мой, – снова перебил его пассажир в пенсне, – нужно воспитывать непредсказуемостью. Чтобы она никогда не знала, как вы отреагируете на любое ее слово. В тумане ее держать нужно. Она с вами ощупью жить должна. Тогда и трагедий не будет.

– Это как же ощупью? – не понял Краснолицый.

– Да вот так. Сидите вы, скажем, на веранде, а тут она появляется и чаю предлагает. И вы вдруг взрываетесь, ногами топаете, кричите ей, что лезет, мол, куда не нужно. И так, знаете ли, убедительно объясняете, что вы не самодур какой-нибудь, а просто заняты важнейшим делом. Хотя понятно, что ничем вы не заняты, а просто о чем-то своим задумались. И вообще, сами же чаю и спросили.

Александр Яковлевич внимательнее пригляделся к говорившему.

– А еще хорошо установить в доме какие-нибудь правила. Ну совсем нелепые, – пассажир в пенсне облизнул губы. – Скажем, чтобы без спроса занавесок на окнах не задергивали. Или чтобы к вам в ком-

нату никто не входил по средам и субботам. Или еще что в том же духе. И чем нелепее правило, тем строже наказание за его нарушение. И еще одно: непременно к обеду запаздывать. Подано уж, все вас только и дожидаются, а вы не спешите. Опять же, будто заняты чрезвычайно. Пусть подождут. Вы для домашних всегда должны быть заняты. Даже если в этот момент, извините, собственный пуп созерцаете.

– Странные вещи вы говорите, – не выдержал Александр Яковлевич. – Несправедливые. По-вашему, выходит, что жену, женщину, которая вас любит, нужно тиранить. А ведь...

Тут он опять не к месту вспомнил Асю – как она смотрела на него тогда в толпе – и запнулся.

– Э-э, молодой человек! – пассажир в пенсне опять внимательно оглядел Александра Яковлевича. – Вы, я вижу, из студентов. Понимаю, сам бывший школяр, до сих пор альма-матер с умилением вспоминаю.

Пассажир в пенсе вежливо приподнял шляпу, но не счел нужным представиться.

– М-да. Доучиться, правда, не пришлось. Но вкусил. *Gaudeamus igitur** и всякое такое. Ну и, конечно, просвещение, справедливость, равенство. Да ведь отношения человеческие – дело хитрое, какая уж тут справедливость, какое равенство. Помните, поэт наш великий написал: *нет правды на земле, но правды нет и выше!* Так вот, я вам скажу: выше-то правды, может, и нет, а на земле ищут. Авось найдут. И знаете почему? Потому что человек – не Бог, в горних высях не пребывает. Это там – что правда, что неправда – значения не имеет. А человек всегда правду искать будет. Но одно дело – правда, и совсем другое – справедливость. Их всегда путают. И от этой путаницы множество бед в мире происходит.

Пассажир поправил сползшее пенсне и добавил:

– Да вот, к примеру, меня возьмите. Ездил я сейчас в Москву хлопотать о наследственном деле. Наследство-то небольшое, но всё же пренебречь не могу: долг перед семейством. И что же? По правде, то есть по закону, одно получается, а по справедливости – совсем другое. Ну-с, разумеется, мне сразу намекнули, как вопрос решить. Я, понятно, барашка в бумажке в нужный кабинет и понес. И что же вы думаете? Не взяли! Да еще и отругали меня его превосходительство на все корки. И вот семейство, которое рассчитывало на это несчастное наследство, осталось ни с чем. Теперь вопрос: а верно ли, что мздоимство – грех? Ведь и при Петре Великом брали, а империю создали!

* *Gaudeamus igitur* – Давайте радоваться, начало студенческого гимна (лат.).

Краснолицый, которому такой поворот показался скучным, улучив момент, снова встрял в разговор.

— А всё ж таки никак я понять не могу, зачем себя жизни лишать? Про любовь несчастную — это я понимаю. Я — Банников, может, слышали. Мы в Петербурге на Сенной в доме господина Бастрыкина лавку москательную содержим. Ну понятно, у нас на Канаве-то народ простой живет. Каких только трагедий не случается. Но чтобы жизни себя лишать... нет, у нас даже камелии, уж на что падшие, но такого себе не позволяют. Даже наоборот. Вон недавно совсем один господин из благородных за преступницей уличной в каторгу добровольно пошел. Уж не знаю, чего он себе там надумал. Ей, дуре, радоваться бы, а она, говорили, нос от него воротит...

— Падшие женщины, они, голубчик, давно рукой на себя махнули, им и смысла себя убивать нет никакого, — строго заметил пассажир в пенсне. — А вот благородные дамочки, вроде этой, — дело другое.

— А знаете, — снова обратился он к Александру Яковлевичу, — я ведь, хоть уже и не молод, а фантазировать люблю. Так вот, иногда на досуге занятно мне представлять, что в один прекрасный момент возьми да и исчезни с лица земли все крестьяне, прислуга всяческая, няньки с мамками, рабочие и прочая черная кость. Никого чтобы не осталось, только одно самое высокородное дворянство. Интересно, как бы тогда всё было? Как бы они жить стали? И вот если вдуматься, то получается, что какие господа хорошие просто не выживут и сгинут, а какие если и уцелеют, так волей-неволей опростятся. Нет, те, которые еще помнят, как оно было раньше, может, и ничего. А вот уж их детки, которые после такого происшествия народятся, те точно французского уж знать не будут, да что там, просто дикарями станут. И что занятно, одичают еще больше, чем нынешние крестьяне. Эти-то хоть в Бога веруют. А тогда... кто ж знает. Может, в церквях, прости господа, лошадей держать станут. Да-с, занятно...

Пассажир в пенсне не договорил и снова удовлетворенно облизнул губы.

— Вы вот про лошадей, — снова сменил неинтересную ему тему краснолицый Банников. — А слышали, опять покушение на Государя было. Бомбу, говорят, бросили, да не попали, слава Богу.

Банников истово перекрестился.

— Только и бомбиста тоже не поймали. На лучшем рысаке ушел. Варвар, знаменитый во всем Питере жеребец. Ну понятно, куда полиции было за ним угнаться.

При упоминании о покушении на царя Александра Яковлевича бросило в жар. Нет, прав фон Берг: миссия его, Александра Яковлевича, действительно важнейшее государственное дело! Только

отчего-то тогда, в Германии, всё выглядело немного по-другому, не так страшно. Теперь же каким-то непонятным образом всё связалось для него в один узел: и убитая незнакомка, и оказавшаяся бомбисткой Ася, и даже эта бросившаяся под поезд неизвестная ему несчастная дама. Александру Яковлевичу стало страшно от мысли о том, что на самом-то деле он не справится с возложенным на него делом. Что та грубая сила, с которой ему придется столкнуться здесь, в России, непременно раздавит его. Потому что никакой он не герой... даже свою невесту не смог спасти. Хотя, опять же, кизмет... которому, если верить Асиным словам, сопротивляться невозможно.

– Ну, – авторитетно заявил пассажир в пенсне, – мы с Наполеоном справились. А уж своих бомбистов-то... Хотя, конечно, это возмутительно – в царя-освободителя бомбы метать. Но, с другой стороны, поветрия-то подлые именно оттуда, из-за границы идут. Студенты и заносят...

Пассажир в пенсне поджал губы и осуждающе посмотрел на Александра Яковлевича, как будто не он только что признавался, что и сам учился в университете.

– Ну да, – не к месту встрял Банников. – Был у нас один, комнату снимал. Тоже студент. Учился он, учился, а потом возьми да и свихнись. Такого натворил, что не приведи Господь. Вот и думай тут.

Александр Яковлевич вжался в сиденье, втянул голову в плечи, закрыл глаза и крепче сжал веки. Под ними, отгораживая его от окружающих, тут же заплескали разноцветные звездочки. Совсем как в детстве. Пусть это и невежливо, но он спит и попросил бы его не беспокоить...

«Ничего, – успокаивающе сказал он себе, – ничего. Еще немного потерпеть, а там Петербург, мать, отец. Ну не убьет же, в конце концов? А потом объявится фон Берг, не может не объявиться. И тогда всё будет так, как должно быть... отец еще станет им гордиться. А он справится, обязательно справится. Ну конечно!» И колеса чугунки успокаивающе подтверждали: да-да, да-да, он справится.

Попутчики, кажется, не заметили, что Александр Яковлевич задремал. Разговор их ушел в сторону от волнительных для него тем. Краем уха Александр Яковлевич слышал, как жаловался Банников на упадок в торговле... он и в Москву-то ездил просить кредита у дядьки. Тот в Москве купцом второй гильдии состоит, не шутка. С большими связями человек. Слово «кредит» Краснолицый произносил с особым значением, как человек, недавно его узнавший. А пассажир в пенсне опять говорил что-то о женщинах, о том, что сам он – отец большого семейства, обремененный восемью детьми.

– Слухи ходят, – громко прошептал Банников, – что столб-то

Александрийский рушиться начал. Знак это, будто бы, нехороший. Это к несчастью.

– Да-а, – многозначительно протянул пассажир в пенсне. – Это, конечно, так, народное суеверие, но точно, лихорадит империю. Лодку государственную раскачать хотят, сволочи. Признаюсь, был молод, самому качаться на волнах нравилось. Особенно если с девочками каменноостровскими... Да-с! А теперь вот думаю: а ну как перевернется лодка-то? Ведь потонем все тогда. А с другой стороны, что ж это за лодка такая, если ее горстка сопляков опрокинуть может?

– Да какие там соплики? – Банников вздохнул. – Говорят, общество объявилось тайное. Союз какой-то. А про столб я точно вам скажу, сам видел, трещина пошла вдоль всей глыбы... То есть вроде как против обычных бунтарей-то еще куда ни шло, справиться можно. А тут – колдовство. Говорят, сам Государь к вещунам обращается. Ну, чтобы противостоять...

– Э-э, да бросьте вы сплетни эти! – перебил его пассажир в пенсне. – Если уж против государственных заговоров бабскими наговорами бороться станут, так уж и не знаю, что начнется. И без того настроение дурное: наследство-то уплыло из рук. Вы вот лучше послушайте. Есть на Каменном острове одно заведение...

Александр Яковлевич выше поднял плечи и еще крепче зажмурился. Он стал думать о скором приезде, об отце, о предстоящем ему разговоре. Без реприманда, конечно же, не обойдется. Неожиданно для себя Александр Яковлевич снова задремал: сказывалась дорожная усталость. К счастью, попутчики больше не обращали на него внимания. И только обрывки их разговора время от времени долетали до него, холодными иголочками врываясь в теплую дремоту.

– ...мне дед еще рассказывал, что и императора Павла Петровича именно колдовством извели...

– ...так вот, говорят, сам Великий князь собственноручно ей рыжего котенка подарил...

– ...а старуху он из принципа, говорят. Ну, ритуал у них такой...

– ...это ее знак приметный: как рыжий кот в окне, так, значит, хозяйка принимает. В обеих столицах знатоки ценят-с...

Не просыпаясь, Александр Яковлевич почувствовал неясную тревогу, но сил вынырнуть из дремоты не хватило. Александр Яковлевич поморщился, погрузился еще глубже в сон – и там, во сне, вдруг всё понял. Всё, что случилось с ним, связалось воедино, концы сошлись с концами, ответы на все вопросы счастливо получились, и ему стало так легко, как давно уже не было. Даже тогда, когда плыл на пароходе с Асей, так не было. Но тут же с горечью он ощутил, что наяву ничего из только что открывшегося не вспомнит.

И снова опечалился Александр Яковлевич и уснул крепче. И сразу увидел отца. Отец стоял на коленях перед лежавшим на козетке человеком. Лицо человека было очень бледным, нос пожелтел и обострился, губы запали. *Facies Hippocratica*, маска смерти, вспоминал Александр Яковлевич латынь из медицинских штудий.

Человек умирал.

– Уходи отсюда! – закричал на него отец. – Немедленно уходи! Нельзя тебе тут, это заговор! Он докопался до истины. Вот за это его и... – и показал на окно.

Александр Яковлевич проследил взглядом за отцовской рукой и, к своему удивлению, увидел на подоконнике рыжего кота. Рядом с котом стояла Ася. Невесомой полупрозрачной рукой Ася гладила кота, но смотрела на него, на Александра Яковлевича. И тогда он вдруг снова всё понял, но в этот раз понимание не принесло ему облегчения, а, наоборот, придавило чугунной тяжестью отчаяния.

«Где я?» – хотел было спросить Александр Яковлевич, но не успел и проснулся. Он по-прежнему сидел в вагоне, уткнувшись в воротник своего пальто. Поезд стоял, места напротив были пусты, и Александр Яковлевич понял, что наконец-то добрался до Петербурга. Он поднялся, подхватил саквояж и торопливо вышел на перрон.

На площади перед вокзалом Александр Яковлевич огляделся. Город показался ему до боли знакомым и, одновременно, неуловимо чужим. В Петербурге стояла настоящая зима. Было очень холодно. Из лиловой мглы, обложившей небо, сыпались редкие колючие снежинки. Тем не менее, по уже освещенному фонарями Невскому проспекту двигался народ, светились витрины, наперегонки с конкой суетливо сновали лихачи. Вдоль Лиговской мело, ветер нес неясные приторные запахи.

Нужно было добираться до дома, но при мысли о встрече с отцом Александр Яковлевич вдруг снова струхнул. Ночь, проведенная в холодном вагоне, и ужасные сновидения лишили его необходимого мужества. И вместо того, чтобы сразу нанять извозчика, Александр Яковлевич решил немного пройтись по Невскому. Давненько он здесь не был.

Несмотря на жгучий холод, Александр Яковлевич шел неторопливо, оглядывая прохожих. Он мысленно представил себе Гостиный Двор, Садовую улицу, Сенную площадь, где в доме Бастрыкина держит лавку его недавний попутчик Банников, Екатерининский канал, прозванный в народе Канавой. И внезапно понял, что рад своему возвращению, несмотря на ужасные обстоятельства, вырвавшие его из маленького уютного Гейдельберга.

Только взглянув на опаленные изморозью полуобнаженные

бронзовые фигуры на Аничковом мосту, Александр Яковлевич почувствовал, что совсем ооченел. Он оглянулся в поисках извозчика. Мгла над городом сгустилась, фонари засияли ярче и торжественней, но толпа поредела, люди заторопились, как будто старались куда-то успеть к назначенному часу. А может быть, всех подгонял усиливающийся мороз.

Но этих людей ждал теплый дом, мелкие заботы в кругу семьи, обычная размеренная жизнь. Александра Яковлевича неожиданно пронзило ощущение неприкаянного сиротства. Куда ему сейчас? Как же он теперь к отцу-то? Даже если рассказать ему всё как было, так ведь не поверит, пожалуй. Да и можно ли такое рассказывать? Где-то теперь фон Берг? Ведь он говорил, что дальнейшие инструкции Александру Яковлевичу передаст Кашкин. Александр Яковлевич вспомнил кровавое пятно на обоях в кабинете присяжного поверенного и покачал головой. Трубецкой никаких инструкций ему не давал. Только всё про орден говорил и усмехался. Ну да, орден...

Александр Яковлевич топтался у гранитного постамента с мускулистым молодцем, умирившим вставшего на дыбы коня. Хорошо им, бронзовым, не холодно. И только когда окончательно замерз, решил, что будь что будет, а он поедет домой: там хоть тепло, да и накормят. А отец? Ну что, как-нибудь уж...

И тут словно по команде перед ним остановился извозчик. В легкие санки был запряжен крупный породистый конь – ничуть не хуже тех, вставших на дыбы, бронзовых, клодтовских.

– Барин, а барин? – позвали из санок. – Садись уж, барин!

Александр Яковлевич, неловко перебирая онемевшими ногами в штиблетах, полез в санки. Закутанный по самые уши в доху извозчик обернулся и, сунув кнут под мышку, ловко накинуд полость на седока. Александр Яковлевич встретился с ним взглядом и онемел: черные пронзительные зрачки извозчика разбежались к внешним краям глаз. Извозчик сразу же отвернулся. Конь лихо взял с места и пошел, всё быстрее разгоняя санки.

И только потом, когда уже проскочили мимо Гостиного Двора к Серебряным рядам, не свернув налево, на Садовую улицу, Александр Яковлевич сообразил, что не давал извозчику адреса. Так куда же его везут, да еще и не рядясь, как это принято у питерских лихачей? Александр Яковлевич слегка привстал, чтобы ткнуть извозчика в широкую спину, но полость мешала, и он плюхнулся обратно.

– Замерзли, барин, – не оборачиваясь, сказал извозчик. – Ничё, скоро уж приедем, чуеете, как Варвар идет? Куды там до него иноходцам. Знаменитейшей фамилии, получается, рысак. Так-то.

Действительно, сани легко, как будто не касаясь земли, мчались

по опустевшему Невскому навстречу чуть видной в воспаленной снежной хмари Адмиралтейской игре.

«Да как же, — мелькнуло в голове у Александра Яковлевича, — получается, что конь-то, Варвар этот, тот самый, на котором ушел от полиции покушавшийся на царя бомбист. А извозчик... уж не колдун ли это, за которым охотится фон Берг? По виду похоже. Но все-таки... куда он меня везет?»

Разогнавшиеся санки выкатились на Дворцовую площадь. Александру Яковлевичу сразу же бросилась в глаза громада Александрийского столпа. Против ожидания, никаких трещин на граните заметно не было.

— На столб изволите глядеть? — извозчик чуть шевельнул вожжами, и конь пошел медленнее. — Болтают тут про него разное, ну народ и ходит, дивится. Быдто трещины по нему пошли, даром что Александрийским — в честь двух государей-императоров — назван. И что, дескать, чуть было не упал, столб-то. Да только не верьте, болтовня это все. Куда ему упасть, глыбе такой.

Извозчик повернул к Александру Яковлевичу наполовину скрытое воротником дохи лицо, усмехнулся и подстегнул коня. Санки опять пошли быстрее, пронеслись мимо Зимнего дворца, выехали на мост, проскочили стрелку Васильевского, опять мост, и вот уже темная, по сравнению с оставшимся позади Невским, Петербургская сторона. Александр Яковлевич сразу потерял представление о том, где он находится. Мелькнувший было далеко справа собор Петра и Павла тут же исчез, они въехали в узкий переулок, свернули, потом еще раз и еще. Потом санки нырнули под арку высокого, этажей в пять, дома без ворот, проехали похожий на стакан темный двор, еще одну арку и еще один двор, в точности напоминавший первый. И тогда только остановились.

— Ну вот и приехали, барин.

Александр Яковлевич огляделся. По крохотному квадратному дворику мела поземка. В темноте казалось, что неровно лежавший снег чуть светился.

— Вам во-он туда, — извозчик показал кнутом на приоткрытую дверь черного хода. — В третьем этаже... Ждут-с.

Он отстегнул полость и выжидающе взглянул на Александра Яковлевича. Александр Яковлевич вылез из санок и потянулся было к кошельку, но извозчик, поворотив коня, хлестнул его вожжами. Санки скрылись во тьме под аркой, как не было их.

«Может быть, следовало задержать его? — подумал Александр Яковлевич. — Да вот только как? Тут городского, наверное, не докличешься.»

И неожиданно обозлился на фон Берга. Хорошо тому рассказывать про Третий путь, про спасение Отечества... У фон Берга и сила, и опыт, и вообще... всё Третье отделение за спиной. А у него? Незаконченный курс медицины, да и то... скорее, только начатый, чем незаконченный... Господи, ну и холодина!

Александр Яковлевич посмотрел на указанную ему извозчиком дверь и тут только сообразил, что снова попал в какую-то историю; что его приняли за другого, и там, в третьем этаже, ждут совсем не его. Первым побуждением Александра Яковлевича было немедленно уйти. Он даже сделал несколько шагов к арке. Но тут с другого ее конца послышался приглушенный снегом топоток лошади и визг полозьев. Александр Яковлевич и сам не понял, чего испугался. Он быстро оглядел двор в поисках убежища, но не нашел его. Тогда он кинулся к двери, бочком протиснулся внутрь и, нащупав в темноте перила, побежал вверх по лестнице. Деревянные ступеньки предательски бухали, но, может быть, это были вовсе не ступеньки, а его собственное сердце.

На площадке третьего этажа Александр Яковлевич остановился. Через крохотное оконце черного хода проникал бледный свет. Можно было разглядеть дверь, видимо, неплотно прикрытую, потому что через нее на площадку пробивались чуть различимые запахи еды, звуки голосов и, как показалось Александру Яковлевичу, музыки.

Да тут, кажется, просто веселый дом! Ну да, чего проще! Извозчики без спроса привозят сюда одиноких, ищущих приключений молодых людей. Кто-то, может, и уйдет, обозлившись, а кто-то наверняка останется. А ему-то уж было показалось...

Внизу послышались шаги. Поднимались двое. Александр Яковлевич на секунду задумался и, стараясь, чтобы не скрипнули ступени, скользнул по лестнице выше, на четвертый этаж.

— Ну-с, — произнес один из поднимавшихся, — такого договора у нас с вами не было. Вы, по-моему, превышаете все мыслимые полномочия. В этом случае разрешение в самых верхах получать надобно...

— Ах, дружище! — легкомысленным тоном перебил другой. — Так ведь вы понимать должны, что ситуация-то нестандартная, никакими вашими циркулярами не описанная. Работать приходится в полевых, так сказать, условиях, которых, сидя в кабинетах, никак не предусмотреть. Впрочем, оставим это, мы уже пришли.

Александру Яковлевичу показалось, что он сходит с ума: он узнал оба голоса. Да нет, быть такого не может! Один ведь скитается где-то в Европе, ищет того самого таинственного Флейтиста, а другой остался в Одессе. Александр Яковлевич в последний раз видел его стоящим на перроне одесского вокзала. Не могут они оба оказаться в

Петербурге, да еще здесь, в этом сомнительном заведении! Рискуя обнаружить себя, Александр Яковлевич перегнулся через хлипкие перила и посмотрел вниз.

К сожалению, света было недостаточно и разглядеть остановившихся перед дверью на третьем этаже Александр Яковлевич не мог. Но через секунду, когда дверь растворилась, и из квартиры на темную лестницу хлынул яркий свет, никаких сомнений у него больше не осталось. Правда, видел он обоих со спины, но ему хватило и этого. Дверь закрылась, снова погрузив лестничную площадку в темноту. Не раздумывая далее, Александр Яковлевич кинулся вниз, но, уже выбежав во двор, остановился. Одно дело предстать перед отцом в роли спасителя Отечества... И другое – оказаться дурачком, которого использовали в своих целях служащие Третьего отделения... Это уж слишком! Это не должно было случиться.

Александр Яковлевич круто развернулся и бросился обратно. Сейчас он потребует от них окончательных объяснений! Он не позволит обращаться с собой, как с последним мальчишкой!

Запахавшись, Александр Яковлевич добрался до третьего этажа и изо всех сил потянул на себя дверь. Попад в темноты в свет, из лютого холода в тепло, он остановился, пытаясь сообразить, где находится. Перед ним была огромная, ярко освещенная прихожая. Где-то в дальнем углу виднелась гардеробная с шубами и шапками. Шум голосов стал явственней. Откуда-то появился огромный, на голову выше Александра Яковлевича мужчина с широкими скулами и набрякшими над глазами веками. Монголоид, определил Александр Яковлевич. Монголоид, в свою очередь, заглянул Александру Яковлевичу в глаза, покачал головой и спросил:

– Вы ведь на сеанс, не так ли? Прошу пальто.

По-русски он говорил чисто, с петербургскими интонациями. Александр Яковлевич сбросил пальто, мимолетно подумав об оставшемся в кармане перстне.

– А теперь сюда! – монголоид указал широкой ладонью на дверь справа. Александр Яковлевич открыл было рот, чтобы спросить, где фон Берг с Трубецким, но тут же передумал. Успеется еще. Не попасть бы впросак.

Дверь закрывала тяжелая бархатная портьера.

– Проходите, сударь, – в голосе монголоида прозвучала едва уловимая усмешка. Александр Яковлевич не ко времени вспомнил, как позорно бежал из укромного домика в Гейдельберге. Решительно шагнул в комнату и окончательно растерялся. Откуда-то сверху лился красноватый свет. От потолка до пола струились узкие полоски темного бархата. И запах... он вспомнил этот пряный запах! Точно так

же пахло в комнатке у Мордка! Раздвигая бархат, Александр Яковлевич сделал несколько шагов, сам не понимая, куда он идет.

Вдруг заиграла музыка. Кто-то совсем рядом выводил на дудочке простенькую мелодию. Простенькую, но чарующую. Секунду спустя к дудочке присоединился женский голос. Голос без слов подпевал дудочке, то опускаясь, то поднимаясь вместе с мелодией. У Александра Яковлевича отчего-то закружилась голова, он попытался рассмотреть поющую, но бархат глушил звук, не давал понять, где находится женщина. Казалось, голос исходит откуда-то сверху, с овального потолка.

– Иди вперед, странник, – вдруг сказал голос, – иди и ничего не бойся. Ну что же ты...

В голосе проскользнули ласковые нотки. И снова полилась мелодия.

Александр Яковлевичу голос показался знакомым, но было не до того. Он сделал еще шаг и почувствовал, что кто-то ласково гладит его по рукаву. Он резко оглянулся, но за качающимися полосками ничего не разглядел. И снова кто-то, уже с другой стороны, дотронулся до него.

На сей раз Александр Яковлевич успел заметить узкую женскую руку, другая теплая ласковая ладонь скользнула по его затылку. Потом – неведомо откуда – прилетела еще одна рука и мягко коснулась груди. Александр Яковлевичу стало казаться, что женщин в комнате много и что все они окружили его, скрытые полосками бархата. И руки у них тоже были бархатными. Они стали опускаться ниже, но дотрагивались легко, чуть ощутимо, и ему совсем не было страшно. Александр Яковлевич ловил эти прикосновения как замороженный. Ему представилось, что он идет через рой бабочек, касающихся его своими легкими крыльями.

От этих прикосновений, от запаха, от бесконечно повторяющейся, выводимой дудочкой мелодии у Александра Яковлевича начали слабеть и подгибаться ноги. Его повело вбок, но он не упал, потому что предупредительные руки тут же поддержали его и стали бережно укладывать прямо на пол, покрытый толстым бархатным ковром.

– Вот так, вот и хорошо, – произнес голос.

ГЛАВА ВТОРАЯ

– Вот так, вот и хорошо!

Александр Яковлевич открыл глаза, тут же все вспомнил и приподнял голову. В небольшой комнате рядом с ним, полулежащим в глубоком кресле с бархатной обшивкой, стояла женщина в восточ-

ном халате с широкими рукавами. Лица ее он разглядеть не мог. Но это было и неважно, потому что все члены Александра Яковлевича охватила истома, в голове была легкость и пустота, по затылку то и дело пробегали мурашки. Это было приятно, ни о чем думать не хотелось.

Дверь отворилась, и в комнату ворвались звуки и запахи, показавшиеся Александру Яковлевичу слишком громкими и резкими.

– Закончили? – спросил вошедший у женщины в халате и тут же обратился к Александру Яковлевичу. – Ну-с, как себя чувствуете после оздоровительного магнетического сеанса? Госпожа Ганевская творит чудеса, не так ли? Ну рад, рад... А то в последний раз на вас просто лица не было.

Трубецкой, казалось, был в том же самом сюртуке, что и тогда, в Одессе. От этого – а может быть, просто от неожиданности – Александру Яковлевичу стало казаться, что мир вот-вот опять замрет, как тогда, после взрыва... По крайней мере, ощущение легкости мгновенно исчезло, уступив место чугунной тяжести.

– Да вы вставайте, вставайте, дорогой мой! Сегодня вас ждет множество неожиданностей. Надеюсь, приятных.

Александр Яковлевич неуклюже заворочался в кресле. Он еще не до конца пришел в себя после необычного сеанса и не старался искать объяснение происходящему. Трубецкой услужливо подскочил поближе и помог ему встать.

– Что ж, вид у вас вполне приемлемый для... для общения. – Трубецкой удовлетворенно потер пухлые ручки. – А то скажут еще, что Третье отделение порядочных людей мучает. Могут сказать, могут. И даже говорят. Впрочем, об этом после. Ну-с, остается поблагодарить госпожу Ганевскую за прекрасную работу...

Александр Яковлевич послушно повернулся к женщине и чуть не вскрикнул. Перед ним, кутаясь в восточный халат, стояла *та самая незнакомка*, международная авантюристка, убитая в Гейдельберге.

– Уж извините, сударь, за устроенную над вами злую шутку, – улыбнувшись, сказала госпожа Ганевская. Теперь она показалась Александру Яковлевичу значительно старше, чем тогда, на набережной. – Так было нужно для дела, и уж поверьте, никто дурного вам не желал.

Александр Яковлевич не знал, что ему сказать. Его вдруг охватило знакомое с детства ощущение... Летом они часто ездили с отцом к его коллеге, ежегодно вывозившему большую семью на дачу в Царское Село. Под вечер Александр Яковлевич вместе с другими детьми уходил в самый конец запущенного сада, и там они рассказы-

вали друг другу разные страшные истории про покойников, домовых и леших. Под конец, когда всей компании становилось уже невыносимо страшно, кто-то первым не выдерживал, вскакивал, за ним вскакивали остальные – и все бежали обратно к взрослым. А бесформенный ужас гнался за ними следом, стараясь ухватить руками-сучьями за краешек одежды. Всякий раз при виде спокойно сидевших на веранде родителей Александру Яковлевичу становилась стыдно: здесь его страх казался глупым. Ну как в просвещенном девятнадцатом веке можно всерьез верить в оживших покойников? Но всё же, очутившись на мирной светлой веранде, Александр Яковлевич наряду с облегчением чувствовал разочарование. Приключение заканчивалось слишком просто.

Вот и сейчас, переводя взгляд с Трубецкого на Ганевскую, он испытал похожее облегчение: слава богу, все живы... Пусть его обманули, заставили оставить учебу, бежать из Германии, в общем, провели как мальчишку. Пусть! Теперь всё кончилось. И хотя жаль, конечно, что не придется спасать Государя, но... Пусть без орденов, без царской благодарности, зато опять – Гейдельберг, студии, верный Платонов. Вот только Ася... Кто же она на самом деле?

– Я бы... – пробормотал Александр Яковлевич. – Хотелось бы все-таки получить объяснения.

– Ну конечно! – Трубецкой взмахнул руками. – Сей же момент вам все будет разъяснено. В рамках дозволенного, разумеется. Вы и сами должны понимать. Да чего тянуть, пойдете-ка в кабинет, а то у госпожи Ганевской еще много клиентов, мы ей тут мешаем. Кроме того, вас ждет старый знакомый.

Трубецкой ухватил Александра Яковлевича под руку и бережно, словно выздоравливающего после тяжелой болезни, повел из комнаты. Он отворил последнюю дверь в самой глубине коридора. В небольшом кабинете сидел фон Берг. На сей раз Александр Яковлевич уже не удивился. Барон разочарованно встопорщил усики, но тут же поднялся и протянул ему руку.

– Рад, очень рад видеть вас снова, голубчик!

Александру Яковлевичу показалось, что это говорится искренне, и он вынужден был признаться себе, что, несмотря ни на что, тоже рад видеть фон Берга.

– Вот, дорогой Ксаверий Иванович, привел вам вашего подопечного в целости и сохранности. Как и обещал.

– Благодарю вас, милейший Василий Алексеевич! – в голосе фон Берга промелькнула легкая ирония. – Экие мы с вами рацеи развели! А ведь у нас в ведомстве всё попросту.

– Уж не примите мои слова на свой счет, – сладко пропел

Трубецкой. – И в нашем ведомстве без чинов, но должен заметить, простота порой похуже воровства будет.

– Хуже воровства только свары между своими, мне кажется, – парировал фон Берг. – Но к чему господину Калашевскому выслушивать наши с вами препирательства? У него и так голова кругом.

– Вот тут вы правы, коллега, – Трубецкой хитренько улыбнулся, – оставляю вас. Тем более дел не впрокорот.

Когда Трубецкой исчез, фон Берг повернулся к Александру Яковлевичу и развел руками.

– Вижу, сюрприз у нас с вами не получилось. Даже неловко как-то...

– Ксаверий Иванович, – перебил его Александр Яковлевич, – да ведь, получается, всё это – перестановка причин со следствиями, Гарибальди да еще Флейтист какой-то – всё это ерунда?

– Да отчего же ерунда? – фон Берг нахмурился и резанул Александра Яковлевича взглядом. – Оттого только, что известная вам девица оказалась живой? Вы, голубчик, не знаете, что такое легендирование, сиречь создание такой ситуации, когда нужный вам человек совершает необходимые поступки, веря, что спасает свою жизнь. Для того только, чтобы спровоцировать в нем нужное чутье на опасность и соответственное поведение.

– Но, – видя, что Александр Яковлевич собирается возразить, фон Берг резко взмахнул рукой, – но это вовсе не означает, что всё, во что вы посвящены, – вымысел. Вы ведь сами благодаря своему увлечению мистикой подсказали характер легендирования. Ну понятно, тут вам и Мордко, и бумаги тайные. И девица, чтобы лучше запомнилась, а-ля натюрель вам на набережной представлялась. И перстень я сам вам в карман пальто и подложил. Храните, небось? Ну-ну, храните, перстенок-то недешевый. И еще извозчик, что вас сюда привез, – это и есть мужичок тот, Пафнутий Овчинников, который штучку показывал. Нашли-таки мы его, взяли в оборот, только толку никакого. Подсвечники – да, роняет. Шкафы тоже может. А более ничего от него не добились. Пустышка. Ну-с, наверх уже доложено. Недоброжелатели постарались... В общем, задействовали этого штучка пока для мелкой работенки. Он за вами от вокзала ехал, потом подобрал и сюда привез.

– А если бы я ехать отказался или со двора этого ушел?

– Не отказались бы и не ушли! – фон Берг наклонил голову. – Тут у нас продумано. Помните, я вам про Третий путь рассказывал? Неспроста, как вы понимаете. Только упомянуть забыл, что порой не мы его, а он нас выбирает. Да вот хоть того же Гамлета возьмите. Шекспир-то не зря великий драматург, всё про это понимал...

Третий путь – великая сила. Хоть и непостижимая для некоторых профанов.

Фон Берг раздраженно покрутил головой, и Александр Яковлевич понял, кого он имеет в виду.

– Теперь о наших делах. Пока вы болтались на пароходике по Черному морю, я экспрессом прибыл в Петербург. Слухи о возвращении Гарибальди в Европу оказались всего лишь слухами. Возможно, специально пущенными, чтобы отвлечь нас от главного. Впрочем, человека, зовущего себя Флейтистом, мы обнаружили. Но только зря время потеряли. Он просто поставляет детишек богатым сластолюбцам. С ним, кстати, девица работает, весьма странная особа, любительница рыжих котов. У них тоже всё чрезвычайно таинственно обставлено, что и понятно. Особенно после того, как исчезло несколько отпрысков из богатых европейских семейств. За поимку этого Флейтиста большие деньги были обещаны.

Фон Берг достал из жилетного кармана часы и взглянул на циферблат. Александр Яковлевич обратил внимание на то, что фон Берг не в обычном сюртуке, а в прекрасно сидящем на нем фраке.

– Да-с, вот как бывает – всё продумано до мелочей, идет как по писаному, а тут вдруг коллеги из соседнего департамента... Ба-а, какой сюрприз! Ведь Трубецкой по сю пору уверен, что это вы по моему поручению вели в Одессе ту незадачливую бомбистку. Он на нее давно охотился. Ну и тоже – вас обычным поездом отправил, да еще через Москву, а сам прямым скорым в Петербург, по начальству докладывать. Большой вышел у нас конфликт, и вот теперь оба департамента обязаны по этому делу работать в одной, так сказать, упряжке.

Александр Яковлевич в какой-то момент уверился, что Ася, как и госпожа Ганевская, работает на фон Берга... ну или на Трубецкого. Хотел было спросить, но оборвал себя. И без того уже наделал глупостей предостаточно.

Фон Берг еще раз глянул на часы. Александр Яковлевич увидел, что он отчего-то нервничает.

– Да, всё хочу спросить: не помните, интересовалась ли Ганевская во время сеанса вашим батюшкой? Нет? – фон Берг спрятал часы и встал. – Ну нет так нет. Пойдемте, остальное я объясню вам чуть позже.

Александр Яковлевич снова проследовал за фон Бергом и тут же попал в большую ярко освещенную комнату, полную народа. Мужчины во фраках, дамы – в открытых платьях. Александр Яковлевич смутился. Только сейчас он осознал, что на нем изрядно помятая студенческая тужурка, не первой свежести сорочка и брюки,

не говоря уж об порыжевших штиблетах. Но фон Берг уже вел его, крепко держа под руку, к окну, за которым неожиданно открывался вид на Неву.

– Если позволите, – почтительно сказал фон Берг, подведя Александра Яковлевича к высокому господину лет пятидесяти, – это тот самый студент, о котором я имел честь вам докладывать, господин Калашевский.

– А-а, – протянул господин, и Александру Яковлевичу показалось, что ему сейчас подадут руку. Но господин только пошевелил холеными пальцами и спрятал их за военной выправки спину.

– Осмелюсь напомнить, именно господин Калашевский задержал опасную террористку и спас одесского градоначальника. Но не это главное...

– Да-да, мне докладывали, – торопливо перебил его господин, и в его голосе послышалось неприкрытое раздражение. – Вы, господа, всё же не забывайте, что в первую очередь служите царю и отечеству, а не своему департаменту.

Фон Берг склонил голову и щелкнул каблуками, но Александр Яковлевич успел заметить, как возмущенно дернулись его острые усики.

– Государь, конечно, поощряет все эти новомодные восточные веяния: магнетизм, дыхательные экзерсисы, иголки какие-то... Право слово, волховство. – Господин чуть скривил губы, давая понять, что сказанное не следует принимать всерьез. – Но уж то, что вы, барон, пытаетесь мне внушить, извините, чересчур.

– Да как же так, – теперь и фон Берг не скрывал раздражения, – было получено высочайшее распоряжение расследовать это дело. Я и сам понимаю, что звучит дико, но факты... Пусть не всё сходится, но ведь есть еще бумаги – те, изъятые у поэта... Покойный Государь, если помните, лично это дело курировал, в рамках цензурного устава...

– Довольно, барон, покойного-то хоть оставьте! Я знаю, что Алексис часто бывает добр и доверчив без меры, потому как некогда ему в склоки вашего Третьего отделения вникать. И я не буду. Без того себя скомпрометировал, связавшись с этим вашим Александровским комитетом... В общем, извольте действовать в рамках субординации, доложите непосредственному начальнику.

Господин рассерженно поглядел в окно и добавил:

– Больше вас не задерживаю, господа.

– Так это... – пролепетал Александр Яковлевич, когда они с фон Бергом отошли на другой конец комнаты.

– Ну да, да, – взгляд фон Берга метал молнии. – Великий князь.

Странно, что сразу не узнали. В этом заведении всё неофициально, без церемоний... Ну да бог с ним! Это всё игры придворные.

Никогда еще Александр Яковлевич не видел барона таким мрачным.

– Вечно одна рука не ведает того, что творит другая, – грустно добавил фон Берг. – А эта легенда о белом платке, коим Бенкендорфу слезы обиженных следовало утирать... Э-э, да что говорить... Это всё в прошлом. Давайте-ка лучше выпьем шампанского!

– А что здесь вообще происходит? – Александр Яковлевич кивнул на сдержанно переговаривавшуюся публику.

– Всё время забываю, что вас более года в России не было, – фон Берг отпил шампанского и скривил губы. – Да-с, так вот, месяцев шесть назад появился в Петербурге некий целитель – то ли грек, то ли армянин. И мгновенно стал известен в высшем свете. Интереснейший тип. Мошенник, конечно, но ловкий. Куда там вашему Крашенинникову. Этот гуру, как он себя зовет, смешал в кучу восточную медицину с западной мистикой и прочей заумью. Публике нравится. На самом деле кое-что толковое в его учении есть. Кстати, госпожа Ганевская – верная ученица гуру. Вначале со мной работала, на пользу отечеству таланты свои применяла. Теперь Трубецкой числит ее по своему ведомству. Обычная наша неразбериха...

Усики фон Берга иронически дрогнули.

– Сюда весь Петербург ездит. На оздоровительные сеансы. Гипноз, массаж, акупунктура. Заодно и мистикой побаловаться. Ну, понятно, двор, Великие князья тоже посещают... модно-с. Сегодня Государь обещал быть. С минуты на минуту ждем. Вы, собственно, здесь затем, чтобы, как и обещано, быть представленным.

Александр Яковлевич внутренне ахнул. Да как же так! Он и сделать-то ничего не успел. По-видимому, чувства его явственно отразились на лице. Фон Берг улынулся.

– Ох, не знаю, как с вами быть, голубчик. С одной стороны, ваша прямота и неискусственность мне даже импонируют, а с другой... Понимаете, какая произошла метаморфоза? Служака Трубецкой ни в какие «перестановки» никогда не верил и даже, рискуя карьерой, докладные на Высочайшее имя писал. Да я и сам не верил. Но по долгу службы был обязан взять в производство. А теперь ветер, что называется, переменился. Теперь Трубецкой в фаворе. А я вроде как пустой фантазер, зря государев хлеб ем. Крайним сделали. Да оно бы и ладно, обычные интриги, но...

Фон Берг скривился, словно шампанское было слишком кислым, и придвинулся ближе. Александру Яковлевичу показалось, что барон сильно постарел.

– Но злая ирония судьбы состоит в том, что именно теперь, когда на Перестановку окончательно махнули рукой и Комитет для исследования повреждений Александровской колонны занялся сохранностью столпа, я нашел доказательства того, что Перестановка *имеет место быть*. Это и есть Третий путь! Да только как это доказать слушкам, ничего не желающим видеть дальше своего носа!

Последние слова фон Берг прошипел, брызгая слюной. Верхнее веко над его левым глазом нехорошо задергалось.

– Теперь уж я с вами, господин Калашевский, ни в какие игры не играю: не до игр. Дело оказалось сложнее, чем представлялось вначале. Уже не понять, кто друг, а кто враг. Времени почти не осталось. Потому рассказываю самое важное. Существуют основания полагать, что батюшка ваш, волею случая оказавшийся у постели умирающего поэта, мог... как бы это поделикатнее выразиться? В общем, у вашего отца могут храниться некие бумаги, касаемые Перестановки.

Тот, кто до поэта историю Государства Российского писал, хоть и талантлив был, а не сопоставил, не сложил всё вместе. А поэт обычный мужичий бунт принялся изучать – и всё понял! Так ведь гений истинный. Если вдуматься, как могло случиться, чтобы безграмотный казакишка да вдруг царем себя объявил? И ведь поверили, пошли за ним! Да не только крестьяне, вот в чем незадача. Бунт ведь на то и бунт, что бессмысленный и беспощадный. Это как раз поэт и подметил. Тут и противоречие. Беспощадность – да, была! Так на то и война. Но бессмысленность? Всё было отлично продумано и организовано. Пугачев до Казани дошел, порядки новые вводил. Чуть не пол-России бунтовщик захватил. Какая уж тут бессмысленность? Нет, тут другое.

Поэт что-то понял про Перестановку! Начал искать в архивах доказательства. И надо полагать, нашел! Какие-то важные документы и о Пугачеве, и о Петре Третьем. И написал. Потом, правда, по Высочайшему требованию, всё переписал. А переписав, оставил потомкам намек на то, что не всё так просто: русский бунт, дескать, бессмысленный. Остальное, мол, додумывайте сами. И что еще важно, бумаги эти архивные исчезли, как не было, хотя Третье отделение за ними и охотилось, уж поверьте мне. Ведь даже непосвященному странно: поэт великий – ну стихи сочинял, ну вольнодумец, возможно. Но чтобы вокруг его смерти столько слухов ходило... С чего бы это?

– Так ведь самозванец... – начал было Александр Яковлевич, но фон Берг яростно перебил его.

– Вы хотите, чтобы я вам вот так, запросто всё рассказал? Тогда вам к этим шарлатанам. Они вам в три минуты всё разъяснят, начиная с тайны бытия.

Разнобой голосов вдруг смолк, по комнате волной прокатился шепот. Фон Берг дернул головой и, поглядывая на дверь, заговорил быстрее:

– Заведение это Государь посещает сугубо неофициально, без формальностей. Следовательно, есть шанс. Так вот, вы должны подтвердить Его Величеству, что таковые архивные бумаги существуют и что хранятся они у вашего отца. Он-то поди представления не имеет о том, чем владеет. Важно, чтобы Государь позволил сии бумаги срочно изъять и изучить. Меня, как видите, оттерли, фантазером считают, вроде сочинителя Булгарина...

Тут двери распахнулись, в них появились двое военных. Толпа замерла. В обычном офицерском мундире царь показался Александру Яковлевичу ниже ростом и проще, чем на портретах.

Дальше всё было не так, как представлялось Александру Яковлевичу. Совсем не так. Не было ни музыки, ни торжественного представления, ни чинных поклонов. Государь улыбнулся и в сопровождении адъютанта прошел через комнату. За ним следовал невысокий смуглый господин в нелепом наряде – широкой короткой куртке с кушаком и в таких же панталонах – и, кланяясь так низко, что в ярком свете поблескивала лысина, тараторил нечто неразборчивое. Его Величество благосклонно кивнул головой и подошел к Великому князю, по-прежнему стоявшему у окна.

– Никуда не уходите! – фон Берг ожег Александра Яковлевича острым взглядом. – Нау ор невер, как говорят англичане. Сейчас или никогда! Да-с, именно так!

И фон Берг растворился среди публики. В ту же секунду рядом с Александром Яковлевичем возник Трубецкой.

– Ну-с, – вид у Трубецкого был оживленный и довольный, – надеюсь, вы не скучаете.

И тут же скорчил понимающую мину.

– Ну да, ну да, как же это я не сообразил! Вам фон Берг, поди, аудиенцию у самого Государя готовит. Прямо завидно даже. Хотя почему бы, собственно, и нет? Вы ведь действительно герой, спаситель губернатора. Я лично в докладной на Высочайшее имя вас самым наилучшим образом охарактеризовал. Только...

Трубецкой хитренько улыбнулся и сложил мягкие ручки на животе.

– Если верить госпоже Ганецкой, то никаких тайных бумаг поэта, якобы хранящихся в доме вашего отца, не существует. Тут ведь метода какая? Родители полагают, что малые дети неразумны, и многое при них говорят, что для чужих ушей не предназначено. Дети, вырастая, конечно же, не помнят ничего, что при них говорилось. А

вот госпожа Ганецкая по специальной методе умеет эти воспоминания наружу вытащить. Так вот, нет никаких бумаг, зря фон Берг старается. Только яму сам себе роет, право слово. И так уж с этим, как его, с извозчиком, один конфуз вышел. В общем, хватает барон за соломинку...

Вдруг посерьезнев, Трубецкой доверительно прикоснулся к рукаву Александра Яковлевича.

– Вот что я вам скажу, молодой человек. Мне решительно непонятно, что вы здесь делаете. Да вы и сами теряетесь в догадках. Потому мой вам совет: уходите немедленно. А уж фон Берга я беру на себя, вам его бояться не нужно. Да и не до вас ему скоро станет. Я вам по секрету, как герою, скажу. Расформировывает Государь наше Третье отделение. Вот Пруссак и суетится... Ну так пойдемте, я вас провожу...

Увидев, что Александр Яковлевич не торопится, Трубецкой внушительно добавил:

– Вы, конечно, молодец, спору нет, но если останетесь, последствия могут быть самые серьезные и непредсказуемые. Это я вас официально предупреждаю.

Александр Яковлевич оглядел зал. Он совершенно растерялся и не понимал, что ему делать. Один раз он уже предал Асю... даже если она была бомбистка. А теперь ему предлагают предать фон Берга. И тоже непонятно, кто такой барон – честный офицер или хитрый карьерист. Александр Яковлевич чувствовал, как слабеет воля, как растерянность превращается в страх, и страх этот, как тогда, в детстве, подталкивает его бежать, не разбирая дороги...

– Ну вот и всё! – от энергичного восклицания фон Берга Александр Яковлевич вздрогнул. – Аудиенция получена, но...

Он с сомнением оглядел Александра Яковлевича:

– Впрочем, нет, пожалуй, так даже лучше. Его Величество любит, когда попросту.

Александр Яковлевич так и не понял, когда исчез только что стоявший рядом Трубецкой. Как сомнамбула он двинулся следом за фон Бергом. В какой-то момент они оказались в тихом кабинете. Александра Яковлевича поразило лицо Государя, большой лоб, скорбные, почти больные глаза в морщинках, ровный нос, выбритый подбородок, кажущийся беззащитным среди пышных бакенбард.

От волнения Александр Яковлевич пропустил начало разговора, и только почему-то кивал головой, время от времени поднимая глаза на царя. В ушах звенело, под языком покалывали иголки.

– Так ведь много до чего можно дойти, барон, – пробился к нему мягкий баритон. – Вы еще, чего доброго, и Христа в свою теорию

поместите. Святое Воскресение этой своей Перестановкой объявите. Или как вы там писали в докладной? Три шестерки суть перевернутые три девятки... Боюсь, этим отечество не спасти.

– Ваше Величество! – голос фон Берга больше походил на сдержанное рыдание. – Не в том дело, поверьте! Я позволил себе обратиться лично к вам только перед лицом серьезнейшей опасности...

– Всё понимаю, дорогой барон! И ценю ваше старание. Но ведь, как мне доложили, опыты Ваши ни к чему не привели. А слухи, знаете ли, уже поползли. Европа, того и гляди, начнет упрекать нас в язычестве. Перед просвещенными народами неловко.

– Как же, Ваше Величество, да ведь на Вас покушаются, а мы как слепые котят... Позвольте хоть бумаги... Ведь бороться нужно!

– Знаете, что я понял в последнее время? – голос Государя погрустнел. – Главное в жизни – это со смирением принимать то, что лежит за словом «никогда». Всё уходит безвозвратно, и ничего нельзя вернуть. А что до покушений... Мне вот докладывали: недавно в Петербурге старушку топором зарубили. Про нее думали, что богатая скупщица. А на проверку оказалось, что рубля за душой не имела, на медные деньги жила. Да еще содержала увечную племянницу. Но главное, что не бандит какой-нибудь убил, а вполне нормальный человек, студент. Ведь знал, что в каторгу пойдет, а всё равно. Говорят, анархическими идеями Кропоткина Петра Алексеевича вдохновлен был. Вот ведь тоже – большой ученый, князь из рода Рюриковичей, – и вдруг такое. Мне тут некие умники докладывают: анархизм – это, дескать, так, теория, абстракция полная, плод беспокойной мысли...

Повисло молчание. Фон Берг почтительно ожидал продолжения. Александр Яковлевич находился в полной прострации. Царь оказался совсем не таким, каким он его себе представлял.

– ...Так и получается: князь придумал абстрактную теорию, а старушка за нее жизнью заплатила. Да и она ли одна? А самое страшное – как тут бороться? Русский человек – он ведь абстракций не воспринимает, для него это план к действию. И вот с одним таким русским человеком еще можно справиться, с другим, с третьим. А с абстракцией – нет, никак невозможно. Абстракцию не повесишь и в каторгу не сошлешь. А так... Последователи той абстракции, как видите, каторги не боятся. С ними как-то по-другому нужно. Только вот как? А вы в вашем Третьем отделении своими карательными мерами порождаете только новых убийц да бомбистов... Вот и эта Перестановка – чистая теория, как я понимаю. Такая же абстракция. Ее русскому человеку точно нельзя предъявить. Иначе он, упаси бог, тут же начнет ее на практике применять. Чего доброго, действитель-

но столп Александрийский опрокинет. Из любопытства одного опрокинет. А уж что дальше начнется... даже думать не хочется.

Царь помолчал и покачал головой.

– Может быть, я старею. Старость – это, знаете ли, когда понимаешь, что нужно сделать, а руки опускаются...

Он хотел добавить что-то еще, но тут снова появился смуглый господин и, согнувшись в пояс, застыл. Его Величество ожидали на сеанс оздоровительного массажа. Государь взглянул на смуглого господина и поднялся. Уже выходя из кабинета, он оглянулся и мягко сказал фон Бергу:

– Вы уж не огорчайтесь, барон. Тут только время требуется. Может быть, со временем все эти абстракции сами исчезнут. Вот разве тогда...

ЭПИЛОГ

Арестовали Александра Яковлевича в Варшаве, по пути в Гейдельберг. Он так до конца и не понял, в чем именно его обвинили. Кажется, в связи с Асей, то есть никакой не Асей, а хорошо известной Третьему отделению бомбисткой Засольцевой Верой Ивановной. А еще ему приписали участие в каком-то подпольном кружке. С того самого момента, когда увезли его из Варшавы в арестантской карете, Александр Яковлевич совершенно перестал воспринимать действительность. И только оказавшись в Петропавловской крепости, подивился занятному совпадению: поместили его в Трубецкой бастион. Неужто это господин Трубецкой специально так постарался?

Впрочем, ни о Трубецком, ни о фон Берге Александр Яковлевич никогда более не услышал. Перстень вот только сохранил на память. Да еще осталось ощущение, что прошел он мимо чего-то большого и важного. Может быть, самого главного в жизни. То ли по глупости, то ли по неумению вовремя распознать он это главное проворонил. Что-то такое, что могло бы изменить не только его жизнь, но и позволило бы, как мечталось в юности, спасти отечество и стать настоящим героем.

И в камере, и потом, после несостоявшегося расстрела, по пути в Сибирь вспоминал Александр Яковлевич о том, как перед самым отъездом в Германию пытался убедить отца отдать ему те самые архивные бумаги, что действительно лежали в отцовском бюро, запертые на ключ. Отец нервничал, раздувал ноздри, смешно махал руками и кричал, отчего-то шепотом, что никаких таких бумаг у него отродясь не было и пусть он, Александр Яковлевич, напрочь о них забудет.

На разумное возражение, что, коли бумаг нет, так и горячиться незачем, и забывать нечего, отец и вовсе разъярился. К обычным обвинениям в демагогии он добавил еще слова, которых обычно сыну не говорил... Тем дело и закончилось.

Уже потом, много лет спустя, услышал отправленный на вечное поселение в Сибирь Александр Яковлевич об отречении Николая Второго и грянувшей следом революции. И вздрогнул: да как же так, ведь сначала должна была случиться революция, а уж потом отречение? Не оказались ли отцовские бумаги в нехороших руках, как и опасался пытавшийся спасти царя фон Берг? Государь же, которого Александру Яковлевичу довелось увидеть у госпожи Ганевской, вскоре после единственной их встречи был убит бомбистами. А в карету, в которой он ехал к месту убийства, как потом выяснилось, вместе с другой лошастью запряжен был тот самый конь Варвар... Вот и думай тут, не связано ли всё это с Перестановкой?

Только вот поговорить об этом сложном предмете Александру Яковлевичу было не с кем. Некоторое время спустя он перестал об этом думать, опростился и даже ссыльных сторонился. Хотя один из них, скуластенький, картавый и бесцеремонный, всё пытался сойтись поближе, расспрашивал Александра Яковлевича, за что и при каких обстоятельствах тот попал в Сибирь. И выпросил-таки. А услышав про Третий путь, сощурился хитро:

– Да уж, вот это верно, мы пойдем другим путем!

После этого Александр Яковлевич совсем замкнулся, словно почувствовал опасность. И вскоре уехал из Пушенского в Минусинск, где и осел. Его не покидало ощущение, что оказался он ненужной фигурой в чьей-то хитроумной и жестокой игре. И что все, с кем он встретился на своем пути, даже Ася, подталкивали его к краю пропасти.

Даша Татутина в положенный срок родила сына Яшку. Яшка родительского косоглазия не унаследовал. Но то ли тут смешение кровей сыграло свою роль, то ли просто случай, а был он странным ребенком, и в глазах его, хоть и смотрящих прямо, таилось нечто неведомое и потому пугающее. Даже бабка Фрося мальчика побаивалась, хотя виду старалась не подавать. В детстве Яшка много болел, и несколько раз Даша совсем отчаивалась. Да как-то всё обошлось, выходили парня.

Потом Яшка Татутин подрос и навсегда ушел из родных мест. Долго о нем ничего не было слышно, пока не пришли вести из России, из самого Петербурга. Вести настолько удивительные, что даже Даша им не поверила. Будто бы ее Яшка с самим царем-

батюшкой дружбу водит, царского сынка воспитывает. Врали, наверное...

Уже перед самой смертью Александр Яковлевич многое из приключившегося с ним вспомнил, сопоставил некоторые события. Вспомнил он и людей, в этих событиях принимавших участие. Фон Берга, про которого теперь думалось без горечи. И Асю, и хитренького скуластенького ссыльного, и собственного бастарда – сына, незаконно от крестьянской девушки прижитого, тоже вспомнил. И тогда вдруг показалось ему, что, может быть, и не прошел он в жизни мимо главного, а как раз наоборот, невольно сыграл одну из самых важных ролей в истории отечества. И выстроилось тогда все события одно за другим – и встали на свои места. Потому что было это уже не будущее, а прошлое. Оставалось только сделать из всего случившегося самый последний вывод.

Но мутилось уже у Александра Яковлевича в голове и больше не было сил, да и желаний никаких уже не осталось. Разочарование разве что. Оттого что слишком поздно. Да, впрочем, кизмет...

Май, 2021

Евгений Чигрин

Сочинитель кристаллов

ТЕХУРА

Обтянутая кожей смугловатой
Она лежит под глянцевой геттардой,
Светило лижет тело. Попугай
В расцветке цирка, впрочем, тут о цирке
Никто не слышал. Небо после стирки
Висит на облаках (развесил рай).

Перетекает нагота в картину,
В руках у обнаженной плод: витрину
Медовый манго украшать бы мог.
Художник Поль с утра вошел в работу,
Про опиум и огненную воду
Почти забыл. Удачливый мазок

И в вермильон оделись листья, в синий
Тень завернулась махом. Цвета дыни
Прошел колдун Майори, разодет!
Замри-застынь под деревом нагою,
Перетекай на свежий холст травую:
Ни галерей, ни зрителей здесь нет.

Цвет океана отражают птицы,
Раскрашенный отшельник-лори мчится
И застывает на плече у той,
Что стала полотном на фоне лета
По воле перуанца-галла-мэтра,
Забывшего про шляпу и пальто.

Ну не вертись, замри, Теха'амана,
Любое море для вахины – ванна
«Коричневой Олимпии» всего
13 лет... Она не строит глазки,
Нет на лице сверкающей раскраски,
Боится мертвых, верит в колдовство.

Откроет рот и – ноа, ноа, ноа,
В лежливом солнце сколько хочешь зноя,
Иллюзии цветут на полотне.
Мы больше века с девочкою вместе,
В кокосовых орехах и зюйд-весте,
В софитах жизни и на самом дне.

...Отдав концы, картину видит сверху,
Шагающий с мольбертом на поверку
Французский ангел всякий день к Тому,
Который то двоится, то троится,
Дойдет и – засмеется: чудо длится...
Все кисточки у Смерти потому.

ПОСЛЕДНИЙ ПОЕЗД

За шляпу Поля отдают теперь
Полсостоянья, золотую дверь,
А сколько стоит кисточка из Арля?
Идет в небесье скорый поезд твой,
Прогретый летом, над большой рекой.
Не говори, что в поисках Грааля...

В купе окно, в котором светит сад,
Под яблоней и грушей спрятан клад,
А под землею дева, как в ловушке,
С которой был бы... «Ты про счастье?» «Нет!»
Феб в облаках читает твой планшет,
И вертятся менады-потаскушки...

Что можно разгадать, когда ты не
Вблизи от Демиурга и во мгле
Теперь сюжет? Сюжетом тут не пахло.
Швырни в окно стило, вернется что?
А ничего. И сам ты дед Пихто,
Сынок Никто, копейка, горстка праха.

Смотри в окно, пока состав тебе
Играет свет на огненной трубе,
И пятен ада на плодах не видно.
Прекрасно утро, солнце вышло жить,

Перекатилось и давай ловить
Всё в объектив, как в жизни, ненасытно.

А башмаки, ужасные на вид,
Скажи, Господь, какой их индивид
По милости Ван Гога носит рядом
С тобой? Не Марк, не сумрачный Матфей,
А может третий, что других живей,
О крестных муках говорит с крылатым?

Подсолнухи цветут за тем окном
Железного коня, проводником
Ты смотришь в завтра, да в какое завтра?
От биографий остается дым...
Гробами между виден херувим,
Смеется дьявол в маске леопарда.

Смешалось всё, как в доме... Поезд о
Зеницу Бога не споткнется до...
На остановке с Ним соприкоснешься?
Матфей ли встретит, выглянет Лука?
Молочные заметишь берега...
И, наконец, среди своих очнешься.

* * *

Шар воздушный обернулся тучей,
Дождь ослеп, прошел по головам
Монстров и мечтателя... Текучий
Свет мрачнел по маленьким дворам.
Фантазер в немом оцепененье
Над кустом с подпалом золотым
Поднял руку и в горящей пене
Двойника увидел... Молодым
Тот смотрелся, становился зверем,
Из груди, как будто из дверей,
Выходили двое: первый щерил
Три клыка, и пауки бровей
Расходились влево-вправо-влево.
А второй сидел на кошке
Огромном, чьи усища в небо

Потянулись... В облаке-грехе
Шел мужчина с классной прошмандовкой...
Фантазер смотрел во все глаза
На себя второго, что так ловко
Поднимал всё выше паруса
Парейдолий черных по природе...
Выдумщик, идущий в желтый дом,
Пропадает в сотканном уроде:
Не очнется, слипнет с двойником.

САМАЯ КОРОТКАЯ НОЧЬ 2021

Выйдешь на улицу, кобольды у
Светодиодных фонариков курят.
Машут ушами, завидев звезду
(Так их пещерная литература
Живописует), в головках куряг
Цифры и шифры сокровищ и кладов,
Первый – седьмому неведомый знак
В воздухе чертит, пойми этих гадов?!
Карлики цвета огня в колпачках,
Как в зеркалах кривят фейсы кому-то,
Крошечный самый в «кошачьих очках»,
Будто сбежал из плохого приюта:
Худ и оборван, и свёрлит кого
Взглядом в котором маячит убийца.
Что говорит? На пещерном арго...
Может быть, улица кобольдов снится?
Цвета ореха зеленого бред,
Выйдешь на улицу бредом уколот
В голову прямо, теперь ты клиент,
Вот и меняет химерное город:
Кобольды пляшут на белом огне
Танец Хрустального бога и мага,
Тянется пламя к панельной стене,
В дело идет алкогольная фляга.
Хочется крикнуть, вернуться домой,
Выгнать из черепа кобольдов этих,
Сесть на постели, понять, что живой,
Больше не видеть в огне разодетых:
Я вас не вижу, не видите вы.

Мифы идут в изумрудное «где-то»...
Хочешь, одену на кончик строфы
Ставшее кобальдом быстрое лето?

* * *

Макабрический гном переходит границы любви,
Дует в огненный шар, просыпаются духи травы,
Астарот приседает на корточки, черные сны
Выпускает на волю из клеток такой глубины,
О которой всё знают шуты и нахмуренный пес
Из седых гримуаров, в которых он шерстью зарос...
Духи снадобье трав под подушку видений кладут:
В полушарии правом кого-то молиться ведут,

А захочешь увидеть, что в левом – да ладно тебе –
Плачет девочка, шарик умчался и нитка скорбей
Размоталась, покуда там мойры плели, да не то –
Постаревшую женщину бросил мужчина в пальто.
И циклопы в своем одноглазии в тартар летят,
И цветет в одноглазье уродов невиданный сад.
Духи трав, проникая в тела, набираются сил –
Кто кого подсадил, кто кого раскурил, кто забыл...

Макабрический гном курит трубку пахучей травы:
Проплывают ашрамы Тибета и грёзы Тувы,
Аллегии виснут над теми, кто знает о чем
Говорит незавидный и в меру упитанный гном.
На последней затяжке из трубки встают облака,
Может шарик вернулся из красного города Кха?
Астарот уменьшается в росте, и двигает в ад,
Духи трав поднимаются выше и тянутся над...

ЗИМНИЙ ЮТУБ

Ты обнаружил зиму в декабре, шел свежий снег и Николсон в личине
Седого волка* крался в сытой мгле, и пахло шерстью в топовой картине? –

Да всё равно. Стоял на лапах кто? Герой кино в ютубовом прокате,
Притягивало Пфайффер колдовство жестокости и сумасшествий ради

Когда остановится скорый, посмотришь в глаза
Себе молодому, носящему с легкостью тело,
В застиранной кофте душа прометнется скользя,
А выйдет в стране пармезана: метро «Трокадеро»,

А там одиночка, наркушник, сновидец, клошар,
Безумец и лузер, целуя в зеленые губы
Старуху с косой, тихо скажет: «Прекрасен кошмар,
Когда мертвецы дуют марши в стеклянные трубы».

Опять в ожидание состава свернул не туда,
Дух лузера в ангелы вышел под зонтиком Бога,
В прошедшем столетье старуха телами сыта...
А поезд – дракон изумрудный – придет в полвторого?

И выйдет весна... если выйдет... Не вороны про
Чудесную смерть говорят, а смешные химеры.
Твой поезд грядущего катится линии по,
Возможно другой, не открытой еще стратосферы.

Москва

Михаил Юдовский

* * *

Я зашел к тебе ненадолго – на половину жизни,
ненароком свернув с прямого пути к Голгофе, –
узнать, что творится у нас в отчизне,
выпить крепкого кофе, чего-то покрепче кофе.

Я зашел к тебе ненадолго – чтобы проститься
и почувствовать, всхлипывая в жилетку,
как из сердца моего улетаю птицы
сквозь распахнутую грудную клетку.

Я ушел за птицами – смешавшись с дорожной пылью.
В воскрешенье не верилось. Хотелось вина и блуда.
За спиной у меня незаметно сложились крылья,
превратившись в обычный горб на хребте верблюда.

Пустовала Голгофа. Над нею висели грозди
неизвестных созвездий, и месяц глядел в окошко,
как солдаты в трактире пьют и играют в кости,
а один, молодой, наклонился и гладит кошку.

* * *

Когда в доме спят – те, кто в нем есть, и те, кого нет,
и качается лодочкой электрический свет,
кажется, будто он говорит, комнатой сжат в горсти:
«Я не больше беру от тьмы, чем смогу унести».

Этой ночью – терпкой, с южным вкусом хурмы,
с желтолицей рябой луной, похожей на ананас,
то ли тьма – отсутствие света, то ли свет – отсутствие тьмы,
то ли мы – отсутствие смерти, то ли смерть – отсутствие нас, –

не понять... Но я спрашиваю, пока в доме спят
те, кто в нем есть, и те, кого нет:
если ты до последней буквочки не распят,
ты – поэт или ты – что угодно, но не поэт?

А в ответ, на глаза надвинув кlobук,
говорит – то ли ночь, то ли смерть, то ли Бог, то ли стих:
«Если кончатся буквы – я подброшу тебе пару букв.
Если кончатся эти – пару точек и запятых.

Не спеши – заполняй, заполняй, заполняй листы
до скончания дней, до начала грядущих дней.
Если кончится всё – я подброшу тебе пустоты.
Ею трудно писать. Но – как просто писать на ней!»

* * *

Если глядеть из кухни, то вечерами
смотрится мир мулатом в оконной раме,
словно на мышцы неба набросил кто-то
смуглую кожу, звездные капли пота.

Кто говорит, что в кухне стихам не место?
Здесь хорошо. Пространство полно покоя.
В миске под полотенцем восходит тесто
да на плите побулькивает жаркое.

Видимо, здесь первобытно владеет нами
тяга к огню, накатывая на душу,
будто цунами – бешеное цунами
на изумленную мощью звериной сушу.

Что ж, заходи, хозяйка, нальем по стопке –
наши мгновения хрупки, а мысли топки.
Выпьем за этой жизни хмельные токи,
выпьем за наши страхи и эти строки.

Что нам всевластие, что нам булат и злато –
я покажу тебе за окном мулата,
нет – не ревнуя, напротив – легко и щедро,
щедро, как мир нам открывает недра.

Жахни, хозяйюшка, и залихватски ухни.
Всё нам дано – от кафельных стенок кухни
до голубых созвездий на смуглом теле
неба ночного в зыбкой его постели.

Всё возвратится, всё повторится снова –
как этот миг, как этот мир в оконце.
Стих мой окончен. Мясо в котле готово.
Тесто взошло. Под утро взойдет и солнце.

* * *

Отважный Рикки-Тикки-Тави
мне шлет мангустий свой привет,
когда душа моя, картавая,
рычит шипению в ответ,

дудит в архангельские трубы,
чей звук простужен и недобр,
и скалит остренькие зубы
при виде королевских кобр.

И движется легко и смело,
вступая в драки и бои,
такое маленькое тело
в таком огромном бытии

и ручейком стремится к устью,
чтоб, ошестинив волосы,
вцепиться в шею по-мангустьи
змее непрошеной тоски.

* * *

Когда октябрь – не то чтобы настав –
но, фарами мигнув, меня в состав
включил несуществующим вагоном,
в котором ехали антитела,
и жизнь была и, кажется, плыла,
о шпалы спотыкаясь, перегоном,

когда твердил, не понимая, путь,
что он когда-нибудь куда-нибудь
ведет, и на себя глядел в окошко,
и отражение свое едва
опознавал, и, словно острова,
бросал пустые станции в лукошко,

когда в перрон, рябеющий от луж,
вползал отсвет луны, как скользкий уж,
бравировал и дерзко серебрился,
как бьющий в тучный колокол звонарь,
а, между тем, скупающий фонарь
уже от золотистости побрился,

щетиной в лужи бросив – вот тогда,
не в небе, но внутри меня звезда
взошла – такую маленькою точкой,
что я, судьбой зачитанный до дыр,
читался вновь, готовый этот мир
проткнуть самим собою, как заточкой.

* * *

Когда мне было четырнадцать лет,
одна цыганка в Вильнюсе мне взялась погадать по ладони.
«Денег не возьму, – сказала, – потому что у тебя их нет.»
«Зато, – отвечаю, – у меня есть степи и кони.

Хотите коня?» Она рассмеялась: «Молчи, золотой.
Ты еще подари степь мне.
Жизнь проживешь, но жизнью не той.
Словом, живи и крепни.

Ты хороший мальчик». «Правда?» «Да.
Сколько себя ни мучай,
ты таким останешься навсегда,
даже если подвернется случай

стать плохим. А еще – никогда не сядешь за руль,
чтоб пешеходов не сбило сердце твое тревожное.
Я знаю, у тебя в кармане рубль.
Мне он не нужен. Купи себе мороженое.»

Я ушел. «Сколько, – думаю, – в мире дур.
Кого на свете ни взять – оракул.»
Купил мороженое. Присел на бордюр.
Рассмеялся. А потом заплакал.

* * *

Мы подсчитали барыши —
когда Голгофа опустела
и не осталось ни души,
а только три остывших тела.

Прибавка так была скудна,
что стало тошно и паскудно.
— Ну, вот мы и достигли дна, —
сказал я вслух. — Казнить не трудно,

но всё же убивать в бою
приличнее, служа отчизне.
Там тоже отнимаешь жизни,
но подставляешь жизнь свою.

Мы кто? Солдаты? Палачи?
Платить могли бы и щедрее.
— Приятель, лучше помолчи.
Ты ждал с икрою калачи
за жизнь какого-то еврея?

— За трех евреев.
— Хоть за сто!
А деньги в этом скучном мире
вином прольются в решето
в каком-нибудь глухом трактире.

Есть кровля, стены и кровать —
живи без мыслей и боязни.
Мне всё равно, где убивать, —
во время битвы или казни.

Сюда явились налегке,
уйдем ни с чем, дойдя до точки.
Пропью прибавку в кабаке.
— А я куплю подарок дочке —

игрушку. И платок жене —
сирийский, с розами в узоре.
Небось, соскучились по мне
они в деревне возле моря.

Там хорошо. Там жить легко,
в имперской не вертись машине.
Там пахнет хлеб и молоко
белеет в глиняном кувшине.

Там забываешь о борьбе.
На ужин – овощи и рыба.
И дочка ластится к тебе
и говорит тебе: «Спасибо».

– По мне – так лучше дом забыть.
Судьба – она необозрима.
С волками жить – по-волчьи выть.
Пойдем.

– А как с телами быть?

– Пускай висят – во славу Рима.

Франкенталь, Германия

Емельян Марков

Невидимый дождь

ДИАЛОГ

Я лежал тогда головой к двери,
И начал этот внутренний диалог.
Мне было лет десять.
(Снег высветляет чернила,
Поэтому я пишу,
Как на непросохшей после стирки простыне,
Голубыми буквами по пасмурному небу.)
Разговор поначалу не клеился,
Темная тишина смотрела мне в глаза с изумлением.
Но я напряженно развивал
Этот диалог с самим собой.
Не скажу, что мы устали друг от друга,
Но до десяти лет я разговаривал так
Только с Богом.

ВЫСТАВКА

Снег замечает, но делает ярче
Старую краску двери подъезда,
До сих пор клейкую. Делает ярче
И зеленее голый ствол.
Я – на выставке, выставленной
Со скандалом во двор,
Но сам смотрю из огромного
Иллюминатора восьмого этажа.
Я учусь не спорить со снегом,
С плавными движениями
Его лепестковой трухи,
Свежо валящейся на заплаканную,
Как глаза матери, землю.

ВРАЩЕНИЕ

Сию перед окном на кухне,
И чувствую бешеное вращение Земли.
Но уже не держусь за стул,
Потому что достиг в этом виртуозности.

СКАЛЫ

Мы лежали с тобой на песке,
 Перешучивались и улыбались.
 Я – то читал книгу, то выводил
 Сучком на песке
 Силлогизм вечности.
 Ты – спала на животе,
 Потом загорала на спине.
 Пока мы так лежали с тобой на песке,
 Из моря недалеко от берега
 Выросли стройные скалы.

МГНОВЕНИЕ

Горел Собор Парижской Богоматери.
 Дым увивался вокруг острова Сите.
 А так в мире пожар ощущался
 Эфемерно разве что, а лучше сказать:
 Вообще не ощущался. Можно
 Много придумать слов: как
 Он ощущался в Буэнос-Айресе,
 Глазго, в Москве или Питтсбурге.
 Пожар – это затянувшееся мгновение,
 Но все-таки – мгновение, которое
 И проходит не сразу, но тем не менее
 Мгновенно. Вот под окнами
 Проходит девушка, она еще почти
 Девочка. В ее душе горит
 Собор Парижской Богоматери.
 Эта девочка живет в Москве,
 В Париже не бывала, «Париж» –
 Для нее практически пустой звук.
 Но в ее душе горит
 Собор Парижской Богоматери,
 С его химерами, резными ангелами,
 Перекрытиями.
 Мгновение продолжается,
 Потом уходит, никем не замеченное.

НЕВИДИМЫЙ ДОЖДЬ

От невидимого дождя
Начинают вянуть
Хризантемы в комнате.
Дождь замирает в воздухе,
На него перестает действовать
Гравитация. Точнее,
Он сам начинает действовать
На гравитацию, на скорость
Вращения Земли.
Невидимый дождь проникает
Сквозь предметы. Они
Как бы его не замечают.
Так же он проникает
В сознание и наполняет его.
Наступает переполнение
Мира. Сознание распахивается,
Как чердачная дверь.
И тогда дождь становится видимым.

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ

Капли дождя забираются в гроздь
Сирени, как пчелы, и так же раскачивают
Их цепляющими прикосновениями.
Раньше я доставал до верхушек
Самых высоких деревьев,
Это был своеобразный танец телекинеза.
Теперь я заглядываю в это растительное прошлое
Через лужу.
Меня там нет, там только верхушки деревьев,
Нарисованные на стекле черной гуашью.

ЯВЬ

Понимать и принимать,
Что человек рядом спит,
Дышит, кровь струится
По сосудам плоти.
Не надо говорить ему «надо».
Спит с открытыми глазами.

Потом он их закроет,
Заснет более отрешенно.
На подоконнике стоят
Комнатные растения.
Надо любить спящего,
Ведь ему снится явь.
Я возьму из тебя кистью
Синюю краску,
Как из банки гуаши,
Это и есть обоняние.
Краска останавливается
И свертывается, как кровь.
Только ты в этой комнате
Не вызываешь у меня ужаса.

РЕКА

Как Жан Габен при их последней встрече
В дверях гостиницы не посмотрел на Дитрих,
Так я сегодня не взглянул из вагона метро
На реку. Жан Габен потом объяснил,
Что если бы он посмотрел на Дитрих
И поздоровался, тем паче, с ней,
То оставил бы тогда свою молодую жену,
Детей и опять пошел за Дитрих.
Может быть. Может быть. Но может быть
Жан Габен просто ее не заметил,
Как я не заметил сегодня реку.

ФИЛАТЕЛИЯ

Что такое счастье?
Это – поместить новую почтовую марку
В альбом. Она – лаковая, пахнет
Солнечным клеем. И она
Остается в альбоме,
Будет там, уже остывшая, как вода,
И через эпоху.
Вот так же, восторженно и прилежно,
Я поместил в прозрачную ячейку прошлого
То, что ты сделала со мной.

Москва

Елена Литинская

Памяти Д. И.

Д.И. 1

Жизнь моя, как зола, бела,
как беззвездная ночь, светла.
Прилепилась ко мне вдовья роль.
И не знаю, то блажь или боль.

И не знаю, то крик или плач.
Не заткнуть и не сбросить с плеч.
Как удушлива черная шаль!
Несмолкаемо воет февраль.

Вроде, краток, но зол и лют.
Через долгие двадцать лет
тянет ночи суровую нить,
не давая тебя забыть.

Д.И. 2

Я уже на финишной прямой,
завершаю бег длиною в жизнь.
Мой любимый, на небе с тобой
место для меня попридержи.

Пролетело долгих двадцать лет.
Забивали гроб. И гвоздь иглой –
сквозь меня. Твой молодой портрет –
вызов голове моей седой.

Я уже на финишной прямой.
Сколько мне осталось дней ли, лет?
«Встреть меня на грани света с тьмой!»
Но молчит упрямо твой портрет.

Помню, ты по жизни был молчун.
Может, я тебе там не нужна?

Я молчанье разгадать хочу.
Грешницу нашел? Добра, нежна?

Холоден из-под стекла твой взгляд.
Смотришь ты куда-то в пустоту.
Стал твоим причалом рай ли ад?
Я туда пока что подожду...

* * *

Октябрь. Увядание природы.
И вдруг – о чудо! – на моем окне,
на зло нахмуренному небосводу,
цветет герань, даря улыбку мне.

Ласкает розовыми лепестками
потухший взор и прогоняет грусть.
Захлопну сюр Харуки Мураками
и к светлым сказкам Пушкина вернусь.

* * *

Последний лист
О.Генри

И снова в ноябре тепло.
Иду, по-летнему одета.
Меж пальцев лето утекло
и осени грозит вендеттой.

И солнце заживо листву
сжигает яркими кострами.
Дожди на помощь призову,
чтоб погасить лихое пламя.

Придет декабрь, неказист.
И в поле моего обзора –
нагая ветвь, последний лист –
такая хрупкая опора.

Скажу ему: «Не подведи!
Коль сможешь продержаться зиму –
через снега, ветра, дожди –
знать, буду я тобой хранима».

* * *

Хмурое небо. Хмурые мысли.
Солнце играет в прятки со мной.
Я молоком заливаю мюсли.
Завтрак в укрытье за тонкой стеной

шторки. Такая смешная преграда.
Прячусь от солнца и от луны,
прячусь от гриппа, снега и града,
прячусь от мира и от войны,

прячусь от стрел электронного спама,
от череды телефонных звонков,
от Иафета, Сима и Хама,
от похоронных колоколов.

Прячусь от слов твоих горьких и сладких
и от осколков разбитой мечты.
Спряталась боль в морщинах и складках.
И не найдешь ее ты...

* * *

Ромашки спрятались, поникли лютики...

Игорь Шаферан

Ромашки выросли, раскрыли лютики
лукаво-нежные на мир глаза.
И солнца доброго ласкают лучики
За горизонтом спряталась гроза.

Гуляют с внуками седые бабушки –
красотки девочки – давным давно.
Коляски катятся под баю-баюшки.
Их движет времени веретено.

Погода дивная плодит иллюзии:
весна задержится на долгий срок.
Промчались годы юности в Союзе. И
вздыхать и слёзы лить? Так, между строк.

Но в кладе памяти старушки роются.
В ней перемешаны любовь и боль.
Вернуть бы молодость! Святая Троица,
увы, не внемлет им... И шансов ноль.

Вернуть бы молодость! Тоской ли, счастьем
те дни наполнены. Не всё ль равно!
Упрямо мчит к последнему причастию
неумолимое веретено.

МОНОЛОГ ЛИСТВЫ

Дожди. Который день подряд
хозяйничает ветер в мае.
И норовит листвы наряд
сорвать. Соломинкой ломает

тугие ветви. А листва,
трепещет, но не поддается.
Пушай качает шторм права.
Она в лицо ему смеется:

«Ты погоди до сентября,
за мной явился слишком рано.
Бушуй, тратишь время зря.
Мои прожилки солнца прану

впитают жадно. Неземной
напьются влагой. Отогреты
от хлада бурь... А поздним летом,
когда покроюсь желтизной,

срывай меня на перегной.
Пройдет зима, растают снега.
И сохранится в теплой неге
земли грядущую весной
жизнь, словно в Ноевом ковчеге...»

Нью-Йорк

Сергей Зельдин

Рассказы

ФАТАЛИСТ

Валерию Николаевичу Сандальскому было уже пятьдесят девять. Он был благородно нищ и, что называется, доживал.

Но хотя довольно скоро ему предстояло увидеть свет в конце туннеля, дух Валерия Николаича был спокоен, и после смерти он надеялся только на лучшее. К такому философическому спокойствию Валерий Николаевич пришел не сам, а ему помогли роковые события его жизни.

Не став поступать в институт после школы, о чем умолял покойный отец, Валерий Николаевич пошел служить в химбат; женился; затем поступил на стекольный завод; написал рассказ о дедовщине, который напечатали в газете «Комсомолец Полесья»; родил сына, получил однокомнатную, а в девяносто четвертом, как и все, занялся частным предпринимательством. Ему казалось это очень простым, если самые тупые двоечники, не только не читавшие Кафки, но даже Пикуля, ездили на «Форд-скорпио», увешанные «цепурами» и униженные «гайками».

Но ничего почему-то не вышло и, кроме как продать свою и теткинину квартиры, никаких успехов в бизнесе Валерий Николаевич не достиг. Тетка Надежда с тех пор круглый год жила на даче, топя «буржуйку», экономя на таблетках и со старческим упрямством стараясь что-нибудь вырастить на тощих четырех сотках. А Валерий Николаевич с женой, пришибленной жизнью с ним женщиной, жили в родительской квартире, которую, к счастью, он не успел продать.

После того, как все бизнес-планы Валерия Николаевича рухнули, похоронив его под собой, он как-то сразу понял, что жить без денег – это его карма, а как известно, спорить с кармой бессмысленно и опасно.

Вообще, ближе к шестидесятнику, Валерий Николаевич стал хотя и не религиозным, но ужасно суеверным, что обычно и заменяет веру в Бога. «До завтра!» – говорили ему. – «Если только доживем», – отвечал он. – «Да куда мы денемся!» – смеялись в ответ. – «Ну, мало ли куда», – грустно намекал Валерий Николаевич.

Он стал рассусоливать в стиле Иудушки Головлева и всем приводил строчку из Ветхого Завета: «Смирись, человек, ибо это доля твоя», а также: «Любое решение ошибочно» – то ли из «Кандида», то ли еще откуда.

Валерий Николаевич был начитанным эстетом, что уже говорило о том, что заниматься бизнесом ему противопоказано.

Всё же иногда, встав поутру не с той ноги или не под тем расположением знаков Зодиака, Валерий Николаевич вдруг погружался в отчаяние, – в том смысле, что жизнь прошла мимо, что он прожил ее не так, что он ошибся и надо было поступать в политех на электро-механический, а не идти «в люди», как какой-то Кнут Гамсун, имея смутные планы стать писателем. Еще хорошо, что здоровье не позволяло Валерию Николаевичу пить водку или хотя бы коньяк – у него была аритмия, а то еще неизвестно, до чего бы он допил.

Поэтому скоро отчаяние проходило, и Валерий Николаевич, подняв воротник своего короткого синего пальто и молодо закидывая ноги, шел по улице, говоря своему спутнику, тоже Валерию, но Владимировичу, старинному другу детства:

– Ну скажи, что бы я в сущности такого приобрел, будь у меня много денег?

Валерий Владимирович неопределенно пожимал плечами. Он был богатым пенсионером, состоявшимся в жизни человеком, жившим в «сталинке» с консьержкой.

– Ну что? – продолжал допытываться Валерий Николаевич с фальшивым азартом. – Жратва? Ну, пожру я устриц с фуа-грой, попою «борды» и – что? Только понос потом лечить буду!

Тут Валерий Владимирович, его спутник и тезка, трогал Валерия Николаевича за плечо и показывал подбородком на кофейню-кондитерскую «Теретения», мимо которой они проходили. Валерий Николаевич брюзгливо пожимал плечом, и вскоре два друга уже сидели внутри, кушая дорогие пирожные, купленные Валерием Владимировичем и запивая их кофе с пряностями. «Теретения» была шикарным заведением, где шеф-кондитером был чокнутый бельгиец, получавший удовольствие от жизни в Житомире.

Вытерев пальцы кусочком туалетной бумаги, рулончик которой Валерий Николаевич всегда носил с собой, он продолжал:

– Путешествия? Куда? В Париж? В Венецию? На остров Борнео? Что я там не видел? Китайских туристов? Еще Хемингуэй писал в «Снегах Килиманджаро», что все давно пошло в жопу, кроме Африки. Так сейчас и в Африке только и могут, что банту вырезать манту!

Валерий Владимирович, который из-за коронавируса в этом году пролетел с Сардинией, заметил:

– Да уж...

Валерий Николаевич еще пораспространялся о тщете земных богатств и пошел домой.

Идя домой, он думал о глупом конце Жюльена Сореля, о том что «Книга Екклесиаста» – самое толковое место в Ветхом Завете, а также о том, что и Булгаков не ездил дальше Батуми.

АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ

Ночью ветер так рвал и трепал ворота, что казалось, на стройку ломаются глухонемые буйнопомешанные. Это штормовые шквалы были созвучны чувству, бушующему в груди Сергея Павловича: в далекой киевской больнице лежал и боролся со смертью его друг, Вадим Олегович Сидоренко.

Хиленькие ворота из гофры гнуло и надувало, как парус, западным ветром, и Сергей Павлович представлял, как падает атмосферное давление, и это вредит больному сердцу друга, и ему хотелось кинуться и загородить своей грудью родное сердце. Сергей Павлович стукнул себя по лбу и дернул за волосы – прыгнуть бы смерти на спину, оттащить от друга, и пусть делает что хочет, только бы Вадим остался жив!..

Некоторые любят рассказывать о своих болезнях, предчувствиях и предзнаменованиях скорой смерти. Но большинство мужчин этого не делают из-за понятий о мужественности, а если делают, то скупое. Кроме того, многих удерживает сознание какой-то неприличности, сопровождающей рассказы о нездоровье и смерти.

Но Сергей Павлович Каплун, любящий поговорить об изъездах и упущениях своего здоровья, делал это не из-за отсутствия мужественности или культуры, а просто он был мистиком. То есть не в полном смысле мистиком, который разговаривает с тенью умерших родственников и смотрит «Битвы экстрасенсов», но он был убежден в существовании у каждого личного ангела-хранителя, время от времени занимающегося нашими делишками. По мнению Сергея Павловича, ангелы-хранители практически все были на один лад – бесталанные черные юмористы.

Обычная их, повторяющаяся уже тысячи лет и миллиарды раз, шутка: одной рукой дать что-нибудь желанное – славу, власть, деньги, а другой – забрать вдвойне, уже по-настоящему ценное. Причем, по наблюдениям Сергея Павловича, ангелы-хранители, как сущности изначально неоригинальные и, что греха таить, говноватые, обожают отнять у человека именно то, с чем он расставаться никак не хочет,

очень боится этого и, чтобы не сглазить, никогда и никому об этом не рассказывает, — здоровье, а то и саму жизнь. И наоборот, когда человек каждый день треплется, что вот-вот сдохнет, жалуется, пьет таблетки, без конца меряет давление, надоедает разговорами о сахаре и моче, то ангелам-хранителям совершенно неинтересно делать с людишкой то, чего он ждет и к чему готов.

Вот поэтому Сергей Павлович не скрывал от знакомых и соседей, что чует свою скорую смертушку и совершенно этого не боится. Вообще, к своему ангелу Сергей Павлович относился сурово, чтобы тот не сильно распускал крылья.

Соседи и знакомые говорили:

— Дурной! Разве можно такое говорить? Докаркаешься! — и сами поступали наоборот, шифруясь о скачках давления и о болях в подреберье, как партизаны на допросе в гестапо.

Сергей Павлович считал их дураками и ждал, что будущее расставит всех по полочкам.

Сейчас же он метался по своей будке, полный отчаяния и горя, а жизнь его друга, Вадима Сидоренко, мужественного и немногословного человека, висела на тонкой ниточке в клинике имени академика Амосова. У друга расслоилась аорта. Сергей Павлович не знал, как такое может быть, но звучало это гнусно.

Он высказывал покурить и, неприязненно глядя на польский костел через дорогу, говорил:

— Ну! Если такой всеильный, так давай! Помилуй раба своего Вадима! Сделай что-то раз в жизни!

Или, сидя в будке на топчане, опускал лицо в сложенные ладони и глухо взрыдывал:

— Только попробуй мне умереть! Я тебе дам! Нам еще твоего внука в садик вести!

У Вадима Олеговича, борющегося со смертью, не было внуков, так как дочь-бизнесвумен и зять-прокурор еще не до конца созрели для этого. Поэтому Сергей Павлович и говорил так, как будто друг мог его услышать через сто сорок километров, сквозь стены больницы, в тяжелом искусственном сне.

А у самого Сергея Павловича, хотя и далеко, за границей, но внучка была; правда, он, щадя чувства друга, мало о ней рассказывал. А может он напрасно не рассказывал, и другу было бы приятно послушать, как здорово шестилетняя Алекса болтает по-фински и ходит на гимнастику, но Сергей Павлович зачем-то избегал этого, не хотя причинять огорчения другу, у которого еще не известно когда будет внучка или хотя бы внук.

Так, крича на Бога, куря и бегая, Сергей Павлович вдруг поду-

мал, что даже не знал, насколько Вадим ему дорог. У него никогда не было настоящего друга. Конечно, были дружки-одноклассники, армейские «земы», товарищи по работе. Но то, что они – друзья, было только словами, а на самом деле были они приятели, в лучшем случае – собутыльники, хотя Сергей Павлович почти не пил, решив в свое время, что у него «мотор не в порядке».

В юности Серега и Вадик знали друг друга, но так – «привет-буфет», ничего серьезного, а потом разошлись по жизни на сорок лет. А встретились – и как-то сразу подружились. На первый взгляд, это было странным, все-таки они занимали разное положение в обществе. Вадим Олегович был то комсомольским вожаком, то бизнесменом, то доктором наук, а Сергей Павлович – наоборот, сполз до скромной роли сторожа, кочуя со стройплощадки на стройплощадку. Но с психологической точки зрения здесь не было ничего необычного.

Наверное, в самом начале Вадима Олеговича привлекла возможность общаться без напряга с ниже себя стоящим. Потому что когда тусуешься с себе подобными, тебя всегда подсознательно кумарит мысль, не хуже ли ты собеседника преуспел в жизни и, если да, то удовольствие от общения уже не то. А с Серегой было легко и свободно, и можно было не корчить из себя «большого пацана», и не бояться, что тебя считают поцем. Но в дальнейшем, пообщавшись подольше, Вадим Олегович не мог не заметить глубоких взглядов, обширной советской начитанности и надменного отношения к жизни у этого нищего простолюдина. Что забавляло, а потом стало привлекать Вадима Олеговича, раньше считавшего, что бедняки произошли от других обезьян, нежели приличные люди.

К тому же, как все начитанные болтливые люди, Сергей Павлович казался слегка юродивым, что всегда вызывает доверие и симпатию. Вспомним хотя бы Иоанна Грозного и скорбного главою Николку, от которого только царь воспринимал критику в свой адрес.

Сергею же Павловичу в Вадиме Олеговиче нравилось... может быть... наверное... Нет. Скорее всего, проведя столько времени среди плиточников и бульдозеристов, он просто соскучился по культурному общению. И теперь ему казалось, что, отмывшись в баньке от болотной тины, чистый, розовый, в шелковой хозяйской косоворотке, гоняет он чай из огнедышащего самовара, ведя разговор приличный с помещиком Нечуй-Правичком, владельцем именишка, куда Рок забросил его после неудавшейся охоты.

При таких условиях два приятеля всё крепче сдруживались, всё чаще встречались и вскоре уже не могли друг без друга – как Иван Иванович и Иван Никифорович. Но если те поссорились при первой возможности, то наши два друга о таком и не думали, и даже было

непонятно, что их могло разлучить, так они дорожили своей обретенной близостью, хотя бы и с позиций возраста, а им уже было каждому под шестьдесят. Да, безусловно, старческое одиночество тоже присутствовало, но главное было не в этом.

Если правда, что у каждого человека где-то бродит его половинка, то это относится не только к девушкам, но и к друзьям. Встретить друга так же трудно, как инженеру Лосю было найти свою Аэлиту. Ему пришлось лететь на Марс. Но Сергей Павлович с Вадимом Олеговичем встретились здесь, на Земле, на углу Хлебной и Бориса Тэна.

Вот как это произошло.

Был чудесный осенний денек. Вадим Олегович стоял возле аптеки «АНЦ» и вежливо препирался с аптекаршей, ставшей на пороге своего заведения и преградившей ему путь внутрь. Дело было в том, что Вадим Олегович случайно забыл дома маску и не смог купить в гастрономе каких-то продуктов к столу. Он пошел в аптеку, чтобы купить новую маску, но и туда его не пустили, потому что он был без маски. Возможно, в другой раз его бы пустили, чтобы он быстро купил маску и тут же ее надел. Но то ли у аптекарши был какой-то зуб на мягких и вежливых мужчин, то ли просто это был не Вадима Олеговича день, но они стояли в дверях – ни туда и ни сюда. Неизвестно, сколько бы тянулась эта казуистика, но тут к этой живой картине подошел Сергей Павлович, который хотел купить пачку «Кардиомагнила» для разжижения крови от инсульта. Некоторые не пьют препараты, разжижающие кровь и представляющие собой маленькие дозы аспирина, и этим играют своим здоровьем, особенно после сороковника, а тем более полтинника. Конечно, обычный аспирин намного дешевле «Кардиомагнила», тем более что он наш, но у него дозировка пятьсот миллиграммов, в то время как надо всего семьдесят пять, и поэтому – как вы раскрошите таблетку на такие кусочки?

И вот Сергей Павлович, который не узнал Вадима Олеговича, так как обладал слабой зрительной памятью, остановился, чтобы войти в аптеку, и тут Вадим Олегович, который, несмотря на свой культурный характер, стал уже закипать, узнал его и воскликнул:

– Нет, ну Сережа, это цирк!

Вскоре и Сергей Павлович с трудом, но узнал старого знакомого и, войдя в курс дела, зашел в аптеку и купил ему маску, так как сам никогда не забывал ее дома, регулярно стирал и гладил.

Вместе пошли домой, хотя и жили в разных местах – Вадим Олегович в центре, а Сергей Павлович напротив ждэ вокзала; разговаривались, повспоминали молодость и как-то так, незаметно, понарадовались друг-другу и обменялись телефонами, то есть их номерами.

Вот так они и повстречались через сорок лет, благодаря чокнутой аптекарше.

Наверняка они и раньше встречались за эти почти полвека, просто никогда не сталкивались носом к носу, тем более что у Сергея Павловича была хреновая зрительная память. Да и по-любому время взяло свое, и теперь Вадим Олегович, когда-то похожий на Андрея Губина, стал вылитый артист Вельяминов из «Тени исчезают в полдень», а Сергей Павлович вместо молодого Стинга в последние годы напоминал старого Вицина.

Они созвонились и прогулялись раз, другой и третий. У Сереги было много свободного времени, так как он работал сутки-трое и дома сидеть не любил. А Вадим Олегович только что покинул стены университета, не сойдясь с новым ректором во взглядах – и тоже с непривычки скучал.

И они, хоть и не с первого дня, но всё же подружились.

Или Сергей Павлович звонил и говорил:

– А то в проходку, пан профессор? Воздух попинаем, тучки понюхаем?

И Вадим Олегович говорил:

– Нет вопросов!

Или Вадим Олегович звонил и говорил:

– Я тут думал, не сделать ли моцион? Если только граф Каплун не сильно занят.

На что Сергей Павлович всегда отвечал словами Пятачка:

– До пятницы я совершенно свободен!

И они смеялись, потому что это действительно была отличная шутка, имевшая много ответвлений, вроде: «Девочка Лена купаться пошла, / В среду нырнула, в субботу всплыла».

Они три или четыре раза в неделю гуляли по городу, особенно любя гулять по парку имени Гагарина, который по недосмотру патриотов не был переименован и так и носил имя этого хрущевского сатрапа.

Обойдя все дорожки парка, причем сторож Сергей Павлович больше говорил, а бывший декан Вадим Олегович внимательно его слушал, приятели поднимались по улице Лермонтова, вероятно, не изменившейся с тех пор, когда по ней гулял Лариосик из «Белой гвардии», садились за столик кафе «Теретения» у подножия водонапорной башни, памятника архитектуры 19 века, пили кофе и кушали пирожные, за которые тактично расплачивался Вадим Олегович, имевший капитал, а также пенсию, равную пяти серегиным зарплатам.

Попив кофе, Олег Вадимович опять слушал Сергея Павловича, а тот закуривал и говорил, не умолкая, то о статье Томаса Манна про

сифилис Ницше, ставший причиной его гениальности; то о рассказе Алексея Толстого «День Петра», где виден его настоящий взгляд, а не как в романе, написанном для Сталина; то о мистике, окружающей нас, гораздо более реальной, чем видимость так называемой «жизни». И тут же втирал свою теорию об ангелах-вредителях. На что Вадим Олегович улыбался и ничего не говорил, так как с дефолта 98-го был верующим христианином, а христианство придерживается иной концепции. Вадим Олегович, бывший в свое время довольно узким специалистом в области украинского языка и для которого все рассказы Сергея Павловича были новостью, слушал его с уважением и ничем не перебивал.

И жены, вслед за мужьями, тоже подружились и нашли в себе много общего и даже лучше – того, чего не хватало им и теперь дополнялось через подругу.

Жена Вадима Олеговича Оксана Иосифовна, владелица переводческого агентства «Вселенная», говорила жене Сергея Павловича Виктории Дионисьевне, работавшей собачьей няней у харизматов:

– Вкусичка! Я давно хотела подарить тебе одну шубейку! Мне она уже не налезит, а тебе будет как раз! Сделай мне приятное, возьми!

И Викуся брала, чтобы не обижать свою приятельницу.

И Олег Вадимович тоже говорил, стыдливо улыбаясь:

– Сережа! Тут Ксюша отобрала кое-что, шкаф разгрузить. Оно новое, будешь на работу носить, уважь друга!

И Сергей Павлович, сделав на лице выражение: «Ну что с вами делать, мерзавцы вы эдакие!», – давал себя уговорить и нес из гостей огромный пакет с брюками, свитерами, куртками и даже шапками и перчатками, и потом говорил насмешливо, разглядывая себя в домашнем зеркале:

Как денди лондонский одет –
Таким его увидел свет.

Или Оксана Иосифовна, очень полюбившая Викусю Сергея Павловича, потому что она не корчила рожу, как какая-нибудь судья апелляционного суда, звонила и говорила:

– Пани Каплун! Приходите на утку в темном пиве! Отказы не принимаются! Да, захватите своего Ницше!

И паны Каплуны шли в шикарную «сталинку» на Большой Бердичевской и очень весело проводили время за уткой в темном пиве и всем, что следовало к ней.

Вадим Олегович с Сергеем Павловичем так сдружились, что какой-нибудь гомофоб разглядел бы здесь сексуальный подтекст. Но

ведь так можно и гоголевских героев обвинить в черт-те в чем. К тому же, между нами, фрейдистами, говоря, такой подтекст присутствует во всем, но это ни о чем не говорит.

Да что! Дошло до того, что их не разъединяли даже резко отличные политические взгляды. Противник и ругатель всех и всяческих Майданов, Сергей Павлович и их сугубый защитник и апологет Вадим Олегович, всегда вовремя останавливались и расходились с ласковой улыбкой, какой улыбаются неполноценному ребенку, в то время как миргородский Иван Иванович давно бы уже убил своего Ивана Никифоровича из его же ружья.

Эти же двое уже настолько сблизились, что еще немного – и они стали бы как те два друга-скифа, о которых писал Лукиан Самосатский во втором веке нашей эры и о которых Сергей Павлович рассказывал Вадиму Олеговичу в «Теретении». Друзья-скифы так любили один другого, что буквально соревновались, кто первый отдаст жизнь за друга. А когда один погиб из-за какого-то царя, второй организовал скифский набег на Лидию и Комагену, и они там вырезали всех под корень. И второй постарался погибнуть в бою, не желая жить без друга.

Как уже говорилось, Сергей Павлович склонялся к картине мира, исполненной мистицизма, и поэтому теперь не переставал говорить о своем плохом здоровье, севшем зрении, грыже спины, аритмии вкупе с брадикардией и так далее, переходя от одной части тела к другой, чтобы запутать своего ангела и отвадить его от шуток.

Вадим же Олегович, будучи старым «афганцем», орденоносцем и медалистом, о чем никогда не говорил, как и о всяких мелких контузиях и ранениях военного времени, обычно помалкивал, сочувственно выслушивая жалобы друга и предлагая деньги на лечение.

Однако в последнее время что-то и его точило, взгляд его понемногу делался слегка отсутствующим и как бы немного тоскливым, как это бывает у людей и животных накануне смерти.

И вот как гром среди ясного неба: позвонила Оксана Иосифовна и сообщила ужасную новость – Вадим Олегович, тихо и незаметно легший в больницу узнать, отчего у него болит за грудиной, был подвергнут коронаграфии и срочно увезен в Киев в институт имени Амосова. Профессор, едва выяснив основной факт – есть ли у пациента плюс-минус миллион гривен, немедленно отправил его в операционную, шесть часов колдовал над ним с вызванным из Харькова сосудистым светилом и успел спасти Вадима Олеговича в самый последний момент, как в дешевом фильме, где чуть вспотевший герой отключает атомный фугас в центре Лос-Анжелеса за секунду до взрыва.

У Вадима Олеговича была взята артерия на ноге и вставлена вместо изношенной аорты. И теперь оставалось самое главное –

постараться выжить после такой замены, на что честный профессор давал не более двадцати процентов из ста.

И вот теперь Вадим Олегович, ужасно далекий и одинокий, бродил в долине теней, ища выход, а его друг Сергей Павлович метался по своей сторожке как зверь, ища, чем помочь, и не находя ничего. Он то набрасывался с упреками на ангела-хранителя Вадима Олеговича, обвиняя его во всех грехах, то презрительно и свысока разговаривал с официальным Богом, стремясь растормошить его и вызвать на чудо.

Наконец, утомленный и опустошенный, Сергей Павлович рухнул на топчан и заснул.

И снится ему, да так ясно, что он даже не заподозрил, что это сон, и был совершенно уверен, что стоит на лестнице в своей родной восьмой школе возле входа в актовый зал, но не школьником, а уже таким, как сейчас, взрослым и вдруг видит, как снизу поднимается и равняется с ним блестящий офицер, капитан, в сопровождении двух майоров, несущих за ним чемоданчик, похожий на «ядерный». Присмотревшись, вернее, даже не присматриваясь, – ведь во сне и так все понятно, – Сергей Павлович узнал в блестящем гвардейце своего старого армейского зему, Саню Мищенко, с которым они заканчивали учебу в ПриБВО.

– Здравия желаю, товариш капитан! – несмело сказал Сергей Павлович, неуверенный, как его примут.

– А-а, здравствуй-здравствуй, друг мордастый! – рубанул капитан. – Извини, спешу, проверял ваш округ, теперь по банкетам загаскают!

И коротко, по-военному, кивнув, прогарцевал со свитой куда-то наверх, в направлении кабинета астрономии.

Сергей Павлович во сне приосанился и подумал: «Ну, Сашок!..»

И вдруг совершенно неожиданно вспомнил, что Саня Мищенко уже лет пять как помер, и последний раз он видел его на Житнем рынке, опухшего и пахнущего мочой, и еще, помнится, не дал ему тогда пять гриваков – не оттого, что не было, а как-то так, побрезговал, что ли.

Тут Сергей Павлович понял, что это сон и что сон этот вещий, и его Вадим Олегович только что умер, и в этом нет никакого сомнения.

Сергей Павлович всхрипнул разинутым ртом, проснулся; он лежал, мокрыми глазами глядя на лампочку в газете, и вяло думал: «Ну не сука ты?..» – относя это к своему ангелу-хранителю. Хотя при чем тут был он, если у Вадима Олеговича был свой ангел, который шутил, как команда КВН «Девчата из Новой Боровой»...

Сергей Павлович вышел на двор и обошел стройплощадку, на которой хотели строить высотку и заборы вокруг которой были испи-саны патриотической общественностью, требовавшей на этом месте Обелиска Героям Майдана, а не очередного доходного дома. Хотя при

чем здесь доходный? «Доходными» в старину назывались дома, в которых квартиры сдавались внаем, а хозяин имел с этого. В частности, в доходном доме жили профессор Преображенский, сахарозаводчик Полозов и буржуй Саблин...

Ветер стих, и было слышно, как по Киевской прошел первый троллейбус, везущий в парк шоферов с кондукторами.

Сергей Павлович, обойдя территорию и убедившись, что экскаватор с бульдозером на месте, вернулся в будку и, улегшись, смотрел на начавшее сереть окно. Будка была сделана из старого армейского кунга и отличалась крепостью и теплотой. Под словом «кунг» скрывался кузов-фургон военного прицепа. А сейчас это была будка на кирпичках, похожая на курятник.

Сергей Павлович часто разглядывал внутренность своего кунга, смотрел на какие-то трубы и патрубки, выходящие из стен и заткнутые тряпками, а когда-то служившие суровой военной цели; на солидно вделанные двойные иллюминаторы, задерживаемые кожаными шторками; на ряды потолочных плафонов, сейчас нерабочие, а когда-то освещавшие работу ракетного расчета или штабистов за картами, — и думал, насколько же люди любят воевать, или, по крайней мере, готовиться к войне. Если бы с такой же любовью они мирно жили, страшно подумать, где оказалось бы человечество, и никакие бы коронавирусы ему не были бы страшны, — да и откуда им было бы взяться, раз нет войны и военных.

Голова Сергея Павловича была набита мокрой грязной ватой. Неясные мысли о суициде расшевеливались в нем.

Он достал телефон поглядеть время. Вдруг телефон так зазвонил, что Сергей Павлович подскочил и обреченно поднес его к уху:

— Сережа... — сказал незнакомый голос Оксаны Иосифовны, и Сергей Павлович пережил самую трудную секунду в своей жизни. — Вадим пришел в себя, прошептал: «Передайте привет Серёге»... Профессор говорит, что редкий случай и будут переводить в палату...

Сергей Павлович вспорхнул, перелетел улицу, опустился перед костелом, унылым и туманным, и истово, слева-направо, перекрестился:

— Господа ангелы! — сказал он. — И вы, Пан Езус! Огромное вам человеческое мерси! Можете же, если захотите!

И заплакал сладкими слезами.

НИКОЛАЙ

Деятнадцатого декабря, в День Святого Николая, погода была мерзейшая.

Как Бармалей в «Айболите-66» не знал, что сделать с проклятым

докторишкой, — отрубить голову, выпустить кишки, сжечь или повесить, — так и ненастье порой застывало в раздумье: пнуть прохожего под зад северо-западным шквалом, отхлестать ледяным дождем либо залепить лицо мокрым снегом.

Бомж Николай сидел в вагончике строителей и блаженствовал, греясь чайком. Света он не зажигал, хватало фонаря с улицы, а войдя, включил тепловентилятор-«дуйку», вскипятил электрочайник и достал из шкафчика чашку, чай и заварку.

Вагончик открывался элементарно, хотя на двери и висел огромный замок, покрытый, как писали Ильф и Петров, не то ржавчиной, не то засохшей гречневой кашей. Но он был поломан, и дужка просто входила в него, не защелкиваясь.

Сторожа можно было тоже не бояться. Сегодня дежурил дедушка Божий одуванчик.

В шесть вечера, обойдя пустынную стройку, он запирался у себя в будке, выпивал чекуню, закусывал салом из тормозка и дрых потом до шести утра, когда приходил сменщик, инвалид без руки. Однорукий Бандит бдил, как пограничник Карацупа, и в его смену Николай на стройку не совался.

Висело и пару камер, но то ли они не работали, то ли их никогда не смотрели, но до сих пор никто деда не дрючил и не шугал его, Николая. Так что даже однажды, когда на территорию проникли два вора, Николаю пришлось кидать комочками земли в окно сторожки, но старый не проснулся, и воры, привязав пару швеллеров к багажнику «Жигуля», скрылись.

Николай гонял пересладкие чаи, грыз окаменевшую булочку, жмурился, как кот, и улыбался, глядя на темное окно в стекающих каплях. А когда в кармане одного засаленного ватника он обнаружил пачку «Примы срибной» с двумя мятыми сигаретами, ему стало совсем хорошо, как Гоге в «Москва слезам не верит», если бы он напился газировки.

Николай лежал на топчане, подложив под голову оранжевую каску, укутав ноги тряпьем, пускал дым колечками. Он испытывал нечто, похожее на счастье. Он думал... А впрочем, ни о чем он не думал... Так... О том опустившемся чиновнике из «Жизни Арсеньева», просившего в трактире на водку... Благородный юноша спрашивает: «Как же вы живете? Ведь это ужасно, ужасно так жить!...» — А тот: «Ничего ужасного, милостивый сударь, ровно ничего!»...

Бунин... Лика... Николай слабо хмыкнул и заснул до пяти утра.

Сергей Золотарёв

* * *

в третьем часу ночи
в желтом кульке мятом
я пронесу пончик
через небес мяту

прямо в твои руки
я передам теплым
это кольцо cookies
форму придав воплям

точно свою почку
что отдадут близким
я принесу пончик
как вариант диска

текстовый файл мира
теста кусок – в масле
звезд – чтоб от их жира
окна к утру гасли

я донесу знание –
донер-кебаб в помощь –
как мировой тканью
нас обернет полночь

чтобы душа в пятках
чтобы в одной шкуре
нам посадить пятна
как самолет в бурю

* * *

как-то раз и навсегда
в снеге сломана вода
словно гибкая пружина
из будильника труда

сколько снегу ни ходить
сколько снег ни заводить
ни одна его снежинка
не умеет разбудить

пробежал сухой старик
птичий знающий язык
ноги – вилочковой костью
и гагачий пуховик

он уже умел летать
но его за пядью пядь
засыпала с той же ломкой
прямотою – тишь да гладь

говорила мне не плач
постилала мокрый плащ
формируя меж землею
и небесной твердью – хрящ

а от сломанной воды
хорошо зевают рты
потому что всё срастется
только после ломоты

* * *

окна треснутые вывернуты
стужей внутрь теплом наружу
ах Альбано после Либерты
был еще отцом и мужем

только всё давно расплавлено
как стекло в осеннем горне
голосок Ромины Пауэр
и собор святого Павла
из окна ее уборной

а у нас окно всё в инее
люди северной закваски
не зовут себя по имени
берегут чужие связи

* * *

фиолетовая толща протекающих часов
время суток semidolce циферблат бутылки Псоу
в том что стенами потёки остаются там и тут
виноваты только сроки высыхания минут
виновата ипотека и просроченный кредит
и уже почти полвека нам пространство не вредит
нам вселенная открыта и последний подвиг наш –
у разбитого корыта просто выдержать кулаж

* * *

После смерти – взболтать, но не смешивать,
выпить залпом остатки, долить
человека, чью жажду нездешнюю
не смогли мы собой утолить.

Назовите хоть вечною памятью
ту зависимость, что на лице.
Вспоминаете троллите спамите
выпиваете в тесном кольце.

Чтобы там ему – будучи допиту –
в опьянении нашем нашлось
осмысленье смертельного опыта
жить, смешавшись, хотя и поврозь.

* * *

как наступают сумерки?
просто ты щуришься
света частицы не умерли
лишь окочурились

мухи зажавшие лапками
на потолке зиму зимнюю
спят отключенными лампами
сквозь электричество синее

щурься и сделаешь вечером
день не умеющий смежиться
это мгновенное вечное
чувство и мы его беженцы

* * *

посветлело в лесах под Москвою
снег еще не земля
пусть твердеет при ниже нуля
и берет за живое

белки словно древесные мыши
в вертикальных домах
непреренно наклеят афиши
и натянут гамак

люди ждут когда кончатся люди
что скопились до них
чтоб в такой временной амплитуде
замахнуться на миг

они думают белочки мыси
мысли мыши да те же снега
покорили мельчайшие выси
как какой-то живой НИИ ГА

в человеке же та протяженность
что должна заслонять
остается в мужьях или в женах
остается в культурных слоях

где какой-то один бла-бла жест
заменяет нам десять блаженств

а хотелось бы беличью ловкость
пронести как вино
в эту жизнь как в столовку
и сидеть и сидеть затемно

* * *

проекция беседы на столы
имеет вид вина и мушмулы
мы тянемся как дикие растенья
на стебельках взаимной похвалы

нам слышатся последние курлы
а снизу раздаются наши тени
как карты коих загнуты углы
мы прячем их в очечные чехлы
во избежанье новых совпадений

пусть винные кружкú как кандалы
тому кому желания малы
но наш что называется идейный
кружок достигнет всехней шамбалы
оставшись в заведении питейном

* * *

как же я тебя не спас
мой невидимый цветочек?
астма только бронхоспазм
аллергия мироточит

это видно на просвет
что с того что запершило
в горле? словно первоцвет
люди сшиты из прожилок

алый или голубой
между ними перепонки
это как бы мы с тобой
мир толкается стопой
Паниковский был слепой
нес гуся как образ звонкий
и не понятый толпой

аллергия на мечту
не дает вдохнуть им краски
звуки ласки красоту
человеческой привязки

между пальцами вода —
лишь Рахманинов разрезав
руки точно невода
на ее играл протезах

* * *

красота у вас какая!
шевелил старик губой
словно кто ее толкает
в темноте перед собой

вы живете как живые
в каждой капле вам ночлег
разве раны ножевые
не намазаны на хлеб

фиолетовые клубни
как замерзшие сердца
в недостаточности глуби
почвы матери-отца

до чего у вас красиво
вся поверхность состоит
из такого абразива
что сточило внешний вид

погощу у вас недельку
город Виев райский сад
и земли поправив стельку
в мыслях стоптанных— назад

* * *

а если взяв с собой шуруповерт
пойти уже вдвоем в елепитомник
где стержень каждой елочки уперт
в потертый мандельштамовский двухтомник
то можно отрясая от корней
живые буквы крохотную елку
забрать с такими мыслями о ней
что в украшениях будет мало толку

Москва

Нина Горланова, Вячеслав Букур

Пермские побывальщины

ИЗ-ЗА ЛЕСА, ИЗ-ЗА ТЕМНОГО

«Я водоньки купил.
Приходите обмывать гимн –
в субботу с обеда.
Волнухин.»

Такую записку Василий Карпович Волнухин приклеил на жвачку к двери кафе. Оно в двадцатом веке называлось «Колокольчик», а теперь – «Притормози у клена».

Поселок Майский до перестройки был сам по себе, а потом Фиалохолмск охватил его искрящимися троллейбусными щупальцами и присвоил. Легко!

В свое время Василий закончил Майскую школу № 2, а потом уехал в Свердловскую консерваторию. Мелодии, мучающие его день и ночь, пришли 18 сентября. Тогда Колька Дозорцев встретил Симу из музыкалки... наглый, как Аполлон. Васе захотелось виолончель свою запустить в соперника, но тут-то и открылось: инструмент переселился внутрь, где-то между сердцем и мыслями, и рвал все зубчатыми звуками. Так хотелось разделить с кем-нибудь эту волшебную муку. А теперь с кем?

Ведь он уже твердо думал до этого, что Сима никуда не денется! Зря, что ли, она рассказывала о бабушкином сундуке!

– Я боялась: вдруг он схватит меня своей пастью и захлопнет в себе! В то же время крышка сундука изнутри была оклеена плакатом «Да здравствует 1 мая!»

Дальше она описывала: яблоневые ветки так цвели, что буквы оживали – Д ходила черными ногами, О зевала, а С пела для праздничных людей, – они столпились у нижнего края плаката, напрягаясь типографскими улыбками. Много позже мучительно-родные пронзания ее голоса привели к появлению «Фантазии № 7 (Плакат)». Ее даже заметил сам Дмитрий Дмитриевич.

Вася считал: она говорит о яблоневом цвете, значит, навсегда с ним. Успокоившись, он погрузился в хрусталь Моцарта, уверенный: что жизнь обещала, то и даст.

Но уже восходил из-за горизонта ближайшей парты Дозорцев, изобретательный, как Одиссей! Он собрал усилитель для школьного ансамбля «Поющие бобры», и Сима, разумеется, домовито подумала: надо этого умельца приспособить в домоводстве...

Дозорцев потом увез ее в Сибирь – под предлогом распределения из лесотехнического института. Детей у них не было. Сима преподавала в сибирском поселке сольфеджио.

Однажды Симины мать показала Василию ее фотографию: родное лицо в профиль, а на стене странная карта.

– Что это?

– Охраняемые муравейники лесничества.

Карта переселилась внутрь, муравейники оживали и светились в лесу, птицы нащелкивали что-то печальное, хотя одновременно хотели и перекусить, и к вечеру возник романс «Скудный луч, холодной мерою...»

Затем песни шли одна за другой, чуть ли не заменяя счастье.

Когда лесников в России упразднили, Дозорцев снова принялся что-то изобретать... а Сима в 2010 году вернулась к родителям – приглядывать за ними. Заодно и рассказала:

– Последнее его изобретение было после падения с кедра. Сидел со сломанной ногой. АД-10, значит, авиамодель Дозорцева... летает и собирает кедровые шишки в особый мешочек.

– Как же летает? – ровным голосом спросил Василий.

У него вообще было с детства невозмутимое лицо. Эта невозмутимость каждый раз разная: то доброжелательная, то наоборот. А вот сейчас внутри всё кипело.

– Модель радиоуправляемая.

В общем, размышлялся Дозорцев: за этот патент получит столько, что будет у него своя лаборатория, как у Эдисона. Он продал корову, купил какие-то материалы. А на одну пенсию, без коровы, жить невозможно.

Вы, наверное, поняли, что здесь образовался клубок мечтателей. Дозорцев хотел с помощью своей лаборатории осчастливить Россию.

Сима мечтала о предсказуемом муже.

А наш композитор Василий – вернуть населению поселка долг за мелодию гимна, взятую из народной песни..

Конечно, он ее переработал, но осевая-то тема – всё равно из глубины людской!

Причем коммерсанты тоже честные: выполнили свое обещание,

отвалили огромные суммы победителям в конкурсе. Так что автор слов Артем Возилло (по прозвищу Годзилла) сразу кинулся со своей долей в Хорватию и, по слухам, покупает там виллу.

А наш композитор приобрел «Ауди» и привез на ней, на всякий случай, запас водки – пять ящиков.

Сначала сели в кафе, но сразу стало тесно из-за прибывающих нарядных земляков. Тогда столы вынесли на травку, и тут из соседних домов люди расщедрились – принесли еще что-то четвероногое. А потом уже и воинственную крапиву с кремовым клевером приминили пиджаками, жакетами и пакетами с надписью: «‘Наши холмы’ – объективная газета»

Сима отвязала от колонны в кафе гроздь белых шариков с гелием и прикрепила ее к нижней ветви клена, известного всем дальноточникам. Люди приезжали на тракторах К-700, про которые думали, что они уже давно рассыпались в металлолом, а также на «победах», велосипедах и даже на лошадях с соседнего ипподрома.

Пришел с ближайшего хутора фермер по фамилии Пчелинцев, он разводил страусов. Тоже одноклассник Василия, между прочим. Был Пчелинцев в белом костюме – как будто весь собран из живых быстрых макарон. И два ведра страусиных жареных стейков мгновенно нашли место среди пирующих.

Приехали и выпы, среди них выделялось первое лицо своей грубой губернаторской красотой. Это лицо тут же ощупало всех вокруг невидимыми клешнями, и наступила тишина.

Но говорить тост губер поручил депутату Груздеву:

– Назвался Груздев – полезай вперед!

Груздев был грузен, долго и царственно поднимался. Раздались гремящие раскаты его баса:

– Мелодия гимна взята из народной песни! Но кто сделал ее более величавой и раздольной? Наш Василий Карпович! За него и за наш Фиалохолмск, рождающий таких гениев!

Глава Майской рай-администрации спрашивал нашего композитора:

– А гимн райцентра сможешь? Вот есть песня такая – «Пошли девки на работу», очень могучая... Нашему Годзилле позвоню на Адриатику, пусть пишет слова, а то всех хорваток пере-пере... – И он закашлялся от набежавшей сладкой слюны.

Местный уфолог по фамилии Меридиан (прозвище: Глобус) все тосты начинал с привычного зачина: «Дамы и господа, галактики разбегаются от нас».

– Дамы и господа, галактики разбегаются от нас, но они для нас

не пример. А пример для нас – НЛЮ, которые слетаются со всех концов Вселенной, чтобы подружиться с нами.

Отец Никодим не утерпел. Поставив уже настроенную стопку, проговорил:

– За это пить не буду.

– Отец Никодим, объясните позицию.

– НЛЮ – это искушение бесовское.

– А чего вы с нами сели, с грешниками?

– Потому что с Карповичем на одной парте сидел десять лет.

Затем слово взял федоровец с подчеркнуто добрым лицом. Его звали «Великий федоровец» – слишком горячо он отстаивал идею воскрешения отцов. Против него опять выступил батюшка: мол, почему только отцов хотите воскрешать? А где наши родительницы будут?

А федоровец и не знает, что сказать. Вдруг вскинулся:

– Это будет возвращение к первоначальному состоянию Адама.

– А вы пели в детстве: «Фарш невозможно повернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь»? Вот то-то и оно. – И отец Никодим наконец-то пригубил стопку.

Как раз в это время губернатор и депутаты встали из-за стола, следом примерно двадцать крепких мужчин в черных плащах отделились от угощения и уселись по машинам...

Подали клубнику с маринованными грибами. На каждой шпажке попеременно были нанизаны ягоды и опенки. И как-то это здорово ложилось – как намек на стиль В. К. Волнухина с сочетанием несовместимых элементов его мелоса.

В этот момент и появился на пиру Дозорцев. Он приехал за женой, но вот смотрит и не знает, как подступиться, когда Сима сидит рядом с композитором и никакого изобретения на этот счет не припасено!

Перевернуть стол? Но не хотелось показывать совсем уж черновик самого себя. Начнем сразу с главного: коровы!

Дело в том, что за свой прибор шишкособиравательный он патент уже получил! И канадцам продал! Никто на родине из высоких шишек – то есть начальства – не заинтересовался... вдруг звонок международный! Канадцы мно-ого денег отвалили, но корову пришлось выкупать втридорога...

– Тут один сучий потрох любит уводить чужих жен, – начал Дозорцев. – Сейчас мы этого Карпова сына за жабры возьмем!..

– Жопе слова не давали, – осадил его седой волк, кузен Василия, и как пригвоздит своим бешено-веселым взглядом!

Еще уфолог принялся засучивать рукава...

Тогда виновник торжества махнул рукой. Тотчас полилась музыка.

Бодрая клумба, она же певица, – у нее был мак в волосах и роза в петлице – занавесилась веками с синими ресницами и запела романс – музыка нашего Карпыча:

Приснилось, что я вышла из вагона
Чего-нибудь купить.
Увидела тебя в конце перрона,
И захотелось жить...

– Опять слова Годзиллы?

– Его. Только странно: любит большие груди, почему же пишет про маленькие?

– Ради целомудренности...

– А чем маленькие груди целомудреннее больших?

– А эти двое кто?

– Оба похожи на Юлия Цезаря. Значит, итальянцы. С депутатами приехали... хотели наблюдать чеховскую атмосферу...

– А тот легкий господинчик?

– Кто-то из местных. Из жаждущих...

И были там иные многие, жаждущие напитков, изменяющих сознание.

В это время появилась Любовь Петровна – личный стоматолог нашего композитора. Она – как всегда – в чем-то щучье-сером, и так заводит необыкновенно глаза вверх по диагонали... Как вообще в зуб попадает? Села рядом с седым волком, то есть кузеном Василия. Явилась перед ним в такой блузке, которая испарялась, испарялась и мучительно не могла испариться до конца. Наклонилась к седому волку, поднесла к его лицу всю анатомию...

Его спас звонок мобильного – взял трубу и вышел из-за стола... Любовь Петровна осталась сидеть за столом с лицом, полным разочарования в мужчинах, которое сразу испаряется с приближением их.

Затем приковыляли две старушки: ковыль-ковыль...

Одна была с прокурорским выражением лица:

Лицо второй старушки уже стекает вниз, к земле, но наверху – в глазах и на лбу – было такое усилие к пониманию всего!

– Сима, послушай, я нашу Майку выкупил! На канадские деньги.

– Дозорцев! Ты мой номер мобильного помнишь? Я тебе разрешаю звонить... реденько так.

– Ах, так! – Дозорцев открыл китайскую сумку. Оттуда вылетел шишкособирательный механизм и взмыл прямо к шарикам!

Раздались хлопки, шарики дрябло опали.

Наш композитор закрыл собой Симу... Его пес Принц взвыл и прыжками навсегда унесся в лес.

Местный глава администрации вспомнил родные девяностые, выхватил пистолет и пальнул в воздух. Но шишкособиратель АД-10 был очень верткий.

В это время появился пасечник Бурдин. Он не сразу понял, что ситуация непростая, начал свой тост:

– Мы с Васей после девятого класса подрабатывали в пионерлагере – мы очень детей любили: они нас поддерживали. Буквально! Я на линейке всегда был с похмелья, а они меня с двух сторон держат. И удерживают! Так они нас любили. А Вася из кустов пробирается к своему отряду и тоже делает попытку упасть. Так пионеры его подхватили, поддерживали, ободрили...

– Тост за что?

– Да, тост! С необычным природным явлением столкнулись мы сегодня... работники гидроэлектростанции проводили ремонт на объекте... посередине реки Мочь.

Итальянцы-слависты оживились.

Но местный учитель истории им сразу объяснил:

– А про реку Сороть слышали? А во время Ивана Грозного один приток Мбчи назывался Жопомоя.

– Я могу продолжать? – осведомился пасечник. – Спасибо! Так вот, под электроцитом обнаружили рой пчел! Да. И вызвали меня – с помощью дыمارя обкурил пчелок и... стал их владельцем... поэтому и опоздал... собирал пчел в коробку.

– Едрена кочерыга! За что пьем?

– Сейчас рой гениев улетает из России. А мы должны удержать нашего Васю. Так давайте за это!.. – И пасечник жестом призвал к действию.

– Музыка Василия Карповича дает ощущение другого мира, в котором никто не умирает, – начала свой тост журналистка Феклуша Холмова.

– Да, я это сам хотел сказать! – добавил главный спонсор курса, директор завода «Наши холмы».

– Так и на самом деле никто не умирает, – заметил отец Никодим.

– А я оперу задумал: «Асыка-князь», про штурм Вятки-Кирова... Бешеное столкновение культур... Могучий конфликт.

– Мдя... Смотришь на Василия – и самому хочется облысеть, – сказал уфолог.

– А по-моему, музыка Васи – как вино, – сказала в пространство личный врач композитора и выпила вина.

Легкий господинчик в это время сидел с углубленным лицом, чем и узнавался как нетрезвый. Вдруг он вздохнул и говорит:

– Нет, нах, надо срочно жениться.

У нашего стоматолога еще интенсивнее стала испаряться блузка, и она села рядом с ним.

А теперь пора рассказать, почему наш композитор до сих пор не был женат. Мать его пришла из лагеря в 56-м, когда сыну было девять. А отец не вернулся из ГУЛАГа. Она твердо решила не давать Васе жениться. Никогда! Боялась, что невестка выгонит.

– Композитор – это человек с раной в сердце, а какая женщина вынесет раненого... – говорила она, вздыхая, и покупала каждый вечер четвертинку водки на двоих.

Пять лет тому назад, как раз на Пасху, мама скончалась. И Вася несколько месяцев ухаживал за певицей (она же – бодрая клумба). Но та чуть было не посадила его в самую середину клумбы, чтоб выполоть вокруг всех друзей... К друзьям-то он и сбежал.

Пир перевалил через зенит. Стали отъезжать коммерсанты, они же – спонсоры конкурса на лучший гимн губернии. Один кивнул барственно, сказал в пространство: «Поехали». И снова человек двадцать в черных плащах вдруг выделились из народа, расселись по «джипам» и стали выезжать на дорогу, выстраиваясь в колонну.

– В ад все не влезается, – сказала первая старушка.

– Нет, все в рай не влезается, – сказала другая.

Василий пошел с кузеном, седым волком, за водкой, что была в его машине.

– У водки самые проворные ножи.

Водку из машины перелили в бадью какую-то техническую, правда, еще неиспользованную по прямому назначению и из нержавейки.

– Ох и надеремся!

– А чего?

– Теплой надеренции.

– Ноги не шли, а я – ковыль-ковыль – и приковыляла.

– Ноги – это что, а вот моя кошка Мусёна не ест... это горе.

– Бабушка, давай бутылку, перевоспитаю твою Мусёну, – предложил фермер Пчелинцев.

– Не давай – он запрет ее в сарае... на три дня голодать.

– Вася, Вася, чего ж ты на коньяк не расщедрился?

– Ну, одному нашему общему другу – вы все его помните... посоветовали лечить язву коньяком. Он стал лечиться и с каждым днем чувствовал себя всё лучше и лучше. Через полгода замерз пьяный на улице. Вскрытие показало, что язва в самом деле зарубцевалась...

– Так сейчас июль, мы бы не замерзли!

– Белый танец!

Бодрая клумба подошла к нашему изобретателю Дозорцеву, и он немного с нею протанцевал танго. Она вдруг, несмотря на свою плотность, гибко перевесилась через его руку. И Сима закричала:

– Ну давай урони, урони ее еще!

Дозорцев проводил бодрую клумбу к столу, а сам начал двигаться под музыку, своими руками отгребая от всех что-то опасное и плохое и загребая всё за свою спину, как бы отправляя чужие горести в безопасное пространство.

И Сима сначала зарыдала, а потом сказала Васе:

– У тебя есть твои звуки, твои премии, которые дают счастье...

А у него...

И пошла к Дозорцеву.

Васю спасла его привычка к изображению невозмутимости. Он обнял кузена и сказал:

– Водка – единственное, что нам не навязывали. Коммунизм навязывали, кодекс там... якобы строителей якобы коммунизма... Капитализм... А водку – нет. Предлагаю тост за безыдейность выпивки.

– Водку тоже навязывали, но хитро. Боролись с самогоноварением, чтобы весь доход поступал в казну.

Вдруг Вася вскочил – две его брови, как две седых гусеницы, поползли вверх:

– Спасибо всем за компанию! Мы еще встретимся! Балетик об этом сочиню, снова соберу вас, друзья.

Он пошел к своей машине и увидел, что колес нет...

А навстречу толпой шли страусы. Оголодав, они искали своего хозяина. Некоторое время рослые птицы бродили среди поверженных бражников, внимательно склевывали с тарелок. А потом один страус увидел красную бейсболку на официанте Косте, принял его за своего собрата страуса и ухватился клювом за козырек. Костя заорал

и погнался за гигантской птицей, да куда там! Шестьдесят километров в час!

Тут еще за компанию увязался с фермы красавец-павлин, он скандально и противно завопил. Тотчас в сознании Василия еще прилбизительно зазвучало скерцо «Нарцисс» с криком павлина в безударных тактах.

Говорят: рыбный инспектор встал из-за стола так пьян, что стоял на одном берегу и требовал, чтобы с другого берега рыбак подошел к нему заплатить штраф. Ему мерещилось, что это браконьер.

– Но я ведь по воде не хожу, – был ответ. – Лучше вы ко мне.

2011

МАТЬ, МАТЬ!

Гоня перед собой волну морозных духов, Горá надвигалась. Гора – прозвище Фаины Гринберг (так ее звали близнецы Лера и Юра Лисовы).

– Юрец! Лерушик! Видела я вашу мать!

– Мать? Мать!

Мать близнецов нечаянно, но раздольно запила двадцать лет тому назад, отец был не известен. Лисовы оказались в детском доме.

– Лисятки! – сразу затрубила над ними няня Андреевна.

Это их еще больше испугало, чем то, что в детприемнике мыли и кормили досыта. Они яростно поглядели в выцветшие от долгих лет глаза Андреевны, надеясь, по доброй коммунальной привычке, запугать ее. С трудом удалось расцепить их костлявые руки, которыми они обхватили друг друга.

И вот, когда уже миновала отметка «тридцатник», эта встреча на кладбище с подругой по детдому. Оказалось: она в больнице видела их Светулечку-мамулечку, которая пережила клиническую смерть и сейчас ищет детей. Она всегда требовала, чтоб ее называли Светулечка, эта мать их.

Близнецы поняли, что подарила она им прекрасную наследственность. Двадцать лет не просыхала, но жива, и даже клиническая смерть – это не смерть, а вроде перезагрузка.

Они кое-что помнили о ней. Во-первых, любой разговор она начинала со слов:

– Что я вам скажу!

И дети так начинают любой разговор, когда встречаются со своей Стаей.

Во-вторых – она часто начинала такую сказку:

– У Синей птицы был любимый сынок. И звали его Синяк. И сма-
нил его Иван-царевич... (далее она впадала в привычный коматоз с
выхлопом, и они так и не узнали никогда, вернулся ли сынок к маме).

Мелькала еще такая реплика:

– Любую мою позу сразу можно помещать на коробку конфет.

И близнецы иногда перебрасывались:

– Филимонов сейчас стал такой качок.

– На коробку конфет!

Бывают люди, которые попадают на Землю, чтобы *любить*.
Такой оказалась в детдоме нянечка Андреевна. Лисовы – Юрец и
Лерушик – встав на ноги, навещали ее последние годы. Она тряслась
навстречу им по блочному коридору, шарила белыми от старости
зрачками – уже ничего не видела, тискала руками с пятнами возраста
и трубила:

– Мои лисятки!

Навещали, привозили фрукты и торты, которые она особенно
ждала, но ничего не смогли поделать: всё равно сначала похороны, а
потом заказали панихиду. Иногда ездили на кладбище в родитель-
скую субботу.

Вот там и встретили новость о Светулечке – про реанимацию
природной матери.

Гринберг сказала, Фаина, – она на кладбище, потому что наве-
щает могилу приемной матери:

– Возила на консультацию своего Арона. Так там говорили про
одну бомжиху, а фамилия у нее тоже Лисова. Лежит она, как глиста
белоснежная! Скрыловая жила на змеиной шее, зуб всего один... Но
кусает им прекрасно! Одно ухо у нее прижато, а другое на отлете. В
общем, как у тебя, Юрец.

– Да уж, красотища из меня так и хлещет. Пора на коробку кон-
фет!

– Еще она бормотала: мол, передайте моим детям, а то они
совсем мать бросили, не понимают, как трудно их было рожать, близ-
нецов! А запах такой!.. Но всё равно вам повезло. Я сколько запросов
о своих послала. Отец под машину попал, а про мать – тишина. Вот
такая ситуёвина!

Ее лет в десять усыновили Гринберги, но в тринадцать сдали
обратно: стала нюхать клей и из дому все таскать. Потом Фаина как-
то дожила до двадцати и вышла замуж за поляка – как это случилось,
она не говорила. Но года три прошло – развод... только до сих пор
польский акцент проглядывает у Фаи: например «митинги» вместо

«митинги»... дальше так: Гринберга парализовало, жена его умерла от инфаркта, теперь Фая ухаживает за приемным отцом, словно он самый родной. Недавно привозила Арона Арьевича к близнецам на дачу.

К этому времени все друзья Фаины, которые не умерли от наркоты, встали на ноги. Помогают друг другу. Филимонов вот привез ее с отцом и достал из машины коляску, блендер и кислородный концентратор... Весь обед, который приготовили, был пропущен через блендер, подтирались все капли...

Ну, близнецы сейчас же представили, что всё это придется делать, когда заберут из больницы мамулечку-Светулечку. А тогда, двадцать лет тому, она кокаинчиком закидывалась при них, они же – голодные и в чесотке – стучат соседям по коммуналке: ну дайте же хлеба! А то, суки! (Но это шепотом. Уже тогда были светлые головы, соображали.)

– Мать. Мать! – проскрежетала Лерушик (весь организм будто внутри зубами стал набит).

– Твою!.. – сплюнул Юрец.

– Косорыльство какое! – доскрежетала Лерушик.

А Петя (это ее друг) вздохнул и сочувственно лизнул в ухо.

Все-таки на другой день позвонили в больницу. Пообещали заплатить, если приберут вокруг матери. Вскоре приехали. Лежит в коридоре белое существо, будто совсем без крови, уже отмытое персоналом (нате вам деревянных в халатные карманы). Улыбается. Вокруг такие же маргиналы, мгновенно начали шмыгать носами и завидовать.

Чтобы детей втянуть в разговор, Светулечка рассказала про свою клиническую смерть:

– Тоннеля я не видела... а видела: в занюханном, холодном зимнем автобусе едут эти... люди. И будто дремлют. Вдруг один вышел – он будет жить. Остальные поехали дальше – до конечной остановки.

С трудом они эту историю разобрали. Дикции никакой. Дальше были такие слова: «йййесссли быбббб-отмммооо-та-та»!

– Если бы отмотать на год назад! Я еще была здоровая, я бы с вами... – перевела Лерушик брату и скрежетнула: – А нужно отмотать не на год, а на двадцать лет!

– Точняк! – усилил ее слова Юрец.

Еще подогнали санитаркам денег немало за уход. Лерушик:

– Надо было купить им коробку конфет!

Ее друг Петя подтвердил: потерял о плечо.

– Конфеток с полонием, – кивнул Юрец и стал звонить Филимонову:

– Слушай, сможешь подменить меня завтра возле матери? У

меня как раз на этот день командировка. (Он имел на рынке два киоска обуви).

– Хоп.

Назавтра Мамулечка уже капризничала. Кричала: «Обмен веществ! Обмен веществ!», но не хотела знаться с горшком. Когда Филимонов катил ее в туалет, поманила белой рукой. Он наклонился. Жаркими слизистыми брызгами она начала обличать детей:

– В три месяца сын мой Юра пытался кусать медсестру, которая ставила укол...

– Жизнь твоя прошла от чифира до кефира, – расплывчато отмахивался Филимонов. – Как ей будете чистить бивни? (это он уже по телефону – пересказывал слова Светулечки).

Для начала мать (мать!) перевезли домой. И там Светулечка сразу заболела гриппом. Знакомый врач был, привезли, и он твердил, что состояние тяжелое, посоветовал интерферон внюхивать в сухом виде.

– Правда, я на работе сделал «дорожку» из интерферона и стал втягивать через бумажную трубочку – входит зав.отделением. Немая сцена. Он сразу: «Кокаинчиком закидываемся?»

И вдруг Лерушик почувствовала, что жизнь, как большая птица, трепещет у нее в руках. Что-то происходит! Если мать умрет от гриппа, будет уже не то, то есть, конечно, светло, но как будто от болотных огней... А в детдоме... после того, как мать часто твердила, что родилась в год Змеи... близнецы ненавидели сухое дерево возле детдома, словно состоящее из одних змей, пытались его поджечь пару раз... казалось: это она, она!!!

А тут как-то (в другой год этой гадюки) Лерушик видела на рыбном магазине новогодний плакат: «Змея подарит вам улыбку, в придачу – золотую рыбку» – и вдруг стала ногтем царапать бумагу... хоть немного оторвала!

Но тут Юрец обнаружил, что ему изменяет жена. Дело было так: жена ходила в гипсе вокруг шеи после травмы, а Юрец зашел на сайт «Яндекс-пробки», чтоб посмотреть, сможет ли быстро доехать до Стахановки. И что: видеокамера угодливо преподносит, как жена его идет в обнимку с мужчиной, дорогу переходят они – вместо того, чтоб попасть под колеса и решить все проблемы.

Он сразу позвонил:

– Ты в поликлинике?

– Да.

– А с кем ты на «зебре» целуешься сейчас, в рот ему ноги?!

Она даже не стала отпираться, изворачиваться. Он кричал сестре:

– Кранты семейной жизни! Меня мать предала, жена предала! И ты хочешь тоже? – Он раньше не мог обжечь сестру взглядом (обжечь взглядом – осталось как один из способов выживания в детдоме), а тут вдруг почти сделал это.

– Юра! Ты что? Почему?

– Сдадим эту мумию в дом инвалидов! Не хочу я тратить силы и бабки на эту! Каши-размазюхи ей, видите ли, варить нужно! Труселя ей покупать? А в детдом нас без трусов привезли, вспомни! Для себя будем жить... Конец Светулечке, конец однозубой!

– Давай перейдем на серьезку! На крайняк только сегодня вечером посиди, а? Мне с Фаиной идти на концерт Жванецкого.

– Зачем?

– Арона она везет... любит он Жванецкого. Она уже купила три билета. А они дорогие!

– Я не останусь, и точка.

– А вспомни: летехе по морде ты дал – в парке. Лейтенант бы в суд... а я на колени перед ним встала.

Юрец сходил за бутылкой виски и остался с матерью, выражаясь редуцировано:

– Мать! Мать!

Или:

– Твою! Твою!

Фаина-Гора сказала: будет называть Лерушика «Рахилью».

– Зачем?

– Затем.

И вот они покатали коляску с Ароном по проходу – прямо за кулисы. Лерушик ничего не понимала, но молчала. Мысли у нее были о матери. Вот бы под руку прийти могли на концерт, как белые люди... а то что – лежит она там, Юрец, наверно, изливается («лупа конская» и еще что-нибудь урезанное). Фаина уверенно охраннику объяснила: «Михаил Михайлович нам назначил, он с папой давно знаком». И в уборную Жванецкого вкатывается инвалидная коляска вместе с Фаиной и «Рахилью». Жванецкий не посмел вспылить, а Фаина напевно начала:

– Это мой папа Арон Михайлович, а это друг нашей семьи – Рахиль. Папа всю жизнь мечтал сфотографироваться с Вами, – она протянула подруге фотоаппарат.

«Рахиль» их втроем сфотографировала. Фаина поклонилась:

– Вы теперь самый драгоценный человек для нашей семьи, потому что выполнили папину мечту.

И выкатила Арона.

Лерушик спросила у нее:

– Ты на что надеялась? Что Жванецкий в тебя влюбится?

– Да нет, что ты! Просто увеличу фотографию и в рамку. Приходит врач – видит Жванецкого с папой, папу со Жванецким – уже другое отношение! Приходит социальный работник, видит меня со Жванецким, и так далее.

Когда брат это услышал – заявил, что Фаина больна.

– Нет! Она вот подарила не только «спасибище», но и коробку мацы. И здраво рассказала про преемственность... чего-то... а, Песаха и Пасхи! Христос на Тайной вечере ел мацу. Маца до сих пор имеет такое значение: свобода – это бедность. Из тучного Египта вышли они в пустыню – уже не рабами. До сих пор называют мацу «хлеб бедности» и «хлеб свободы».

– Больные тоже умеют притворяться здоровыми.

– Хорошо бы все так были больны – любя своих близких... А на тротуарах города встречаются через трафарет накатанные надписи «Позитивчик».

– Да, это довольно сильная и вштыривающая штука.

Юрец повел сестру в кафешку напротив – отпаивать капучино.

– Я капучинею, – закатила глаза Лерушик.

Это было почти что счастье.

Но через неделю мать хотела встать с унитаза сама, схватилась за трубу, та лопнула, и вода хлынула со всей силой! На все этажи старой пятиэтажки! А внизу магазин! Не расплатиться!

Лерушик отключила воду, схватила телефон:

– Петя, скорее сюда! И слесаря! – рыдая, умоляла она, тут же схватила полотенце и бросилась вытирать, умоляя кого-то, чтоб вниз не всё протекло...

Мать – как назло – обделалась, затем пыталась отползти, но только все размазала по полу... лужа воды тут же подхватила «обмен веществ», разнесла на большую площадь... Лерушик в голос завывала, левую руку больно схватило... Мать завывала тоже:

– Ондрюхо! Ондрюхо! Спаси!

Кто был этот «Ондрюхо», Лерушик не знала и знать не хотела. Она даже не поняла, когда приехал брат, звонила ли она ему... или нежный друг Петя позвонил, тихо улыбаясь.

Близнецы долго лили слезы вперемешку с черными словами, отмывая Светулечку от коричневых комьев. Вдруг Юрец сказал:

– Надо же – от слез обильных насморк прошел у меня! Не мог избавиться много дней. А у тебя тушь потекла!

– Да? Это праздник! Несколько дне не могла смыть, купила что-то поддельное, вроде... И вот смывается!

Они вытерли мать новым полотенцем цвета солнца, уложили, вложили в руки ей яблоко. Она бросила его удивительно метко. Юрец потер плечо и сказал:

– Скоро ты с коляски сойдешь, повезем к нам на дачу... рыжики там, как солнечные зайцы на поляне...

Лерушик вздохнула:

– Сейчас соседи прибегут – всем надо платить за ремонт... перекрытия такие, что этажа на три, а то и на все четыре протекло. Если магазин задело, то рабство на всю жизнь.

– Кредит возьмем, Стая поможет, не горюй, сеструха!

В дверь позвонили. Ну всё, затопленники снизу. Но это вошла Милица, жена Юры. Она жалобно трогала свой гипс на шее и молчала.

– Что? – крикнул Юрец.

– Надо, – безнадежно ответила Милица.

– Помириться? – спросила Лерушик.

– Вроде того...

Близнецы переглянулись, увидели в глазах друг у друга запись с видеорекамера на «яндекс-пробках», но ничего не сказали. Милица частила:

– У меня есть кузина в Москве, уже ищет пути! Это... в лабораторию – там выращивают нейроны из клеток! Из клеток стволовых – Светулечке... дешево. Конечно, надо долбить череп, кажется... нейроны подсаживать. Да еще бы они не переродились в опухоли... эти клетки. Нужно там что – согласие родных.

– Действуй, – почти хором ответили близнецы.

Но – видимо – ничего не получилось с этой мечтой. Лерушик и Юрец выплатили соседям все долги, а Милица не позвонила и не появилась.

Прошло почти полгода. Мать понемногу приходила в себя, начала сама ходить в туалет, могла вымыть голову под краном.

– Она вся, как обтекаемая субмарина, – сказал Юрец сестре.

– Ты про жену? – поняла Лерушик (брат когда-то служил на подводке).

Дело было после дня рождения Арона – там Фаина рассказала, как возила отца в паломническую поездку куда-то недалеко... в храме очистили старую икону Богородицы, и в ней стало биться сердце. Бум-бум, бум-бум... Но батюшка потом отслужил молебен, и стало тихо.

– Как субмарина, говоришь?

Лерушик поняла, что примирение стало возможно, и пошла звонить Милице. На ходу молясь, чтоб та согласилась. Теперь. А если уже снова замуж вышла... или не вышла?

ЮБИЛЕИ

16 января 2011

Вчера мы собирались, чтоб отметить юбилей Мандельштама.

В юности моей он был «посох мой, моя свобода, сердцевина бытия» – я перепечатывала его стихи из американского издания. Теперь-то меня поражают не «обмороки сирени», а совсем другие вещи. «Слепенькие» прихожие, например («В прихожих слепеньких...») или «боты», которые у меня ассоциируются буквально с ботами из интернета («Ходят боты, ходят серые у Гостиного двора...»).

Господи! Как он вырвал расстрельные ордера у Блюмкина!

И про «ворованный воздух» как сформулировал (неразрешенные тексты)!

Еще кричал вслед посетителю, спущенному с лестницы: «А Гомера печатали?!»

– Помните: он упал в фонтан в Париже, когда читал на ходу Бодлера! (Наби)

Это мы уже пришли (вчера) на вечер памяти Мандельштама – в мастерскую к Рудiku Веденееву.

Я взяла с собой свою картину «Взгляд Мандельштама». А Слава – перевод стихотворения «И Шуберт на воде» на иврит (в свое время его попросила перевести это литературовед из Израиля).

В мастерской два варианта памятника Осипу Эмильевичу: он летит из окна Чердынской больницы (а полы больничного халата сзади – как крылья).

– Летит сразу и вниз, и вверх – в небо, в вечность (я).

– Можно сделать памятник висящим в воздухе с помощью электромагнитов (Слава).

– На луне не растет ни одной былинки...

Рудик в ответ прочел стихи своего друга:

Девочка спросила: живут ли на луне люди.
Папа ей ответил: живут,
Но они такие бедные,
в такой рваной одежде,
Что их почти нет...

Мне очень понравилось, как Рудик вырезал из дерева Цветаеву! Раскрасил, как в Древней Греции, платье – нежно-зеленое! Необыкновенно! Так и хотелось взять ее домой и смотреть каждый день!

– Пока нет про человека эпиграмм – он ничто (Слава в ответ на слова Беликова, что он опубликовал в «Детях Ра» эпиграмму на меня).

Первый тост – из уст поэта Юрия Беликова:

– За то, что Осип Эмильевич «не волк был по крови своей», не поддавался веку, что слово поэта сильнее времени!

Тут я не выдержала и со слезами призналась:

– Я спасаюсь каждый раз после нападения соседа, говоря: «Мандельштаму в лагере было хуже».

– Для него соседом была вся страна (Наби).

Оля Роленгоф читала свою поэму про Мандельштама и Шаламова; Ян, Зоя и Наби читали стихи юбиляра.

И вдруг мы, подхватывая строчки друг у друга, все стали их читать хором. На это смотрели, ухмыляясь, череп коровы и бюст Вольтера (с верхней полки).

– Он бы нас не понял, он же позитивист – Вольтер (Слава).

– Я называю позитивистов: «понос Вольтера» (Наби).

– Ну, Наби, это уж слишком! – тихо возразила я и обратилась к вышине: – Осип Эмильевич, вы довольны, как мы здесь Вас читали наперебой? Коньяк не очень искажил нашу дикцию? (я не пила, я на сульфамидах).

Затем я высказалась более пространно: что в юности любила раннего О.М., а теперь – позднего, но о том, чего не приму никогда, я тоже сказала: «но прекрасна тем и хороша темная звериная душа» – звериная душа не прекрасна...

Ян Кунтур рассказал, кто в Чердыни тогда была та врач, о которой Надя Мандельштам написала: «злая растрепанная врачиха». Ян выяснил, что в это время у нее пропал муж, поэтому она не могла быть особенно приятной. Но и Наде не с чего было показывать доброту души – спасибо, что матом не изъяснялась. Господи, упокой души этих страдалец.

Кстати, Ян выяснил, что муж женщины той – врача – потом нашелся в Перми и вызвал ее к себе.

20 июня 2011

Вчера у нас были друзья-поэты – по поводу юбилея Гумилева. Я хотела повесить портрет Ахматовой и хотя бы одного индюка (к стихотворению «Индюк»). А сосед по коммуналке ходит пьяный, голый, падает с костяным стуком, матеря нас.

Теперь сложным образом перехожу от пьяного соседа к Гумилеву. Может, наш сосед убил в себе Гумилева! Его храбрость и агрессивность могли бы сублимироваться...

В ЖЖ мне написал m_p_cato: «Если ваш сосед и убил в себе Гумилева, то наверняка даже не расстрелял, а собой уморил. Собой, как дихлофосом».

Юбилей Николая Степановича отмечали с запозданием; хотя с 15 апреля беспрерывно договаривались, но проблемы сбивали с ног.. Олечка Роленгоф приготовила потрясающую курицу с медом. Африканский рецепт, посвященный абиссинскому путешествию Гумилева.

Тост Славы (он в шортах – колониальный стиль, под нашего конкистадора):

– Он возвратил изначальное состояние поэзии как одно из качеств воина. Ведь воины были обязаны уметь писать стихи!

Я:

– Поэтому его стихи так сильно действуют на нас. Они берегут коренные мифологемы.

– Так за что тост?

– Все-таки за поэзию без войны. Пусть она будет порождением внутренней битвы!

Я прочла стихотворение Николая Гумилева «Индюк».

Тут Слава рассказал о своем «гумилевском» детстве: он в 5 лет дразнил индюка:

– Индюк – м-ндюк!

Это была инициация младшего возраста. Индюк понял, что его оскорбляют, раздулся, мясистая серьга стала сизо-малиновой, он взлетел, как черт на помеле, и попытался клюнуть пятилетнего Славу в глаз. После этого два дня Слава не мог произнести ни слова, а только болботал, как индюк: бу-блю (зато сохранил свое достоинство в уличной компании – конечно, не сравнялся с теми смельчаками, которые медленно подходили к цепному псу)...

Оля прочла стихотворение «Природа». Слава:

– Что значит: «одежды нищенские сбрось»? Неужели Земля должна превратиться в сверхновую?

Наби:

– Это манихейство: физическое и духовное здесь непоправимо разделены.

В это время Хакимка (ему исполнилось 4) не унывал, беспрерывно соединяя физическое и духовное. Он выпрашивал у мамы конфеты и, в то же время, построил из конструктора огромный замок без дверей. Я говорю:

– Ты – как Достоевский, которому царь написал: «Какой дурак!» Он спроектировал укрепление без ворот. Скорее делай ворота!

И Хакимка сделал двое ворот – с запасом.

Наби прочел «Пьяного дервиша». После этого гадали, что Гумилев взял у Хайяма, что – из Корана... цитировали Дюмезиля, который показал, как древняя трехчастная динамика общества превращалась в замороженную социальную структуру.

Конечно, говорили и о Пушкине. Дело в том, что наш внук девяти лет именно вчера сочинил стишки:

В мое мимолетное мгновенье
Мне озарило все глаза,
И полюбил я все деревни,
И облака, и чудеса.

– Это почти, как у Пушкина: «Как труп в пустыне я лежал»... Видимо, и для второклассника, и для классика поэтическое начало – одинаково! Озарило – всё изменило...

Еще от Гумилева, конечно, занырнули в семитские языки («хак» – истина по-арабски, а «хок» – закон на иврите)...

Слава:

– В суфизме есть намек на Троицу. Кстати, о суфизме. Прочту стихотворение «Слово».

Прочтя, прокомментировал:

– В самом стихе есть ответ на вопрос: почему современная литература чахнет? Сделали «для низкой жизни... числа», и слово, отсеченное от наших энергий, стало умирать и дурно пахнуть.

– Да, числа – деньги – ставят многие выше слов...

Наби:

– Да, вместо мании величия сейчас мания наличия.

Слава:

– Слово с большой буквы было тогда, когда человек был в детском состоянии невинности.

– Кант бы вас высек своим посохом, – сказал Наби.

– Каждое увесистое поучение Канта я бы принял как просветление.

– Кант не считал, что ребенок невинен, ведь он может пойти или в скоты, или в люди...

Я:

– А помните, нас удивляло, что на другой день после свадьбы Гумилев уехал в Африку? А теперь узнаем, что он был «фигурой влияния». Был на госслужбе: приказали, и поехал.

Хакимка в это время требовал от Славы сказку.

Слава:

– Мы же с тобой кафедры. А кафедры должны говорить о Гумилеве (дело в том, что Хакимка любит слово «кафедры»).

Рассказ Наби о своем «гумилевском» детстве. Хотел быть охотником, рыболовом. Закинул удочку и жадно погрузился в Буссенара «Капитан Сорвиголова». Через два часа очнулся – нет удочки. Она уже в камышах – лещ утащил. Схватил он этого огромного леща, бежит: «Мама! Мама! Я рыбу поймал!» «А где книга?» – спрашивает мама. Буссенар так и не нашелся.

Слава:

– А мне запрещали читать (думали – ослепну), так я иду по степи из школы домой и на ходу читаю.

Я:

– А помните, Н.С. говорил Ахматовой: «Если я буду пасти народы, отрави меня потихоньку, Аня». Он боялся, что станет в старости, как Толстой или как Гоголь... Но старость и Гумилев – не совпали...

В конце я прочла свое стихотворение, написанное к юбилею Николая Степановича:

В 65-м году
Студент прочел Гумилева
На практическом занятии.
Профессор отбрила сурово –
По тем понятиям:
В 65-м году
Нельзя было читать Гумилева...
В 65-м году
На практическом том занятии
Я запомнила слово в слово
Стихи о древнем заклятии.

– Ну что, Николай Степанович, довольны вы нашим вечером?

Слава:

– При встрече он выскажет нам, чем недоволен.

Инна Кулишова

* * *

Жираф Пиросмани на озере Чат
на цыпочки встал и пробил небосвод.
Оттуда небесные звери молчат
и смотрят, как плачет земной их народ.
Они накрывают столы наперед
для тех, кто уходит и кто не зачат,
поверх отражений, не знающих вод,
и каждый небесную песню поет
для каждого, чтобы сестра или брат
узнали себя и увидели вход
в далёко-далёкий изысканный сад.
Небесные честные песни летят.
Прощает жираф различимость высот.

2020

ПОЕТ ДЕВОЧКА, ПОТЕРЯВШАЯ ВОЗРАСТ

когда я вырасту и стану
котенком, умершим у мамы,
бесплодно сброшенной на землю
пыльцой из шишек кедра, к змею
случайно вместе с серой мышью
залезшей в рот, когда услышу
посмертный молот глухоты,
скажу бесспорное – вот ты,
вот узнанность имен Вселенной,
ее снискание мгновенной
немилости и безразличья,
вот всё знакомое величие...
когда я вырасту в недлинный
сорняк, поднявшийся над глиной
и прахом, прикрывая трупик,
познавший свой освенцим в путях
колес ли, рук, не тех молекул,
гулаг подошв, как будто въехал
случайно в этот мир обочин
и озареньем обесточен...

когда я вырасту в незвуки
неисцелимых, в лапу суки,
покрывшую дитя живое
за три минуты до убоя,
вдрызг разлетевшуюся птицу
(на лобовом стекле резвится
еще неровный след удара),
в дорожку крови, что застала
и жертвенник свой, и жреца,
в инстинкт и нежность до конца...
когда я вырасту, влезая
в чужие эмбрионы, стая
небывших птиц снесет к едрене
всю пену неба, старя зренье
черненьем точек горизонта...
врасти в бесплодный мир, где зерна
так бесполезны, что неровно
желтят просторы, гнезда, и
птенцы в них, правнуки мои,
споют, что вечность внушена
живущим супротив рожна –
как ивент, краш, ачивка, люкс
и lux, где сброшен всякий груз,
затем, чтоб думали о ней
в бескорневом потоке дней,
пока уловлен в них и влип
живущий тем, что жив, и (всхлип)
чтобы, невечная извне,
вся единичность тут в огне,
ядущем внутренности, как
слог-брюлик в брызнувших стихах,
жгла, зажигаала и звала
на пир смертельного стола,
всё, что вещественно, пока
вещественно, плюс облака,
что тронешь, не перенесешь
из сна, из дня, и дрянь, и ложь,
что смотрит, зримо, ест и пьет,
идущих мимо, взрывы нот,
весь фокус языков летучих,
что исчезаемо тем лучше,
чем больше тянешься до тела,

бесценнейший излом предела,
что выдано, дано на убыль,
отобранность, потерю, в дубль
всей разницей не обратится,
кого легко найдет убийца...
что быть должно изменено,
до линий, черт истончено, —
есть суть, есть самое зерно,
что вырастет, спадет пылью,
троль, буллинг, пранк, байда, отстой,
то различимо, чего нет —
день, вид, слух, час,
нюх, здесь, тон, бред...
неодицея вечности —
прости, когда начну расти
в тебя, комок из дней шести

* * *

Белые ветеринары ко мне прилетали в ночи.
У каждого по крылу без пары,
нет лица на лице, усталый
облик, сама, говорят, лечи.

Видишь, Ему нужны жертвы. Кто, которому мы должны?*

Юг, восток ли — везде расщеры:
кровь зверина падает в жерло
горла его и его мошны.

Мать отдельно, козленок отдельно. Отделяй и неси,
дочь или сына, орет военный
на вокзале лагерноверном,
оба, весы справедливости.

Вишвакарман, так эдам, кто после, над новорожденным тельцом
или тельцем? Яхве, Христос ли?

Без пола, свойства, сопли
не подтирая зовущим, Кто зовется Отцом?

Мы их кормили у края тыла, на дорогах, в горах
воздвигали стропила
тщательных гнезд, рыли
норы в полях, хоронили их прах.

Раны оленям лизали, рыбу к выпавшей части вод
подносили, слётка к обрыву
проводжали, не тронув дыры
расстояний, молча пустив в полет.

Не подвергая господству речи, но со(гласным) ее,
мы вместе с ними ложились в печи,
на мостовую, асфальт, и нечем
было покрыть жнивье.

Не было света, и значит смерти, псевдофертильный стиль
вырастил клетки в слова и сети,
сплошь нули, единицы, метит
каждый шаг разделенность сил.

Пока мы убывали, ты курила чуть свет в окно.
А они тебя ждали.
Очевидные твари.
Ты нас слышишь едва ли,
ты нас слышишь едва ли,
ты нас слышишь едва ли,
Этот голос – твой. Мы молчанье само.

Этот ужас бесстрашный – твой неубранный дом.
Я встаю, надеваю рубашку,
я встаю, надеваю рубашку
с одним рукавом.

Сокрушаю жилище, мифы, в белой куче тряпья –
пустоты золотые грифы,
и иду ждать воды, как рифмы,
в терминале небытия.

* Из «Ригведы», Библии – здесь и дальше.

* * *

В спальных районах Венеции,
которые мне сегодня снились,
в ежившемся тумане вдоль проспекта
проступали разбросанные бесцветные высотки,
пересыпанные грязными окнами.

Пустьте, я не поеду с вами, я должна остаться.
Отдайте мои вещи, а что у меня за вещи?
Сон, да и только.
Тут моя любимая могила, кричала во сне,
я должна увидеть свернувшуюся улитку острова
со змеиной головой.
Я должна увидеть кашляющие снегом горы
в другом свете,
серую сопливую плещущуюся чешую,
непоправимую архитектурную геометрию,
в которую врастаю, как в подтачивающую
ее воду.
Пади́оссподи объясни им,
что надо оставаться, что надо, что.
И Господь падает прямо в руки,
сложенные лодочкой с кормом для голубя,
и я просыпаюсь в голубой крови.

* * *

Пришпилился к окну последний квитл*
с потресканными линиями, будто
мне осень не оставила молитв
за хрупкость тел, что так близки, но – блюдо

из птичьих лапок и кошачьих лап,
носов собачьих и куриных клювов,
скелетных немощей, и эскулап
мой внутренний, как дрессировщик дуров,

эхилловым эдиповым смешком
вытравливает детские инстинкты
родительства, я пыль в мешке, стихом
зависнув, непотребствую с «прости ты».

Ты – дочка растолченная любовь,
кровоточащий красно-черный перец,
боль родовая, целованье лбов,
каких к костям и коже не примерить.

Ты – поле элевсинское. Что ждет
ноябрьский лист, вся сепия и охра.

Откроет воздух рот – и мой черед,
и род снесет, и плод. Я здесь. Я сдохла.

Давай же говори, передавай
сигнал любви умершим вместодетям,
пока последний квитл еще, как рай,
задержан, зарисован и заметен.

* Квитлы – листки, записки к ребе с просьбами о молитвах, благословении. Иногда употребляется в пожелании доброго решения в приговоре в конце «грозных дней»: «А гут квитл!» (*идиши*)

* * *

Слова близких беспрекословны, какими бы ни были.
Если «с окна дует», но не дует, – всё равно дует.
Если «я еще в своем уме», но не в своем, – всё равно в своем.

В словах близких одна убыль, ни секунды прибыви
времени, и они еще острее и заостреннее, всеу
не помянуты, пустословные, как без водорослей водоем.

(Секунды пикируют, тараканы-истребители,
справляйся с ин-сек-т-унд-о-фобией.
Выйти ли,
что ли, из того, чему пришло время,
образности и пособия,
и записывать по непамяти, по не «Верь Мне».)

Их хранить и забывать – точно воду пить из источника
чудонетворного, незабвенного, но вкуснее и не бывало.
И заносит ветер в окна звездную пыль, воображимый прах.

Не понимать, что они не сбываются, неловкие и неточные.
Что у Него за пазухой их нечеловечески мало.
Что не совершено в словах.

Тбилиси, 2021

Эмилия Песочина

СОЛОВЬИНОЕ

Густая грусть ложилась на поля.
Был майский ветер холоден и влажен.
Он не спеша шагал вдоль нежных пашен,
Младенческие всходы шевеля
Прозрачным дуновением вечерним.
И шорохи неведомых значений
По шелку трав шероховатых шли.
К закату прикасался край земли.

Луна жалела о тоске своей,
И синий свет лежал, дыша по-птичьи.
Но в белой роще первый соловей
Мелодию вплетал в сиянье тиши,
Переливал в серебряную тьму
Мерцанье вдохновенного сердечка.
Десятки горлышек, включаясь в действо,
Освобожденно вторили ему.

И миллионы звуков-мотыльков
В глуби небес ночную пили воду,
Слетались в стаи звездных огоньков,
Растерянную душу небосвода
Свечением сердец ошеломив.
...А в роще назревала катастрофа:
Там разливался соловьиный мир,
И пения потоп летел по тропам.

С ветвей до юных маковок берез
Волна рулад и трелей доставала.
Раскрепощался хор, и шел вразнос,
Взлетая голосов кипящим валом.
В надмирных плёсах звездные рои
В лучистый свет преображали звуки.
В пространстве ночи тремоло и фуги
Неистово свистали соловьи.

Дежурный ангел приподнял крыло
И флейту расчехлил, теряя перья,
И наблюдал, как между звезд росло
Безумство возносившегося пенья.
В ночных пределах грусть была густа.
Река луну повязывала лентой.
Склонился ангел над молчащей флейтой,
Не удержался и поднес к устам.

ВЗГЛЯД

Живьём
Попасть на миг за окоём
Или отверженным жнивьем
Врасти
В границу пламенного неба.
В него закинуть мысли невод
И вынуть серебристый стих,
И понести
В открытой небесам горсти
За колкий желтый шов стерни,
Чтоб среди трав из слов возник
Родник.

И луч
Пульсирующий ключ –
Волшебный ключик золотой,
Из зорь червонных отлитой –
В просвете скважины заветной
Повертит
И откровенье миру явит.

Краями
Раскрытых крыльев красной дали
Рассветный благовест ударит,
И переливы поплывут,
Сплавляя родника молву
И синеву
В конечном совершенстве звона.
И взгляд незванный, изумленный,
Заброшенный за окоём,
Вернут живьем.

ДУРАЧКИ

Идиоты с высоким IQ
Утыкаются носом в тычинки,
Принимают на губы снежинки,
Запах розы до донышка пьют.
Дурачки интегральную мысль
Переносят в осенние веси.
Ищут в темной воде компромисс.
Пишут равенство воли и весен.

Глупыши открывают звезду,
Входят внутрь и копаются в недрах
Света белого. Дуют в дуду
Одинокого нытика-ветра.
Ненормальные! Верят в любовь!
Говорят, что она – аксиома!
В глубине толокенных их лбов
Механизм здравомыслия сломан.

То хохочут, кидаясь под дождь,
То печалются в рощицах голых.
Что ты с этих болванов возьмешь?!
Олух – он ведь и в Африке олух!
То рифмуют тоску и туман,
То рисуют на лучиках ноты...
Вот вам и показатель ума!
Идиоты! Как есть идиоты!

Вот бы взять их и перековать!
Вбить стальную логичную сущность!
А они в горлах нежат слова
И витают в заоблачных куцах!
И во снах засыпает их снег,
И ласкают горячие нивы.
Дурачки, обнимаясь навек,
Засыпают с улыбкой счастливой...

Им дано звезды с неба хватать
И внимать заповедным блаженствам.
И живут они ради Христа,
Не служа ни железу, ни жезлу.

Идиоты с высоким ай-кью
Озарённо в миру колобродят
И даруют блаженность свою.
Всяк мудрец изначально юродив.

ПУТЕВОДНОЕ

Крики ночные диких гусей
Резко врезаются в морок.
В небе бушует в грозной красе
Черное бурное море.
Рыхлую тучу месяц проткнул
Сталью блеснувшего рога,
Звездные капли с неба слизнул,
Острый задрав подбородок.

В темной, недоброй, буйной воде,
В стыни пустынной, холодной,
Трудно в дырявой лодке надежд
Плыть за звездой путеводной.
Ветер швырнет, и плюхнешься в ночь...
Руки и ноги по тонне.
Прошлую боль на память помножь.
Тяжко? Ну вот и потонешь...

Звезды танцую в мысли летят
В медленно гаснущем ритме.
Где-то над миром гуси кричат...
Вряд ли спасут... Ты не Рим ведь...
Что, захлебнуться сразу – слабо?
Ловишь остаточный воздух?
Месяц следит за глупой борьбой.
Ясно, что булькнешь под воду.

Всё. Вот виденье: ширится свет
Яркой живой полосой...

...И в этот миг ты чувствуешь твердь...
Твердь под ногою босою.
Голос спокойный: «Встань и иди».
Встанешь. Шагнешь. Волны держат.

Ровно сияет свет впереди.
Вон твоя лодка надежды.
Голос бесстрастный: «Сядь и плыви
Вслед за звездой путеводной».

Лунные птицы в море любви
Спят на волне перелётной.

МОЯ ЧУЖАЯ ОСЕНЬ

Под ногами лишь хруст желудей.
В октябре отцветает шиповник.
Острым запахом дуба наполнен
Парк, стоящий в тумане дождей.

Белым залпом полет лебедей
Разметал тишину на озерах.
Кружева с темно-красным узором
Стелет ветер на гладкой воде.

Ивы замерли, бремя волос
Положив берегам на колени.
Солнце в тучах. Неясные тени.
Отрешенные свечи берез.

На деревьях дождевики висят.
Тихо с каплями шепчется гравий.
Брошен с веток на плед разнотравий
Экзотически яркий наряд.

Сквозь агатовый блеск бузины
Пробиваются алые блики.
Журавлиные долгие крики,
Словно эхо скрипичной струны.

Где же в желто-стеклянном краю
Уголок для меня, чужестранки?
Листья кленов – багровые ранки –
Жгут бескожую душу мою.

ОСЕННЯЯ ЛЬВИЦА

Вилась тропинка меж берёз, под гору
Неспешно змейкой медною стекала.
Летя на землю с веток полуголых,
Светились листьев лампы вполнакала.

В руках дождя – слепого музыканта –
Бубенчики звенели и сияли.
Короткий ветер реку то ласкал, то
Впивался желтоосыми роями.

И пролетало нечто невесомо,
Неощутимо, будто выдох птичий:
Не то на крыльях воздуха несомо,
Не то в ладонях красно-синей тиши...

Жар-тучи, сбившись алчной алой стаей,
Лизали мякоть речки языкато,
И роща, словно львица золотая,
Готовила бросок на грудь заката.

С крутого склона лестница витая
Спускалась, небо снизу подпирая.
И клиньев кличи, в вышине витая,
Накапливались где-то возле рая.

Сходила тьма, и с нею гасло тело
Тропинки медной, сколько ей ни виться.
А под горою, там, где ночь густела,
Хребет заката догрызала львица.

ФЕЙНАЯ СКАЗКА

Не сплю под шум рассветной серой мороси
И в сыплющемся бисерном шуршанье
Я слышу, как распушивают волосы
И пляшут феи дождевых касаний.

Под небосклоном перисто-кукушечьим
Они дрожат, мерцая и робея,

И скучно кочевать по тучам скученным,
И хмуρο на душе прозрачным феям.

Туман холодный их за плечи цапает,
И спрятаться в тепло ничтожны шансы,
И ветры песни злые без конца поют,
И мыши мрака рядом копошатся.

Как страшно между тушками мышиными!
Не убежишь от склизких серых шёрсток!
Обвиться б голубыми крепдешинами,
Окутать плечи розоватым шелком...

Но тянет темень ледяные щупальца
К трепещущим плясуньям серебристым,
Мешает им шептаться и шушукаться,
И шорохи расплескивать на листья.

Светает. Сном не пахнет. Дождь не думает
Кончаться. Я окошко растворяю
И фей зову погреться в теплоту мою.
Они влетают и садятся с краю

На подоконник крошечными брызгами.
Через секунду танец затевают,
Балуются, толкаются и прыскают,
И капельками пол весь покрывают.

Но, только небо серое разъяснится
И солнышко начнет работу честно,
Позолотив макушки рыжих ясеней,
Как стайка фей вспорхнет и вмиг исчезнет!

...Рассветами осенними мне слышатся
Шумок и шепотки в озябшей тиши,
И сны дождя над крышами колышутся,
И пишется... Как в это время пишется!
А феи рядышком мне в уши дышат...

Ольденбург, Германия

В. Яськов

Imparfait

ПЕЙЗАЖ С ФИГУРАМИ

Жюлю Шапрону

в Сорбонне вызревает гедонист
осенний день над Сеною тенист
и теннисист

отводит

для удара

прекраснейшую

лучшую из рук

не восхитить привычную супруг
но вдохновить Мане и Ренуара

отдохновенья бархатная тень
надвинута небрежно набекрень
на купола мансарды и на шпили
не оставляя по себе следа
проходит день – и сумерек слюда
скрывает всё что мы здесь полюбили

ты говоришь молчать не перестав
внемли Париж

но крылья распростав

никто из пришлых призраков сюда не
свернет узнать о будущей судьбе
здесь всё чужое самому себе
не назначает и не ждет свиданий

празднорабочих эроса влечет
к себе любое сдобное плечо
как мотыльков – предательское пламя
и никому как будто невдомек
что страсти безотказный пулемет
устелет ночь послушными телами

как сладок вожделенья геноцид
вчерашие шагают мертвецы
они проспались да но не воскресли
в том снѣта где все они снуют
порочен быт непрочен их уют
но барствен абрис в антикварном кресле

я был здесь рад когда-то так давно
как будто не взаправду а в кино
сойти к воде и замереть на память
застыть пчелой в вечернем янтаре
(одни стоп-кадр случайный имярек)
и в нелюдимых сумерках растаять

БЕГ ЗАЙЦА ПО ПОЛЯМ

уезжать оставаться
не вина а беда
так идут в святотатцы
и на фронт поезда

даль объята дымом
насыпь в сером дыму
стать как все нелюдимым
для чего не пойму

не пойму не забуду
не прощу пока жив
точно вымыл посуду
точно свет потушил...

...а вдоль насыпи озимь
а по озими снег
ударяется оземь
чтоб сойти по весне

зайцы мечутся в поле
люди слушают крик
это голос неволи
в них вопит изнутри

я вполголоса вою
но кричи не кричи
от разлуки с собою
не помогут врачи

не сознание выгод
поднимает на бой
не корысть и не выбор
нас ведут за собой

просто «в сердце растрava»
и в активе нули
просто всё что не справа
так под утро болит

что не знаешь – проснулся
или в вышних отбой
или в вечность уткнулся
рассечённой губой

АРХЕОЛОГИЯ

загляни мне под кожу
что увидишь о том
расскажи мне во сне
я виденья свои подытожу
и очнувшись в пространстве пустом
буду долго следить ниспадающий занавес снег

лабиринт гемостаза
значит это и есть
то чему обречен?
расползаясь вовне как зараза
я несу заповедную весть
даже зная наверно что слово твое – ни о чем

только это пожалуй
никому не отдам
а взамен – немота
как какой-то ленивый хожалый
мелкий стряпчий по темным делам
зря я эту премудрость под пыткой на ус намотал

мы не злы но пугливы
ах заступница-смерть
помоги нам прожить налегке
лунной крови ночные приливы
не колеблют усталую твердь
и закон мироздания недвижим как слово в строке

оттого-то и тянет
нас всё время назад
к заповедным местам
где идут за сохою крестьяне
и не знают о нас ни аза
и похабное слово не жмётся стыдливо к устам

только отзвук печали
слишком темной для нас
ибо все мы хамьё
унаследовав вскоре отчалим
мы туда где привольно для глаз
чтоб успеть распознать напоследок любовь самоё

В ОКНЕ ВАГОНА

едешь домой в метро
точно с чужой войны
дело твое мертво
дни твои сочтены

прожитые года
юности хищный пыл
сгинули без следа
пущены на распыл

не оттого ли спесь
псиною отдаст
что уцелело здесь
только «уйди» твое

да и во рту «ура»
стало сплошным «ату»...
тот кем ты был вчера
тоже уже не тут

выпей и закури
выпусти изо рта
дымное покурри
то чем твой стих картав

хватит качать права
выпил — опохмелись
нечего горевать
пожили — разошлись

ЗАПРОС НА ПЕРЕПИСКУ

тема личного бога
угасает во тьме
отмирают сюжеты к которым
ты всем прошлым своим прикипел
отдохнуть бы немного
но мерцает в уме
только надпись «конец разговорам»
это он поправляет прицел

космос тем и пугает
что готов без всего
обойтись — как аскет или стоик
и в ответ милосердная ночь
(а другой ведь в конце не бывает)
подавив дурноту как зевок
признаёт — помогать и не стоит
тем кому невозможно помочь

мы как в камень одеты
в скорлупу немоты
забывается млечное детство
отрывается почва от ног
понимаешь — нигде ты
если это действительно ты
не сумеешь от нас отвертеться
и от нашей любви заодно

ПОПЫТКА ПАМЯТИ

всё неразличимее и глуше
давний разговор
точно что-то важное подслушал
слышно до сих пор

не звезда в окно не Волга в Каспий
в глухоту ночей
жалуется ливень всенапрасный
что теперь – ничей

оглянись на будущее – молча
корни тебя
кто там под барвинком что есть мочи
ждет тебя?

оттого и чудится наверно
позднью порой
этим небесам несоразмерный
душный и сырой

запах неопознанного дыма
и щекочет страх
что любовь – и та преодолима
на семи ветрах

ИСПРАВЛЕННОЕ ЭХО. 2

то что осталось от меня
то стало воздухом и дымом
воспоминаньем изгладимым
тускнеющим день ото дня

стирающимся но не от
употребленья а напротив
затем что памяти наркотик
нам облегченья не дает

ты помнишь как беспечно мы
листали ночи встречи лица

пока зима казалось длится
как вечность в облике зимы

прошел январь за ним февраль
зима рвалась как кинолента
отшучиваясь мимолётно
словами «вряд ли» и «едва ль»

февраль прошел как март как сон
и вечность в завитушках дыма
сквозь нас струилась нелюдимо
со всей зимою в унисон

и так же медленно текла
непостижимая немая
сама себя не понимая
жизнь воплощенная в тела...

...не память смысла лишена
но просто вечности у бога
насобиралось слишком много
и поглощает тишина

любую речь на склоне дня
прости невнятные призывы
и то что мы покамест живы
и то что помнишь ты меня

ОНА

подавив сомненья и зевоту
завершив последнюю работу
по пустой квартире пробежит
звякнет блюдцем или скрипнет дверцей
и тотчас забарабанит сердце
и начнутся мор и грабежи

точно соткан воздух из фасеток
воспарит как бабочка газета
и расправит хрусткие крыла
над столом над бытом над судьбою

над зимой что прожили с тобою
совершая мелкие дела

ничего что жизнь была бескрыла
но за то что главного не скрыла
благодарен так и запиши
вон стоит как яхта у причала
и молчит забыв о чем кричала
что пораздавала за гроши

ОТПЛЫТИЕ

я не птица не моллюск
не весенний ветер
не пою и не молюсь
никому на свете

не летаю над рекой
не читаю Блока
никому не дорогой
разве это плохо?

карамелька за щекой
сигарета в пачке
неизвестно кто такой
этот стих напачкал

но слова горчат во рту
и в мозгу прохлада
я как парусник в порту
в рамке променада

никому не побратим
не отличник в школе
аноним и нелюдим
айсберг на приколе

чуть пригреет – и тотчас
в прошлое отчалю
...знать бы для кого из вас
строчки расточаю

Харьков

Евгения Джен Баранова

Голубика

* * *

И я к тебе испытываю страх,
как мошкара в электропроводах,
но выдох-вдох — и гаснут разговоры.
Был робок снег, тепла его кровать,
латиняне готовились страдать,
диванные войска хранили Форум.

Но что мне до, когда нелепа мгла,
когда в тебе шевелится игла —
расплескивает солнце по винулу.
Игрушечный бездарный режиссер,
смотрю на эту музыку в упор,
не замечая конников Аттилы.

Когда мы превратимся в имена,
от пены дней останется слюна,
от цезаря — салат или могила.
У наших храмов призраки звенят,
расстрелянных приводят октябрят,
но смерти не бывает, я спросила.

* * *

И зачем им нас убивать
у нас такие же пальцы
у нас такие же волосы
мы говорим на этом же языке

И зачем им нас убивать
в нас нет ничего такого
и мало чего осталось
разве что вот возьмите
но это не дорогое

И зачем им нас убивать
мы просто поедem дальше

они такие же люди
Поедем родная дальше
к винограду и табаку

Они такие же люди
Мы просто поедем дальше
Сейчас мы положим вещи
и мигом в горячий душ

* * *

Капустной бабочкой, дремучим огоньком,
орешником ползучим, низкорослым...
Я не умею помнить ни о ком,
по черепкам исследую ремесла.

Не со-жалею – только со-живу,
не прекращаю – только превращаюсь.
На хólмах Грузии укутавшись в траву,
к Олеше вырабатываю зависть.

Хороший друг, ленивая жена,
смотритель небольшой библиотеки,
не для того мне музыка дана,
чтоб памяти достаться на орехи.

По лунным дням на солнечной арбе
не зря тащу предлоги и подводки.
Я не умею помнить о тебе,
особенно про шрам на подбородке.

* * *

Человек за розовым выходит,
человеку странно одному.
У него кристальная решетка
прохудилась, атомы звенят.

Он идет (за лесом через поле),
он идет (проспать бы/продержаться),

смотрят на него глаза подвалов,
пластиковый повар говорит:

— Заходи, у нас сегодня манго,
лаковые овощи в избытке,
здесь таких, как ты, пускают к маме,
в долгий отпуск, в бабушкин сундук.

— Не могу, — он отвечает, — рано.
Я несу котенку пух и перья,
у меня под сердцем страх и звезды,
не хватает розового лишь.

* * *

Рокленд, штат Мэн,
Гринвилл, штат Иллинойс,
Эверетт, штат Вашингтон,
хиппи из Калифорнии,
студенты из Эдинбурга.
Жаль, не читают в Крыму.

Долгое солнце на Красной площади,
долгие встречи по Zoom'у в Бруклине,
долгие слезы над скайпом в Киеве.
Жаль, не приходят в Крыму.

Если же рейс Москва-Неверленд
вдруг изогнется небесной цаплей,
бронзовой цаплей с прозрачным клювом,
Лена напишет об этом в газете,
Боря напомнит об этом в клубе,
может быть, Коля устроит встречу,
может, заменят в журнале био.

Но ничего не узнают в Алушке,
но ничего не узнают в Алуште,
но ничего не узнают в Гурзуфе.

А если узнают, то не расскажут.

* * *

Я слишком теплая, я слишком ножевая,
по мне бежит водица дождевая,
по мне идет бровастый пионер
и галстуком расчерчивает сквер.

Я слишком земляная, плоть от пыли,
я помню всех, кого недолюбили,
их лица отражаются в моем,
а я дрожу, как вязкий водоем.

А я плетусь корнями Толстого –
до скорого, до четверти шестого,
почтовые, товарные – вперед.
Я там была, где не был мой народ.

Я там была – а вынырнула рядом,
я камбала с глазницами снаряда.
Я теплая – угля не сосчитать.
Я зайчика отправилась искать.

* * *

В желании сродниться есть тоска,
недвижная, как тело языка,
когда его касаются стрихнином.
Так ледоколы мнут рубашку льдин,
так ищут дочь, так нерожденный сын
скользит над миром пухом тополиным.

Мне так невыносимо, так светло,
я так роняю каждое «алло»,
что, кажется, прошу Антониони
заснять всё это: кухню, стол, постель,
засохший хлеб, молочную форель
ко мне не прикоснувшейся ладони.

И если говорить начистоту,
то я скорее пламя украду,
отравленную выберу тунику,
чем буду улыбаться и смотреть,
как мальчики, идущие на смерть,
на небе собирают голубику.

СО СТРАНИЦ «НОВОГО ЖУРНАЛА»

В. М. Зензинов

Иван Алексеевич Бунин

КАНТИАНСКИЕ МАЛЬЧИКИ НА СЦЕНЕ ИСТОРИИ

...от веков поколений остается на земле
только высокое, доброе и прекрасное.

Ив. Бунин

Перелистывая страницы старых номеров нашего журнала, мы решили предложить читателям эссе о И. А. Бунине, напечатанное в 1942 году в третьей книжке. Это эссе забыто, как предано забвению и имя его автора, Владимира Михайловича Зензинова (1880–1953), некогда известного в Российской империи представителя партии эсеров, человека многих страстей и талантов, профессионального революционера, журналиста, ученого. Зензинов не сошел с авансцены и в эмиграции, занимаясь активно политической и журналистской работой. Он, среди других, стоял у истоков организованного антикоммунистического движения в эмиграции; он был среди тех, кто создал корпорацию «Нового Журнала», поддерживая его литературную деятельность и осуществляя его общественные проекты.

Владимир Михайлович Зензинов родился 11 декабря 1880 года в Москве в купеческой семье, высшее образование получил в Германии – Берлине, Галле, Гейдельберге, где он с друзьями И. Фондаминским и А. Гоцем, будущими видными эсерами, изучал философию, историю, право, экономику. «Лето 1901 года в Гейдельберге было роковым в моей жизни. Оно определило мою судьбу», – вспоминал Зензинов. В эти годы он знакомится с В. Черновым и Б. Савинковым; в 1903-м, будучи еще за границей, вступает в партию эсеров.

Во всех немногочисленных сохранившихся отзывах о Зензинове о нем вспоминают как о крайне интеллигентном, мягком человеке, болезненно переносящем любую несправедливость и жестокость. «Он был эмпирик, но имел прочные представления о правде, красоте, добре, – писал о нем его давний друг и соратник по политической борьбе Марк Вишняк. – Был неисправимый идеалист и человеколюб в личных отношениях и в общественной деятельности... Он всегда оставался сам собой – бескорыстным и жизнерадостным искателем истины, служителем добра.» С этой характеристикой странно диссонирует факт, что Владимир Михайлович был не просто членом партии эсеров, но состоял в ее Боевой группе, иными словами – в террористическом подразделении партии, и играл там не рядовую роль.

Вернувшись в Россию в 1904 году, он принял активное участие в рабо-

те московского Комитета партии. Уже 9 января 1905-го он арестован среди многих участников демонстраций и после суда отправлен в административную ссылку в Восточную Сибирь. Переведенный со временем в Архангельск, Зензинов бежит за границу, в Швецарию, чтобы еще в 1905 году тайно вернуться в Россию, стать членом ЦК партии эсеров, готовить молодых членов партии к террористическим актам в Москве и Петербурге. Он был и одним из руководителей Декабрьского восстания в Москве. Не трибун и не вождь масс, он прослыл безусловным авторитетом в партии.

Хорошо известно, что эсеры признавали эффективность террора в революционной борьбе и с самого начала отводили этой форме деятельности первостепенное значение. «Признавая в принципе неизбежность и целесообразность террористической борьбы», партия эсеров открыто заявляла свое право приступить к терактам, пишет О. Будницкий в книге «Терроризм в российском освободительном движении». Вопрос о нравственном оправдании политических убийств был поставлен в первой же программной статье В. Чернова о терроризме в газете «Революционная Россия». Историк М. Хилдермейер замечает, что в эсеровских декларациях террористические акты получали дополнительное оправдание при помощи моральных и этических аргументов: «Это демонстрировало примечательный иррационализм и почти псевдорелигиозное преклонение перед ‘героями-мстителями’...» По словам самого В. М. Зензинова, «для нас, молодых кантианцев, признававших человека самоцелью и общественное служение обуславливавших самоценностью человеческой личности, вопрос о терроре был самым страшным, трагическим, мучительным. Как оправдать убийство и можно ли вообще его оправдать? Убийство при всех условиях остается убийством. Мы идем на него, потому что правительство не дает нам никакой возможности проводить мирно нашу политическую программу, имеющую целью благо страны и народа. Но разве этим можно его оправдать? Единственное, что может его до некоторой степени если не оправдать, то субъективно искупить, это принесение при этом в жертву своей собственной жизни. С морально-философской точки зрения акт убийства должен быть одновременно и актом самопожертвования».

О жертвенности Зензинова – спонтанной, идущей из глубин подсознания, – говорили все. Марк Вишняк писал: «Не приходится подчеркивать жертвенность Зензинова. Напомню только один эпизод из его воспоминаний, как он готовился отдать жизнь за своего друга, за мужа любимой женщины, которому предстоял военно-полевой суд и неизбежный, казалось, расстрел. Чтобы спасти арестованного Фондаминского-Бунакова, Зензинов разработал план подмены собой Фондаминского. И если ‘дерзкий отчаянный план’, как его характеризует Зензинов, не был приведен в исполнение, это случилось только потому, что и Фондаминский был проникнут жертвенностью и решительно, ‘хотя и в ласковых словах’, как отмечает Зензинов, отказался от предложенного ему плана освобождения».

Зензинов особо подчеркивал: «Мы боремся за жизнь, за право на нее для всех людей. Террористический акт есть акт, прямо противоположный самоубийству – это, наоборот, *утверждение* жизни, высочайшее проявление ее закона» борьбы за существование. Таким образом, право на убийство ради высших целей получало философское обоснование и моральное признание; террористы, «бравшиеся за страшное оружие убийства – кинжал, револьвер, динамит – были в русской революции не только чистой воды романтиками и идеалистами, но и людьми наибольшей моральной чуткости!», – замечал Владимир Михайлович. Трагический парадокс, заключенный в феномене такого мальчика-идеалиста-убийцы описал еще Ф. М. Достоевский в своем Родионе Раскольникове. И Зензинов словно цитирует Раскольникова. Такой идеализм оказывается, на поверку, замешанным на идее человекобога: человек как венец творения способен сам определять, жить ему или нет и кто вообще жизни достоин, а кто – нет, и скольких «негодящихся» и несогласных, не равных твоей «жертвенности», нужно расколоть в щепу, чтобы построить общий социалистический рай на земле...

Исходя из этих, глубоко «моральных», с их точки зрения, установок, в России в 1905–1907 годов террористы разного пошиба устроили практически кровавую бойню. По подсчетам современных историков, с января 1905 по конец 1907 гг. только эсерами было осуществлено 233 теракта, в одном лишь 1906 году – 78. После 1907 года эсеровский террор постепенно сходит на нет: в 1908 г. было совершено три покушения, в 1909-м – два и т. д. Уже к 1908 году эсеры осознали всю абсурдность тактики, при которой каждый молодой человек, возмнивший себя революционером и героем, считал своим долгом выстрелить, пырнуть, отравить, взорвать какого-нибудь представителя власти – любого масштаба, чина и деяния. Убийство как доказательство принадлежности к идее борьбы за всеобщее счастье. Эсеры постарались смягчить установку на террор, однако к тому моменту уже другие социалистические партии поняли, как выгоден этот «красный террор», и широко его применяли на практике весь XX век.

Между тем как жизнь Зензинова продолжала бежать в том же потоке. Снова – арест, снова – Сибирь, Якутск. И – побег: через Охотск до Японии, а там – Шанхай, Гонконг, Сингапур, Коломбо, Суэты, – в Европу. Этот маршрут напоминает другой побег, через десяток лет, – Владимира Зворыкина, от наступающей советской власти: те же сибирские сани и лодчонки, тот же Китай и Япония, та же невероятная игра со смертью. Но каков блистательный финал в Американских Штатах!.. Одно поколение, одно образование, среда, идеи – чем же определяется тогда выбор? Случайной встречей в Гейдельберге?..

Всё это – горькая, но правдивая страница российской истории. Многие ее участники позднее раскаялись (признаемся, что не все и не до конца!), увидев перед собой бездну, в которую упали столь любимая ими страна и народ. К ним можно отнести и Владимира Михайловича Зензинова, в эмиграции столь же

отчаянно боровшегося уже с большевиками... Впрочем, кажется, что ни в нем, ни в его друзьях не произошло отсложения от идеи социализма: им казалось, что просто – руки не те, а мысль – хороша, и дай им История опять знамя... История проявила на этот раз неженское благоразумие, повторяться не стала.

А в далеком наивном 1910-м – Зензинов опять в Москве, и вновь – арест, Якутия... Пять долгих зим застывшего бездеятельного пространства. А ему – всего 30 лет, и он полон энергии. Куда ее направить? – На этнографию и орнитологию. Талантами он был наделен с лихвой! Исследования Зензинова той поры – «Старинные люди у холодного океана», «Очерки торговли на севере Якутской области» и др., – получили высокую оценку в научном мире. Но, написав и посвятив своей верной собаке увлекательнейшую прозу «Нена», Зензинов вернулся в мир людей.

1914 год. Москва. «Народная газета». Февраль 1917-го – целиком его! Он – член исполкома Петроградского совета от партии эсеров, летом избирается в ВЦИК, в ноябре избран депутатом Учредительного собрания... Вот если бы в июне 1917-го приняли закон о «Преступном возбуждении масс», как предлагал проф. Николай Тимашев Временному правительству, – глядишь, Зензинову удалось бы и отзаседать в Учредилке... Но проект завернули за «политической некорректностью» – и встретились Зензинов с Тимашевым лишь в Париже, в изгнании, а вместе поработать довелось им лишь в корпорации «Нового Журнала».

Зензинову же со товарищи путь опять лежал через Сибирь... избегая террора «коллеги-большевика» Ленина. Вот где могла пригодиться зензиновская еще молодецкая энергия и огромный опыт борца! В. М. Зензинов входит в состав Комуча, избирается во Всероссийское временное правительство (Сибири)... Известно, что история прозаседавших Временных правительств закончилась ничем, а точнее – адмирал Колчак решительно власть забрал, чтобы успеть дать Красной Армии хоть какой-то отпор. Не успел и он.

И опять – знакомым путем: Китай, Япония, Париж. Нет, Владимир Михайлович и его партийные товарищи не сложили оружия. Зензинов много и плодотворно занимался литературной и политической журналистикой, активизмом. В Финскую войну тайком же пробрался в Финляндию и сделал книжку о советских военнопленных – «Встреча с Россией. Письма в Красную Армию» – о книге отозвался Набоков-Сирин: читал всю ночь... Она сегодня – раритет, ибо о «замолченной войне» и в нынешней России не говорят.

С началом Второй мировой В. М. Зензинов уехал в Нью-Йорк. Сотрудничал в «Социалистическом вестнике», в газете «Новое русское слово», с первого же номера и до последнего года жизни писал для «Нового Журнала». Его слово ценили и отлично знали современники, на каком бы языке они ни говорили. В 1949 году он со товарищи по борьбе и юности – Р.Абрамович, М. Вишняк, Д. Далин, Б. Двинов, К.Х. Денике, А. Керенский, Б. Николаевский, А. Чернов, В. Чернов – и М. Карпович, гл. редактор НЖ, и

Р.Гуль, ответсек журнала, – организовали в Нью-Йорке Лигу борьбы за народную свободу, в которую вошли все демократические антикоммунистические силы эмиграции из стран Восточной Европы. Мало кто помнит сегодня в Нью-Йорке о тех массовых демонстрациях...

В 1953 году по инициативе старых эмигрантов была создана корпорация «Нового Журнала» – для поддержки самого издания и его социальных проектов. В первый состав корпорации вошли М. Карпович, Н. Тимашев, А.Гольденвейзер, М. Вишняк, В. Шуб, П. Денике, М. Алданов, Р. Гуль, И. Коварский, В. Александрова-Шварц, В. Зензинов, Г. Лунц, С. Шварц, З. Юрєва. Их связывали годы совместной политической и общественной деятельности.

Фигура Зензинова – крайне непонятна современному читателю. Будь он сахарным мальчиком с рафинированными идеями или белым рыцарем, фанатично сражающимся и замерзающим в Ледяном походе за крестовую свою правду, – всё было бы проще объяснить нам, сегодняшним... Ведь всегда легче обожествить, чем понять. Но нет, он был таков, каким хотел быть: участником полной трагических противоречий Истории и, безусловно, – ее жертвой.

В архиве Зензинова – сотни материалов: статьи, эссе, переписка; им издан десяток книг. Его творческое наследие никем толком не изучалось, его деятельность активиста в эмиграции не была удостоена ничего пера и мысли.

Владимир Михайлович Зензинов скончался за месяц до своего 73-летия, в Нью-Йорке, в 1953 году. К концу дней, говоря о смерти, он иной раз подчеркивал «бренность и никчемность человеческого существования», вспоминал Марк Вишняк: «Это было непривычно для него».

Что же еще... Он много лет дружил с Буниными и оставил об Иване Алексеевиче не одно воспоминание – они опубликованы в «Новом Журнале»; любил Бунина искренне и незабвенно – как человека и писателя, хотя они и воспринимали мир совершенно по-разному. Эмпатия была взаимной. Вишняк писал: «Передо мной экземпляр ‘Русского Устья’, выпущенного Русским университетским издательством в Берлине в 1921 г. На титульном листе надпись: ‘Прочитал с большим удовольствием. Благодарю, обнимаю. Ив. Бунин’». Бунин относился к Зензинову внимательно и как к писателю, зря «загубившему свое дарование уходом в политику. И Зензинов очень любил и высоко расценивал талант Бунина, прощая ему всё, кроме ‘Окаянных дней’ и ‘Воспоминаний’».

В свое время именно Бунин вдохновил уезжающего в Штаты своего друга писателя Марка Алданова на создание нового «толстого» журнала, взамен закрывшихся «Современных записок». В тот момент в Европе прекратили существование все журнальные и газетные издания русской эмиграции; она лишилась голоса. Задачу возродить этот голос – свободный, громкий, объединяющий – и поставили перед собой новожурналисты. И среди них – удивительный, мягкий и интеллигентный, жертвенный и радикальный, парадоксальный Владимир Михайлович Зензинов.

Марина Адамович

* * *

29 января 1920 года, на последнем уходившем из Одессы пароходе, И. А. Бунин покидал Россию, — в Одессу входили большевики.

«На горе в городе был в этот промозглый зимний день тот промежуток в борьбе, то безвластие, та зловещая безлюдность, когда отступают уже последние защитники и убегают последние из убегающих обывателей, но наступающий враг еще робеет и продвигается то крадучись, то порывисто, с трусливой дерзостью. Город пустел всё страшнее, всё безнадежнее для оставшихся в нем и мучающихся еще не полной разрешенностью своей судьбы. По окраинам, возле вокзала и на совершенно вымерших улицах возле почты и государственного банка, где на мостовых уже лежали убитые, то и дело поднимался треск и град винтовок или спешно, дробно строчил пулемет...»

«Темнело, орудиейная, а за нею и ружейная стрельба смолкла, и в этой тишине и уже спокойно надвигающихся сумерках чувствовалось: всему конец. Чувствовалось, что город сдался, покорился, что теперь он уже вполне беззащитен от вваливающихся в него победителей, несущих с собой смерть и ужас, грабеж, надругательство, убийство, голод и лютое рабство для всех поголовно, кроме самой подлой черни. В городе не было ни одного огня, порт был необычайно пуст, казался безпредельным, — ‘Патрас’ уходил последним. За рейдом терялась в сумрачной мгле пустыня голых степных берегов. Вскоре пошел мокрый снег... Мы уже двигались, — всё плыло подо мною, набережная косяком отходила прочь, туманно-темная городская гора валилась назад... Потом шумно заклубилась вода из-под кормы, мы круто обогнули мол с мертвым, темным маяком, выровнялись, и пошли полным ходом...»

«...не раздеваясь, ...я нащупал нижнюю койку и, улучив удобную минуту, ловко повалился на нее. Всё ходило, качалось, дурманило. Бухало в задраенный иллюминатор, с шумом стекало и бурлило — противно, как в каком-то чудовищном чреве. И, понемногу пьянея, отдаваясь всё безвольнее в полную власть всего этого, я стал то задремывать, то внезапно просыпаться от особенно бешеных размахов и хвататься за койку, чтобы не вылететь из нее... В полусне, в забытии, я что-то думал, что-то вспоминал... Клонило в сон, в дурман, и опять всё лезло куда-то вверх, скрипело, отчаянно боролось — и всё лишь затем, чтобы опять неожиданно разрешиться срывом, тяжелым ударом и новым пружинным подъемом, и новым шипением бурлящей, стекающей воды, и пахучим холодом завывающего ветра, и kloкочущим ревом захлебывающегося умывальника... Вдруг я совсем очнулся, вдруг всего меня озарило необыкновенно ярким сознанием: да, так вот оно что, — я в Черном море, я на чужом пароходе, я зачем-

то плыву в Константинополь, России – конец, да и всему, всей моей жизни тоже конец, даже если и случится чудо, и мы не погибнем в этой злой и ледяной пучине! Только как же это я не понимал, не понял этого раньше?»

«Конец, конец!»

К счастью, это не был конец. Это не только не был конец, как казалось Бунину в роковой день разлуки с Россией, – неожиданно для него самого это было началом нового периода его жизни, творческой работы, когда талант развернулся шире, глубже.

Жизнь как будто и в самом деле надо было начинать сначала – впереди сколько-нибудь определенного ничего не было. Неожиданно предложил ему читать лекции болгарский университет. – «О чем?» – О чем сами захотите... – И он, в самом деле, неожиданно для себя был утвержден профессором университета, но утверждение пришло, когда он был уже в Париже. Тянула к себе «столица мира», средоточие русской жизни вне русских пределов. А главное – манила работа в любимой области, и он отказался от профессуры, хотя материально она его и обеспечивала. Решил устроиться на жизнь во Франции – единственное место, где жизнь казалась ему возможной, кроме России. В Париже отдохнул, окреп, успокоился. Но писать еще не мог – всё недавно пережитое лежало на душе стопудовой тяжестью. Да и вообще, он с трудом писал в больших городах – ему нужна была сельская тишина, возможность сосредоточиться, уйти в собственные переживания. К литературной работе он вернулся только в маленьком старинном городке Амбуазе на Луаре, где провел лето. Там он начал писать и прозу, и стихи...

Он долго искал место для жизни, как птица ищет место для гнезда. И, наконец, нашел его на юге Франции, в солнечном и ласковом Провансе. Над городом Грассом, в старом саду, он нашел скромный провансальский домик, расположенный на склоне горы. Добраться до него можно лишь по извилистой каменистой тропинке. Внизу старинный город с узкими средневековыми улицами, тихой провинциальной жизнью, вскипающей только в часы рынка, когда приносит с гор овощи, фрукты и цветы и рыбу с берега моря. Прекрасное, чистое и тихое место, безмерный в красоте своей и в благородстве провансальский пейзаж с морем на горизонте – каменистая коричневая сухая почва, пыльно-серебряные оливы, весной – море цветов. С виллы «Бельведер» открывается широкий вид на город с его старинными башенками, на далекое море, видное в ясную погоду, на прибрежные горы, как в сторону Ниццы и Италии, так и в сторону Эстереля и Мавританских Альп.

Здесь безвыездно с 1923 года и живет Бунин, выезжая лишь на несколько зимних месяцев, насколько позволяли средства, в Париж,

где у него много друзей. Сюда, на скромную виллу «Бельведер», 9 ноября 1933-го позвонили по телефону из Стокгольма, чтобы сообщить о присуждении Бунину Нобелевской премии. Последние четыре года Бунин живет на другой вилле – «Жаннет», расположенной тоже в полугоре, над городом.

«Солнечно, светло и холодно. Я выхожу из дома в сад, уступами ведущий вниз, на усыпанную гравием площадку под пальмами, откуда видна целая страна долин, моря и гор, сияющая солнцем и синевой воздуха. Огромная лесистая низменность, все возвышаясь своими волнами, холмами и впадинами, идет от моря к тем предгорьям Альп, где я. Подо мной на крутом каменистом отроге громоздится вокруг остатков своей древней крепости с первобытно-грубой сарацинской башней одно из самых старых гнезд Прованса, то есть тоже нечто весьма грубое, серое, каменное, уступчатое, воедино слитое, сверху чешуйчатое, как бы ржавое, коряво-черепичное. Вправо – синеющие в вечной солнечной дымке хребты Эстереля и Мор. На горизонте впереди – высоко поднимающаяся к светло-туманному небу белесая туманность далекого моря. Горбатый мыс налево тонет в утреннем морском блеске, зыбко окружающем его. Поднимающийся мистраль прилетает порой в сад, волнует жесткую и длинную листву пальм, сухо, знойно-холодно, точно в могильных венках, шелестит и шуршит в ней... Ночью на моей горе всё гудит, ревет, бушует от мистраля. Я просыпаюсь внезапно... Стремительно несется мистраль, ветви пальм, бурно шумя и мешаясь, тоже точно несутся куда-то... Я встаю и с трудом открываю дверь на балкон. В лицо мне резко бьет холодом, над головой разверзается черно-вороненое, в белых, синих и красных пылающих звездах небо. Все несется куда-то вперед, вперед...» («Жизнь Арсеньева»)

Весенним утром легкий ветер доносит сюда острый и нежный аромат розовых, нарциссовых и жасминовых полей. Грасс – центр парфюмерной промышленности Франции; с окружающих его полей увозят на парфюмерные фабрики, расположенные в самом городе, целыми вагонами лепестки душистых цветов. Провансальские крестьяне здесь издавна заняты на лугах этой своеобразной промышленностью. Воздух молод и насыщен ароматами. В саду цветут пышные южные цветы, гиацинты, нарциссы, множество белых лилий и синих ирисов, с горячей от солнца стены свешиваются цветущие здесь круглый год розы, слышен пряный дурманящий аромат цветущих апельсиновых деревьев. В конце весны вишневые деревья возле самой виллы отягощены ягодой.

Но летом, если нет ветра, знойно. Так знойно, что вилла с утра стоит с закрытыми окнами и ставнями – единственный способ спа-

стись от жары. Безжалостное солнце горячими потоками заливает серебряные оливы и напрасно старается высушить как бы вырезанные из темно-зеленой жести агавы; камни нагреваются солнцем так сильно, что до них нельзя дотронуться рукой. Хорошо, кажется, одним ящерицам, которые замирают на горячих камнях, и цикадам – они стрекочат тем сильнее, чем жарче день. В эти знойные дни Бунин прячется не только от жары, но и от света, – он принимает все возможные меры, чтобы изнутри укрыться от солнца, вплоть до заклеивания всех щелей бумагой. Только спрятавшись от всех внешних впечатлений, может он работать летом. И только вечером, перед закатом солнца, все выходят на площадку перед виллой, под гостеприимный кров бельведерской широколистой пальмы, где садятся за ужин вокруг вынесенного из столовой стола.

Лучшее, пожалуй, здесь время года – поздняя осень. В эти осенние дни воздух особенно тих, легок и прозрачен – утра длятся дольше обычного. Тени легки, солнце ласково. Море кажется ближе и от него будто веет приятной прохладой.

В зимние месяцы бывают дожди – это самое грустное время в Провансе, потому что дожди иногда длятся неделями. Тогда все настраивается на зимний лад и любят сидеть по вечерам вокруг железной печки в большой комнате самого Бунина. По ночам бывает так холодно, что никак не удастся согреть, как следует, каменную лестницу, ведущую во второй этаж. Но и в зимние месяцы выпадают чудесные дни, когда солнце не только светит, но и греет. Такие дни – не так уж и редкие на благословенном юге – кажутся чудесным подарком судьбы, который принимается с благодарностью. Тогда надо надевать летние костюмы, но немедленно облачаться в пальто, когда солнце прячется. Переходы от дневного летнего тепла к вечернему и ночному зимнему холоду кажутся удивительными.

В дружеских литературных кругах виллу «Бельведер» зовут «монастырем муз», потому что работает в ней не только Бунин, но и его жена, Вера Николаевна, и молодые писатели, которые всегда живут с ними. Трудно и вспомнить всех, кто побывал под широкой пальмой, за чайным и обеденным столом «Бельведера». Мережковские, Тэффи, Борис Зайцев, Алданов, Ходасевич, Рахманинов, проф. Ростовцев – и многие, многие другие поднимались по каменистой тропинке к вилле на денек, на два, а то и на месяц и больше, потому что Бунины – хозяйева гостеприимные и радушные. Встает Бунин рано, когда солнце еще низко, любит умываться на воздухе, у крана в саду. Всё утро работает в своей комнате. Выходит только к почте около двенадцати часов, когда снизу из города поднимается почтальон с газетами и письмами. После завтрака опять за работу до чая. Иногда прогулка куда-нибудь – вниз, в

долину, или вверх, в горы, через площадку принцессы Полины, сестры Наполеона, жившей когда-то в Грассе и любившей сидеть на сохранившейся еще от ее времени каменной скамье... Но иные дни Бунина не видно совсем – безвыходно работает в своей комнате. – «Писательство – труд, труд усердный и каторжный», – любит повторять Бунин, и в отношении его самого это не кажется преувеличением, если знать распорядок его жизни. Вечером он любит читать вслух. Тогда всё население дома – в его комнате. Мирно горит свет, в зимние вечера гудит печка, сидят – кто на диване, кто просто на кровати. Читает Бунин русских, читает и французов – среди последних Мориака, которого очень любит. Слушать Бунина одно наслаждение, потому что чтец он изумительный. Эти тихие идиллические вечера напоминают чем-то далекое время, когда коротали время в деревенской русской глуши помещичьи семьи...

Кто-то сказал про Бунина, что «у него лицо римлянина-патриция». И, действительно, его красивое и породистое лицо со строгими чертами кажется чуть ли не олимпийским, почти надменным. И это как будто вполне отвечает его гордому таланту, тому пронзительному и холодному воздуху, напоминающему разреженный воздух горной вершины, который как будто пронизывает его литературные произведения. Такое впечатление и он, и его литературные работы производят на тех, кто с ними только соприкасается. Но если подойти к Бунину-человеку ближе, если глубже вникнуть в его литературные произведения, впечатление меняется. Перед нами живой и искрометный человек, горячий и вакхически неукротимый в веселье, страстно любящий жизнь и ее блага, *charmeur* и очаровательный собеседник. Не случайно нежно и крепко его любил Чехов, человек большой скрытой нежности и искренности. Что всего больше поражает в Бунине, это его необычайная многосторонность, артистичность его натуры. Недаром руководитель Московского Художественного Театра, знаменитый Станиславский, звал его когда-то в театр. И весьма возможно, что, если бы он не сделался знаменитым писателем, из него вышел бы замечательный актер. Он еще и сейчас может поразить каждого, то изобразив цыгана на ярмарке, то подвыпившего помещика, приехавшего кутить в маленький город, то разгулявшегося на деревенской ярмарке мужика, неожиданно пустившегося в присядку (здесь Бунин, просматривавший настоящую рукопись, не удержался и прибавил на полях: «Мариуса из Марселя еще лучше могу» – Мариус – популярный среди французов тип южанина, добродушного хвастуна, говорящего на особом марсельском наречии). Танцует, кстати сказать, «русскую» Бунин с артистической легкостью, так хорошо идущей и приставшей к его донине положительно юношески стройной и легкой

фигуре. Поражает при этом, что свой эффект преображения он достигает какими-то как будто совершенно ничтожными усилиями: прищурит глаз, дернет щекой, поведет чуть-чуть плечом – и перед вами вдруг не Бунин, а знакомый, которого он хочет изобразить. И самое преображение или перевоплощение у него происходит, по-видимому, самопроизвольно: рассказывает, что в юности изучал польский язык и читал Мицкевича, и вы вдруг чувствуете в его великолепной полнотнучной русской речи легкий польский акцент; отдастся в беседе литературным воспоминаниям – и вдруг перед вами проходят Горький, Брюсов, Блок, Бальмонт...

Способность импровизации у Бунина органическая – неожиданные сравнения, краткие и яркие характеристики, острые – иногда и пряные – словечки срываются с его языка, как будто от богатства природы, как будто он не может удержать их в себе. Когда Бунин в ударе, он щедро сыпет ими, вызывая в окружающих дружный смех. Они вылетают из него, как искры, и только жалеешь, что нет возможности все запомнить, записать. Иногда кажется даже, что в жизни он талантливее, богаче, ярче, чем в своих произведениях. Это и не удивительно, так как всё на бумаге он тщательно и много раз отделяет, благодаря чему всё им написанное строго, а для невнимательного человека даже сухо. В строгости его работы я мог убедиться однажды на следующем. Гостя у Ивана Алексеевича в Грассе, на его вилле «Бельведер», я жил в его рабочем кабинете. На полке увидел книги Бунина разных изданий. Просматривая их, я заметил много собственноручных исправлений в тексте. И, сравнивая их, убедился, что все исправления состояли из одних лишь сокращений – он удалял из текста всё лишнее, всё, без чего *можно* было обойтись. И я вспомнил завет Чехова молодым писателям. – «Из написанного рассказа, – говорил Чехов, – прежде всего вычеркните начало и конец – оставьте только середину. Потом просмотрите каждую строчку и вычеркните всё, без чего можно обойтись. Оправдано должно быть каждое слово – если в вашем рассказе упомянуто, что на стене кабинета висело ружье, это ружье обязательно должно выстрелить.»

Бунин, несомненно, следовал этому завету – в его произведениях никогда нет ничего «лишнего». Отсюда – крепость, убедительность и некоторая «сухость» – вернее, строгость – его языка. На его страницах, воистину, словам тесно, мыслям просторно. И поэтому читать Бунина надо медленно.

В личных рассказах добавьте к этому живую интонацию, прекрасный язык, богатство вместо скупости, игру лица, блеск глаз – и вы поймете, сколько очарования может быть в его живых рассказах. Я всегда мечтал о том, что кто-нибудь из близких Ивану Алексеевичу

догадается записывать живую речь его, его рассказы, мгновенные характеристики, сказанные мимоходом словечки. Если это не сделано, многое о Бунине пропадет для позднейших поколений, – всего Бунина не смогут передать его произведения. В свое время я пробовал делать такие записи: рассказы о Чехове, его жизни в Крыму и его женитьбе, о поездке Бунина с Шаляпиным и Горьким (какая тройка!) по Италии, о «Войне и Мире» и «Анне Карениной», о Достоевском – всё это осталось и, вероятно, погибло в Европе...

Сколько милого очарования в рассказах Бунина о провинциальных событиях в Грассе, за которыми он любит следить, об избирательной кампании, выборах мэра, о местном парикмахере-философе с его рассуждениями о значении той или другой погоды для Грасса, сколько юмора и смеха – не всегда беззлобного – в его наблюдениях над собирающейся на Ривьере и в Монте-Карло международной толпой туристов... Незабываем его рассказ о поездке в Стокгольм, о вручении ему Нобелевской премии шведским королем, о многочисленных стокгольмских банкетах и чествованиях... Как жалко, что эти проявления художественной и артистической натуры Бунина нигде и никак не закреплены и не могут быть закреплены!

Нобелевская премия не пришла для Бунина совсем неожиданно – в течение последних трех лет его называли в прессе как одного из наиболее вероятных кандидатов, и сам он, конечно, не мог относиться равнодушно к такой возможности. Помимо вполне естественного чувства гордости и радости, Нобелевская премия должна была и материально изменить весь строй жизни Бунина.

Вот как сам он рассказывал об этом дне.

«В это утро встал я, по обыкновению, раньше всех. Отправился на кухню, стал кофе молоть. Верчу ручку мельницы и думаю: – Сегодня 9 ноября. В Стокгольме Нобелевскую премию присуждают. Я в числе кандидатов. Но об этом не надо думать, не следует...

Выпил кофе и сел писать. А часа в два решил, что день выдался какой-то плохой. Лучше пойти в синема.

Пошел. И совершенно всё забыл. И фильм такой попался – с Кисой Куприной (дочь А. И. Куприна). – «Ай да Киса», думаю... Вдруг ударяет в глаза электрический фонарик. Из темноты Зуров на меня надвигается (Л. Зуров – молодой русский писатель, живущий у Бунина на вилле «Бельведер»). Трагически шепчет:

– «Телефонный звонок из Стокгольма. Вера Николаевна очень волнуется. Просит поскорее домой придти...»

Первое, что я испытал: жаль, не увижу, что с Кисей станет в конце фильма. Отправились домой. По дороге расспрашиваю: – Что, собственно, сказали?

– «Непонятное что-то... Премия Нобеля... Ваш муж...»

– А дальше?

– «Дальше не разобрали.»

– Не может быть. Верно, еще какое-нибудь слово было.

Например: не вышло, сожалеем, дескать...

Дома застаю Веру Николаевну в большом волнении.

– «Как будто премию тебе присудили.»

А человек я недоверчивый. Я человек не честолюбивый, но очень самолюбивый. Но как будто и впрямь присудили. Опять звонок из Стокгольма, из газеты «Свенска Дагеблат». Спрашивают, какие мои впечатления. Рад, говорю, и счастлив...

Потом телеграммы посыпались. Надо вам сказать, что за доставку каждой телеграммы к нам в «Бельведер» почтальон взыскивает 5 франков. Десять телеграмм, потом еще десять... Обуял меня страх: нет денег! Я уж думал: не уйти ли мне, как Толстому, из дому... Да вот – жена останется. Жаль. Дальше подробностей не помню».

Бунин при этом не упоминает о том, что пришлось сбегать на почту – попросить, чтобы не каждую отдельно телеграмму доставляли, а ждали, пока их накопится побольше, – платить было нечем...

В Париже Бунина встретила на вокзале группа друзей. Проплывают зеркальные стекла вагонов. Вот на площадке появляется знакомая стройная фигура. Бунин протягивает руки к друзьям... Вспыхивает магний фотографа. Бунин, еще не вошедший в роль нобелевского лауреата, растерянно улыбается.

А через четверть часа в холле первоклассного отеля «Мажестик», в квартале Этуаль, разыгрывается следующая сцена.

Бунин просит небольшую, спокойную комнату, окнами на двор. Дирекция просит писателя с мировым отныне именем сделать честь и за цену маленькой комнаты занять целый апартамент. Бунин покорно следует за лакеем и на ходу бормочет:

– Боже, защити меня от зависти, от недоброжелательства, от фотографов и журналистов...

Телефонный звонок прерывает его тихую молитву. Управляющий отелем сообщает:

– Мосье Бунина спрашивают внизу журналисты...

Когда кто-то из них заикнулся о мировой славе, Бунин сказал:

– Ну, что ж слава... Награда застала меня среди горячей литературной работы. Работу пришлось прервать. Жалко...

Присуждение Нобелевской премии Бунину радостно было встречено всеми русскими, без различия взглядов. Для них это был прежде всего *русский* праздник – едва ли не первый после долгих лет, когда приходилось выносить лишь удары судьбы... В день получения

известия о присуждении нобелевской премии русскому писателю русские лица сияли. Это для всех них было прежде всего признанием русской литературы, того вклада, который она сделала в общечеловеческую культуру, – независимо от преходящих влияний той или другой политической власти, того или другого политического течения. Именно поэтому, по словам одного французского писателя, сделанный шведской Академией в Стокгольме выбор «приобретал глубоко патетическое значение». Превыше всех мелких разногласий был поставлен талант и его высший носитель – человек. Как сказал во время своего чествования в Стокгольме сам Бунин – «и при наличии самых разных политических, философских и религиозных взглядов есть нечто связывающее всех людей: это то уважение к свободе мысли, к свободе совести, которое является общим достоянием людей, основой их цивилизованного бытия».

Нобелевская премия русскому писателю оказалась символична: из всех возможных кандидатов Бунин был единственный, за которым не могло стоять никакой силы, никаких внушений или влияний. Тем более неожиданным должно было всем показаться присуждение Нобелевской премии именно ему: преодолены были все политические препятствия, и миру было показано, что русская культура едина и неделима. Шведская Академия присудила премию *русской* литературе, не считаясь с тем, где находится человек, достойный представлять высшее достижение в общей работе русской литературы. Этим актом был прекращен недостойный и нелепый спор о том, какая литература выше – русская-советская или русская-эмигрантская. Правы оказались те, кто говорили: нет литературы советской, нет литературы эмигрантской – есть литература *русская*.

И присудив мировую премию человеку, не пожелавшему склониться перед насилием, Шведская Академия лишний раз напомнила, что человечество не может существовать без свободы.

И, может быть, это чувствовалось всеми. Имя Бунина во всех бесчисленных местах русского рассеяния на некоторое время сделалось лозунгом объединения, все споры вокруг него умолкали. Многочисленные в Париже русские шоферы такси, узнавая Бунина, отказывались брать с него деньги, русские рестораны считали за честь посещение их Буниным и старались угостить его на славу, блеснув во всю русским хлебосольством... В самом Стокгольме, в дни чествования нобелевских лауреатов и передачи им премий шведским королем, Бунин был самым популярным человеком. За всё время существования нобелевской премии, т. е. с 1901 года, ни одного писателя не чествовали с такой сердечностью. Бунин был первым русским писателем, получившим это высшее мировое признание.

Осуществилось, наконец, пророческое пожелание Георга Брандеса, сказавшего на закате своих дней: «Я первый обратил внимание в Скандинавии на бездонную глубину русской литературы, и никто более меня не может скорбеть о том, что она до сих пор не получила высокого мирового венчания – Нобелевской премии».

* * *

Аппартамент Бунина в роскошном парижском отеле «Мажестик». Разговору нашему то и дело мешают: стучат в дверь, приносят какие-то телеграммы, пакеты с газетными вырезками, подают визитные карточки, звонят по телефону.

Приходит один фотограф, другой... Приносят пробные фотографические карточки. – «Это что за индейская старуха? Милый мой, зачем же такие морщины?» – К приятелю: – «А ты зачем пришел?» – Приятель (несколько смущенно): – «Во первых, ты сам мне на четыре часа назначил, а затем пришел проститься – я надолго уезжаю.» – «Правда, правда. Но я сейчас ужасно занят важным делом (жест в мою сторону). Ну, Господь с тобой.» – Целуются. Бунин подписывает многочисленные фотографии поклонникам и поклонницам.

Звонит телефон. Издательское бюро. – «Как обстоит дело с изданием полного собрания сочинений на русском языке? Кому переданы американские права?...» Кто-то просит указаний о помещении денег, о списании 20.000 крон со стокгольмского счета, об открытии текущего счета в Париже... Напоминают об обещании помочь «старик», у которого срок платежа наступает в субботу. – «А не врёт он, старик?» Стучат в дверь. – «Готовы ли гранки французского перевода ‘Господина из Сан-Франциско’?» – Бунин, в одном жилете – надеть пиджак нет времени! – комично воздевает вверх руки. – «Водевиль! Настоящий водевиль!»

* * *

Ниже приведены выдержки из некоторых дословных записей бесед с Буниным того времени. Они позднее были просмотрены им самим, а потому с полным основанием могут считаться авторизованными.

– Вы хотите знать мою духовную родословную? Ну, этого я не знаю и даже не понимаю. Я не раз слышал мнение, будто происхожу от Толстого и Тургенева. Почему именно от них? Был Пушкин, был Лермонтов, Гоголь... Как можно проследить влияние одного писателя на другого? Кого любил, тот на тебя и влиял. Важна у каждого своя нота – она или обогащается или развивается. И влияет не только литература, но и жизнь. Некоторые говорят, что у меня реализм от

Толстого, а словесная форма от Тургенева... Неверно. Разверните Тургенева и рядом положите мою книгу – у Тургенева звуковое течение речи, ее строй – один, у меня – другой, совсем не похожий. И разве Тургенев не реалист? Конечно, реалист. Если же он описывает своих героев и героинь более мягкой, романтической манерой, если его Лиза романтичнее Наташи, то это лишь свидетельствует, что два разных человека пишут два разных портрета. Я пишу более крепкой краской, чем, напр., Тургенев, – вот и разница. Один изображает мягче, другой – резче.

– И неверно, будто Толстой не придавал значения тому, как у него звучит фраза, не обращал внимания на форму. Между прочим, и стихотворную форму он отрицал лишь позднее. Форма неотделима от содержания, форма есть следствие, порождение индивидуального таланта и того, что он хочет сказать. Я видел рукопись и корректуры «Хозяина и Работника» – так ведь он чуть не сто корректур держал! Кажется, Страхову писал или чуть ли не верхового посылал по поводу запятой или замены «а» на «но». Нет, Толстой придавал огромное значение, как фраза звучит, и очень заботился о расстановке слов. О внешней форме у него была страшная забота, но только он понимал это иначе. Другой сознательно занимается аллитерацией, подбирает, например, шипящие слова и буквы, а Толстой никогда не обращал внимания, шипит или рычит у него фраза. А если это и происходило, то было результатом подсознательного, как и у народа, когда складывается язык. Однажды мы заспорили с Бальмонтом. Он сослался на пример Пушкина, который, будто бы, намеренно прибегал к аллитерации... Но ведь это происходило у него бессознательно! Вспоминая, Пушкин слышал, чувствовал шум деревьев и бессознательно выбирал такие слова, которые передавали этот лесной шум, тем самым напоминая переживание. И разве сами слова не так рождаются? Когда они рождались, люди не думали об этом. Сам народ создавал звукоподражательные слова. Так и Толстой слышал, что фраза должна быть такой, а не иной... У Толстого есть корявые фразы, это всем известно, есть и грамматически неправильные, но неверно, будто он сам свою фразу рубил, если ему казалось, что она слишком красива. Да я и не знаю другого писателя, у которого бы так мало была заметна форма. Это – стекло, настоящее прозрачное стекло, которого не замечаешь. А это и есть высшее достижение. Читая Тургенева, наоборот, всегда чувствуешь форму, работу над фразой. Видишь, как она искусно построена, замечаешь, как расставлены знаки препинания. Знаки препинания – вещь очень важная! Надо знать и чувствовать, где следует поставить запятую, где – тире.

Нельзя зря сыпать, например, многоточия, как это делает Короленко. А у Тургенева знаки препинания расставлены с манерностью – это отвлекает читателя...

– Конечно, как ни будь самостоятелен писатель, у него всегда можно найти сходство с другим. Люди без рода и племени не бывают. Все мы приходим от родителей. В ребенке ищут черты сходства то с отцом, то с матерью, с дедом, с бабушкой – конечно, всё это должно быть в нем! В каждом ребенке есть смесь черт его родителей и предков – но есть и свое. Поэтому – может быть Толстой, может быть и Тургенев, влияли на меня. Но почему не Гоголь? Гоголя я страстно любил с детства, он навсегда вошел в меня какой-то частью. Я и сейчас наизусть помню места из «Старосветских помещиков» и «Страшной мести», они меня и теперь, как всегда, волнуют. Гоголь, считаю, отразился на построении некоторых фраз – длинных периодов – в «Господине из Сан-Франциско» и вообще в этом периоде моей литературной деятельности.

– Достоевский? Толстой больше Достоевского. Вот уж могу сказать, что любить Достоевского никогда не любил. Перечитывал Гоголя, Пушкина, Тургенева, Толстого (без конца!), даже Чехова, но вот никогда не тянуло перечитывать Достоевского. Конечно, писатель и человек он совершенно замечательный. Но я беру форму рассказа Достоевского. Что это такое! Он хватается за лацканы сюртука, за горло, загоняет в угол, брызжет слюной, старается, как в припадке, вас в чем-то ему нужном убедить и всё в одном и том же. – Да оставьте меня, ради Бога, в покое! Отстаньте! Я уже всё давно понял – что же вы мне долбите одно и то же! – Достоевский прежде всего хочет на вас *воздействовать* и тем нарушает художественную эстетику. Ведь всякое искусство условно. Наденьте на Венеру юбку, пеплум, вставьте ей глаза, наденьте ей на палец золотое кольцо – что это будет? А Достоевский эти условия и нарушает. Диалоги у него занимают целый том – это же невозможно, невероятно, – хоть бы переродился немного. Всё у него чрезмерно, и поэтому я многому не верю. Убивает в Достоевском главным образом то, что написал он двадцать томов романов, и все они об одном и том же: всюду он сам, всюду электрическая любовь, infernalная женщина, всюду Лебядкин или полусумасшедший-полуидиот! Мне мой брат Юлий говорил: – Когда вырастешь, будешь Достоевского читать – возьмешь, не оторвешься! – И вот настало время – я был еще мальчиком – взял с замиранием сердца «Братьев Карамазовых»... Что же это такое? И это Достоевский? Первые 150 страниц заняты ссорами Федора Павловича, и на них 150

раз говорится одно и то же. Но мне достаточно и раз сказать, чтобы я понял...

— Правы те, кто меня причисляет к Пушкинской линии русской литературы. Я изображаю, я никого не стараюсь ни в чем убедить, — я стараюсь *заразить*. Пушкин — вот самая здоровая и самая настоящая струя русской литературы и стихия России. Европейцы удивляются, если находят в русском писателе уравновешенность, ясность, свет, солнечность. А разве всё это не Пушкин? И разве не русским был Пушкин? Пушкин — это воплощение простоты, благородства, свободы, здоровья, ума, такта, меры, вкуса. Подражал ли я ему? Да кто же из нас не подражал? Конечно, подражал и я — в самой ранней молодости подражал даже в почерке... Много, много раз в жизни испытывал страстное желание написать что-нибудь по-пушкински, что-нибудь прекрасное, свободное, стройное, — желания, происходившие от любви, от чувства родства к нему, от тех светлых настроений, что Бог порою давал в жизни. Думал и вспоминал о Пушкине, когда был на гробнице Вергилия, под Неаполем, во время странствий по Сицилии, в Помпеях... А вот лето в псковских лесах — и соприсутствие Пушкина не оставляет меня ни днем, ни ночью, и я пишу стихи с утра до ночи, с таким чувством, точно всё написанное я смиренно слагаю к его ногам, в страхе своей недостойности и перед ним, и перед всем тем, что породило нас... А вот изумительно чудесный летний день дома, в орловской усадьбе. Помню так, точно это было вчера. Весь день пишу стихи. После завтрака перечитываю «Повести Белкина» и так волнуюсь от их прелести и желания тотчас же написать что-нибудь старинное, пушкинских времен, что не могу больше читать. Бросаю книгу, прыгаю в окно и долго, долго лежу в траве, в страхе и радости ожидая того, что должно выйти из той напряженной работы, которой полно сердце и воображение, и чувствуя безконечное счастье от принадлежности всего моего существа к этому летнему деревенскому дню, к этому саду, ко всему этому родному миру моих отцов и дедов и всех их далеких дней, пушкинских дней... Как же учесть, как рассказать о его воздействии? Когда он вошел в меня, когда я узнал и полюбил его? Но когда вошла в меня Россия? Когда я узнал и полюбил ее небо, воздух, солнце, родных, близких? Ведь он со мной — и так *особенно* — с самого начала моей жизни. Имя его я слышал с младенчества, узнал его не от учителя, не в школе: в той среде, из которой я вышел, тогда говорили о нем, повторяли его стихи постоянно. Говорили и у нас — отец, мать, братья. И вот одно из самых ранних моих воспоминаний: медлительное, по-старинному, несколько манерное, томное и ласковое чтение матушки:

У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо – песнь заводит,
Налево – сказку говорит...

– В необыкновенном обожании Пушкина прошла вся молодость моей матери – ее и ее сверстниц. Они тайком переписывали в свои заветные тетрадки «Руслана и Людмилу», и она читала мне наизусть целые страницы оттуда, а ее самое звали Людмилой... И вся моя молодость прошла тоже с Пушкиным.

– Некоторые критики считают меня писателем жестоким и мрачным. Мне кажется это несправедливым и неточным. Конечно, много меда, но еще больше горечи нашел я в своих скитаниях по всему миру, в наблюдениях над человеческой жизнью. Когда я рисовал Россию, я уже испытывал смутное предчувствие ожидающей ее судьбы. И разве это моя вина, если действительность свыше всяких мер оправдала мои опасения? Разве та картина народной жизни, которую я рисовал и которая самим русским казалась тогда слишком мрачной, не превратилась в достоверность, которую до сих пор отрицали? – «Горе тебе, Вавилон, город крепкий!» – эти страшные слова звучали в моей душе, когда я писал «Господина из Сан-Франциско», за несколько месяцев до Великой войны, предчувствуя неслыханные ужасы и провалы, таившиеся в нашей культуре. И разве это моя вина, что и в этом отношении мои предчувствия меня не обманули?

– Но значит ли это, что душа моя полна мрака и отчаяния? Нисколько! «Как лань, жаждущая воды источника, стремится моя душа к Тебе, о Господи!» Что мы знаем, что мы понимаем, что мы можем?.. Одно хорошо: от жизни человечества, от веков поколений остается на земле только высокое, доброе и прекрасное, только это. Всё злое, подлое и низкое, глупое в конце концов не оставляет следа: его нет, не видно. А что осталось, что есть? Лучшие страницы лучших книг, предания о чести, о совести, о самопожертвовании, о благородных подвигах, чудесные песни и статуи, великие и святые могилы, греческие храмы, готические соборы, их райски-дивные цветные стекла, органные громы и жалобы, *Dies Irae* и «Смертию смерть поправ»... Остался, есть и во веки будет Тот, Кто, со креста любви и страдания, простирает своим убийцам неизменно нежные объятия, и Она, Единая, Богиня богинь, Ея же благословенному царствию не будет конца.

«Новый Журнал», № 3, 1942

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Елена Дубровина

«Я странником пришел на краткий час...»

Поэт Владимир Диксон (1900–1929) и его окружение

«SHAKESPEARE AND COMPANY»

Наверное, жизнь человека оценивается не по тому отрезку времени, который он прожил, а по тому следу в истории, который он оставил после себя. Владимир Диксон прожил короткую жизнь, всего 29 лет, и хотя прошло уже более 90 лет со дня его смерти, к жизни поэта возвращаются всё новые и новые литературоведы, открывая читателю тайны его творчества и его судьбы.

Историю эту о Владимире Диксоне я начну издалека, мысленно перенося читателя во французскую столицу начала 20-го века. О Париже 1920-х годов и этом удивительном времени в истории парижской культуры написано достаточно много. Мистический Париж привлекал литераторов всего мира не только своей сказочной красотой и загадочностью, но и насыщенной творческой жизнью. Там, в Париже, был какой-то особенный «воздух эпохи», пропитанный новыми модернистскими течениями.

Поэты и прозаики описывали свой Париж, тайны и трагедии его обитателей, сокрытые в глубине этого города. Они выражали свое видение таинственного Парижа в мемуарной литературе, романах, стихах. «Вы знаете, Париж можно любить, как женщину, можно отдать ради него жизнь и совершить преступление. Многие погибли в Париже, жили в мансардах, в нищете, в холоде, и оставались там наперекор голосу долга и благоразумия, не отвечая на письма жен и матерей. Париж – это опасный, таинственный, мистический город; это даже не город – это стихия»¹, – говорит нам русский философ Борис Вышеславцев² устами своего главного героя из рассказа «Париж», написанного им в 1923 году. Эта мистическая или метафизическая атмосфера Парижа стала для многих литераторов способом духовного выживания.

В книге «Сентиментальные прогулки по Франции» Андрей Трофимов (Трубников)³ правильно заметил: «Мир рождается и уми-

рает с каждым человеком, существует столько же Парижей, сколько парижан или туристов, побывавших в Париже»⁴. Париж приютил всех – искателей приключений и свободы, творческого вдохновения и любви, Бога и себя. И хотя Париж покорял своей красотой, памятниками архитектуры, историей, богатой культурной жизнью, у русских беженцев он часто вызывал острое чувство ностальгии, воспоминания о тех местах, где прошли детство и молодость. Это чувство неприемлемости чужой земли по-особому отразилось в стихах Владимира Диксона.

Когда благословенный час –
Мечта сестры, желанье брата –
В чужой стране придет для нас
Пора желанного возврата?

Париж начала двадцатого века представлял собой яркую картину литературной деятельности, взаимоотношений прослойки русских литераторов, эмигрировавших после Октябрьской революции, и писателей-эмигрантов из Великобритании, Германии, Америки и других стран. Вспомним хотя бы тот факт, что в 1929 году по инициативе русского писателя, журналиста и переводчика Всеволода Борисовича Фохта⁵ и французского писателя Роббера Себастьяна была создана Франко-русская студия, в которой ежемесячно проходили встречи эмигрантских писателей с представителями французской культурной элиты. Вечерами творческая интеллигенция собиралась в парижских кафе, где за чашкой кофе они могли обмениваться мнениями, читать друг другу стихи и просто чувствовать себя членами «одного братства». Популярность ночных кафе на Монмартре была настолько велика, что кроме русских и французских поэтов, писателей, актеров, художников, музыкантов, посещали их литераторы разных стран, а также и чиновники, аристократы, купцы, промышленники – их будущие слушатели и читатели.

Но одного такого ночного общения было недостаточно. Жажда более высокой духовной жизни, ощущения духовной близости с читателем, когда можно было бы в спокойной обстановке, атмосфере единения и взаимопонимания обменяться идеями, обсудить новые книги, привели многих парижских литераторов в книжный магазин-библиотеку под названием «Shakespeare and Company» («Шекспир и компания»). Магазин был открыт в 1919 году в Латинском квартале, на улице Дюпюитрена, американкой из Нью-Джерси Сильвией Бич⁶, приехавшей в 1917 году в Париж изучать современную французскую литературу. Изначально это было заведение, в котором хранилась

только англоязычная литература, но постепенно ассортимент книг возрастал, подчиняясь требованиям взыскательного читателя.

Первый такого рода книжный магазин-библиотека «La Maison des Amis des Livres» был создан в Париже в 1915 году француженкой Адриенной Монье. Она была одной из первых женщин во Франции, открывших собственный книжный магазин. Адриенна Монье работала учителем французского языка в Лондоне и литературным секретарем в одном из французских издательств. С детства, под влиянием матери, она пристрастилась к чтению и была полна решимости посвятить себя книжному делу. Сильвия Бич часто посещала библиотеку госпожи Монье, и у них установились теплые, дружеские отношения. В дальнейшем Адриенна Монье объединилась с Сильвией Бич, став не только ее консультантом и партнером, но и возлюбленной, до самой своей трагической смерти – 19 июня 1955 года Адриенна Монье покончила жизнь самоубийством, приняв передозировку снотворного.

В 1921 году Сильвия Бич переводит свой магазин на улицу Одеон (12 Rue de l'Odéon, Paris VI), как раз напротив магазина госпожи Монье (7 Rue de l'Odéon). Это более просторное помещение с высокими потолками хозяйка превратила в уютный книжный магазин, сверху донизу заставленный полками с книгами. Под рядами книг стояла печка, мягкие стулья, рядом – стол, заваленный свежими журналами. На стенах были развешены фотографии известных писателей: Блейка, Уитмена, По, Оскара Уайльда. В стороне, скрытая от глаз посетителей, была небольшая кухня, придававшая помещению особый домашний уют. В книге воспоминаний «Праздник, который всегда с тобой» Хемингуэй посвятил целую главу Сильвии Бич и ее книжному магазину «Шекспир и компания»: «После улицы, где гулял холодный ветер, эта библиотека с большой печкой, столами и книжными полками, с новыми книгами в витрине и фотографиями известных писателей, живых и умерших, казалась особенно теплой и уютной. Все фотографии были похожи на любительские, и даже умершие писатели выглядели так, словно еще жили»⁷. Книжный магазин-библиотека на улице Одеон стал центром многонациональной литературной жизни Парижа.

Однако теперь это был не только магазин-библиотека, но и издательство с таким же названием. Почему Сильвия Бич дала ему такое странное название – «Шекспир и компания»? Возможно, что именно упоминание имени великого Шекспира сразу подняло писательскую планку представляемых ею авторов и их произведений – как на книжных полках ее магазина, так и в будущем издательском деле. Сильвия Бич отбирала для магазина книги по собственному вкусу, которые

считались литературой самого высокого качества. В умелом отборе литературы она шла не только в ногу со временем, но и далеко опережала его.

Адриенна Монье и Сильвия Бич устраивали чтения, беседы, обмены мнениями, диалоги между авторами книг и их читателями, выставки новых поступлений. Они организовывали в магазине постоянные чтения известных и малоизвестных авторов, и, поощряя неформальные беседы, эти две женщины привнесли в книготорговлю атмосферу домашнего уюта и гостеприимства. Такие встречи способствовали дружбе и культурному обмену между писателями разных национальностей и разных литературных направлений.

Так завязывались новые знакомства между единомышленниками – писателями и читателями. Оба книжных магазина стали своеобразным клубом; его посещали писатели, поэты, литературные критики – как французские, так и эмигранты из разных стран: Поль Валери, Валери Ларбо, Джеймс Джойс, Гертруда Стайн, Эрнест Хемингуэй, Скотт Фицджеральд, Алексей Ремизов, Макс Джейкоб, Эзра Паунд (кстати, жена которого, Дороти, носила фамилию Шекспир) и многие другие. Проявляла Сильвия особую симпатию к французскому писателю Андре Жиду и американскому поэту и писателю Роберту Макарлону⁸, друзьями которого были американский поэт Эзра Паунд и ирландский писатель Джеймс Джойс. В будущем они сыграли немалую роль в жизни нашего главного героя, русского поэта Владимира Диксона.

Роберт Макарлон, как и Сильвия Бич, был издателем и даже какое-то время помогал Джеймсу Джойсу перепечатывать его роман «Улисс». Роберт Макарлон познакомил Сильвию Бич с Эрнестом Хемингуэем, прибывшим в Париж в 1921 году. В то время молодой, без гроша в кармане и никому не известный автор получил в подарок карточку для посещения магазина Сильвии Бич, которая не только дружелюбно отнеслась к нему, но и стала выдавать ему книги бесплатно. В книге «Праздник, который всегда с тобой» он так описал Сильвию: «В те дни у меня не было денег на покупку книг. Я брал книги на улице Одеон, 12, в книжной лавке Сильвии Бич ‘Шекспир и компания’, которая одновременно была и библиотекой. У Сильвии было подвижное, с четкими чертами лицо, карие глаза, быстрые, как у маленького зверька, и веселые, как у юной девушки, и волнистые каштановые волосы, отброшенные назад с чистого лба и подстриженные ниже ушей, на уровне воротника ее коричневого бархатного жакета. У нее были красивые ноги, она была добросердечна, весела, любознательна и любила шутить и болтать. И лучше нее ко мне никто никогда не относился»⁹. Сильвия Бич своим чутьем книголюба

сразу распознала в молодом человеке талантливое писателя и способствовала публикации и продаже первой книги Хемингуэя «Три рассказа и десять стихотворений» (1923).

Среди многочисленных посетителей книжного магазина были и представители зародившегося нового модернистского течения в литературе. Модернизм был явлением интернациональным и состоял из различных литературных направлений, таких как имажизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм и т. д. Творчество молодых писателей стало выражением их внутренней неудовлетворенности, изоляции, одиночества; в сознании переплетались реальное и нереальное, сон и явь, выливаясь в бесконечный поток густых образов и становясь «голосом, услышанным во сне». Наступает период иррационального, мистического и абсурдного видения как жизни, так и творчества.

Зарождение новых литературных течений привлекло внимание Сильвии Бич и Адриенны Монье к писателям-модернистам. Позже они даже взялась за издание ряда журналов, где печатались отрывки из произведений этих писателей. Естественно, что приезд в Париж в 1920 году Джеймса Джойса не мог не заинтересовать Сильвию Бич. Согласно одной из версий, в июле того же года на званом обеде, устроенном в честь приезда писателя русской переводчицей Джойса Людмилой Савицкой-Блок¹⁰ и французским поэтом Андре Спиром, Сильвия Бич знакомится с Дж. Джойсом. И на следующий день, очарованный своей новой знакомой, писатель посещает магазин «Шекспир и компания».

По другой версии, Джойса привел в магазин его друг, американский поэт Эзра Паунд. В любом случае, вскоре после приезда Джойс становится постоянным посетителем книжного магазина Сильвии Бич. Он даже называл его своим официальным бюро — Стратфорд-на-Одеоне. Навестивший Джойса в его парижской квартире молодой американский писатель Джон Гласско так описал свое первое впечатление о внешности писателя: «Выглядел он почти так же изысканно, как и на своих портретах, только тонкий изогнутый рот теперь казался немного больше обычного отверстия, а маленькая бородка выглядела эффектно, но не к месту; его глаза были почти незаметны за толстыми стеклами очков. От его саркастической резкости не было и следа: он был сдержан, обаятелен, любезен, а голос его казался музыкой»¹¹.

Роман Джеймса Джойса «Улисс» был задуман и написан во время Первой мировой войны, когда писатель жил в Цюрихе. Здесь сразу надо отметить следующий парадокс: еще в юности Джеймс был склонен к выраженному логическому и упорядоченному образу мыс-

лей и рассматривал язык как определенную четкую систему. В школьном эссе «Изучение языков» Джойс хвалил точность языка, «управляемого четкими правилами». Он также отмечал на самом базовом уровне грамматики «силу и достоинство, присущие элементам языка». Более того, Джойс утверждал, что словесные искусства разделяют «аккуратность и регулярность математики». Тем не менее, в романе «Улисс» он неожиданно отходит от своих собственных юношеских правил и экспериментирует с языком, создавая новые формы и словообразования. Весь роман написан совершенно необычным языком, отображавшим поток сознания автора, но при этом затрагивающим важные философские вопросы.

В начале 1920-х Джойс безуспешно пытался опубликовать рукопись «Улисса». Бич, прекрасно знавшая литературу и понимавшая значение нового романного слова, а также видя неудачные попытки Джойса найти издателя, предложила напечатать книгу в «Шекспир и компании». И в 1922 году в издательстве Сильвии Бич выходит роман Джеймс Джойса «Улисс». Интуиция не подвела издателя – книга незамедлительно приобрела значительную известность.

Прибывший в 1923 году в Париж Владимир Диксон стал частым посетителем магазина Сильвии Бич. Его сын, Иван Диксон, пишет об отце: «Он собирал библиотеку и покупал книги на разных языках из разных источников, включая Шекспировскую компанию... Он был сдержан, формален (носил гетры). Его манеры соответствовали манерам иностранца. Я думаю, что он встречался с Сильвией Бич в ее магазине, но ему не приходила в голову мысль представиться или первому завязать разговор»¹². Из этих строк сына нам становится ясно, что Диксон покупал книги в пользовавшемся популярностью книжном магазине Сильвии Бич, но был скромным и стеснительным, поэтому, вероятно, среди большого числа посетителей он остался ею незамеченным.

Сильвия Бич так организовала свой магазин, что читатели имели возможность не только покупать, но и брать в долг те книги, которые были запрещены в Великобритании и Соединенных Штатах – такие, например, как «Любовник леди Чаттерлей» Д.Г. Лоуренса или «Улисс» Д. Джойса. Именно эта книга, которую Диксон прочел в 1924 году, вызвала особый интерес у русского поэта, неожиданно став причиной одной загадочной истории, о которой речь пойдет дальше.

Поэтический язык и стиль романа поразили молодого поэта и начинающего прозаика. Для него важны были и философская нагрузка слова, и его звук и даже ритм, и идея словесной инструментальности, т.е. музыкальное звучание слова. Позже в рецензии на последнюю книгу В. Диксона «Стихи и проза» (1930) Г. Адамович в «Последних

новостях» отметит джойсовские элементы в прозе самого Диксона, добавив, что «она интересна, и не лишена прелести, и даже в кропотливом психологизме своем прусто-джойсовского толка остается своеобразной».

Сам Джойс предупреждал, что в его романе есть столько загадок, ребусов и отсылок, для разгадки которых литературоведам всех стран понадобится не одна сотня лет. Но случилось так, что неизвестный в то время молодой русский поэт Владимир Диксон стал тем самым «литературоведом», который «разгадал» стиль, язык и замысел автора «Улисса».

Книжный магазин Сильвии Бич был притягательной точкой, куда стекалась литературная элита Парижа. В книге мемуаров под названием «Шекспир и компания», изданной в 1956 году, она рассказала читателю о культурной жизни Парижа между двумя войнами, включая воспоминания о встречах с Джеймсом Джойсом, Д.Г. Лоуренсом, Эрнестом Хемингуэем, Эзрой Паундом, Т.С. Элиотом, Валери Ларбо, Андре Жидом, Стивенем Бенетом, Гарри Кросби, Ман Рэйем и многими другими. Так американка, родившаяся в Балтиморе, покорила литературный Париж. «А Париж гудел за окном, блистал, трепетал, любил, страдал, жил. Он жил собой, бесконечно древней и многосложной жизнью. И я понял, что здесь, в центре мировой жизни, нужно победить жизнь, здесь нужно победить себя и найти новый и высший центр духа. Вот почему и остался я в Париже и с тех пор верен ему всегда», – говорит философ Борис Вышеславцев словами своего героя, которые вполне могла бы произнести Сильвия Бич, героиня нашего рассказа, дочь протестантского миссионера, навсегда оставшаяся жить в Париже.

Способности Сильвии распознавать молодые таланты и продвигать авангардное искусство, фиксировать ценность и значение новых направлений в литературе, служить связующим звеном между литераторами разных стран были оценены по заслугам и при ее жизни, и после ее кончины. Неудивительно, что она первая обратила внимание на произведения Джеймса Джойса и напечатала его роман «Улисс».

В связи с этим мы обратимся к странной, почти детективной истории, связанной с книжным магазином «Шекспир и компания» и с тремя ее участниками: самой Сильвией Бич, ирландским писателем Джеймсом Джойсом и русским поэтом Владимиром Диксоном.

«ЯЗЫК, ИСТОРИЯ И ТАЙНА»

Русская литературная эмиграция знала и увлекалась новыми модернистскими течениями. Произведения недавно поселившегося в

Париже ирландского писателя Джеймса Джойса были сразу отмечены в русской зарубежной прессе. Так, первым литературным критиком, оценившим по достоинству произведения Дж. Джойса, был русский эмигрант, профессор-литературовед, князь Дмитрий Святополк-Мирский¹³. В 1928 году он написал о Джойсе статью с целью «обратить внимание русского читателя на то, что в Европе есть сейчас писатель, равного которому не было, может быть, со времени Шекспира». Однако заметим: в 1932 году, когда Святополк-Мирский вернулся в Советский Союз, он резко изменил свое мнение о романах Джойса, изобразив писателя как наиболее яркого литературного представителя «паразитической буржуазии эпохи загнивания капитализма»...

В четвертом номере журнала «Числа» за 1930/31 гг. о творчестве Джойса были напечатаны еще две статьи известных в эмиграции авторов – поэта Бориса Поплавского¹⁴ и прозаика Юрия Фельзена¹⁵, что говорит нам о том интересе, который вызвало творчество Джойса в кругах русской литературной диаспоры. Однако в межвоенный период течение модернистов еще подвергалось жестокой критике на страницах газет и журналов. Критику модернизма можно было найти и в русской зарубежной прессе: «Для модернистов последнего времени характерно чувство глубокой угнетенности, которое напрасно они стараются скрыть под маскою шутовства и озорных наскоков. Не происходит ли оно прямо-таки из-за того, что модернисты потеряли всякую надежду на устойчивость своего творчества?»¹⁶ – сетовал Александр Амфитеатров¹⁷ в 1936 году.

Джеймс Джойс приехал в Париж в 1920 году с намерением побыть в столице Франции всего несколько недель, но задержался на двадцать лет. Он быстро влился в культурную жизнь города. Немалую роль в парижской жизни и творчестве Джойса сыграли не только его американские друзья, но и русские эмигранты. А именно, одной из первых, кто оказал материальную помощь писателю по приезду его в Париж, была Людмила Ивановна Савицкая-Блок, будущая русская переводчица произведений Джойса на французский язык, женщина необыкновенно одаренная, владевшая свободно пятью языками и увлекавшаяся модернистскими течениями. Она и ее муж, Марсель Блок¹⁸, предложили Дж. Джойсу поселиться бесплатно в их небольшой квартире на rue de l'Assomption. Л. Савицкая ввела Джойса в круг французских писателей и даже попыталась «взять его под свое крылышко»¹⁹. Помочь приехавшему в Париж ирландскому писателю попросил Людмилу Ивановну верный друг Джойса, американский поэт Эзра Паунд. В свою очередь, Людмилу Савицкую познакомил с Эзрой Паундом французский поэт и литературный критик Андре Спир.

В 1922 году, когда русская колония в Париже пополнилась известными писателями и поэтами, беженцами из советской России, Савицкая нашла среди них своих единомышленников, причастных к философским ценностям русского модернизма. В русской литературной среде Савицкая была в основном известна как переводчица поэзии К. Бальмонта на французский язык. Ей, своей бывшей возлюбленной, посвятил Бальмонт цикл стихов «Семицветик», который вошел в его поэтический сборник «Будем как солнце» (М.: «Скорпион», 1903)²⁰. В январе 1923 года Людмила Савицкая устраивает вечер К. Бальмонта в известном парижском кабаре «Хамелеон» – центре сбора современных французских авангардистов.

На вечере в честь русского поэта председательствовал французский поэт-символист Рене Гиль, хорошо знакомый с русской поэзией, так как переводил на французский язык сказки Пушкина, стихи Бальмонта и др. Думаю, что Владимир Диксон высоко ценил поэзию Гиля и его изложение принципов «научной поэзии», так как учение Рене Гиля об использовании слова на основе поэтической фонетики²¹ было близко самому Диксону. Свой подход к слову Гиль называл *звукотворчеством*. По такому же принципу подходил к словесному творчеству и Джеймс Джойс, на что обратил внимание Владимир Диксон при чтении его романа «Улисс».

Джойс быстро освоился в новом окружении – так, например, в 1922 году он обедает с Сергеем Дягилевым и Игорем Стравинским, кстати, познакомившись на этом обеде и с выдающимся французским писателем-модернистом Марселем Прустом. Однако самым преданным другом и помощником писателя и его жены Норы стал бывший белогвардеец Павел Леопольдович (Пол) Леон (1893–1942)²², родом из Санкт-Петербурга, юрист по образованию, философ, полиглот, переводчик, писатель²³, человек широких знаний, с которым Джойса связывали личные и профессиональные отношения²⁴. Джойс даже стал брать уроки русского языка у Алекса Понизовского, родного брата жены Пола Леона и жениха его дочери Лючии²⁵.

Дружба этих двух одаренных людей – разных вероисповеданий, национальностей, но одинаковых интересов, взглядов, эстетических вкусов, включая новые авангардные течения, – началась в 1928 году и стала значительным событием в их жизни. Павел Леопольдович был не только близким другом ирландского писателя, но и его личным секретарем и литературным агентом. Он, как и Сэмюэл Беккет (секретарь Джойса), вел переписку Джойса, а также помогал советами в юридических вопросах. Это он, Пол Леон, метко называл Джеймса Джойса «Пикассо современной литературы». Одним из замечательных качеств Павла Леопольдовича было умение легко схо-

даться с людьми, поэтому именно он стал той ниточкой, которая связывала Джойса с русскими литературными кругами Парижа и, в частности, с Владимиром Набоковым.

Вл. Набоков несколько раз посещал в эти годы квартиру Джойса, с которым познакомил его Пол Леон. Случилось так, что Пол привел Джойса на набоковскую лекцию о Пушкине, где и представил его лектору. Леон хорошо знал Набокова, так как тот бывал частым гостем на rue Casimir-Périer, где он жил. Приходил Набоков, однако, скорее всего, по делам, так как жена Пола Леона, Люси²⁶, была переводчицей и помогала писателю с его первым английским романом «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» («The Real Life of Sebastian Knight»). Надо сказать, что Набоков был поклонником «Улисса», но довольно презрительно относился к другому роману Дж. Джойса – «Поминки по Финнегану».

Вторая мировая война навсегда разлучила Пола Леона и Джеймса Джойса. В сентябре 1940 года Пол уезжает из неоккупированной зоны Франции, где он находился с Дж. Джойсом, в занятый немцами Париж с намерением спасти архив писателя. Джойс в это время перебирается с семьей в нейтральную Швейцарию. Полу Леону удастся частично спрятать рукописи писателя, однако в августе 1941 года гестапо арестовывает Леона в его парижской квартире. Сначала он попадает в пересылочный лагерь Дранси под Парижем, откуда в марте 1942 года его увозят в Освенцим. Пола Леона пристрелит немецкий конвоир, когда по дороге в концлагерь, на этапе, он упадет от изнеможения. Жизнь этого необычного человека, интеллектуала, любимца тех, кто знал его, оборвалась трагически, как и многих его друзей-эмигрантов, поселившихся в 1920-х годах в блистательном Париже. По странной случайности память о друге Джеймсе Джойсе увековечил еще раньше, до встречи с Полом, – в романе «Улисс», где мистически совпали имена его главного героя Леопольда Пола Блума и Пола Леопольдовича Леона²⁷.

Но перейдем к главному герою нашего повествования, русскому поэту Владимиру Диксону. Важно отметить, что это было время расцвета творчества Владимира Диксона, когда расширился круг его друзей – писателей и поэтов, когда происходило его углубленное знакомство с новыми литературными течениями. Возможно, именно Пол Леон мог познакомить Владимира Диксона с Дж. Джойсом, но пока нет достоверных свидетельств того, встречались ли когда-либо Джойс и Диксон, хотя и тот, и другой жили в Париже в период с 1923-го по 1929 год и оба посещали «Shakespeare and Company».

Одним из друзей Владимира Диксона был князь Д. Святополк-Мирский, с которым он познакомился в доме у Алексея Ремизова. В

1926 году в брюссельском русскоязычном журнале «Благонамеренный» (1926, №2) Вл. Диксон опубликовал хвалебную рецензию на книгу Дм. Святополк-Мирского «Современная русская литература», впервые выступив как критик. Существует предположение, что именно Святополк-Мирский познакомил Диксона с Джойсом, а Алексея Ремизова, в свою очередь, познакомил с Джойсом Владимир Диксон. Для Ремизова писательское родство с Джойсом было довольно глубоким, поэтому его интерес не только к произведениям писателя, но и к его личности, был велик. Мы не знаем, насколько близким было знакомство Диксона и Джойса, если оно вообще было. Однако в парижском альманахе «Числа» другой русский парижанин, Б. Сосинский²⁸ сообщает, что «Вл. Диксон... был в личных отношениях с Джойсом»²⁹. И еще один не менее важный факт: в 1930 году посмертно вышла книга «Стихи и проза» Владимира Диксона, в издании которой принимал участие Джеймс Джойс.

Почему я пишу обо всем этом в статье о Владимире Диксоне? Только потому, что этот гениальный мальчик, полурусский, полу-американец, был неотъемлемой частью литературной жизни многоязычного Парижа. Сын англо-американского отца и русской матери, эрудит и полиглот, он поселился в Париже, как и Джеймс Джойс, в начале 1920-х годов. Однако в среде посетителей магазина Сильвии Бич Владимир Диксон прославился довольно странным образом.

В 1929 году Сильвия Бич решает выпустить сборник материалов о книге Джойса «Поминки по Финнегану», над которой писатель начал работать сразу после публикации «Улисса». Название сборника «Our Exagmination Round His Factification for Incarni Nation of Work in Progress», или «Work in Progress»³⁰, было придумано в духе последнего романа писателя – состояло наполовину из несуществующих слов. В него было решено включить также статьи о романе Джойса «Улисс», как положительного, так и отрицательного характера. Многие страницы в книге были уделены рассказу о появлении «Улисса» и воспоминаниям о личности самого писателя.

Роман «Поминки по Финнегану» был задуман Джойсом как эксперимент, образец зарождавшегося течения сюрреализма. Джойс работал над произведением семнадцать лет, но завершить не успел. Малопонятный и странный текст «Поминок» – поток подсознания, выраженный как бы на смеси языков, – вызвал недоумение и даже негодование у поклонников Джойса. Печатавшиеся отдельные фрагменты во французском журнале «transition» (оригинальное название так и шло – со строчной буквы) были неодобрительно восприняты как читателями, так и критиками, среди которых были даже такие убежденные сторонники новых течений, как американский поэт-

новатор, покровитель и друг Джойса, Эзра Паунд, который встретил роман друга отрицательной критикой. Именно тогда огорченный непониманием писатель решает обратиться к друзьям за поддержкой.

Двенадцать, так или иначе связанных с ним людей (в том числе его секретарь и помощник С. Беккет), отправляют Сильвии Бич хвалебные статьи, заранее одобренные самим Джойсом. Все они вошли в новую книгу. Однако Сильвия решила включить в нее и два «письма протеста», одно из которых, согласно подписи под письмом, принадлежало некоему Владимиру Диксону. Первое письмо было написано по заказу самой Сильвии, второе – странное – письмо пришло по почте в начале февраля 1929 года и называлось «Письмо протеста», «Litter³¹ to Mr. James Joyce». Начиналось оно сразу же с игры словосочетаний: «Dear Mister Germ's Choice»³². Дело в том, что это письмо, написанное на четырех страницах, было пародией, великолепным подражанием манере самого писателя, удачной имитацией стиля «Поминок по Финнегану». Автор умело использовал знание нескольких иностранных языков, при этом обращая особое внимание на философию языка, лингвистику, фонетическое звучание слова и стилистику писателя, искавшего, прежде всего, единства в этом сумбурном многообразии.

Джойс считал, что два письма, написанных в виде критики на его произведение, должны быть включены в книгу. 25 февраля 1929 года Сильвия Бич пометила на конверте, что, по всей вероятности, письмо, присланное Владимиром Диксоном от 9 февраля, на самом деле «*написано самим Дж/Дж. Собственной персоной*».

Итак, авторство странного письма, хотя и подписанного «Вл. Диксон», Сильвия отдает самому Джойсу. Ясно было одно, если письмо написано Вл. Диксоном, то он, по всей вероятности, тщательно изучил стилистические приемы Джойса, сумел разгадать смысловое и экспрессивное значение его слова, ряд сложных словесных взаимоотношений, умело спародировал необычный язык писателя. Письмо настолько поразило Сильвию Бич, что она без сомнения включила его в подготовленный при участии Джойса сборник «Work in Progress»³³. Сборник был издан в 1929 г. в Париже в ее издательстве «Шекспир и компания».

Однако именно с этого момента и начинается загадка адресанта. Была ли Сильвия уверена, что письмо принадлежало именно Джойсу? А если нет, то кто же был на самом деле автором – молодой русский поэт Владимир Диксон или ирландский писатель Джеймс Джойс?

Вернемся к личности Владимира Диксона. Нам известно, что он знал в совершенстве английский, русский, французский и немецкий

языки, свободно говорил на итальянском, испанском, болгарском, греческом и турецком, изучал латынь. По рассказам сына, Вл. Диксон был знаком «с языком математики, инженерного дела, науки – особенно термодинамики, физики, а также хорошо знал музыку, разбирался в изобразительном искусстве, архитектуре, хорошо рисовал, изучал историю, много читал, особенно любил биографии». Но его особым интересом были все-таки язык и слово. И еще на что сын Диксона обращает наше внимание: Вл. Диксон понимал роль языка и слова в литературе по-своему – иначе, чем Джойс, – опираясь на русскую религиозно-культурную традицию значимого слова (Диксон и Джойс принадлежали к разным религиозным конфессиям – Джойс был католиком, Диксон – православным), что не мешало Диксону восхищаться стилем Джойса, который его явно привлекал как в прозе, так и в поэзии. Еще 18 января 1925 года 24-летний Вл. Диксон писал своей невесте Ваните Вагнер³⁴: «Приходилось ли тебе когда-нибудь читать стихи Джеймс Джойса? Это тот же человек, который написал известного ‘Улисса’. Из всех книг английской поэзии – эту маленькую книжку я люблю больше всего... Я люблю стихотворение, которое заканчивается такими строчками:

He is a stranger to me now
Who was my friend»³⁵.

В 1929 году Алексей Ремизов, близкий друг поэта, вспоминал: «Из современных иностранных писателей, которые ему были близки по восприятию и способу выражения ‘жизни’, я назвал бы: Макс Жакоб и Джойс»³⁶.

Копия апрельского номера французского журнала «transition», где печатались отрывки из «Поминок по Финнегану» под названием «Work in Progress», была найдена в архиве Диксона с вырезками из журнала и пометками на полях – и это говорит о том, что Диксона особенно заинтересовал текст будущей книги.

И хотя Сильвия Бич, получив странное по стилю письмо, была почти уверена, что письмо написано самим Джойсом, для полной убедительности 22 февраля она отправляет Диксону письмо с приглашением явиться в ее магазин для знакомства. Письмо доходит до Диксона только 25 февраля. В это время, с 19 февраля по 2 марта, он по делам фирмы находился в Бельгии, куда ему и переправили письмо. Сделав вид, что ему непонятны мотивы приглашения, Вл. Диксон пишет Сильвии Бич ответ, в котором выражает удивление по поводу ее намерений. Однако он соглашается на встречу – при условии, что она состоится только через две-три недели, по его возвращении в Париж

из командировки. Но Сильвия Бич торопилась с изданием книги, и ждать так долго прибытия «автора» письма у нее не было времени. В ответ она пишет, что его письмо удивило Джойса и она просит разрешения Диксона включить его в книгу, которая вот-вот пойдет в печать. В дальнейшем, как известно, 20 апреля Сильвия получает гранки от Диксона и включает письмо в книгу под авторством... Джойса. Какова роль самого Джойса и его отношение ко всей этой странной истории, нам неизвестно.

Сама Сильвия Бич была настолько не уверена в авторстве, что подпись под письмом взяла в кавычки. Тот факт, что Диксон ответил из Бельгии на ее письмо о своей готовности встретиться, сомнений Сильвии не развеял. И только в 50-х годах, разбирая свои архивы, она сложила все письма Владимира Диксона в один большой конверт. В 1961 году она писала, что это письмо придало особый шарм изданию, однако снова выразила сомнения по поводу авторства: «Насколько я помню, я никогда не имела удовольствия встречаться с мистером Диксоном, но подозреваю, что он не кто иной, как ‘Germ’s Choice’ собственной персоной. Мне даже кажется, что в некоторых местах почерк Диксона напоминает почерк Джойса. Но я могу и ошибаться»³⁷. Ее неуверенность, даже отрицание существования автора письма, отразилось и на работах дальнейших исследователей, утверждавших, что Владимир Диксон – имя вымышленное, под которым скрывался сам Джойс.

Мы так и не узнаем, почему Владимир Диксон написал письмо, над которым ломали головы серьезные исследователи творчества Джойса. Было ли это хитроумной шуткой? Ребячеством? Сам Диксон уже не мог принять участие в спорах – он умер 17 декабря 1929 года. Загадка автора послания осталась тайной еще на долгие годы. Были и сомнения: если автор не сам Джойс, то сотворить столь остроумное и талантливое подражание писателю мог только человек, блестяще владеющий иностранными языками, понимавший тонкости слова и ценивший его фонетическое содержание. Диксон, как считалось в литературных кругах Парижа, был всего-навсего начинающим русским поэтом. Как мог этот еще молодой человек так ловко жонглировать иностранными словами и так глубоко проникнуть в суть творчества великого модерниста Джеймса Джойса, содержание книг которого не всегда было понятно даже самому изысканному читателю?

Так как Диксона уже не было в живых, то в окружении Джойса с годами появилась и укрепилась версия, будто бы подпись под письмом – это псевдоним самого писателя, и никакого человека по имени «Владимир Диксон» никогда не существовало. Почему-то не нашлось ни одного человека, кто указал бы на свое знакомство с Вл.

Диксоном и мог бы подтвердить его существование. Длительное время считалось (в том числе Сильвией Бич), что этот русский, Владимир Диксон, был всего лишь плодом художественного воображения Джойса. В разгоревшейся полемике даже известный американский литературовед, Ричард Элманн³⁸, составитель третьего тома писем Джойса (1966), без колебания отрицал авторство Владимира Диксона.

Текст письма был составлен настолько остроумно, что даже серьезные «джойсоведы» объявили его мистификацией и приписали автору «Улисса». Версия эта господствовала вплоть до публикации заметки о Диксоне в специализированном журнале «джойсоведов» в 1979 году³⁹. Позже, когда сверили почерк Диксона с письмом, адресованным им другому корреспонденту, американскому поэту Эзре Паунду, подтвердилось, что автором писем был один и тот же человек.

Окончательной разгадкой этой тайны послужило знакомство в 1992 году главного редактора солидного американского журнала «James Joyce Quarterly», издаваемого в штате Оклахома, с сыном Владимира Диксона, Иваном (John) Диксоном. Он открыл доступ к архивам отца, где и были обнаружены черновики загадочного письма! Отдельный выпуск журнала – том 29.3.1992, – был посвящен жизни и творчеству забытого русского поэта Владимира Вальтеровича Диксона.

Может быть, если бы Владимиру Диксону суждено было прожить долгую творческую жизнь, он стал бы именно тем литературоведом, который смог бы прочитать книгу Дж. Джойса «Улисс» не только построчно, но и между строк, разгадав те ребусы и загадки, о которых говорил сам писатель, но Диксон ушел из жизни слишком рано, через семь месяцев после публикации письма.

Ирландский писатель Джеймс Джойс умер 13 января 1941 года в возрасте 58 лет, пережив Вл. Диксона всего на 12 лет.

Для Сильвии Бич издание книги Джойса «Поминки по Финнегану» сыграло роковую роль не только в ее жизни, но и в жизни ее дитяти, магазина и издательства «Шекспир и компания». Париж как столица культурной жизни перестал существовать с вторжением в июне 1940 года немецких войск. Однако книжный магазин Сильвии Бич оставался открытым во время оккупации Парижа. Однажды, в декабре 1941 года, в ее магазин вошел немецкий офицер и потребовал у хозяйки последний экземпляр «Поминок по Финнегану». Продать книгу немецкому офицеру Сильвия отказалась. Тогда он угрожал женщине, что вернется во второй половине дня, конфискует все ее книги и закроет книжный магазин. Сильвия не стала дожидаться закрытия; сразу после ухода немца она перенесла все книги и вещи из

магазина в свою квартиру, находившуюся этажом выше. Вскоре после этого случая Сильвия Бич была арестована и отправлена в лагерь Виттель под Парижем, где провела шесть месяцев. И только благодаря стараниям друзей ее удалось освободить⁴⁰. Но магазин и издательство «Шекспир и компания» никогда не возобновили свою работу. Сильвия Бич пережила свою возлюбленную Адриенну Монье на семь лет. Она умерла в Париже в 1962 году.

Прошло много лет; сын Владимира Диксона, однажды ознакомившись с архивами отца, задал себе вопрос: что же так привлекало отца в работах Джеймса Джойса? И сам на этот вопрос ответил так: «Три составляющих – язык, история и тайна».

СЕМЬЯ, ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ ВЛАДИМИРА ДИКСОНА

16 марта 1900 года в старинном русском городе Сормово, Нижегородской губернии, родился будущий русский поэт Владимир Вальтерович Диксон. Сормово был городом провинциальной интеллигенции и быстрой индустриализации. Отец Владимира, американский инженер Вальтер Фрэнк Диксон, прибыл в Россию в 1895 году для постройки Сормовского локомотивного завода. Вальтеру Диксону едва исполнилось 30 лет.

В Америке у Вальтера осталась дочь Дороти⁴¹ от первого брака. В России он влюбился в молодую двадцатилетнюю девушку, отличавшуюся не только красотой, но и умом. Звали ее Людмила Ивановна Биджевская. Девушка была польско-русских кровей; дед ее по отцу был родом из Польши. Семья принадлежала к русской Православной Церкви, хотя дед и был католиком. Людмила родилась в России в 1875 году.

Смешанных кровей был и сам Вальтер. Он родился в 1865 году в Англии, а в 1896 году стал гражданином Америки. Родословная семьи Вальтера Диксона уходит корнями в Шотландию. Один из его предков служил при дворе Вильгельма III, короля Англии, Шотландии и Ирландии (1650–1702) и сражался на его стороне в битве при Бойн (Boynе) в 1690 году⁴². В награду за его боевые успехи он получил земли в Ирландии, где вскоре и поселился. В начале 19-го века один из членов семьи иммигрировал в Канаду.

В 1898 году состоялось венчание Вальтера Диксона и Людмилы Биджевской, а 16 марта 1900 года у молодой пары рождается первенец, сын, которого назвали Владимиром. Владимир был крещен и воспитан в православных традициях. На всю жизнь сохранил он глубокое, искреннее и сильное религиозное чувство:

В каждой жизни над мелочью серую
Есть и будут святые места.
Во Единую Троицу верую,
Исповедую сердцем Христа.

Но в Сормове семья задержалась ненадолго – Вальтер Диксон получает предложение от компании «Зингер» возглавить строительство новой фабрики по производству швейных машин в Подольске. На новое место жительства Диксоны приехали в 1900 году уже втроем: сыну Владимиру едва исполнилось три месяца. На левой стороне от Симферопольского шоссе они приобрели небольшой особняк⁴³. Прибытие в город нового директора, американца Вальтера Диксона, внесло небывалое оживление в начатое строительство фабрики. По описанию знавших его людей, он был «высокий, прямой и худощавый красавец, с небольшими рыжеватыми усиками и доброжелательной улыбкой». Блестяще говорящий по-русски с приятным акцентом, он сразу же завоевал симпатии рабочих. В обращении с сослуживцами молодой Вальтер был корректен, раздражался редко, но, сорвавшись, «бушевал». Рабочие уже знали, что признаком недовольства Василия Васильевича (так его величали в России) являлась нахлобученная на лоб шляпа или кепка. В такой момент мастера в цехе старались не попадаться ему на глаза...

На Большой Серпуховской Диксон построил для своих служащих высокого ранга двухэтажные, элегантные особняки, строительство которых вызвало недовольство рабочих и повлекло за собой ряд забастовок. С рождением предприятия появилась в Подольске и новая традиция: 30 августа (12 сентября по новому стилю) при большом стечении народа и неизменном присутствии директора и администрации служился торжественный молебен в честь святого Александра Невского – день этот считался днем основания завода.

В Подольске Людмила Ивановна уделяет много внимания воспитанию и образованию Владимира. Мальчик свободно говорит на английском и русском языках, в доме живет французенка-гувернантка, которая обучает его третьему языку, впоследствии ставшему ему почти родным.

Владимир рос спокойным и уравновешенным, любил музыку, природу и книги. Под влиянием матери он уже с девяти лет начал писать стихи. Не по годам взрослый, он, однако, до конца жизни оставался в душе ребенком. «У Диксона была заветная память детства: плюшевый белый медвежонок. Когда я остался один в его комнате среди книг, где собраны были большие сокровища, сколько любимых имен окружили меня, я их различал и в сумерки, и вдруг

увидел в углу у книг белого медвежонка. Он сидел с растопыренными лапами, вытянув черный свой нос. А как одинок, но и как нечеловечески покорен судьбе, посмотрел он на меня, застыв с распростертыми лапами и вытянув свой черный нос. Вещь не только вещь, но и знак. И я понимаю. Но как трудно человеку покориться», – писал позднее близкий друг Диксона Алексей Ремизов⁴⁴. На одной из фотографий 1927 года, хранящейся в архиве университета Амхерст, мы видим Владимира Диксона, работающего за письменным столом, а перед ним на столе – именно тот белый плюшевый медвежонок.

Внешне Владимир всё больше походил на отца – красавец, с выразительными карими глазами и доброй улыбкой; он был баловнем семьи. Отец любил рассказывать сыну сказки, оставшиеся яркими воспоминаниями детства. Именно эти волшебные, красивые и мудрые сказки пробудили во Владимире тягу к литературе, к поэзии, к творчеству. Позже он и сам будет писать волшебные сказки – наподобие тех, которые он слышал в детстве.

В апреле 1929 года, незадолго до смерти, в одном из стихотворений Владимир Диксон напишет:

Мать уготовила мне дом,
Откуда в жизнь я зрячим вышел;
В отце я жил невнятным сном,
Всех слов нежней, всех мыслей выше.

Гувернантка-француженка, сыгравшая немалую роль в обучении мальчика, оставалась в доме до 1909 года, пока Владимир не был принят в подольское реальное училище. Юный Володя сразу же завоевал уважение учеников. Его любили все – и за доброе, отзывчивое сердце, и за мягкий характер. Был он большим выдумщиком и фантазером и часто забрасывал друзей шуточными посланиями – как, например, такое четверостишие:

И ты, непревзойденный воин,
Хохол Микола Доллежалъ,
В суровой битве был спокоен
И пашкой храбро гнал печаль.

В училище царила творческая товарищеская атмосфера, где каждый преподаватель, не говоря уже о директоре Вячеславе Николаевиче Ферри⁴⁵, не только прекрасно знал предмет, но и представлял собой личность уникальную. На учениках это, разумеется, не могло не отразиться: из училища вышло немало замечательных

людей. Здесь основательно изучали французский и немецкий языки, точные и естественные науки. Уже в училище Владимир Диксон раскрыл свои поэтические способности. Создавший в гимназии все условия для творческого развития молодых людей, Вячеслав Николаевич Ферри однажды сказал: «Возьмите Володю Диксона, у него вполне зрелые стихи. Он обещает стать незаурядным поэтом...» Ученик подольской гимназии, будущий известный ученый Н.А. Доллежалъ вспоминал: «Надо сказать, что педагоги в подольском реальном училище были превосходные... Некоторые приезжали задавать нам уроки из Москвы. Например, математик Александр Семенович Введенский, химик Николай Леонидович Глинка, физик Николай Андреевич Размадзе. По своему уровню это были преподаватели высшей школы. Что привлекало их в провинциальное училище? Это секрет нашего директора Вячеслава Николаевича Ферри – человека, по-моему, в высшей степени примечательного... Ферри, умница и эрудит, преподавал словесность, т. е. русский язык и литературу»⁴⁶. Уроки литературы имели глубокое воздействие на Владимира. Ученики часто собирались вместе и читали отрывки из новых книг, издавали литературный журнал «Рассвет», в котором, возможно, и появились первые стихи юного поэта.

Диксону было 14 лет, когда началась Первая мировая война, разрушившая все планы семьи. Производство швейных машин резко сократилось, всё переключилось на выпуск снарядов. А в 1918 году завод в Подольске был национализирован. Но еще в ноябре 1917 года родители Диксона принимают решение покинуть Россию. Они уезжают на родину Вальтера – в Америку, где он вступает в должность вице-президента компании «Зингер» в городе Элизабет в Нью-Джерси. По прибытии в Америку у четы Диксон в 1918 году рождается еще один сын, Вильям⁴⁷.

Жажда знаний, особенно изучение культуры других стран, вдохновляют 17-летнего Владимира Диксона на путешествия. Окончив в 1917 году училище с отличием, юноша отправляется один через Сибирь и Китай в Сан-Франциско. Конечной остановкой стал для него Кембридж в штате Массачусетс. В феврале 1918 года Владимир поступил в престижное высшее заведение Америки – Массачусетский Технологический Институт (Massachusetts Institute of Technology), где он изучал инженерное дело. И здесь, в Бостоне, городе, населенном американской интеллигенцией, восемнадцатилетний юноша скучает по так недавно оставленной России:

Простая память об отчизне
Подобна северным огням

Над скудной белизною жизни,
Прибитой к дальним берегам.

Бостон, сентябрь 1918

В том же году страну охватила эпидемия испанского гриппа (испанки) – число больных возрастало с каждым днем. К концу приближалась Первая мировая война. В институте были введены обязательные военные учения для студентов. В день своего 18-летия Владимир Диксон присоединился к американской армии рядовым солдатом; полк его находился в Версале. Владимира приставили переводчиком к генералу Першингу⁴⁸, так как юноша уже тогда свободно владел четырьмя языками. Генерал был человеком очень суровым. Вся его семья, за исключением шестилетнего сына, погибла при пожаре. Человек сильного характера и нестигаемой воли, Першинг принял новость без внешних эмоций, но спустя несколько дней поседел.

Работа с генералом требовала от юного Владимира предельной дисциплины и собранности, что пригодилось ему в будущем. Однако уже в 1918 году у Диксона рождаются первые мысли о смерти. Не отпускает его и постоянная тоска по покинутой России:

В душе порывы и горенья,
Но есть какой-то дальний страх:
Придет ли снова вдохновенье –
Иль только смерть в ночных лугах.

Я не хочу к ночам возврата,
Хочу восхода новых дней:
В зверином рву звенит соната,
Как мысль о родине моей!

Бостон, сентябрь 1918

По возвращении из армии Владимир продолжил образование; в 1921 году он окончил институт с дипломом инженера. Выпускная работа Диксона называлась «Термодинамические свойства хлористого этила». Знания термодинамики в будущем он смог использовать не только в работе в компании «Зингер», но и применить к музыке, вызвав этим немалое удивление американского поэта Эзры Паунда, своего будущего корреспондента.

В том же году Диксон поступает в престижный Гарвардский университет. Но даже изучая инженерное дело, в душе он всегда оставался поэтом:

От грубой, праведной земли
Я принял память, принял корни,
А звезды в душу мне вошли
Стремлением и верой горней.

«КРУЖОК ЖИВОЙ ЭТИКИ»

В 1921 году Владимир Диксон знакомится в Гарварде с Юрием Рерихом⁴⁹, ориенталистом, старшим сыном художника Николая Рериха. Юрий изучает индийскую филологию. Они почти одногодки, оба эрудиты – с огромной тягой к знаниям и, особенно, к познанию индийской философии и теософии. Изучением теософии и антропософии занимались в те времена многие литераторы как в России, так и за ее пределами. В 1920-30-х годах влияние учения теософов широко отразилось не только в живописи, но и в балете (Стравинский, Дягилев), а главное, в литературе русской диаспоры. Это философское осмысление поэтического слова в контексте концепций мистического и эзотерико-синкретического характера можно проследить в прозе Бориса Поплавского и Гайто Газданова, в поэзии теософов первой волны эмиграции – Николая Белоцветова, Николая Оцупа, Карла Гершельмана, Анатолия Гейнцельмана, Евгения Вадимова, Владимира Смоленского, Владислава Ходасевича, Гавриила Елачича (кузена композитора Игоря Стравинского), Дмитрия Шаховского, Владимира Диксона и других. Позже оккультные мотивы прозвучали в стихах Дмитрия Кленовского, поэта второй волны, написавшего статью «Оккультные мотивы в русской поэзии»⁵⁰.

Тяга к познанию того, что лежит за пределами доступного, сознание, что существует не один, а два порядка бытия – один рациональный, другой – метафизический, стали темой, привлекая пытливые умы молодых студентов. Мир, непознаваемый разумом, являлся предметом их страстного увлечения. Юрий Рерих организует в Кембридже «Кружок Живой Этики» – Агни-йоги, основанной на философско-этическом синкретическом учении, которое затрагивало все стороны бытия – от космологических вопросов до повседневной жизни человека. Это религиозно-философское учение объединяло западную оккультно-теософскую традицию и эзотеризм Востока. Учение было разработано в первой половине XX века родителями Юрия, супругами Николаем и Еленой Рерихами. В широком понимании теософия – это учение о мистическом богопознании и познании мира. Так как теософия опирается, прежде всего, на эзотерические знания, то и кружок Юрия Рериха по своей направленности был эзо-

терическим и занимался модными тогда оккультными практиками. К кружку присоединяются Владимир Диксон и Владимир Перцов⁵¹, изучавший в Гарвардском университете биологию и медицину. Перцов одновременно был членом Русской студенческой христианской организации (при Американской христианской ассоциации молодых людей). По поводу кружка Юрий Рерих часто переписывался с близким другом и соратником Владимиром Шибяевым⁵², занимавшимся в то время издательским делом в Лондоне. Рерих писал ему: «У нас составилась новый кружок для наших занятий спиритизмом. Двое из членов довольно сильные медиумы» (имея в виду Диксона и Перцова).

Молодые люди изучали соответствующую литературу, вечерами собирались вместе, обсуждали прочитанное; делали записи, используя метод «столоверчения», – то есть вызывали духов Учителей и адептов прошлого и других «потусторонних духов», пытаясь войти с ними в контакт. Считалось, что их Учителем был индийский философ Аллал-Минг-Шри-Ишвара⁵³ (Махатма Мория), который надиктовывал составленные белым стихом духовные послания, являвшиеся «символическим изображением пути восхождения». Позже записи «Кружка Живой Этики» использовались при подготовке издания Агни-Йоги, в частности, томов «Зов» и «Озарение». В учении Агни-Йоги очень много места уделялось вопросам о силе мысли и «спящих» способностях человеческого сознания, которое способно творчески использовать психологическую энергию во многих областях жизни, в том числе для общения с людьми при помощи «психологического телеграфа», как назвал этот вид связи Юрий Рерих. Учение индийского философа стало центральным предметом изучения кружка.

Важно отметить, что молодые люди приобщались не только к философии, но и к литературному и музыкальному творчеству. И хотя Владимира Диксона интересовала в то время техника белого стиха, но именно мелодии и ритмы позднее отразились и заняли важное место в его подходе как к прозаическим произведениям (вспомним Джойса), так и к поэзии, ибо для членов кружка музыка была одной из форм «божественного начала».

Юрий Рерих писал родителям о том, что он рад друзьям, которые интересуются, как и он сам, духовными вопросами, особенно учением Аллал-Минга, который давал студентам много советов относительно их будущих научных занятий. Владимиру Диксону ученый-философ советовал: «Изучай метафизику. Изучай вихревые кольца – деления электронов». Диксон так и поступал – он относился к этим занятиям очень серьезно и, как мы увидим позже из переписки Диксона с Эзрой Паундом, советами философа он воспользовался очень умело,

глубоко изучив эти предметы. Тема реинкарнации вскоре зазвучит в его поэзии: «Могила тело будет мерить, / Но душу примет высота!»

До конца жизни Диксон поддерживал отношения с друзьями по кружку. В июле 1925 года он писал жене: «Я пересылаю тебе письмо – небольшое послание в стихах от писателя Перцова:

Драгоценный друг, Владимир Диксон,
Прости, что я тебе так долго не писал,
Но я честнейшим образом искал
Причину честных изменений...

(Пер. с английского – Е. Дубровина)

Я считаю Труслова великолепным другом, но Перцова я люблю больше. Мои отношения с ним по природе своей очень легкие. Они воздействуют на наши души»⁵⁴.

После окончания университета Владимир Диксон продолжал изучать индийскую философию и историю Византии. Алексей Ремизов вспоминает: «Все часы после службы он посвящал ученью. Бретонские легенды и Византия, мне близкие, занимали и его, и наши свидания заполнялись кельтами и византийскими веками. Пытливость и жажда знания меня трогали в нем, а еще и – сердце. В первый раз, когда он пришел ко мне, я подумал, глядя на его глаза: ‘Вестник с опущенными крыльями!’ И за шесть лет нашей дружбы я понял его и благословил его приход!»⁵⁵.

Так, под влиянием изучения Византии было написано им стихотворение с таким же названием:

Темные лики на древних иконах –
Твердая сила в ненастных годах;
Трудно читали мы в книгах ученых,
Ясно мы видели в светлых сердцах.

Свет передавшая нам Византия,
Наших исканий духовная мать: –
Всё мы забудем, лики святые
Будем с любовью душой вспоминать.

В 1921 году заканчивается целый период жизни Владимира Диксона – впереди новая жизнь, работа, путешествия по всему миру, первая любовь, женитьба, творчество, новые друзья, новое окружение – и загадочный, мистический Париж...

«Я ВИДЕЛ МИР, ВО ВСЕХ СКИТАЛСЯ СТРАНАХ...»

После окончания университета, в том же году Владимир Диксон устраивается на работу в компанию «Зингер». Подготовку он получает в филиалах компании, расположенных в Нью-Йорке и в штате Нью-Джерси. Идя по стопам отца, Владимир Диксон начал работать в различных филиалах компании, занимая высокие позиции, на которых он и находился до внезапной кончины. Президент компании, Сэр Дуглас Александр, отдавший почти всю свою жизнь компании, особенно тепло относился к Владимиру и высоко ценил его знания⁵⁶.

1923 год был переломным в жизни Владимира Диксона. В октябре его пригласили на должность инспектора в компанию «Зингер», главная контора которой находилась в Париже, куда он и отправился на пароходе «Беренгария», самом большом пассажирском судне в мире, превзошедшем по роскоши погибший «Титаник». На этом роскошном пароходе Владимир Диксон пересек океан.

Итак, Париж стал его новым домом. Первый год жизни в новой стране был трудным – без друзей, ограниченный круг знакомых. Он чувствует себя одиноким, покинутым друзьями и Богом.

Я видел мир, во всех скитался странах,
Я говорил на многих языках;
Я был один, как трезвый в своре пьяных,
Душевной гибели я ведал долгий страх.

Из шести оставшихся лет жизни в Париже, почти три года он провёл в дороге, объехав такие страны, как Англия, Германия, Швейцария, Испания, Португалия, все Балканы, Румыния, Турция, Греция, Скандинавия и Америка. Франция всё еще остается ему чужой. В скалочном, таинственном городе Париже он – иммигрант, иностранец.

Здесь намечено и размерено,
Всё по правилу, по струне:
Только сердце мое потеряно
В этой выложенной стране.

Однако человек не может существовать долго в полной изоляции, как внутренней, так и внешней, – его влечет к другому, к тайному окну в иной мир и к Богу.

Опять один, опять оставлен,
Путем потерянным иду.

Да будет вечно Бог прославлен,
Дающий веру и звезду!

Вскоре всё меняется в жизни Владимира Диксона: в 1924 году он знакомится с Ванитой Вагнер, дочерью фермера из Канзаса. Отец ее еще до рождения дочери занялся банковскими делами, в которых достаточно преуспел. Ванита обладала музыкальными способностями и до переезда семьи в Нью-Йорк училась в местной консерватории. В Париж она приехала с семьей для продолжения музыкального образования. Встреча с молодым, талантливым и многообещающим юношей полностью изменила жизнь обоих. Миловидная, хорошо образованная, сведущая как в музыке, так и в литературе, Ванита сразу же завладела чувствами Владимира, стала его путеводной звездой. Пришел конец одиночеству.

И проявилась вдруг она:
И нежностью, и преклонением,
И жалостью была полна,
мерцающая к высшему стремлением.

Он почти каждый день пишет Ваните, и из письма в письмо он признается ей в своих чувствах: «Единственно, о чем я могу тебе честно писать, это то, что я страстно люблю тебя... У тебя уже накопилась огромная коллекция моих писем. Если все мои письма к тебе положить рядом – то они достигнут Освего от Сен-Тропе. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»... (Письмо от 12 марта 1925 года)

Вспыхнувшие, как огонь, чувства молодых людей были настолько сильными, что никакие препятствия, даже сопротивление родителей Ваниты, не могли их разлучить. «Меня не волнует, нравлюсь я им или нет, главное, чтобы они не отговорили тебя стать моей женой. Ты думаешь, что они это сделают? Надеюсь, что нет, в противном случае, я буду за тебя бороться... И странно об этом говорить – но я самый несчастный человек на земле, и все же я никогда в жизни не был так счастлив. И ты всему причиной. Но ради Бога, давай поженимся как можно быстрее!»⁵⁷, – пишет Владимир своей невесте 12 марта 1925 года из города Реймс (Reims, France).

Судя по письмам к будущей жене, характер у юноши был вспыльчивым, но он также быстро и отходил. В апреле между влюбленными произошла серьезная ссора. Владимир чувствует себя виноватым перед невестой; он засыпает девушку письмами, умоляя простить:

«Прости меня, дорогая; пожалуйста, прости. Что сделал я твоим глазам – они стали такими глубокими и такими печальными. Я дей-

ствительно страдаю, когда вспоминаю эту печаль в твоих глазах. Что же я наделал? Как заставил тебя страдать? Твои глаза были так грустны – так прекрасны и так глубоки. И в сердце моем такая печаль оттого, что я причинил тебе боль. Пожалуйста, прости. Не сердись на меня. Меня так больно ранит, что я причинил тебе боль» (Café du Musse, 6 апреля 1925 года).

Вопреки желаниям родителей – как Ваниты, так и Владимира, – 10 июня 1925 года молодая пара заключила брак. Но в начале июля отец увозит Ваниту в Италию. Владимир скучает, он одинок и пишет ей одно письмо за другим: «С тех пор, как я писал тебе прошлой ночью, ничего не произошло. Я очень устал – от жары и постоянно-го напряжения понять чужой язык... Мне жаль, что Милан тебя разочаровал, но надеюсь, что Флоренция тебе понравится; конечно, очень трудно полюбить город, который ты должна увидеть при условии, что будешь вежливой и послушной дочерью... Любимая, ты в порядке? Как я хотел бы быть рядом с тобой. Я так тебя люблю. Так скучаю по тебе по утрам. И всё остальное время. Я так много думаю о нас. Надеюсь, что я буду достоин твоего доверия. Но я увижу тебя через две недели! Ты иногда хоть немного думаешь обо мне? Я люблю тебя» (Мадрид, 12 июля 1925 года).

Согласно дневниковым записям, Владимир счастлив, налаживается ритм супружеской жизни: они вместе гуляют по улицам вечернего Парижа, сидят в кафе, обсуждают последние литературные новинки.

Я видел свет вдали необозримой
И белый снег.
Я совершил от бури нелюбимой
В любовь побег.

9 января 1928 году у них родился сын Иван (Джон). В понедельник, 9 января, Ванита записывает в дневнике, что в 8:45 утра ее разбудил Владимир и они поехали в госпиталь. Ожидали девочку, но в 5 часов вечера родился мальчик. Всё это время Владимир находился рядом с женой. Ваните наложили послеоперационные швы, она на несколько дней остается в госпитале, ее еще мучают боли. Владимир навещает Ваниту и маленького Джона каждый день. 12 января Владимир оставляет такую запись в дневнике: «Утром я себя очень плохо чувствовал, кружилась голова. Пришлось снова лечь. К 11-ти я должен был быть в больнице, но мне было так плохо, что я смог уйти только в полдень»⁵⁸. 13 января он пишет, что Ванита чувствует себя лучше. Теперь всё чаще в дневнике появляются записи о бессонных

ночах и о том, как счастливы молодые родители. Вскоре мальчика крестили в храме Александра Невского на rue Daug и назвали Иваном в честь деда Владимира по линии матери.

Большую часть времени Вл. Диксон проводит вдали от семьи, в командировках, скучая по жене, сыну, дому. Постоянно находясь в дороге, меняя города, он чувствует себя снова одиноким: «Одинокو бывает и горько / Просыпаться в чужих городах», «Одинокo бывает и трудно / В чуждых землях, с чужими людьми», – так выразил он это чувство в стихах, которые рождались у него в основном тогда, когда он находился далеко от семьи.

Но несмотря на постоянные разъезды, каждый раз по возвращении домой его ждали любимая женщина, сын, теперь уже многочисленные друзья.

Долго странствую, много скитаюсь,
Вместе по миру с ветром кружу –
И всегда я к тебе возвращаюсь,
И всегда я к тебе прихожу.

В Париже Владимир Диксон окунается с головой в литературную жизнь русской диаспоры...

(Окончание в следующем номере)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Современные записки» / Париж. 1923. № 16.
2. Борис Петрович Вышеславцев (1877, Москва, – 1954, Женева), русский философ, религиозный мыслитель, магистр государственного права. Был выслан из России 29 сентября 1922 года на «Философском пароходе». Жил в Берлине, Париже, Швейцарии. Разрабатывал проблематику «философии сердца», антропологии, теории культуры. Его книга «Сердце в христианской и индийской мистике» (1929) – первая систематизирующая работа по догматическому пониманию проблемы в Православной Церкви. Автор ряда книг и статей.
3. Александр Александрович Трубников (псевд. Андрей Трофимов и «Лионель». 1882, Санкт-Петербург, – 1966, Париж), искусствовед и литературный критик, журналист, переводчик, французский писатель. Автор книги «Моя Италия» (СПб, 1908). Он был широко известен в России начала 20-го века. С 1908 года был главным хранителем Эрмитажа и императорских дворцов, одним из основателей журнала «Старые годы». В 1937 году за книгу «От Императорского музея к блошиному рынку» получил премию Французской

академии. В канун революции был назначен атташе Российского посольства в Риме, затем занимал тот же пост в эмиграции. В 1919 Александр Трубников переехал во Францию. Здесь он посвятил себя литературной работе, истории искусства, занимался переводами. Первое издание мемуаров Александра Александровича вышло в 1935 году. В 1999 году в России вышла в переводе с французского его книга «От Императорского музея к блошиному рынку» (Изд-во «Наше Наследие»).

4. *Trofimoff, A.* Ciels et décors de France (promenade sentimentale d'un ci-devant) / Paris: Hachette, 1938.

5. Всеволод Борисович Фохт (1895, Москва, – 17 июня 1941, Иерусалим). Штабс-ротмистр гусарского Митавского полка, писатель, журналист, переводчик. Участник Первой мировой войны в команде конных разведчиков Особого пехотного полка на французском фронте. По окончании войны остался во Франции, жил в Париже. Печатался в русской зарубежной периодике. С 1938 года жил в Палестине. Принял монашество.

6. Сильвия Бич (Sylvia Beach, 1887, Балтимор, – 1962, Париж), библиофил, мемуарист. Была дочерью пресвитерианского священника. До переезда в Париж жила в Бриджтауне и Принстоне (штат Нью-Джерси). В Париже открыла магазин и издательство «Шекспир и компания».

7. *Хемингуэй, Эрнест.* Праздник, который всегда с тобой / М.: Изд-во «Азбука». 2006. Глава 4.

8. Роберт Макалмон (Robert Menzies McAlmon, 1895–1956), американский писатель, поэт, издатель. Основал в Париже в 1920-х гг. издательство Contact Editions, в котором публиковал работы Гертруды Стайн и Эрнеста Хемингуэя.

9. См.: *Хемингуэй, Эрнест.* Праздник, который всегда с тобой / Указанное издание.

10. Людмила Ивановна Савицкая-Блок (1881–1957, Франция), актриса, литературный и театральный критик, поэт, переводчица и детская писательница. С детства жила в Париже. Писала стихи и критические статьи по-русски и по-французски. Сотрудничала с парижскими журналами. Переводила на русский язык произведения Вирджинии Вульф, Эзры Паунда, Джеймса Джойса и др. Последним ее переводом на французский язык был роман Бориса Зайцева «Анна».

11. *Glassco, John.* Memoirs of Montparnasse / NY: Oxford University Press. 1970. – С. 188. Перевод с англ. Е.Д.

12. *Dixon, John.* A Son's Recollections of Unremembered Father / James Joyce Quarterly. Vol. 29. № 3. 1992. – С. 486.

13. Дмитрий Петрович Святополк-Мирский, князь (1890–1939), литературовед, литературный критик, публицист, писал по-русски и по-английски. Во время Гражданской войны воевал в армиях генералов А.И. Деникина и П.Н. Врангеля, бежал в Польшу. С 1921 г. жил в Лондоне. Участник евразий-

ского движения. С 1922 по 1932 гг. профессор Школы славянских исследований Королевского колледжа Лондонского университета. Сотрудничал во французской периодике. Печатался также под фамилией Мирский. Вступил в коммунистическую партию Великобритании. В 1932 году вернулся в Советский Союз. В 1937 году был арестован, приговорен по «подозрению в шпионаже» к 8 годам исправительно-трудовых работ; в июне 1939 года умер в лагере под Магаданом.

14. Борис Юлианович Поплавский (1903–1935), известный поэт и прозаик первой волны эмиграции. Иммигрировал во Францию в 1920 году. Погиб от передозировки наркотиков. Автор романов «Аполлон Безобразов» и «Домой с небес» и двух, изданных при жизни, сборников поэзии.

15. Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943), прозаик, литературный критик, переводчик. В 1918 г. иммигрировал в Ригу, в 1921 г. переехал в Берлин. В 1924 г. обосновался в Париже. Широко печатался в русской зарубежной периодике. В 1942 г. был арестован нацистами. Погиб в Освенциме.

16. *Амфитеатров, Александр*. Порок четвертого Возрождения / «Возрождение», 1936, 9 мая, № 3933.

17. Александр Валентинович Амфитеатров (1862–1938, Леванто, Италия), писатель, публицист, фельетонист, литературный и театальный критик, драматург, автор сатирических стихотворений (псевд. Old Gentleman, Московский Фауст и др.). 23 августа 1921 года бежал в Финляндию. Жил в Праге, позднее переехал в Италию. Печатался в русской зарубежной периодике.

18. Марсель Блок был старшим братом известного французского писателя Жана-Ришара Блока.

19. *Livak, Leonid*. A Thankless Occupation. James Joyce and His Translator Ludmila Savitsky / Joyce Studies Annual. 2013. – Pp. 33–61.

20. Там же.

21. Гиль с своей поэтике, исследуя тайну словесно-поэтического воздействия, пытался установить связь сложных настроений и чувств с простыми ощущениями, например, со звуковыми ощущениями. Таким образом шло создание фонетического канона и звуковой гаммы речи; слово должно было нести музыкальную функцию.

22. Павел Леопольдович Леон (1893–1942). Родился в Санкт-Петербурге в семье торговца зерном. В 1915 году окончил юридический факультет Петербургского университета, защитив диссертацию по ирландскому законодательству. Участник Первой мировой войны. После фронта в 1918 году читал лекции в Московском университете на юридическом факультете и занимался изучением трудов Михаила Бакунина. В ноябре 1918 г. иммигрировал в Англию, в 1921 году переехал в Париж. До 1925 года, чтобы прокормить семью, он занимается продажей антиквариата. С 1926 по 1926 гг. Леон изучал французское право, напечатал ряд статей на эту тему во французской

периодике, включая журнал «Annales de la Société Jean Jacques Rousseau». С 1930 по 1940 гг. служил помощником Генерального секретаря Archives de Philosophie du Droit et de Sociologie Juridique. Он передал в архив свои работы по исследованию творчества Ж.-Ж. Руссо. Погиб по дороге в концлагерь в Силезии в апреле 1942 года. URL: <https://www.irishtimes.com/culture/in-mem-ory-of-true-friendship-1.208492>

23. Leon P. Benjamin Constant / Paris: Les Editions Rieder. 1930; также перевел на французский язык и прокомментировал переписку Николая II и вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Автор незавершенного мону-ментального исследования о Ж.-Ж. Руссо.

24. В 1926–1927 годах Павел Леопольдович Леон занимался научной работой; помимо других языков он прекрасно знал латынь и греческий. Леона и Джойса сближали также знания средневековой юриспруденции, вопросы ирландского самоуправления, которые Пол изучал как в России, так и во Франции.

25. Александр Понизовский (1901, Москва, – 7 марта, 1943, Освенцим), был помолвлен с дочерью Дж. Джойса Люцией. Однако свадьба не состоялась из-за условий невесты, которая хотела, чтобы на свадьбе свидетелем был секретарь отца С. Беккет, в которого она была влюблена, но отвергнута. Алекс Понизовский был братом жены Пола Леона и давал Дж. Джойсу уроки русского языка. Понизовский вместе с Набоковым учился в Кембридже.

26. Люси Понизовская-Леон (псевд. Lucie Noël, 1899, Москва, – 1972). Дядя Григорий Виленкин был финансовым атташе при русском посольстве в Лондоне. В 1918 г. мать Люси умерла от тифа и она уезжает в Лондон, где в 1921 г. выходит замуж за Пола Леона. В 1922 г. работала консультантом моды. В 1935 г. Люси начала работать корреспондентом для американского журнала «Herald Tribune», где по четвергам появлялись ее колонки «Моды Парижа». После гибели мужа она присоединилась к Красному Кресту, работала в лагере Дранси. Она также была курьером, доставляющим письма заключенных из лагеря для перемещенных лиц Компьень, под Парижем. Ей удалось перебраться в свободную зону и воссоединиться с братом, Ал. Понизовским, который жил в Монако. Однако он был арестован и погиб в лагере в 1943 году. С 1944 г. Люси работала переводчицей в Американской армии. В 1950 г. в Нью-Йорке вышла ее книга «James Joyce and Paul Léon: the Story of a Friendship». 9 мая 1959 года она получила американское гражданство от президента Эйзенхауэра за помощь союзникам. В 1963 г. стала редактором отдела моды в Associated Press. Умерла в 1972 году.

27. Архивы Пола Леона были переданы его женой Люси в университет Тулсы, штат Оклахома. Переписка Леона и Джойса была куплена в 1996 году Национальной библиотекой Ирландии у сына Пола Леона, Алексиса Леона.

28. Владимир Брониславович Сосинский-Семихат (Бронислав-Рейнгольд-Владимир, 1900, Луганск, – 1987, Москва), прозаик, поэт, критик, журналист, художник. Служил в составе войск А. И. Деникина, затем П.Н. Врангеля.

Эвакуировался в 1920 г. в Константинополь, работал на шахте. Окончил в Шумене, Болгария, Русскую гимназию с золотой медалью, учился на историко-филологическом факультете в Софийском университете, затем – в Берлинском. С 1924 жил в Париже, окончил Сорбонну. Занимался литературной деятельностью. В годы Второй мировой войны принимал участие в боевых действиях в составе Маршевого полка иностранцев-добровольцев под командованием князя Н. Н. Оболенского. Был ранен, взят в плен немцами, находился в концлагере. Бежал. С 1943 года – участник Сопротивления на о. Олерон. Награжден французским Военным крестом, орденом Почетного легиона. С 1944 г. – деятель Союза русских (советских) патриотов (ССП). В 1945–1946 гг. руководил секцией помощи бывшим военнопленным Содружества русских резервистов Французской армии, член правления Содружества русских добровольцев, партизан, участников Сопротивления. С 1945 года сотрудничал в «Русских новостях». В 1946 г. – член делового бюро Объединения работников искусств – советских граждан. Получил советский паспорт, в 1947 году переехал в Нью-Йорк, заботал в ООН. С 1932 по 1947 гг. был членом ложи «Северная Звезда» (юридический делегат и депутат ложи, обрядоначальник). С 1960 года жил в Москве. В 1985 году был награжден медалью «За боевые заслуги».

29. «Числа», № 4, 1930/31. – С. 270.

30. Примерный перевод: «Наше исследование фактов, приведенных в его текущей работе». «Текущая работа» (Пер. с англ. – Е. Д.)

31. Искажённое английское слово «letter» (письмо или послание). Здесь это игра слов, т. к. litter в переводе – мусор, помёт.

32. Можно перевести как искажённую фамилию Джойса, но произношение остается то же; «choice» – в переводе на русский – «выбор», «get» – «зародыш или микроб».

33. «Текущая работа» (Пер. – Е. Д.)

34. По-английски пишется Juanita. Мексиканское имя; принято произносить «Ванита».

35. Опубликовано в журнале *James Joyce Quarterly* / Vol. 29.3.1992. – «Теперь он мне чужой, / А раньше другом был» (Пер. – Е. Д.)

36. Ремизов, Алексей. Звезда надзвездная / Собрание сочинений. Том 14 // СПб: Росток. 2018.

37. Beach, Sylvia. Shakespeare and Company / London: Faber and Faber. 1960. – Pp. 183, 226.

38. Richard David Ellmann (1918–1987), известный американский литературовед, исследователь творчества Джеймса Джойса, Оскара Уайльда и Уильяма Батлера Йейтса.

39. Goldwasser, Thomas A. Who was Vladimir Dixon? Was He Vladimir Dixon? / *James Joyce Quarterly*, V. 16.1979. – P. 219.

40. Известно, что во время войны Сильвия Бич по возможности помогала

участникам французского Сопротивления. Рискаю жизнью, С. Бич спрятала у себя раненого французского летчика.

41. Мать Дороти умерла вскоре после ее рождения, и ребенка взяли к себе родители матери. Дороти было два года, когда она рассталась с отцом. Однако когда девочка подросла, отец забрал ее к себе в Россию. По воспоминаниям сына Владимира Диксона, Ивана, который поддерживал с ней отношения, Дороти впоследствии жила в Нью-Йорке и всегда с огромной теплотой говорила о своем сводном брате Владимире. Дороти умерла в 1958 году.

42. Битва на реке Бойн (англ. *Battle of the Boyne*, ирл. *Cath na Bóinne*), крупнейшее сражение в истории Ирландии, решающая битва Войны двух королей в ходе Славной революции.

43. Особняк, неоднократно упоминавшийся в романе советского прозаика Г. Нагаева «Новый век. Книга первая. Компания Зингер» / М.: Московский рабочий. 1960.

44. Ремизов, Алексей. Указ. соч.

45. Вячеслав Николаевич Ферри (1880–1941), директор реального училища в Подольске. Известен тем, что в 1903 году, будучи студентом Московского университета, познакомился с Л. Толстым, с которым в дальнейшем состоял в короткой переписке.

46. Доллежалъ, Николай Антонович. У истоков рукотворного мира. Записки конструктора / М.: Изд-во «Знание». 1989. – С. 9.

47. Вильям Диксон был женат, разведен, детей у него не было, жил в Нью-Джерси. Дату смерти найти не удалось.

48. Першинг, Джон Джозеф (Блэк Джек) (англ. John Joseph Pershing, 1860–1948, Вашингтон), генерал Американской армии, участник Испано-американской и Первой мировой войн. Единственный, кто при жизни получил высшее персональное воинское звание в армии США – Генерал армий Соединенных Штатов.

49. Юрий Николаевич Рерих (1902, Новгородская губ. – 1960, Москва), востоковед, лингвист, искусствовед, этнограф, путешественник, специалист по языку и культуре Тибета, автор работ по диалектологии тибетского языка, составитель многотомного тибетского словаря, доктор филологических наук, профессор, директор Института Гималайских исследований «Урусвати», заведующий сектором философии и истории религии Института востоковедения АН СССР. Старший сын Николая Константиновича Рериха и Елены Ивановны Рерих. В 1957 году уехал в СССР.

50. «Грани». 1953. № 20.

51. Владимир Перцов (1898 – ?), ученый. В июле-августе 1919 года служил в авиации, во Владивостоке, оттуда иммигрировал в США. Вместе с Владимиром Диксоном и Юрием Рерихом входил в один кружок спиритуалистов. До 1949 года продолжал работать в области биохимии. Руководил

химической лабораторией в Гарварде. В 1961 году преподавал русский язык в университете штата Вирджиния. Друг В. Диксона.

52. Владимир Шибаев (1898, Рига, –1975, Уэльс), предприниматель, издатель, педагог, секретарь Н. Рериха, многолетний его сотрудник, автор ряда работ рериховской тематики. Основатель Латвийского общества Рериха.

53. Аллал-Минг-Шри-Ишвара – духовный вождь Памира, духовный учитель Тибета, наставник Николая и Елены Рерих. Из письма Н. Рериха: «Около вас стоит ваш guide, он в лиловом одеянии, он восточный человек, у него длинные черные волосы и борода, глаза очень большие, глубоко сидящие, он очень строгий, руки у него очень большие... Он не только ваш guide, но он ваш Учитель, он живет в вас, он с вами – одно...»

54. Это письмо Диксона хранится в архиве Amherst College, The Amherst Center for Russian Culture (ACRC). Перевод с англ. Елены Дубровиной. Изначально стихотворение было написано по-русски, но Диксон сам перевел его на английский.

55. Ремизов, Алексей. Собрание сочинений / СПб.: Росток, 2018.

56. Сэр Дуглас Александр был личным другом отца Вл. Диксона и крестным отцом Вильяма.

57. Письма Владимира Диксона Ваните Вагнер хранятся в Amherst College, The Amherst Center for Russian Culture (ACRC). Перевод текста с англ. – публикатора.

58. Дневники хранятся в архивах Amherst College, The Amherst Center for Russian Culture (ACRC). Перевод текста с англ. – публикатора.

Филадельфия

ПИСЬМА ВЛАДИМИРА ДИКСОНА К ЖЕНЕ*

№ 1

12 марта 1925

Реймс (Reims, France)

[Сверху, рукой Диксона] Перед тем, как читать это письмо, помни, как я тебя люблю и что ты моя жена. / Я отправил тебе письмо вчера от 12 числа, но должно быть 11-е.

Любимая,

Если ты где-то есть – то где же ты? Я не припомню, сказал ли я тебе, где я нахожусь. Эту неделю я в Реймсе и вернусь в Париж на несколько дней до 17-го числа этого месяца – после 20-го я должен

* Все письма В. Диксона хранятся в архиве Amherst Center for Russian Culture. Addendum to the Vladimir Dixon Papers. 13 boxes. Печатаются в переводе с английского Елены Дубровиной. Публикатор благодарит Архив за предоставленные материалы.

опять покинуть Париж и, вероятно, не вернусь до середины апреля. Весь этот ад означает только одно: женитьба на тебе определена. Это наиболее сложная ситуация, в которой я оказался, или, вернее, надеялся оказаться. В любом случае, если ты захочешь мне написать или отправить телеграмму, пиши на мой парижский рабочий адрес, добавив на конверте «пожалуйста, передайте», на случай, если они задержат мою корреспонденцию.

Любимая, давай поженимся как можно скорее. Я так ужасно боюсь, что ты передумашь выходить замуж в назначенный день. А я совершенно уверен, что если я не женюсь на тебе скоро – до того, как ты уедешь, – я уже никогда на тебе не женюсь: меня терзает тот факт, что мне придется нести эту тяжесть и дальше. Я постоянно думаю о тебе – когда я не вижу тебя, я беспомощен. Я совершенно забыл, как ты выглядишь, и все твои фотографии я оставил в Париже – специально. Я не хочу смотреть только на твои фотографии, а хочу увидеть тебя плоть и кровь. Мы с тобой самые одинокие люди во всей вселенной! Как бы я хотел, чтобы твоя семья была здесь, с нами. Могу ли я отправить им телеграмму и попросить их поторопиться? Или это будет слишком глупо? Меня не волнует, нравлюсь я им или нет, главное, чтобы они не отговорили тебя стать моей женой. Ты думаешь, что они это сделают? Надеюсь, что нет, в противном случае я буду за тебя бороться. Я знаю, что не должен тебе это писать, потому что, конечно же, это не поможет тебе чувствовать себя лучше.

Мне больше не о чем тебе писать – я не могу тебе писать о красивых цветах, потому что здесь их нет, – или о милых птичках, которых здесь тоже нет. Единственно, о чем я могу тебе честно сказать, это то, что я страстно люблю тебя и я хочу тебя так, как никогда никогда не хотел. В моей любви к тебе нет ничего переслащенного. И если я передам тебе точно, какое чувство я испытываю к тебе, то наше антикриминальное общество меня осудит. Я лучше убью тебя, чем увижу в объятиях другого. Это ревность? Что это? Я не узнаю самого себя. И только когда я с тобой, я почти в мире с окружающим.

Пожалуйста, дай мне знать, когда ты возвращаешься в Париж и где ты остановишься. Понимаешь, ты должна остаться в Париже на месяц, пока мы не поженимся, – в том же самом месте. Я думаю о том, будем ли мы при каждой нашей встрече когда-нибудь вместе больше месяца. Нам нужно с тобой иметь много друзей и знакомых, которые будут тебя развлекать, пока я буду в отъезде, но когда мы вместе, мы будем совершенно одни, если ты, конечно, этого захочешь.

О, да, пожалуйста, напиши мне, если ты когда-нибудь видела или слышала о человеке по имени Джо Милворд из Бостона, он сей-

час в Париже. Пожалуйста, в связи с этим вопросом не думай ни о чем плохом. Я видел его во вторник всего несколько минут, и мне он показался интересным человеком. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ.

На земле лежит снег, совсем немного, но это так радует. Я думаю, что у человека с наиболее черствой душой судорога пробежала бы по всему телу, если бы он услышал такие названия, как Верден, Шато-Тьерри, Седан, Суассон¹. Эти названия больше, чем человеческие, — они сверхчеловечные. И да — всё это так напрасно.

У тебя уже накопилась огромная коллекция моих писем. Если все мои письма к тебе положить рядом — то они достигнут Освего² от Сен-Тропе³. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ.

Вот, черт! Не могу сдержаться, чтобы не поклясться — как крепко я тебя люблю. <...> И странно об этом говорить — но я самый несчастный человек на земле, и всё же я никогда в жизни не был так счастлив. И ты всему причиной.

Но ради Бога, давай поженимся как можно быстрее!

В.

1. Города и регионы Франции, места знаменитых сражений.

2. Город в штате Нью-Йорк.

3. Город на французской Ривьере, 68 км. к западу от Ниццы.

№ 2

6 апреля 1925

Café du Musse

Дорогая,

Пожалуйста, прости меня, я был очень груб. Из-за этого я чувствую себя ужасно плохо. Я не могу понять, как я мог позволить себе быть таким невоспитанным и не понять тебя. Пожалуйста, пожалуйста, прости меня. Я чувствую себя таким виноватым и не нахожу себе прощения. Не вини меня слишком строго. Я постараюсь впредь не раздражаться. По каким-то причинам, которые я не могу объяснить, последние дни, вопреки себе самому, я странно себя чувствовал. Прости меня, дорогая; пожалуйста, прости. Что сделал я твоим глазам — они стали такими глубокими и такими печальными. Я действительно страдаю, когда вспоминаю эту печаль в твоих глазах. Что же я наделал? Как заставил тебя страдать? Твои глаза были так грустны — так прекрасны и так глубоки. И в сердце моем такая печаль оттого, что я причинил тебе боль.

Пожалуйста, прости. Не сердись на меня. Меня так больно ранит, что я причинил тебе боль. Дорогая, верь мне всегда. Не сомневайся во мне. И, прежде всего, не сомневайся в себе самой. Да и почему ты должна? Я никогда тебя не предаю. И я знаю, что и ты никогда не предашь меня. Да и как можешь ты меня предать?

И, пожалуйста, не очень сердись. Иногда я бываю грубым и невыдержанным. Как ни странно, но я приношу боль именно тем, кого я действительно люблю. Таким образом, я так сильно тебя люблю. Я был неправ и вчера, и сегодня – прости меня, пожалуйста. О, дорогая, прости меня, твои глаза были такими печальными. Пожалуйста, не вини меня слишком строго. Дорогая, любимая, – люблю тебя, люблю тебя. Ты всегда была так добра ко мне, добрее, чем кто-либо еще. И я верю всем сердцем, что ты одна во всем мире понимаешь меня лучше, чем кто-то другой: ты видела, как нужны мне любовь и понимание; мне кажется, что ты сразу поняла, как нужны мне и бескомпромиссность, и любовь.

Дорогая, не сердись на меня. Я признаю, что был неправ. Возможно, на какую-то секунду я не был верен тебе, и от этого я страдаю. Но когда ты сказала – и глаза твои были такими глубокими и грустными – что «стоит ли всё этого?», я увидел, как ты любишь меня, и почувствовал себя таким ничтожным, таким ничтожным и как человек, стоящий чего-то, и как личность, потому что я дал тебе повод так думать. Моя самая дорогая, о, моя любовь, прости меня. Я чувствую себя так ужасно, потому что в глазах твоих было столько грусти. Ничего удивительного, что вчера ты была такой далекой. Не будь такой далекой от меня, дорогая, будь со мной терпелива. Будь доброй. Я бы хотел поцеловать твою руку – так же, как я целовал, когда ты стояла одна у окна. Я видел тебя такой одинокой, и я чувствовал себя таким виноватым: я никогда не должен больше заставлять тебя таким образом чувствовать себя одинокой. Это так ужасно – быть одиноким. Большую часть времени я чувствую себя одиноким, поэтому знаю, что это такое. Но когда я наедине с тобой – я не могу позволить себе быть одиноким. Когда я увижу тебя в следующую субботу, постарайся не обижаться на меня. Прости меня, моя любимая. Я причинил тебе боль, и как страшно это осознать. О, моя дорогая девочка-жена, я позволил себе быть слишком гордым, слишком заносчивым. С другими я должен быть гордым, но с тобой, если ты пожелаешь, я буду только твой мальчик, твой слуга. С тобой у меня нет никаких прав. Что бы ты ни дала мне – это подарок, прекрасный подарок.

Конечно же, меня огорчит, если ты с моими так называемыми «друзьями» не будешь чувствовать себя самой собой. Но так как

такое никогда не произойдет, зачем я должен об этом думать? Но мне горестно, когда ты думаешь об этом. Если ты не хочешь никого видеть из-за какого-то страха, то почему я не должен ни с кем встречаться? Но в действительности ты стоишь их всех – с их [Нрзб.] и парадоксами. Они – неискренни, ты же – чистейшее золото. А твоя любовь – такой подарок для меня, она такая необъятная, такая захватывающая.

Если я вчера тебя разочаровал, прости меня. И за то, что был таким эгоистом, – прости.

В.

№ 3

1 июля 1925

Мадрид

Наверное, это безнравственно так сильно тебя любить; сегодня я беспокоился о тебе, так как от тебя не было новостей с тех пор, как мы виделись на П.Л.М.¹ станции. Ожидания так ужасны, так ужасны, – или ты обижена на меня. Не сердись на меня. Я не буду больше об этом писать. И все-таки я не могу писать ни о чем другом, потому что мне больше ничего не надо – только увидеть твои глаза, целовать твои руки, моя любимая.

Что сказать тебе о Мадриде? Особенно нечего. Сегодня я посетил очень бедный район на окраине города; жара была невыносимой; улицы – пыльные, огромное количество детей, и 50% – беременные женщины, которые должны вот-вот родить. Посередине улицы стоял деревянный ящик, размером с твой чемодан, крышка была открыта. Над ящиком летала тысяча мух, а в нем – мертвая рыба, и больше ничего. И выглядело всё это как-то невероятно. Сочетание грязной, освещенной солнцем улицы – женщины, дети, мулы, шары и мертвая рыба в ящике – всё это выглядело сверхъестественно; такое зрелище хорошо подошло бы для «Ада» или рассказов какого-нибудь южного Гофмана. Сейчас вечер, и мне кажется, что только в России были такие нищие.

Я посетил музей Прадо. Картины Эль Греко выше всякой похвалы. Если бы я не был тем, кто я есть, я бы хотел быть Эль Греко. Я бы хотел иметь его глаза: он мог видеть цвета и формы так странно и так необычно. Я уверен, что он так же видел и ангелов, и другие неземные существа. Картины Веласкеса интересны, но слишком обычны; мне надоело смотреть на отвратительную морду Филиппа IV. Картины Гойи хороши. Картина казни – изумительна;

хотел увидеть его гравюры, но они, вероятно, не в Прадо. И – можешь мне поверить! – в Прадо по крайней мере более 150 настоящих работ Рубенса. Мне кажется, что Рубенс был не человеком, а синдикатом женщин! Эта картина трех граций! Поверь мне! Даже Хал Ноелке² – да, даже Ноелке не устоял бы перед их напором. Какие формы!

Писал я мало: в основном ерунду, только одна вещь мне удалась – очень короткая, и слова выливались очень легко. И мне не надо было много исправлять.

Любимая, пожалуйста, пиши. Мой точный адрес: *Compania Singer de Machinas Para Coser. Plaza de las Cortes, #6; Apartado #60. Madrid*. А это расписание моих переездов: пятница и суббота – 3 и 4-го я буду в Валладолид, 5-го в Саламанке, 6-го там же, 7-го в Медине, 8-го в Заморе, 9-го в Сеговии³ и 10-го в Мадриде; ночью уезжаю и прибываю в Париж поздно ночью, в субботу 11-го. Я написал Реконьеру забронировать мне комнату. Когда ты точно будешь знать день своего приезда, пришли мне телеграмму заранее (намного заранее), чтобы я мог сделать необходимые приготовления для нас всех в гостинице «Селект» или где-нибудь еще. Напиши мне в Мадрид во вторник и потом в Париж.

Любимая. Я не пишу тебе больше этого, так как не осмеливаюсь. И снова – люблю тебя, моя дорогая.

В.

Люблю тебя и никогда не подведу. Не сомневайся во мне.
Твой В.

1. Одна из старейших железных дорог Франции – Paris-Lyon-Méditerranée, известная как PLM. Построена в 1857 году.

2. Идентифицировать не удалось.

3. Города в Испании.

№ 4

2 июля 1925

Мадрид

Любимая,

Твое письмо из Милана пришло сегодня. Я был очень рад – это первое письмо, которое я получил, – самое первое, вероятно, потерялось, чем я был огорчен. Я представил себе, что случилось что-то ужасное. Береги себя – если не для себя, то для меня.

С тех пор, как я писал тебе прошлой ночью, ничего не произош-

ло. Я очень устал – от жары и постоянного напряжения понять чужой язык. Прошу прощения, что Милан тебя разочаровал, но надеюсь, что Флоренция тебе понравится; конечно, очень трудно полюбить город, который ты должна увидеть при условии, что будешь вежливой и послушной дочерью. Однако Камерон обычно говорил, что нет необходимости увидеть руины Колизея, если душа такового сама в руинах. Кант никогда не уезжал из Кенигсберга. Когда ты сможешь вернуться в Италию одна (или со мной), ты получишь больше удовольствия.

Я пересылаю тебе письмо – небольшое послание в стихах от писателя Перцова¹:

Драгоценный друг, Владимир Диксон,
Прости, что я тебе так долго не писал,
Но я честнейшим образом искал
Причину честных изменений
(Ведь в них таятся мои счастливейшие думы).
Мир, выбранный тобой, – не прост.
И, часто обращаясь к Богу,
Прошу жену твою благословить.
Ты в этот мир был призван снова,
Иная жизнь тебе дана была.
Будь добр к ней – ведь для тебя ее Он выбрал.
И жизнь ее ты должен разделить.

Я считаю Труслова² великолепным другом, но Перцова я люблю больше. Мои отношения с ним по природе своей очень легкие. Они воздействуют на наши души.

Любимая, ты в порядке? Как я хотел бы быть рядом с тобой. Я так тебя люблю. Так скучаю по тебе по утрам. И всё остальное время. Я так много думаю о нас. Надеюсь, что я буду достоин твоего доверия.

Но я увижу тебя через две недели!
Ты иногда хоть немного думаешь обо мне?
В.
Я люблю тебя

1. Владимир Перцов (будущий выдающийся ученый), Владимир Диксон, и Юрий Рерих учились вместе в Кембридже и входили в один кружок спиритуалистов.

2. Труслов – идентифицировать не удалось.

№ 5

*4 июля 1925**Валладолид¹*

Испанию надо смотреть ночью. Днем улицы показывают свои модернизированные лица, ночью они такие, как раньше, – неприятельные. Полная луна кажется белой на бледно-зеленом небе. Станные тени. Легкий, прохладный ветерок.

Дорогая, люблю тебя. Я любил тебя так крепко сегодня целый день, думая о тебе, с надеждой сделать тебя счастливой. Это такая проблема – но, мне кажется, что я ее почти решил – с Божьей помощью, – я буду достоин твоей любви. Как бы я хотел, чтобы ты была со мной сегодня ночью: я бы хотел почувствовать твои руки на моем лице и быть с тобой в состоянии покоя. Любимая, ты для меня «вдохновение» и самое сокровенное, что у меня есть в мире, и сколько всему я еще должен у тебя научиться. Но ты понимаешь – не так ли? – что я хочу, чтобы ты была всех лучше и всех прекраснее на земле. То же самое ты должна желать и мне. Мы должны оправдать надежды друг друга.

Уже несколько дней, как я по тебе скучаю, только так спокойно сейчас, но будто чего-то не хватает, а понять не могу, чего же. А сегодня целый день все мои мысли только о тебе. Я думал, что еще придется ждать, но сегодня пришло от тебя письмо – второе из Вены. У меня было такое чувство, будто я с тобой разговариваю. Хотя некоторые твои фразы и были немного – совсем чуть-чуть – обидными. Но я ничего не имею против.

Ты можешь ругать меня столько, сколько ты пожелаешь, за то, что я фотографирую пепельницы или столовые приборы всяких сортов, а потом вставляю их в рамки – а я всё равно тебя люблю. Я никогда не думал, что смогу так любить. И еще – есть работа, или предназначение, которое я должен выполнить до того, как умру, и ты должна мне помочь найти, что же это. Может быть, это только предназначение тебя любить. Но ты должна мне помочь. Я принадлежу тебе. И только Бог знает, что будет с нами в будущем, но мы должны жить друг для друга, так как есть еще много всего, что мы должны найти и понять. Жить вместе – как это прекрасно; но есть мелкие раздражения и некоторые небольшие разочарования и смешные детали, которые создают трудности. Мы – живые люди, и оба делаем ошибки.

Единственный путь одержать победу над этими мелкими вещами – это постоянно жить с высокой и сильной верой друг в друга.

Любимая, давай постараемся жить именно так. И, пожалуйста, прости меня, если я причинил тебе боль. Любовь такая странная вещь.

Люблю тебя.

В.

1. Город в Испании.

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ СТИХОВ

Стихи Владимира Диксона хранятся в архиве Amherst Center for Russian Culture. Addendum to the Vladimir Dixon Papers.

* * *

Лицо небес давно туманно,
Мне нет пути к его огням.
Всё, что бесчестно, нежеланно,
Вошло в светлейший древний храм.

Любвеобильно сердце наше,
Но ненависть и горечь в нем:
Не миновала злобы чаша
Наш тайный, наш пречистый дом.

Погибло всё: любовь к молитве
И тишина, и колдовство:
В глазах, привыкших к вечной битве,
Блеснуло с дьяволом родство.

О люди, люди, к землям нашим
Губами грешными прильнем,
Чтоб испросить у древних пашен
Покой, обещанный Христом.

Мадрид, 29.6. 1925

* * *

Это стихотворение, безусловно, написано для Добронравова¹ – не знаю, как для него, но всё же для него, – правда? (В. Д.)

Можно грешить и много падать,
Обманывать и лгать в глаза,
Можно забыть любовь и радость –
Но Пасху позабыть нельзя.

Есть в небе ангельская ласка
Тому, кто в суетной пыли
Внезапно вспомнит: «Нынче Пасха:
Великий праздник всей земли».

И не постигнет осужденье,
Не пересилит пустота
Того, кто вышел в воскресенье
Принять в душе своей Христа.

Шартр, 6.1926

1. Добронравов (Добронравов-Донич) Леонид Михайлович (1887, Кишинев, – 1926, Париж, пох. в Кишиневе), писатель, журналист, юрист. Окончил юридический факультет С.-Петербургского университета. В России печатался в журналах «Исторический вестник», «Заветы», «Современный мир», «Нива», «Огонек» и др. С 1920 г. жил в Кишиневе. Входил в редакцию газеты «Бессарабия». Сотрудничал в румынской периодике. Издал в Кишиневе несколько своих книг. В 1924 г. переехал в Париж. Заведовал литературным отделом еженедельной газеты «Родная земля» (1925–1926), редактировал журнал с таким же названием (1926); печатался в нем под псевдонимом «Ростовский». Работал над романом «Князь века» (не опубликован). Участвовал в работе Бессарабского землячества в Париже.

* * *

Земля трепещет отголосками
Нездешних жизней, дальних лет.
Моя душа в миру расплескана,
Живой воды в ней больше нет.

Дары Господни в мире розданы: –
И человек – в дару и зверь.
Не дал Господь мне дара слезного,
Не часто плачу я теперь.

И все несут свое заветное,
Свой сокровенный, чистый дар –
Ему – подавшему – ответное,
Спасенное от вражьих чар.

Пустую душу, песню старую
Несу я жизненным путем –
И что же Господу я дарую
В тот час последний, судным днем.
22.8.1926

* * *

Кто здесь один, кто здесь печален, –
Не плачь, печальный, не томись:
Хранитель-ангел за плечами
Заколдовал навеки жизнь.

Хранитель-ангел, сторож вечный,
Твой спутник верный, ясный свет –
Над суетою быстройтечной,
Над плачем, над безумьем лет,

Расправил крылья, окрыленный
Творит молитву для тебя, –
Не плачь во тьме, не плачь смущенный,
Проснись, надеясь и любя.

Земля – земным, небесным – небо.
О дне грядущем не томись,
И будет кров, и хватит хлеба,
И ангел заколдует жизнь.

30.7.1926

* * *

Дни нанизаны белыми бусами,
Ночь плетет молчаливый венец, –
Я ж брожу с подлецами и трусами,
Сам в безволье и трус, и подлец.

Здесь дома и дела зачумленные,
Здесь года и мгновенья гниют –

И глаза, суетой утомленные,
И ненужный, безрадостный труд.

Мы – не люди, мы – тени, мы – веянья,
Мы – дыхание тлетворных времен;
Нами правит неправдой взлелеянный
Иступленный, блуждающий сон.

Нам небесная доля обещана,
Нам чудесная доля дана –
Что ж ты плачешь, душа моя вещая,
Что ж ты стонешь, горюешь, больна.

На земле родились мы – греховные,
На земле опочим без огня,
Словно призраки будем бескровные
Ждать последнего вещего дня.

Мы осенними листьями кружимся,
И не знаем, куда нас влечет. –
И сжимается сердце от ужаса,
И кривится от горечи рот.

3.7.1926

* * *

Я слышу там, за горным станом,
Я слышу там, за станом дней
Идет зурна за барабаном,
За ржаньем быстрых лошадей.

Идет народ по горным кряжам –
Чье это племя, чей народ?
Я встал на горах, горным стражем,
Смотря на дальний снег высот.

Я вижу – там – легки долины –
Там длинный день, там ночь длинна,
Там песни плеск неутомимый,
Неутомимая зурна.

Чья эта песня, чьи там люди
И пляски в древних деревнях?
В горах привольно дышат груди
За облаками – в облаках.

Там залегли в пустыне звери,
Над падалью кружит орел,
Там взвешен взор на горной мере,
Измерен долг по мгле скалы.

Идет зурна над пропостями,
По дням отвесным ввысь идет,
Долины дышат облаками –
Чье это племя, чей народ?

3.8.1926.

* * *

Смотрю на синий небосвод
И вижу: в облаках небесных –
Там ангел за руку ведет
Меня по краю туч отвесных.

И там – обрыв, летучий луч,
И каждый шаг – на смертной грани,
Но ангел в слабости могуч,
И путь ему знаком заране.

Крыло – холодным серебром,
Как ранний снег на тихом поле,
И путь по синеве – ребром –
Ведет к высокой вечной воле.

Fecamp, Seine-Inferieure
Нормандия

Публикация – Елена Дубровина

Лариса Вульфина

Художник Борис Арцыбашев

По материалам дневников и писем художника

1918–1919

Нам будет что рассказать друг другу.

Счастья еще так много впереди...

Б. Арцыбашев

У каждого, кто был вынужден сто лет назад покинуть Россию, спасаясь от большевизма, был свой путь к берегам Гудзона. Тысячи людей, брошенных, как песчинки, в беженские волны, сохранили в устной или письменной семейной летописи свою историю «бега». События тех лет выталкивали людей в бездну неизвестности и страха. Кто-то успевал подготовиться, другие (их было большинство) принимали решение в считанные дни, а иногда и часы. Для кого-то Эллис Айленд оказывался островом надежды, для других – островом слез.

Хроники одной из таких «одиссей» хранятся в архиве библиотеки Сиракузского университета. Принадлежат они художнику Борису Арцыбашеву (1899–1965)*. Среди множества графических работ и памятных личных вещей, собранных почти за полвека жизни в США, есть интереснейшие документальные источники, приоткрывающие мало кому известную судьбу сына русского писателя Михаила Арцыбашева. Путевой дневник и письма к безгранично любимой им матери рассказывают, как двадцатилетний студент Харьковской художественной академии оказался в 1919 году сначала в Одессе, потом в Новороссийске и, устроившись матросом на корабль Добровольного флота¹, перебрался в Нью-Йорк, завоевав впоследствии славу одного из лучших американских иллюстраторов XX века.

Пожелтевшие от времени тексты с затухающими чернилами, написанные неразборчивым почерком, читаются сегодня, как захва-

* Архив Б. Арцыбашева / Boris Artzybasheff Papers, Special Collections Research Center, Syracuse University Libraries, хранится в библиотеке Сиракузского университета. В статье обозначен: Boris Artzybasheff Papers. SU Libraries.

тывающий роман. По ходу увлекательного «декодирования» возрастает понимание их безусловной ценности по своему художественному и историческому значению. Ведь в них звучат имена заметных фигур XX века, дается оценка лиц, характеров (хотя иногда и довольно спорная), а конкретные даты прошедших событий, географические названия помогают восполнить неизвестные факты биографии художника, исправить ряд неточностей, закрепившихся уже в российских и западных источниках. К тому же описанные впечатления разнообразно «проиллюстрированы» хорошим литературным языком – несомненно, тут сказались унаследованные от отца писательская наблюдательность, острый глаз и меткое слово.

Не каждый современный читатель знаком с творчеством писателя Михаила Арцыбашева (1878–1927), тогда как во времена Серебряного века каждое новое его произведение становилось событием в литературных кругах. Громкую всемирную славу Арцыбашеву-старшему принес скандальный роман «Санин» (1908). Его сыну Борису тогда было девять лет. Первый и единственный ребенок Михаила и Анны Арцыбашевых родился в Харькове в последний год уходящего девятнадцатого века². Родители Бориса прожили в браке около трех лет и расстались, когда мальчику исполнилось два года³. Сын никогда не был избалован вниманием именитого отца. Еще до его рождения писатель заявил о своем нежелании попадать в «рабство отцовства» и по мере взросления ребенка смотрел на его успехи (литературные и в рисовании) с большим недоверием, заявляя – «если у Бориса действительно есть талант, он должен пройти суровую школу всех талантов». Дефицит отцовской любви старалась восполнить мать Бориса. Анна Васильевна Арцыбашева, не имевшая больше в жизни никого, кто был бы так любим ею, мечтала дать единственному сыну прекрасное образование. В сентябре 1908 года он был определен в Тенишевское училище в Петербурге, где получил начальное художественное образование. В этом привилегированном частном учебном заведении, платном и довольно дорогом, обучение рисованию давалось на высоком уровне.

Закончив в 1918 году полный курс, Б. Арцыбашев вернулся на Украину и в тот же год был зачислен слушателем Киевского коммерческого института. Лето он провел в Харькове и собирался вернуться в Киев к началу занятий⁴. События конца 1918 года (борьба между Директорией УНР, властью, созданной Украинской народной республикой, и режимом гетмана Скоропадского) заставили Арцыбашева-младшего остаться в Харькове. В декабре 1918 года он напишет матери: «...я много рисую, достаю очень хорошие книги по искусствам и еще хочу подать прошение о разрешении мне работать при библиотеке

Харьковского университета. <...> Газетам не верь. В Харькове спокойствие, если не считать событий в Белгороде, но Харькова они не касаются. Говорят, что будут драться большевики и украинцы, но, кажется, что это чепуха... Приезжай сюда, работу найдешь, голодать не будешь. А будем живы, будем путешествовать много и интересно...»⁵ После антигетманского восстания и отречения Скоропадского от власти Арцыбашев принимает решение бежать на юг в надежде соединиться с Белой Армией. За два месяца опасного пути с чужими документами нашему герою пришлось пережить множество самых драматических событий – получить ранение, побывать в плену у большевиков и быть приговоренным к расстрелу, суметь бежать и оказаться в занятой союзническим десантом Одессе. Вероятно, к этому периоду (предположительно конец февраля – начало марта 1919 года) относятся одесские воспоминания из дневника Арцыбашева:

*Помнится, как бродил я по Одесскому порту среди канатов, мешков, бочек, вдыхал запах смолы и рыбы, и конского навоза, слушал крики и ругань разношерстной грязной толпы, покупал у баб жирные оладьи, жаренные тут же на углях посреди мостовой и распротранявшие запах горелого сала. Смотрел, как разгружаются огромные пароходы, как шныряют катера, буксиры, и мечтал, судорожно мечтал стать участником всей этой жизни, уйти, порвать со всем тем, что было у меня до сих пор. (Из дневника Б. Арцыбашева. 13/VI – 15/VI/1919. *)*

В скором времени ему посчастливилось устроиться матросом на пароход Добровольного флота «Владимир». В середине марта 1919 года «Владимир» с грузом, который должен был быть доставлен в Америку⁶, вышел из Одессы. С этого времени все дальнейшие события аккуратно заносились Арцыбашевым в путевой дневник, и теперь у нас есть возможность пройти весь этот путь вместе с нашим героем.

В Новороссийске, пока судно загружалось марганцевой рудой, ему довелось наблюдать, как в порт входили пароход за пароходом, и город стремительно наводнялся беглецами из Одессы. Остатки военного флота прибывали с расхищенными механизмами, без шлюпок, якорей и даже компасов на них. Перегруженные пассажирами корабли часто оставались без команды, разбежавшейся еще до отплытия. За время долгого стояния на рейде заметно поредела и команда «Владимира». Погрузка шла медленно, многие (в первую очередь, со-

* Здесь и в дальнейшем все цитаты приводятся из Дневника, хранящегося в SU Libraries. Boris Artzybasheff Papers.

стоящие в браке) бросали службу, не желая предстоящей долгой разлуки с семьей. Неизвестность порождала самые разнообразные слухи:

Высказывается предположение, что из Америки мы не вернемся сюда, т.к. весь юг займут большевики, а отправят нас во Владивосток для сибирской армии. У кубрика собираются кучками и жарко обсуждают будущее. Пущен слух: команда обманута, не в Нью-Йорк нас посылают, не для торговли, а идем мы в Сибирь и там много тайны, потому что должны мы везти семью бывшего царя или даже самого царя... (18/IV/1919. Новороссийск.)

Дни стояли весенние, погожие, наступили пасхальные праздники. Пестро расцвеченные флагами суда привлекали толпы зевак. «Владимир» ввиду своих размеров и назначения в дальний рейс вызывал у публики особый интерес:

Америка щекочет их воображение. Они (Зеваки. – Л. В.) топчутся по деревянной эстакаде и сплевывают семечки нам на палубу. В общем – скучно. Предаюсь воспоминаниям. Прошлую Пасху я провел в Петрограде. И тогда была тоска, но другая. (21/IV/1919. Новороссийск.)

К сожалению, отсутствие отдельных страниц не всегда позволяет установить точную хронологию событий. Неизвестно, например, когда именно «Владимир» вышел из Новороссийска. Последующая запись относится к 11 мая 1919 года и сделана во время стоянки на рейде Константинополя. Из нее становится известно и о происшествии, случившемся на корабле по вине матроса Арцыбашева. История такова. Накануне экипажу не раз отдавалась команда готовиться к выходу в море, но корабль по каким-то причинам продолжал оставаться в порту. Утром 11 мая отходного флага еще не было, и Арцыбашев решился на самовольную отлучку в город. Побродив по базарам и кривым улочкам Константинополя, заглянув во все мечети, шаркая по коврам огромными туфлями и теряя их постоянно, он сел потом в трамвай, помчавший его за город. Дорога шла через мост и дальше по берегу Босфора. Глядя на корабли, танцующие от ветра вокруг якорей, Борис облегченно вздохнул: «Владимир» всё еще был среди них. Доехав до конца, в том же вагоне он возвращался снова в город.

Кондуктор, когда понял, что я ездил лишь из любознательности, чрезвычайно польщенный, снял феску, широко улыбнулся и сказал «Ми-си!» (11/V/1919. Константинополь.)

Пропажу матроса на «Владимире» заметили, капитан корабля с

нетерпением ждал от вахтенного доклада о его возвращении, о происшедшем было доложено даже агенту Добровольного флота. О том, какое наказание последовало за этот проступок, виновник инцидента умалчивает. В дневнике лишь появилась лаконичная запись:

Нагорело здорово. Отходной флаг уже был, но намок, и я его не заметил. Прокатайся я еще часок по городу и прощай мое путешествие в Америку. (В тот же день.)

В тот же вечер корабль вышел в море и уже следующим утром прошел Дарданеллы. После «милого» Босфора пролив показался угрюмым и даже страшным, у берегов чернели корабельные обломки – немые свидетели кровавой битвы при Галлиполи.

Однообразие голых холмов нарушали лишь укрепления, да и те слишком хорошо замаскированы. Развалины поселков и городков. У берегов останки погибших кораблей. Мы прошли два таких «кладбища». Из воды торчат мачты, трубы и иногда весь кузов, точно тело большого мертвого животного. Один переломался пополам, а другой, натолкнувшись на мину, затонул носом и его корма высоко и нелепо торчит из воды. Ввиду плавучих мин, капитан поставил на бак еще одного «впередсмотрящего», а пассажиры с утра примеряют спасательные пояса и горячо интересуются шлюпками. (12/V/1919)

Шли неделя за неделей. Давно остались позади висящие в воздухе над горизонтом острова Греческого архипелага. Проплывая Мальту, Арцыбашев жадно рассматривал в бинокль развалины храмов, крепость, громадную статую Спасителя с крестом на холме. Решение остаться в Америке принято им сразу же, как только стал известен маршрут следования «Владимира». Впереди открывалась новая, неизвестная жизнь.

Дышится легко, легко и душа прыгает от радости, что трепещет в каждом солнечном блике на сапфировых, изумрудных волнах, на розовато-белой пене, что шипит вдоль корабля. Забираюсь между крыл наших птичек, как зовет капитан двуглавого орла под бушпритом, и лежу на теплом дереве часами...*

Тыкаю пальцем в карту и говорю себе: чувствуй, чувствуй – осуществилось то, о чем ты мечтал и что считал ты лишь мечтою.

Как далеко теперь отлетела киевская моя хандра и одесское помешательство... (28/V/1919)

* Брус, выступающий вперед с носа корабля.

Африка! Волнистая меловая полоса на горизонте. Аф-ри-ка! Я вижу Африку! От нее меня отделяют лишь 10 миль воды. Теплый ветер треплет волосы. Я стою на мостике, полон радости долгожданного свидания. Жадно раздуваю ноздри: «Теперь весь мир будет мой!» (29/V/1919)

Еще в Новороссийске Борис приобрел самоучитель английского и ежедневно усердно занимался. «Английскому языку я учусь и учусь, до отвращения!» – пишет он матери с Гибралтара. В этом же письме он делится и планами на будущее:

Вчера на прелестном дачном пароходике ездили в Испанию. В Алджизерасе предполагался бой быков, и мы все устремились туда, но оказалось, что какой-то там матадор задержался в Мадриде и «Коррида» отложена на неделю. С утра до вечера бродили по городку. Какая это прелесть! Синее небо, ослепительно белые улицы, солдаты из «Кармен», ослики, рой чумазных мальчишек за нами. Попали в какой-то кабачок, смотрели танцы, высокие шляпы, [неразборчиво], и пили малагу из бочонка <...> Пересекли залитую солнцем площадь и попали в полутемную церковь, оттуда – в королевский парк. Пальмы, растущие здесь, и не только в парках, приводят меня в экстаз!*

Мамочка, я только теперь вижу, как мы ничтожны своей нищетой, стрельбой на городских улицах, партийными сборами и прочей мерзостью... Я вижу, как мы поглупели от постоянной мысли о еде и элементарной безопасности. Необходимо учиться, учиться и видеть – много, много и еще. Мне удалось выбраться из России, и я сделаю всё, чтобы не потерять времени даром. Другого случая ждать долго. Меня всё больше и больше захватывает желание остаться на год-полтора в Америке или где-нибудь еще. Ты на меня не сердись: ведь всё равно же ты собиралась дать мне возможность ехать учиться в Париж. Через полтора года или год я вернусь в Россию, многому научившись и сделавшись мужчиной и человеком. Окончательное решение я откладываю на время месячной стоянки «Владимира» в Нью-Йорке. Тогда я выясню относительно возможности устроиться и о том, возможно ли будет возвратиться в Россию, когда я захочу. Очень возможно, что я вернусь обратно на «Владимир», если же нет, то сообщи тебе через него о своих планах. Тебе желаю видеть много нового и хорошего. Хорошо, если бы тебе удалось попутешествовать и вернуться в Россию. Помни: Харьков – сборный пункт. Не пропади, моя родненькая. Право, нам будет что рассказать друг другу. Счастья

* Альхесирас (Algeciras) – порт в Испании.

еще так много впереди... (Из письма Б. Арцыбашева к матери, отправленного с «Владимира». 02/06/1919. Гибралтар)

Письма к матери передавались в Константинополь с почтой митрополита Платона, плившего тем же пароходом. За время долгого пути митрополит очень сдружился с сыном известного писателя⁷. В дневнике рассказывается, как в отсутствие флотского священника по воскресеньям митрополит служил обедню и как специально для корабельной молитвы из матросов и пассажиров был составлен хор певчих.

Грустными и сиротливыми кажутся знакомые, певучие слова здесь, у берегов Африки, оторванные от прохладного полумрака церкви, тусклых ликов, огоньков и от запахов ладана... Служба производила впечатление даже на самых отчаянных безбожников, может быть, как напоминание о Родине, покинутой надолго... (Из дневника Б. Арцыбашева. 29/V – 02/VI/1919)

Прошли мимо Азорских островов. <...> Сегодня канун Троицы. Освещенный заходящим солнцем, балансируя на качающейся палубе, митрополит говорил проповедь. Говорил он о Родине, о большевиках, о своей вере в торжество справедливости... Его борода, как и кучка людей на палубе, и весь пароход были красными в красном свете... В чудовищном, немыслимо большом океане ползет кораблик. <...> Горсточка людей хочет переплыть океан. На их родине рухнуло всё, что казалось необходимым как воздух и незыблемым. Рухнуло! Плывет с ними уважаемый старец, их патриарх. Быть может его, седого, скорее выслушают живущие за океаном богатые и сильные, и не помогут ли в беде? (07/VI/1919)

На этом же пароходе плыл в Америку и известный уже тогда российский скульптор Глеб Дерюжинский. С наступлением большевиков он бежал из крымского имения князя Юсупова в Новороссийск и так же, как и Арцыбашев, нанялся матросом на «Владимир»⁸. В обязанности скульптора, получившего большую известность в аристократических кругах дореволюционной России, входили замеры воды в трюмах и дежурство на вахте. В свободное время он рисовал и даже лепил⁹. Дружбы между художниками, судя по всему, не сложилось. Имя Дерюжинского в записях Арцыбашева звучит всякий раз с явным оттенком необъяснимой обиды. Настоящие причины неприязненного отношения к известному скульптору не раскрываются и неизвестно, что конкретно вызывало у Арцыбашева такое странное чувство ревности, близкое к зависти. С нескрываемой иронией он будет потом много раз цитировать и услышанную однажды от Дерюжинского фразу: «Одно утешает и поддерживает меня – это то,

что всё перенесенное мной теперь прибавит одну прекрасную страницу к моей биографии» (Из дневника Б. Арцыбашева. 14/VI/1919)

К середине июня «Владимир», минув Азорские острова, возьмет курс прямо на Нью-Йорк.

Встречных кораблей нет, записывать нечего... Публика скучает. Сплетни и флирты – единственные развлечения для пассажиров. Время идет от вахты и до вахты¹⁰. Не высыпаюсь. (13/VI/1919)

Пятнадцатого июня «Владимир» вошел в Гольфстрим. Из-за густого тумана капитан не ложился спать и не сходил с мостика. Пароход шел тихим ходом, а иногда и стопорился, т.к. не было уверенности в правильности курса. Всё внимание присутствующих на мостике было обращено в слух. Вахтенный Арцыбашев каждые две минуты тянул за проволоку от свистка, и тогда труба обволакивалась белым паром и воздух дрожал от оглушительного, неприятного рева. Первый пароход с тиснением «Нью-Йорк» на якоре встретился лишь через трое суток. С помощью Дерюжинского, оказывавшего команде услуги переводчика, удалось узнать курс, и «Владимир» смело направился к берегам Гудзона. Проплывая мимо множества судов у плавучего маяка в тумане, корабль, наконец, вошел в устье. Сквозь рассеивающийся туман с палубы вдали были видны небоскребы, яхты, буксиры, паромы, освещенная в сумерках прожекторами статуя Свободы.

На следующее утро три буксира втягивают наш пароход в какую-то мышиную щель для разгрузки. Два оборванца глазят на «Владимир». Испитые, опухшие рожки, грязное тряпье. Я думаю: «Ага, и здесь есть такие, как у нас»... И я слышу родную речь – один дергает другого: «Долго еще ты, ..., будешь буркала пялить... Ну что ж, что из России, сволочь...» (19/VI/1919)

Когда корабль встал на якорь в Бруклине, Арцыбашев вместе со своим напарником Леонидом Раабом¹¹, с которым он очень сдружился, объявили о своем желании остаться в Америке. Капитан Титов¹², ответственный за каждого члена экипажа перед Добровольным флотом, категорически отказывался дать на это согласие. Арцыбашев и Рааб предлагали списать их «хотя бы за дурное поведение», но капитан был неумолим, грозился заявить консулу и уверял матросов, что их посадят в тюрьму, а потом депортируют в Россию. После встречи с капитаном в дневник записывается следующий диалог:

– Но поймите, господин капитан, нам нет расчета возвращаться в Россию.

– Ну, а Доб[ровольному] флоту нет расчета перевозить безбилетных эмигрантов, платить им жалование и кормить их.

– Но мы работали!

– Многие согласятся работать, чтобы удрать из России!

(22/VI – 18/ VII/1919)

Разрешить конфликт помогли старший помощник и жена капитана. Им удалось уговорить Титова выдать расчет и следующим утром молодых людей отправили на Ellis Island для допроса, после которого они надеялись получить согласие оставить их в Америке.

Без вещей и напутствуемые наилучшими пожеланиями команды сходим в «новую жизнь». Проносимся в трамвае по грязному Бруклину до пароходика, на пароходике до парома, а паром уже доставляет нас в чистилище, которым для всех приезжающих из-за границы служит этот островок Ellis. (22/VI – 18/ VII/1919)

Вместе с Арцыбашевым и его приятелем Раабом на острове оказались еще несколько человек – Дерюжинский, жена и дочь полковника Юревича¹³ и попутчик по фамилии Афанасьев¹⁴.

Вводят нас в большую комнату, где старичок, похожий на судебного пристава, жестом велит нам сесть на одну из длинных скамей, стоящих рядом. Перед нами возвышалось нечто вроде эстрады или эшафота с внушительным зеленым столом. Видимо, для красоты на стенах две великолепные гравюры: одна изображает развалины Парфенона, а другая – грозные пушки американского броненосца.

За нами входит итальянское семейство: папа (толстый, неуклюжий, в просторном летнем костюме, лицо не умное (Sic), колечками усы и преувеличенные бриллианты на руках и в галстук), мама (такая же толстая) и шесть деток разной величины. Все долго рассказываются, всорятся, и старичок отчаянно шипит на них. Кроме этой семьи входит и садится тощая дама. У нее в руках клетка с парой попугаев-неразлучек. Наконец, всё успокаивается и входит суд. Их шестеро, они садятся: Боже ты мой, что за рожи! Председатель похож на рыкающего льва, немного, правда, попорченного молью, но всё же грозного и величественного. Слева от него блещит голым черепом секретарь. Он распластался над бумагами и смотрит в них левым глазом и ноздрей. Двое кладут немедленно ноги на барьер, окружающий эстраду, и на всё время суда углубляются в газеты. Пятый делит свое внимание поровну: между содержимым носа и происходящим вокруг, а шестой, толстый, экспансивный итальянец-переводчик. Он волнуется и кричит на итальянцев, кото-

рых вызывают на допрос раньше нас. Те защищаются храбро. Над всем этим хрипло урчит бас председателя. Этот суд, допрос, гравюры на стенах, всё это очень смешно, но тогда волновались мы очень. Наконец наступает наш черед предстать перед судом, и вдруг суд поднимается и величественно уходит. Сегодня кончился час их труда, и допросят нас они лишь завтра. Вернуться на пароход не позволяют, и мы должны ночевать здесь... Мы отправляемся в столовую <...> Обед сытный, гигиеничный и поразительно невкусный. К нашей радости толстый, розовый повар заговорил с нами на ужасном русском языке. Оказывается, что в этом учреждении многие мелкие служащие – поляки <...> Пообедали мы и сразу повеселели, приободрились. Под наблюдением отправились туда, где нам предстояло ждать решения нашей участи. Это оказалось залом, похожим на зал большого вокзала <...> Боже, сколько племен и рас собралось здесь! Китайцы и негры, японцы и малайцы, индусы и представители всех наций Америки и Европы обступили нас, смущенных, и рассматривали, жестикулировали и галдели на всех языках. Сквозь эту толпу нам навстречу продирался Дерюжинский, перепуганный и расстроенный; он был бледен и его котелок сбился на сторону. Не знаю, как это вышло, но он попал в этот зал минуты на две раньше нас и решил поэтому, что он отделен от нас и будет один сидеть в этом зверинце. И так он был забавен в своем испуге, что я пожалел о фотографическом аппарате: я бы снял его среди негров. Мы решили занять самый дальний угол. Там сидел человек, который резко выделялся в этой разношерстной толпе. Изящный костюм, безукоризненный причес и умное, породистое лицо. У него высокий лоб, живые, насмешливые глаза. Дерюжинский со свойственной ему общительностью моментально знакомится с ним, и через минуту они уже оживленно болтают по-французски. Новый знакомый – бельгиец. Дерюжинский в восторге от него. Он засыпает его снимками своих работ, именами сиятельных знакомых и заказчиков. И, о радость, у них есть общий друг в Париже. И я рад за Дерюжинского: теперь у него одним сиятельным другом больше – этот новый оказывается маркизом. Маркиз сидит здесь несколько дней... На этом Ellis Island'e (который иначе зовется «островом слез») должны сидеть все, кого почему-либо не могли сразу пустить в С[оединенные] Штаты и чья судьба еще решается в разных институтах, а также и те, кого высылают за разные художества из Америки. Вот этими-то, последними, и наполнен зал, в котором теперь находимся мы и маркиз. Эти, действительно подчас очень несимпатичные физиономии, и напугали так сильно Дерюжинского.

Необыкновенно комичное зрелище представляет Дерюжинский, когда нас в 9 часов ведут всех спать: уже устроились все, и наступи-

ла тишина, а он, не снимая котелка, со своим чемоданчиком, как некая тень бродит между коек. На лице его написана страдальческая брезгливость. Он пуце смерти боится смешаться «с этой сволочью» и не знает, как избежать близости их... Наконец он ложится и мостит под голову свой чемоданчик, чтобы его не украли... (22/VI/1919)

На другой день утром нас снова везут на допрос <...> Делаю интеллигентное лицо, чтобы меня не приняли за большевика. Переводчик говорит: «Поднимайте правую руку и скажите – клянусь, что буду говорить только то, что правда». После вопросов об имени, возрасте и семейном положении меня спрашивают: Какова моя профессия? Чем думаю зарабатывать в Америке? Сколько у меня денег? (я называю им 9 долларов, 150 рублей, 5 франков и 10 турецких пиастров)... Кто мой отец и где он? Сколько лет ему и матери? Где мать? Когда я последний раз виделся с ними? К какой политической партии я принадлежу?.. Я припоминаю, как называется строй Соединенных Штатов, и храбро отвечаю «Демократической Республике». «А как долго собираетесь остаться в Америке?» – «Я хочу стать гражданином Соединенных Штатов!» – «А какой город вы выберете для жительства?» – «Нью-Йорк.» Задается еще несколько разнообразных вопросов, и на каждый в ответ я слышу «All right». Я начинаю чувствовать себя победителем и бодро смотрю на судей. (23/VI/1919)

Но надежда на скорое разрешение вопроса была разбита торжественной фразой переводчика: «Вас не пускают в Америку, вы должны ехать в Россию». Никто из сошедших с «Владимира» не получил в тот день разрешения на въезд в Новый Свет. Главным аргументом отказа было отсутствие родственников и денег. Рааб и Дерюжинский – по той же причине, что и Арцыбашев. Неудовлетворительные ответы дали на интервью Юревичи и Афанасьевы. Всех «приговорили» к отправке на родину тем же пароходом, но позже категоричный отказ заменили позволением подать апелляцию в Вашингтон.

Больше всех скулил Дерюжинский: он так любил мечтать о том, как он устроит свое ателье, и в каком углу будет стоять пианино, а теперь!.. Действительно, судьба играет человеком. (22/VI – 18/VII/1919)

Потянулись скучные дни ожидания; без вещей, без книг, время ползло долго. На обед их собирали в большом зале, где вдоль стола, покрытого белой бумагой, двумя пестрыми рядами рассаживались люди всех оттенков кожи, галдящие на разных языках; они ссорились

из-за лучших кусков. После обеда всех выводили на двухчасовую прогулку в маленький внутренний дворик с раскаленным на солнце асфальтом, в девять вечера сначала считали и уводили женщин, потом разводили по спальням мужчин. Каждая спальня вмещала 35-40 коек. Прошла неделя, и вскоре случилось неожиданное – всех перевели в особое помещение для лиц, приплывших в США I-м классом. Оно было с теми же массивными решетками на окнах, но светлое и просторное, с высоким потолком, превосходными кроватями и чистым бельем. Как потом оказалось, это был результат постоянной заботы митрополита Платона и Русского консульства.

Дерюжинского тогда уже не было – его выпустили. Видимо друзья, которых он бомбардировал письмами, хлопотали о нем в Вашингтоне. Он исчез, но, право, мы не особенно жалели об этом. В течение трех, четырех дней ушли на свободу Афанасьев и обе Юревич. С последними прощание было трогательным. Порешили на том, что они приложат все усилия, чтобы выволить нас, а пока они обе будут навещать нас через день, два. (23/VI/1919)

На этом заметки о пребывании на острове Ellis Island обрываются. Об освобождении Арцыбашева с Эллис Айленда и о первых месяцах жизни в Нью-Йорке расскажут переписка с матерью и последние дневниковые записи, датированные мартом 1920 года.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В архиве Арцыбашева сохранились документы о зачислении его матросом на пароход Добровольного флота «Владимир» в 1919 году. Добровольный флот функционировал в России до 1922 года. В Гражданскую войну в период с 1918 по 1922 гг. пароходы ДФ использовались для эвакуации Добровольческой армии из Крыма и из Владивостока. После 1922 года оставшиеся в России пароходы ДФ были национализированы.
2. Анна Васильевна Арцыбашева (урожденная Кобушко, 1879–1921). В 1919 году покинула Россию, скончалась в Константинополе 15 июля 1921 года.
3. Хотя М. П. Арцыбашев впоследствии был дважды женат, по документам А. В. Арцыбашева все годы продолжала значиться женой писателя. В письмах к сыну она неоднократно называла себя иронично «соломенной вдовой».
4. Из письма к матери, находившейся тогда уже в Киеве: «Милая мамочка, получил твое письмо с пожеланием скорейшего приезда. Я сам хочу ехать, хоть мне здесь и очень хорошо. Ехать необходимо, т. к. скоро призыв, во-вторых, возможно, что в ближайшие дни будет воспрещен въезд в Киев». (Письмо Б. Арцыбашева к матери. 28/10/1918. Boris Artzybasheff Papers. SU Libraries)
5. Письмо Б. Арцыбашева к матери. 14/12/1918. SU Libraries. Boris Artzybasheff Papers.

6. Борис Арцыбашев был взят на «Владимир» штурманским учеником 14 марта 1919 года. В некоторых источниках ошибочно пишется, что до Америки Арцыбашев добирался через Цейлон. Первоначально действительно предполагалось, что судно будет следовать на Цейлон, но позже «Владимир» изменил курс на Нью-Йорк.

7. Митрополит Платон (в миру Порфирий Федорович Рождественский, 1866–1934). С 1918 года митрополит Одесский и Херсонский. С 1922 г. митрополит Америки и Канады. За месяц до отправки «Владимира» митрополит Платон встречался в Константинополе с вдовствующей императрицей Марией Федоровной. В ее дневниках сохранилась запись от 16 апреля 1919 года, когда крейсер «Мальборо» с императорской семьей стоял на рейде Константинополя: «После завтрака я приняла еще митрополита Платона, которого французы *изгнали* из Одессы». (Дневники императрицы Марии Федоровны (1914–1920, 1923 гг.)/ М., 2005. С. 326. Из письма А. В. Арцыбашевой к сыну (Константинополь, предположительно декабрь 1919 года): «На днях проездом в Одессу здесь (в Константинополе. – Л. В.) был митрополит Платон. Он так хорошо отзывается о тебе. Просто в восторге от тебя. Много раз повторял: ‘Ах, как он мне нравится!’ , и меня похвалил, что я так хорошо тебя воспитала».

8. Подробнее о пребывании Г. В. Дерюжинского в Крыму в 1919 г. см. в воспоминаниях скульптора, опубликованных в «Новом Журнале» (№ 179, 1990).

9. Здесь будет интересно привести воспоминания, опубликованные в журнале «Наше наследие», Ирины Владимировны Нарышкиной-Булацель (1924–2013), друга Глеба Владимировича Дерюжинского и его супруги Натальи Семеновны (урожденной Резниковой), хранительницы семейного архива и наследия скульптора: «Как и положено, Глеб часами стоял на вахте, а в свободное время лепил. Он не имел ни паспорта, ни денег, но сумел сохранить инструменты и захватил с собой на корабль немного глины. По просьбе московского купца П. И. Морозова, плывшего тем же пароходом, он вылепил с газетной фотографии небольшой бюст генерала Корнилова. Ни страха, ни сомнений не было в его душе...» / *Ирина Нарышкина-Булацель*. Американский скульптор Глеб Дерюжинский // Наше наследие. № 74, 2005. С. 89.

10. Во время вахтенной смены матросам приходилось стоять четыре часа на мостике и четыре на баке.

11. Леонид Рааб – сын военного врача из Новороссийска.

12. Титов Александр Федорович (1870–?), капитан 1-го ранга; командир броненосного крейсера «Громобой» во время Первой мировой войны. Дальнейшая судьба неизвестна.

13. Возможно, речь идет о семье Всеволода Юревича, брата известного русского бактериолога Вадима Александровича Юревича (1872–1963).

14. Личность Афанасьева установить не удалось. В дневниковых записях его инициалы не указаны и других сведений не сообщается.

1919–1921. ПЕРЕПИСКА С МАТЕРЬЮ

Мне удалось выбраться из России,
и я сделаю всё, чтобы не потерять времени даром...

Б. Арцыбашев

Переписка художника с его матерью Анной Арцыбашевой ранее не публиковалась. Эти ценные документальные источники помогли высветить самый начальный период становления Арцыбашева в эмиграции (1919–1921). Этот отрезок жизни художника исследован искусствоведами, биографами, источниковедами значительно меньше последующего периода бурной творческой активности художника. Значимость корреспонденции заключается и в том, что в архиве Арцыбашева сохранились не только письма матери, но и его ответные письма, переданные ему после ее смерти. Двусторонняя переписка раскрывает бесконечно нежные отношения матери и сына, рассказывает о сложностях в общении с отцом, помогает представить и понять ту обстановку, в которой происходили многие события жизни каждого из них.

Мать Бориса бежала от красных из Киева и прорывалась к белому Югу в 1919 году. Оказавшись в Константинополе, когда Бориса там уже не было, она устроилась работать на Русскую Морскую базу, наладила со временем связь с сыном и жила с тех пор лишь одной надеждой: поскорее перебраться к сыну в Новый Свет. Но на долю Анны Арцыбашевой выпало закончить свою жизнь на берегах Босфора. Борис отчаянно предпринимал всё, что было в его силах, для скорейшего решения вопроса с визой, документы были уже собраны, оставались формальности, но процесс воссоединения вдруг был остановлен из-за анонимного письма, отправленного неизвестным «доброжелателем» в Русское консульство в Вашингтоне. В этом клеветническом пасквиле сообщалось о безнравственном содержании «Санина», об аморальности автора романа и членов его семьи. «Труда опровергнуть это не составило большого, но чувство было такое, что кто-то в самый мозг плюнул», – писал Борис матери в письме от 7 июля 1921 года. Начавшиеся разбирательства длились недолго, виза была, наконец, получена, но Анна Арцыбашева не смогла оправиться от такого подлого удара, с ней случилась нервная болезнь, в июле 1921 года она скончалась от разрыва сердца¹. К сожалению, ей не судено было радоваться успехам сына, в которого она всегда так верила. Уже через год он начнет получать театральные заказы от известных сценографов, в 1926 году получит американское гражданство, в 1930-м женится на американке Элизабет Шнайдер. Одновременно с работой

в крупных коммерческих проектах художник оформит около пятидесяти книг и будет награжден самыми престижными премиями в области книжной иллюстрации.

За неполные четверть века (1941–1965) Борис Арцыбашев создаст более двухсот обложек для журнала «Time» и получит славу выдающегося портретиста со сверхъестественной способностью определять характер человека по фотографии. Гротескные антифашистские рисунки Арцыбашева публиковали в годы Второй мировой войны крупнейшие американские издания. Обещание, прозвучавшее в одном из писем к матери, оказалось поистине providentialным: «Мне удалось выбраться из России, и я сделаю всё, чтобы не потратить времени даром... И если годы, которые я проведу вне России, принесут мне то, что я хочу от них, – я пригжусь России более, нежели мешок, на который можно истратить лишнюю пулю».

Все письма хранятся в Syracuse University Libraries, Boris Artzybasheff Papers. Автор выражает благодарность за помощь в подготовке материала сотрудникам архива библиотеки университета.

1. 28 декабря 1920 года Б. Арцыбашев получил письмо о том, что его мать слегла с сильным нервным расстройством. Причина заболевания не была установлена, но толчком послужило какое-то известие, полученное накануне болезни. И даже новость о получении долгожданной визы в Америку не вывела ее из состояния глубочайшей депрессии и наступившего вдруг полного равнодушия. После попытки покончить собой той же ночью она была отправлена на лечение во французский госпиталь. Об этом сообщила ее подруга и коллега по службе на Морской Базе Елена Чашинская, принявшая на себя все заботы об Анне Арцыбашевой. О смерти матери Б. Арцыбашев узнал от О. В. Бернацкой из письма от 8 августа 1921 года, отправленного из Парижа. В нем сообщалось, что его мать скончалась 15 июля 1921 года от разрыва сердца. В этом же письме сообщалось, что Е. Чашинская просит Бернацких переслать Арцыбашеву его письма к матери.

А. В. АРЦЫБАШЕВА К СЫНУ

[Предположительно декабрь 1919]

Константинополь – Нью-Йорк

Russian Naval Base at Constantinople

Missus A.V. Artzibacheff

Получил ли ты хоть одно из моих писем и знаешь ли что-нибудь обо мне – хотя бы то, что я живу в Константинополе, служу и т. д. Вероятно, ты думаешь, что я уехала во Владивосток <...> Живу я

ничего, вполне сносно. Имею миленькую комнатку. Хожу на службу, занимаюсь изучением французского и английского языков, мечтаю о поездке далеко-далеко в Новый Свет, хотя и не в скором времени, а когда буду знать немного язык и приобрету некоторое количество фунтов и долларов <...> Ольга Михайл[овна] жива, здорова, занимается рисованием и преподаванием его¹.

1. Бернацкая-Савич Ольга Михайловна (1899, Киев. – 1971, Париж), дочь Бернацкого Михаила Владимировича, министра финансов Временного правительства. В 1920 году эвакуировалась с семьей из Новороссийска в Константинополь (отец остался в Новороссийске). Бернацкие дружили с Анной Арцыбашевой, опекали ее в Константинополе и всячески помогали решить вопрос с визой. С 1921 года Бернацкие поселились в Париже.

БОРИС АРЦЫБАШЕВ К МАТЕРИ

28/1/1920

Нью-Йорк

Милая моя мамочка! Сегодня получил первое твое письмо. Это то, которое ты послала на Рождество (число не написала) на Русское Консульство в Нью-Йорке... теперь я знаю, ты жива и тебе можно писать. Пиши, кисонька моя, много, много о себе и посылай по почте <...>. Я рад, что выдержал ту школу или экзамен, которым были мои первые дни здесь. Я начал, как полагается всем начинать в Америке: с тяжелого труда и ничтожного заработка. Конечно, во многом мне помогает случай и доброе отцовское имя, которое, как некий талисман, хранит меня. Расскажу тебе вкратце по порядку всю мою американскую «биографию»... Первую часть ты, наверное, знаешь от митрополита (Платона. – Л. В.). Когда пароход пришел в Нью-Йорк, мы (я и мой товарищ, о котором расскажу дальше) первые официально заявили о своем желании остаться в Америке эмиграционным властям. За нашу «законность», видимо, нас упеки на 28 дней на эмиграционный островок около Нью-Йорка для наведения о нас справок и прочего. Так как весь наш капитал исчерпывался несколькими долларами, 5 франками и 10 пиастрами, и у нас не было родных и знакомых, которые могли бы взять нас под свое покровительство, нас «приговорили» к отправке на родину на нашем же «Владимире». Представляешь наше настроение: сидеть за решеткой месяц и ждать отхода парохода, на который нас должны были доставить на моторной лодке за два, три часа до его отплытия. Пароход разгружался, чинился и нагружался, а мы сидели под замком и бесились. Подумать только – уехать из

Америки, не побывав даже часа в Нью-Йорке, дымный силуэт которого видели мы только издали с нашего острова. Видели так же с острова затылок пресловутой статуи Свободы, что казалось нам очень знаменательным. Освободили нас неожиданно, так, что мы даже не верили, думая, что над нами смеются. Оказывается, за нас энергично хлопотали Митрополит, Русское Консульство, Морозов и многие другие, о чем мы совершенно не знали, думая, что о нас забыли наши друзья.

<...> Не буду очень распространяться о первом впечатлении от Нью-Йорка. Он ошеломил нас совершенно. Вообще он должен ошеломить всякого россиянина, ну а россиянина, просидевшего месяц в тиши уединения, – представляешь? Прямо как бараны ходили. Казалось, что нас, бедных, сомнут, раздавят, рекламы ослепили, подземные и воздушные дороги оглушили и перепугали своей скоростью... Потом попривыкли, излазили все 50-е этажи небоскребов, слезили на маковку статуи Свободы (которая оказалась теперь более приветливой). Словом, как и подобает диким россиянам, оббегали всё и всему поудивлялись. А тем временем наши первые американские друзья, когда-нибудь расскажу о них много курьезов, устроили нас на работу: Леонид (мой друг) уехал на железоделательный завод около Нью-Йорка, а я попал рисовальщиком в компанию, которая делает рекламы. Работал я там с 8 утра и до половины шестого вечера с ½ часовым перерывом на обед (совсем тут не такой рай для рабочего, как думают наши пентюхи). Сидел, не разгибая спины, и рисовал буквы. Объяснялся на непонятном языке, т. к. ни один человек порусски не говорил. Получал 15 долларов в неделю, столько, сколько нужно, чтобы заплатить за комнату... Так работал 1½ месяца. Нужно еще прибавить, что все мои рисунки (из России) были украдены на пароходе во время моего сидения на острове, а без рисунков никто не верил, что я умею рисовать (кстати сказать, на днях я напал на след моих рисунков и быть может смогу их вернуть). С этими рисунками тоже целая эпопея: человек, укравший их, назвался моим именем и их автором, и даже дал интервью в газеты. За это время познакомился с одним русским художником¹, жена которого (занятное совпадение), Елена Львовна, оказалась сестрой Книжникова Константина (Кулики, Музыкальная Драма)². Она помнит тебя и меня маленьким. Необыкновенно милая пара (бываю у них часто). Он достал для меня настоящий «рисовальный» заказ. Познакомил с людьми, и я бросил мою «компанию». Бросил я эту компанию, но все-таки две недели еще работал как маляр, красил и оклеивал обоями чужую, не мою, квартиру, а за это время дома сделал графический рисунок (всё как надо: маркиз и маркиза, и собачка, и звезды), рисунок понравился и

дело пошло. Работаю теперь в одной из больших нью-йоркских газет³. В каждом письме буду посылать тебе фотографию или отпечаток моей работы... Работаю почти исключительно для продажи, на заказ. Всё это рекламы или иллюстрации. Лучше всего оплачивается первое. Сейчас эту неделю работаю над плакатом для одной из самых больших американских кинематографических фирм (знай наших!), получить должен 300 долларов. Недостатка в работе нет. Всегда что-нибудь ждет, так что жить можно. Но, конечно, это не удовлетворяет, хочется искусства, работы для себя... Оставаться жить в Америке, конечно, нельзя, это смерть. Искусство и литература стоят на самой первобытной ступени. Вся жизнь этого народа направлена в сторону заработка (о человеке прямо так и говорят: «О, он очень хороший человек, он стоит столько-то»), семейной жизни (чтобы все бэби были толстыми) и в сторону очень невысокого качества развлечений. Победа какой-либо спортивной партии производит в газетах шумиху не меньше, чем переворот в жизни Европы... Народ богатый, сытый и грубый и, в то же время, необыкновенно похожий на детей. Русское искусство, особенно музыка, ценится здесь очень высоко. Чайковского знают все, в кинематографах, которые здесь не хуже храмов, постоянно слышишь русских композиторов: Глинку, Глазунова, Ипполитова-Иванова и др. Рахманинов (он здесь) делает чудовищные сборы своими концертами. Россия для интеллигентов – Мекка искусства, а для широкой публики – синоним чего-то немного жуткого и интересного, экзотического, журналы и кинематограф полны рассказами о страшной и непонятной жизни страны, где все женщины прекрасны, а у мужчин бороды до пояса. Клюква цветет всюю.

Отца моего знают очень хорошо. «Санин» наделал здесь массу шума. (От отца получил сведения, что он жив, здоров был полтора месяца назад и чувствовал себя недурно. Да за него я спокоен – не пропадет)⁴.

Расскажу теперь тебе о Леониде. Моя жизнь теперь всё время связана с его. Зовут его Л. Викт. Рааб. Он сын военного врача. Семья его сейчас в Новороссийске или около. Служил он на «Владимире» матросом с целью ехать в Америку учиться, как он думал тогда. Он хотел поступить в университет, т. к. Россия плохое место сейчас для продолжения образования. Коренастый блондин, сильный еще более после работы на заводе, характера мягкого, но упорного. Очень недурной музыкант. А главное, большая умница. Полюбил я его за эти 7 месяцев очень. Вероятно, и дальнейшая наша жизнь будет протекать вместе... Он, Леонид, давно бросил свой завод и теперь состоит преподавателем Русского Народного университета (есть такой). Да и музыка помогает ему. Живем в центре города, в отеле... Переменили в Нью-Йорке три

квартиры и каждый раз на лучшие (это хорошо). Знакомых тьма, но ходить к ним некогда. Очень сошелся с м-м Стриндберг (вдовой писателя моего любимого)⁵. Это первая моя дружба по-английски, на «непонятном» языке, как английский у нас называется.

<...> Вспоминаю свое киевское и одесское уныние как тяжелый сон. Хочется красок, солнца. Как только придет весна, ринемся в путешествие по Америке или еще дальше. А то этак и жениться скоро захочется, совсем «хорошим человеком» стать. Лучше взять от Америки то, что она может дать, доллары, и стрелнуть в новые края. Увидеть весь мир, впитать в себя все пальмы и всех крокодилов и вернуться в Россию, и уж там стать порядочным, то есть взяться за искусство. А пока чувствую себя какой-то ненасытной губкой: так вот весь мир бы и выпил! Тоски по родине не чувствую. Если бы можно было перенести куда я захочу 5 человек, я был бы совсем счастлив, под любой пальмой Мексиканского залива...

Пиши же, родненькая. О моих работах не тоскуй, всё чепуха. А хорошие будут, когда я кончу мое «путешествие кругом света без гроша в кармане».

Твой Борис

1. Василий Васильевич Трусов, художник-оформитель (? – 1974, Коннектикут, США). В 1910-е годы учился в московской студии Константина Юона. После революции эмигрировал в Америку, создавал декорации для театра Метрополитен Опера.

2. Книжников Константин Львович (1883–1952), оперный певец, в 1912–1916 гг. выступал в Петербургском Театре музыкальной драмы. В 1916–1929 гг. пел в различных оперных театрах Советской России, в 1929–1946 гг. – солист Азербайджанского Театра оперы и балета.

3. Газета The New York World издавалась с 1860-го до 1931 года. Рисунок, о котором пишет в письме Борис Арцыбашев, был опубликован в новогоднем приложении к этой газете.

4. В начале 1920-х М. П. Арцыбашев жил в Москве. Советскую власть писатель открыто не принял и в 1923 году переехал в Польшу (по материнской линии он был правнуком польского генерала Тадеуша Костюшко). Скончался в Варшаве в 1927 году.

5. Фрида Стриндберг (Фрида Уль, 1872–1943), австрийская писательница и переводчица. Была замужем за Августом Стриндбергом в 1892–1897 годы. С 1914 года переехала из Европы в США. Подружившись в Нью-Йорке с Б.Арцыбашевым, помогала ему устроиться в профессиональной нью-йоркской среде, оказывала помощь и в получении визы для его матери. По мнению Арцыбашева, Фрида была доброй, но чересчур активной, и иногда эта чрезмерная активность не столько помогала, сколько вредила. «Дама и

умная, и глупая разом, талантливая, много выдавшая и жившая, и истеричка на придачу. Если начнет хлопотать о чем-либо, то или сделает очень много, или утопит человека» (Из письма Арцыбашева к матери от 2 сентября 1920 года).

БОРИС АРЦЫБАШЕВ К МАТЕРИ

03/03/1920

Нью-Йорк

<...> Вот скоро год, как я из России, – быстро время проходит за этими «границами». Доволен этим годом. Думаю, что следующий даст не меньше. К Нью-Йорку привязался, но больше года сидеть в нем глупо – не заслуживает он того... Настроение прекрасное. Киевскую и одесскую жизнь вспоминаю, как дурной сон. Переменился я очень. Поглупел. Но больше бодрости, энергии, и явилось умение устраиваться – практичным т. е. стал я... А в общем, спасибо Боженьке, тебе и всем, кто помогли мне избавиться от того предсамоубийственного состояния, в котором я был последние месяцы в России. Мне не хочется, чтобы и ты возвращалась туда скоро.

Твой Борис.

Целую еще, еще и еще.

БОРИС АРЦЫБАШЕВ К МАТЕРИ

07/03/1920

Нью-Йорк

Дорогая моя мамочка! <...> Ты пишешь о своем желании ехать в Новый Свет. Ехать стоит – «Свет» очень забавный. Нового в нем мало, а старого многого не хватает: Мировой скорби, например, и полового вопроса, а много пирожных и ботинок. Грамоту учат здесь только, чтобы заниматься делами. Литературная муза пишет в газетах (необыкновенно наглым языком и врет при этом отчаянно), составляет тексты для объявлений и реклам (подчас талантливых очень) и сценарии для кинематографа. Муза живописи обратила свою студию в фабрику – так доходнее. Чистой живописью занимаются только тихо помешанные и алкоголики, и их ни в один порядочный дом не пускают. Студия-фабрика – это не шарж. Здесь в коммерческих студиях строгое деление на специальности: один рисует головки, другой ножки, третий платье, четвертый фон, а пятый – поправляет всё. Куда нам, бедным европейцам, успеть за ними. Плагиат введен в систему. Работают только для реклам: папиросы, корсеты, жевательная резина –

вот темы картин <...> Если я останусь здесь и буду продолжать эту работу, я буду зарабатывать здесь очень и очень, куплю автомобиль и лишь изредка буду восклицать: «Какой великий артист погибает!» Шутки, а иногда серьезно досадно делается, когда вспомнишь Окса и Маню Каца и прочих, которые долбят и долбят свое¹. Какой бы из меня художник ни вышел, но я все-таки искренне люблю мое искусство. Думаю заработать немного денег, уехать в первых числах июня из Нью-Йорка вглубь страны <...>. В Россию – года через два, предварительно повидав и узнав весь свет. Если я останусь здесь еще, я привыкну. Видеть тебя, бегать с тобой по Нью-Йорку хочется ужасно, часто мечтаю об этом... В Россию ехать тебе не нужно – раз выбралась из этой нудьги, зачем туда опять залазить, не впитав в себя солнца и красок всего мира. Но спаси Бог нас, мамочка, от радостей эмиграции в Америку, со всеми ее пирожными и ботинками. Больше года здесь быть нельзя. Заработать здесь легче, я полагаю, нежели, чем в Константинополе, милых людей, действительно милых, много, страна красива удивительно. Есть музыка, библиотека в Нью-Йорке, это рай. Одно ужасно – зарабатывать искусством.

1. Окс Евгений Борисович (1899, Санкт-Петербург. – 1968, Москва), живописец, книжный график, поэт. Был воспитанником Тенишевского училища одновременно с Борисом Арцыбашевым, дружил с Владимиром Набоковым. Закончив училище, остался в Петрограде получать специальное художественное образование. Учителями Окса были А. Яковлев, В. Шухаев, О.Браз, М. Добужинский.

Эммануил (Мане) Кац (1894, Кременчуг, – 1962, Тель-Авив), живописец, скульптур, график. До Первой мировой войны учился в Киевском художественном училище, затем год в Париже. С 1914 по 1917 гг. учился в Петрограде у М. Добужинского. В 1918–1919 гг. преподавал в Харьковском художественном институте, слушателем которого в то время был Борис Арцыбашев.

БОРИС АРЦЫБАШЕВ К МАТЕРИ

11/IV/1920

Нью-Йорк

Милая моя мамочка! Вчера получил твое письмо. Это первый твой ответ на мое письмо из Нью-Йорка.

Послано оно тобою 6 марта, а получено здесь 9 апреля. Как видишь, очень скоро. Значит, возможно что-то вроде переписки. Твое письмо, да еще с сообщением о том, что ты уже спокойна за меня, – было для меня настоящим пасхальным подарком (сегодня здесь рус-

ская Пасха). Самое досадное было жить так, как я живу, и в то же время не иметь возможности рассказать тебе об этом буржуйном довольстве. <...>

Если бы ты знала, что такое Нью-Йорк летом. Представь город сплошь асфальтовый, скученный до невозможности, с 20-40-этажными домами и стоящий почти на одной высоте с Константинополем. Правда, где-то тут в океане проходит холодное течение, но, по-видимому, его очень недостаточно, судя по тому, какую громадную отрасль промышленности составляет изготовление мороженого. Духота невозможная, и все, кто имеет хоть слабую возможность, – бегут.

Чтобы не жариться живьем на этом асфальте – мы сбегим тоже вглубь страны. Тебе, напуганной путешествиями по России, всякое передвижение кажется сопряженным с лишениями и страданиями. Но ты вспомни экскурсии по довоенной России, здесь же даже лучше, потому что все студенты, все мало-мальски свободные люди ездят и ходят летом по стране, кто и как может, и все к этому привыкли. Работы в Нью-Йорке летом очень мало, особенно моей, т. к. работа здесь по сезонам.

У моего товарища (Леонида Рааба. – Л. В.) (он очень, очень благодарен тебе за то, что ты передала о нем его родным, т. к. сообщение должно очень их успокоить), у него кончаются занятия в школе, где он учителствует, 1-го июня.

Когда летом поднимаешься по Гудзону на пароходе, видишь по берегам целые поселки из палаток. Это горожане на даче.купаются. Ловят рыбу. Кто имеет автомобиль – берет палатку на автомобиль и разъезжает по стране. Некоторые плавают по рекам и озерам в плавающих дачах. Что сделаем мы – сказать еще трудно. Много будет решаться в зависимости от финансов. Здесь мои заработки очень неопределенны: иногда много, иногда ничего, я ведь «свободный художник». Будем, вероятно, с июня или июля бродить по красивейшим местам Штатов и я буду рисовать и посылать в «свою» газету «впечатления». Очень хотелось бы соблазнить на это дело и Гордеенко¹. Он уже исколесил Америку вдоль и поперек, но теперь немного отяжелел. Эх, Сережа, Сережа, жаль, что его здесь нет тоже. Может, у него уже детки есть? И нет ли деток также и у Лели?² Глупая она, я часто думаю о ней здесь: как легко она могла бы осуществить свою страсть к путешествиям, к самым «буржуинам», и, не завися ни от кого, если бы в свое время бросила всякие «курсы» и училась бы танцевать настойчиво, рассорившись хотя бы для этого с матерью. Балет – это лучшее ремесло для человека, который хочет видеть мир, а быть еще русской танцовщицей – это большая марка! Балет и музыка – это единственные две вещи действительно интер-

национальные. Недавно мне один мексиканец пел арию из «Жизни за царя». Русский балет, верите, осколки его гремят. Американские балерины иногда присваивают себе русские имена.

Ты пишешь о нежелании возвращаться в Россию с тем, чтобы опять получать «с санкции» отца деньги и т. д. Для меня об этом не может быть и речи — я думаю, что он уже навсегда освободился от опасности тратить деньги на меня. Впрочем, я считаю нужным не считать его свободным от этого морально [Неразборчиво]. Да и через месяц я уже юридически свободен от родительской опеки (совершеннолетний ведь). Так вот, я и думаю, что лет пять не покажу своего носа в Россию, а если я до двадцатипятилетнего возраста проживу сам, то после этого уже можно папеньку не беспокоить. А как время летит — уже ведь год прошел, как не видел России, а туда и не тянет, только вот разве Монастырский сад бы и повидал*. Скучаю только по 5-ти человекам, а это ведь совсем немного. Если бы их можно было всех перенести куда-нибудь на берега Флориды или Калифорнии... сколько счастливых уголков еще есть здесь в этой самой Америке (пишу я что-то очень нескладно, но ведь дело не в стилистике; кстати сказать, ты знаешь, я научился писать по-русски, из этого не следует, что я научился писать на других языках). Итак, о скором возвращении в Россию я и не думаю. Это было бы более нежели глупо. Слишком много народу, кроме меня, охочего подраться и которого можно убивать. Мне же хочется еще кое-что осуществить в жизни...

Умница будет Ольга Михайловна, если уедет в Париж. О России нужно не думать, т. к. помочь ей нельзя. Россия будет здоровой и великой — это ясно как солнце. И сделает это время; оно исправит то, что наделали вожди, враги и союзники. Нам же нужно подумать о том, чтобы подготовить себя к той России, что будет. Ей нужны сильные, ясные люди и искусство — довольно скулили и скорбели.

Яковлев работает в Париже. Сделал очень много нового (я видел фотографии — я познакомился с другом его)³. Скитания по Китаю и Японии дали ему много хорошего.

Много неутешительного слышимо от приезжающих из Европы. Всеобщее обнищание, лень и разврат бесконечный. И, как кажется это со стороны, много крови еще будет литься там, где ее уже пролито столько; только разве среди действующих сторон будут новые комбинации.

Сегодня получил второе твое письмо (первое заказное), шло оно пять недель — совсем ведь хорошо.

* Сад при Ахтырском Свято-Троицком монастыре на хуторе Доброславовка (Харьковской губернии).

Кисонька, милая, как бы хотелось вытащить тебя из этого Константинополя и из Европы вообще. То, что писал я тебе об Америке в первых письмах (кажется, только в первых двух), было написано художником или тем, что хотел бы им быть. Это тоска по тому времени, когда я не торговал своим искусством (как бы молодо и мало оно ни было), не торговал своими мечтами. Я в удивительной степени обладаю свойством залазить в чужие шкуры, а может быть ношу в себе зародыши всех этих «шкур», которые лишь ждут соответствующей обстановки, чтобы развиться пышно. Когда я, воспитанник Вл[адимира] Вас[ильевича] Гиппиуса, попал в солдаты, моей гордостью стала (по уставу) хорошо заправленная койка, хорошая маршировка и чистое оружие. Однажды я глубоко обидел двух студентов, которых меня приставили обучать строю и отданию чести (они были неспособные), я приказал им «молчать» (они много болтали) и помнить, что сейчас «служба» и я их начальник. Они думали, что я «интеллигентный» и студент тоже, а я оказался «такой». Я думаю, пробудь я дольше на службе, из меня выработался бы хороший фельдфебель. Жаль вот, то же самое происходит со мной и здесь. Я, правда не без неприятностей, втянулся в американскую художественную промышленность, научился их полумеханическим приемам, и мои рисунки всё более и более приобретают характер миловидный, становятся всё более и более хорошенькими, что так ценится, или единственное, что так ценится, на рынке. Проживи я на этой работе три-пять лет, из меня будет хороший коммерческий художник. И я буду зарабатывать очень недурно <...>

Хотелось написать очень много, но тогда придется задерживать письмо, т. к. времени очень мало. Твои письма получаю исправно: последнее шло 3 с половиной недели. Скажу кратко то, что собрался писать подробно. Ни в Индию, ни в Тибет я пока не собираюсь. Я еще и Америки не видал. Нью-Йорк – не Америка. Крокодилов и пальм и здесь до беса. В Соед[иненных] Штатах хочу еще годик побыть. Летом в Нью-Йорке сидеть не буду – отправлюсь страну смотреть. Да и работы летом будет мало. Следующую зиму, быть может, буду жить в Калифорнии. Это самый прелестный уголок на земле. Пальмы, фрукты, но нет крокодилов – увы! Несомненно, Америка в смысле политики будет самой спокойной страной. Новый президент обещает быть довольно таки левым, т.о. борьбы с ним не должно быть. Основная идея его: плевать нам на Европу, мы сами себе Америка и «в европейские дела вмешиваться не будем, хотя бы они там все передохли», – это его политика, изложенная кратко. Я дорого бы дал, чтобы перетащить тебя сюда, но единственного нужного для этого, денег, у меня нет. Порой бывали деньги, но в ситуациях промежутка

безработицы я проживал их. Работу, милых людей – это всё нашла бы ты здесь очень легко. То, что я писал раньше об эмиграции, – глупость. Уехать, если захочется, всегда можно. В Россию возвращаться тебе, во всяком случае скоро, не следует. Сам я думаю болтаться «за границами» около пяти лет (год ведь уже прошел). Деньги у меня, вероятно, будут, но не раньше следующей зимы. Вероятно, папины пьесы эксплуатировать буду – перевод уже сделан для меня. А до той поры – что с тобой делать? Константинополь – плохое место для тебя [Неразборчиво]. Париж – идея хорошая, но (насколько я осведомлен) там сейчас разврат, дороговизна и отношение к русским всё еще не ахти какое. Ольга Михайловна из Константинополя удрать тоже должна, а от семьи и подавно (ей уже, по-моему, три года как следовало с семьей расстаться). Но уж лучше бы она тоже в Америку стремилась, а не в Париж. Я думаю, что в Париж хорошо года через 4 ехать, а до тех пор есть чему поучиться и в Америке. Сам я уже многому научился и изменился так, что иногда, читая твои письма, вспоминаю ту петербургскую даму, которая просила тебя познакомить ее с твоим «крошкой» и страшно смутилась, когда к ней, приготовившейся сюсюкать и гладить по головке, вошел дядя на две головы выше ее самой. Возмужал я за эти годы очень, даже усы стали жесткими, и весь я шерстью оброс. А через год, так и никто, я думаю, из «европейцев» не узнает. Настоящий янки, особенно когда с портфелем и в пальто колоколом бегаю из подземной жел[езной] дороги на воздушную и из конторы в контору, и говоря всюду (заметь) по-английски! Это замечательно! Уф – как я горд! Слова Ольги Владимировны⁴ о том, что художнику путешествовать не нужно, – детский лепет: художнику, может, и не нужно, ну а человеку нужно!

1. Василий Гордеенко, знакомый Арцыбашевых по Ахтырке, эмигрировал в Америку в 1905 году.

2. Сергей и Елена (Леля) Солодовниковы, кузен и кузина Бориса Арцыбашева, дети родной сестры Михаила Арцыбашева (Нины Петровны Солодовниковой, по мужу).

3. Имя друга Александра Яковлева (1887–1938), с которым Борис Арцыбашев познакомился в первые полгода пребывания в Америке, не называется, но можно предположить, что это был художник Борис Анисфельд (1879–1973). Имя Анисфельда, проживавшего в Нью-Йорке с 1918 года, упоминается в дневнике и письмах Арцыбашева неоднократно. Например, в письме к матери от 10 марта 1920 г. он рассказывает: «...Милый курьез с картиной Анисфельда: ее купил богатый ценитель, живущий (как полагается зимой) во Флориде. Через неделю Анисфельд получил ее назад и с ней письмо: ценитель просит поправить картину, т. к., по-видимому, она была испор-

чена, когда ее везли из Нью-Йорка на Пальмовый Берег, – на ней обнаружены большие серебристые пятна. На эту просьбу художник ответил: «Пятна сделаны мною нарочно для достижения задуманного мною эффекта, если хотите – деньги обратно...» Тяжело быть художником. Искусство – тяжелый крест! Ахх!...»

4. Бернацкая Ольга Владимировна (урожд. Гамалея, 1876–1943), жена Михаила Владимировича Бернацкого, министра финансов Временного правительства, начальника Управления финансов при генералах А. И. Деникине и П. Н. Врангеле.

Публикация – Лариса Вульфина

Ирина Кочергина

Эмигрантские публикации Ю. И. Айхенвальда о С. А. Толстой и толстовцах

Среди критического наследия Ю. И. Айхенвальда особое место занимают его статьи и эссе о Л. Н. Толстом. До революции критик не только посвятил Толстому эссе в «Силуэтах русских писателей» (Выпуск II), но и издал книгу «Посмертные сочинения Толстого» (СПб.: Энергия, 1912) и одну из первых популяризаторских биографий писателя «Лев Толстой» (М., 1920).

Находясь в эмиграции, критик часто обращается и к личности Толстого, и к его произведениям. Так, в своем цикле эссе «Дай, оглянись...»*, печатавшемся в рижской газете «Сегодня», он рассказывает о первом знакомстве с писателем; в своих газетных публикациях критик отзывается на годовщины смерти Толстого, пишет о новых изданиях его произведений. Однако особый интерес представляет его участие в полемике о С. А. Толстой и критические отзывы по поводу деятельности В. Г. Черткова (1854–1936), одного из вождей толстовства, издателя и редактора произведений писателя. В этой связи, конечно, наиболее значимым поступком Айхенвальда является издание книги «Две жены. Толстая и Достоевская: материалы, комментарий Ю. И. Айхенвальда» (Берлин: Изд-во писателей, 1925). Однако и до появления этой книги критик выступал в защиту С. А. Толстой и на страницах берлинского «Руля», и в уже упоминавшейся газете «Сегодня».

Книге Черткова «Уход Толстого»¹ посвящена одна из первых эмигрантских статей критика, в которой он, в частности, пишет: «И пусть Толстой, к 1897 году 'с любовью и благодарностью вспоминая длинные 35 лет' совместной жизни, оговаривается, что в последние пятнадцать лет они, муж и жена, разошлись, это все-таки не дает г.Черткову права рисовать перед нами образ какой-то Ксантиппы.

* Каменецкий, Б. «Дай, оглянись...» // «Сегодня». – Рига, 1923. 5 декабря. № 271. – С. 2. В эмиграции Ю. И. Айхенвальд с 1922 г. по 10 июня 1925 г. подписывал свои статьи псевдонимом «Б. Каменецкий».

С психологической аляповатостью, не различая оттенков, не прислушиваясь к тому тону, который только и делает музыку, ставя каждое лыко в строку, наш обвинитель строит свои топорные осуждения так, что от них проигрывает не только жена, но и муж. Страдает Толстой от толстовца»². В другой своей рецензии, уже на Выпуск I журнала «На чужой стороне», Айхенвальд сочувственно комментирует резко отрицательный отзыв С. П. Мельгунова³ всё на ту же книгу Черткова⁴. Мельгунов являлся одним из редакторов Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, издававшегося «Товариществом по изучению и распространению творений Л. Н. Толстого»; он неоднократно будет обращаться к этой теме на страницах своих сборников: будут публиковаться новые сведения об уходе Толстого из Ясной Поляны, письма С. А. Толстой и др. материалы. Айхенвальд, резко отрицательно относившийся к толстовству и к личности Черткова, выражает поддержку позиции Мельгунова в этом и последующих обзорах сборников.

Надо оговориться, что, преклоняясь перед Толстым-художником, Айхенвальд не принимал Толстого-моралиста, разделяя две эти ипостаси великого писателя. Критик в любом художнике больше всего ценил отсутствие искусственности, «сделанности», и толстовская стихийность его покоряла подлинностью во всем, даже в шероховатостях стиля и речи. Он пишет в эссе «Лев Толстой»: «У него (Льва Толстого – *И. К.*) нет водораздела, который отграничивал бы верное от выдуманного: всё сливается в одну истину, в одну жизнь, в одну красоту. Вот в чисто гомеровской эпосе «Войны и мира» поэтические образы переплетены с живыми отрывками реальности, с подлинными историческими документами <...> Не только документы подлинны у Толстого, но и весь он, всё его творчество – великий подлинник»⁵. Отделяя Толстого-художника от Толстого-публициста и моралиста, он писал: «Можно не принимать его (Толстого – *И. К.*) теорий (как не принимает их пишущий эти строки), но нельзя не принять его личности и нельзя не полюбить того мудрого художественного произведения, которым является вся его жизнь. Когда подходишь к ней, то уже не делишь Толстого на художника и мыслителя, тогда благоговейно ценишь целое. Книги его можно разделять – сам он, как живой образ, неделим»⁶. Толстовство же Айхенвальду было чуждо, он считал философию опрощения искусственной, но всё равно пытался понять мотивы ее возникновения: «Эта идеализация и поэтизация простолюдина коренится у Толстого в его общем демократизме, который, в свою очередь, как раз потому отличается у него такою незыблемой, захватывающей стихийной силой, что имеет под собою не общественную, не гуманистическую, а натуралистическую основу.

Сама природа – демократка. Так смотрит на нее Толстой, и это только усиливает в его глазах ее красоту...»⁷

В 1924 г. Айхенвальд возвращается к теме конфликта между толстовцами и С. А. Толстой, рецензируя Дневник последнего секретаря писателя, Валентина Федоровича Булгакова (1886–1966), опубликованный в одном из сборников «На чужой стороне»⁸. В своей статье критик, в частности, пишет:

«Вал. Булгаков напечатал свой дневник, посвященный ‘трагедии Льва Толстого’, т. е. его семейной жизни в 1910 году. Совсем необязателен комментарий г. Булгакова к фактам, которые он описывает, но сами эти факты полны драматического интереса. Совершая невольную нескромность, мы являемся свидетелями тяжбы между Львом Николаевичем и Софией Андреевной, – может быть, не только свидетелями, но и судьями. И выносишь такое убеждение, что слишком много посторонних вмешивалось в отношения супругов, что было бы лучше, если бы ‘чертковская партия’ не раздувала огонька вражды, он бы потух совсем. И тогда не приходилось бы жене, после размолвки, подбегать к запертым дверям супруга и умолять о прощении: ‘Левочка, я больше не буду!’ – а супруг дверей не открывал, не отвечал... Чувствуется, что Софья Андреевна имела основание воскликнуть однажды: ‘А всё – Чертков! Кто виноват? Он вмешался в нашу семейную жизнь. Вы подумайте, ведь до него ничего подобного не было!’ Так ужасно, что когда жена, в день 48-летия свадьбы, просила сняться вместе, то дочь, Александра Львовна, осуждала отца за его согласие на это и устроила ему тяжелую сцену. И еще ужаснее был эффект ухода Толстого из Ясной Поляны – эта попытка Софьи Андреевны к самоубийству, и отчаяние, и безумие. Вопреки глубоко неубедительному освещению г. Булгакова, читатель вообще в семейном конфликте, который перед ним разоблачили, берет сторону жены – той жены, которая – это так символично – во время болезненного припадка мужа обняла его ноги, припала к ним головой и долго оставалась в таком положении. Не надо забывать, что Софья Андреевна была женой не только Толстого, но и толстовца, окруженного притом такими людьми, которые были только толстовцами, а не Толстыми. Во всяком случае, у нее была своя правда, правда жизни, тогда как ее великий муж, за пределами своего величия, т. е. своего художественного дарования, больше привержен был к схематической и сухой правде своих нежизненных теорий»⁹.

Надо отметить, что Булгаков и Айхенвальд в Москве могли пересекаться на заседаниях и в сообществах, посвященных памяти и сохранению наследия писателя; критик довольно часто выступал с лекциями и сообщениями о Толстом. На уже упомянутую здесь био-

графию Толстого, опубликованную критиком в первые годы Советской власти и рассчитанную на самого широкого читателя, Булгаков оставил, с некоторыми оговорками, но положительный отзыв¹⁰. Упрекая автора в том, что он не освещает религиозные и философские взгляды писателя и рассматривает «его жизнь преимущественно под узким углом ‘эстетизма’», он рекомендует эту книгу тем, «кто мало знаком с внешними и внутренними факторами из жизни Толстого»¹¹, т. е. как популяризаторскую. Однако взаимопонимания в вопросе толстовства между Булгаковым и Айхенвальдом быть не могло.

На процитированный выше критический отзыв Айхневальда о публикации «Дневника» Булгакова довольно болезненно отозвался Алексей Александрович Гольденвейзер, двоюродный брат знаменитого пианиста и композитора Александра Борисовича Гольденвейзера (1875–1961), друга семьи Толстых, автора книги «Вблизи Толстого». Еще до революции А. А. Гольденвейзер, как его отец и его брат, живо интересовался личностью Л. Н. Толстого, о своей реакции на смерть яснополянского старца он вспоминает в эмиграции¹². Весной 1928 г. «в собрании, устроенном адвокатским союзом по случаю исполняющегося в текущем году 100-летия рождения Толстого», Гольденвейзер читает доклад «Толстой и право» – отчет об этом событии размещен в газете «Руль»¹³. О. В. Будницкий пишет об этом докладе, текст которого хранится в ГАРФ¹⁴: «Воззрения Толстого на право докладчик излагал в основном по роману ‘Воскресение’, причем в защиту права, точнее юридических процедур, практически ничего не сказал. Анализ толстовских взглядов Гольденвейзером-младшим не был особенно оригинальным. Докладчик следовал идеям, сформулированным в работе его отца и в статье В. А. Маклакова «Толстой и суд» (М., 1914)»¹⁵.

Однако еще до этого выступления, в 1924 году, А. А. Гольденвейзер в «Руле» разместил две статьи о книге А. Б. Гольденвейзера «Вблизи Толстого»; в них он подробно изложил ее содержание¹⁶. В частности, пересказывая написанное братом, он говорит: «...Софья Андреевна отличалась чрезвычайно обостренными собственническими инстинктами. Она не могла или не хотела, хотя бы в угоду мужу, подавлять в себе эти инстинкты; и это служило для Толстого постоянным источником душевных терзаний»¹⁷. Пересказав несколько эпизодов книги, в которых описаны мужики, пойманные за какие-то провинности, автор приводит слова самой Софьи Андреевны: «В биографиях всегда искажают интимную жизнь знаменитых людей, – сказала она А. Б. Г-ру в самом начале их знакомства (в 1900 г.), – вот и из меня, наверное, сделают Ксантиппу. Вы тогда, Александр

Борисович, заступитесь за меня...» И дальше А. А. Гольденвейзер продолжает уже от своего лица: «Но мог ли ее собеседник, исполняя ее просьбу, не отметить в своем дневнике хотя бы того, что в 1908 г. захворавший чем-то Толстой обмолвился знаменательной фразой: *‘моя болезнь – это Софья Андреевна...’* (Курсив Гольденвейзера. – И.К.). Эта болезнь оказалась смертельной»¹⁸. Во второй статье автор подробно пересказывает описания болезненного истерического состояния С. А. Толстой, данные А. Б. Гольденвейзером во 2-м томе его книги, и приводит слова известного психиатра Г. И. Россолимо, осматривавшего супругу писателя: «По окончании консилиума Россолимо сказал Александре Львовне*, что он ‘поражен слабоумием Софьи Андреевны’»¹⁹. Пересказывая драматичную историю с завещанием писателя²⁰, Гольденвейзер подробно излагает дневниковые записи писателя по этому поводу, описывает поведение и реплики дочерей Толстого. «Каждое столкновение с Софьей Андреевной явственно подтачивало его (Толстого. – И. К.) организм, – пишет автор статьи. – Он это сознавал. ‘Она меня доканает!’ – сказал Толстой дочери еще в июле 1910 г.»; далее А. Б. Гольденвейзер приводит свидетельства того, что толчком к решению покинуть Ясную Поляну послужило именно поведение Софьи Андреевны²¹. В целом, А. А. Гольденвейзер в этих статьях полностью разделяет точку зрения А. Б. Гольденвейзера на причины размолвок между супругами Толстыми, возлагая вину за них на Софью Андреевну.

Безусловно, А. А. Гольденвейзера не могла не задеть точка зрения Ю. И. Айхенвальда, последовательно высказываемая им в статьях и эссе, и, в частности, в отзыве на публикацию «Дневника» Булгакова, приведенном выше. Гольденвейзер обращается к критику с личным письмом по этому поводу (см. Приложение).

Между Айхенвальдом и Гольденвейзером были взаимоотношения взаимопонимания и добросердечия. Критик выступал с лекциями, организованными Союзом русских евреев²², активно помогал соотечественникам, оказавшимся в трудной ситуации эмигрантского житья. В «Руле» А. А. Гольденвейзер (он был постоянным сотрудником отдела Библиографии в газете) оставляет благожелательный отзыв на берлинское издание «Силуэтов русских писателей»²³. Однако Ю. И. Айхенвальд при всей своей внешней мягкости и даже застенчивости умел проявлять совершенно нестигаемый характер и редкую принципиальность в тех вопросах, которые он считал важными. Таким вопросом оказалось отношение к С. А. Толстой и защита

* Александра Львовна Толстая (1884–1979), младшая дочь писателя, его секретарь и единомышленник.

ее от нападок. Пока не удалось узнать, ответил ли Айхенвальд Гольденвейзеру или между ними была личная встреча (жили они оба в Берлине). Однако лучшим ответом надо считать публикации критика, посвященные этому вопросу, а их тон стал еще более жестким и принципиальным. В ноябрьских «Литературных заметках» за 1924 г. он рецензирует автобиографию С. А. Толстой, опубликованную в VII сборнике «На чужой стороне»: «То, что она (С. А. Толстая – *И. К.*) не сделалась «толстовкой» (как, впрочем, и сам Толстой не сделался толстовцем), – это не ее вина, а ее заслуга <...> Тому, чтобы Толстой не использовал до конца возможностей счастья со своей женой, тому, чтобы их семейная жизнь превратилась в катастрофу, со своей стороны добросовестно содействовали прилепившиеся к этой жизни посторонние люди – те советчики и соглядатаи, которые научили глубокого старика, тайком от жены, в лесу, на пне, писать всякие юридические бумаги и завещания*, после чего – рассказывает Софья Андреевна – ‘он уже не мог спокойно смотреть в глаза ни мне, ни сыновьям, так как раньше никогда ничего от нас не скрывал’»²⁴.

С огромной любовью Айхенвальд пересказывает страницы воспоминаний Т. А. Кузминской**, касающиеся доверительных отношений супругов Толстых в 60-70-е годы²⁵. И дальше, касаясь в той же статье выступления в Берлине дочери Толстого, Т. А. Сухотиной-Толстой, о взаимоотношениях своей матери и отца, он пишет: «Жена великого человека, сама не великая, она охраняла его творчество и течение долгих и трудных десятилетий блюла его дом и его детей. Как бы гениален ни был муж такой женщины, она все-таки ему под пару»; «В лице Толстого и Толстой столкнулись не правда и неправда, а столкнулись именно две правды. Нас всех сделали судьями этого столкновения, и каждый по совести должен решить, чья правда больше и кто более оправданным покинет трибунал потомства – Толстой или Толстая?»²⁶.

В это же время выходит и упомянутая в начале статьи книга Айхенвальда «Две жены. Толстая и Достоевская» содержащая воспоминания жен писателей; в конце книги помещена статья Айхенвальда «Две жены», во многом повторяющая его мысли о взаимоотношениях в семье Толстого, о книге Черткова, о воспоминаниях Булгакова.

*Толстой скрыл от жены и детей, что подготовил и подписал новое завещание 22 июля 1910 года. Тогда же он заверил и пояснительную записку к завещанию: согласно ей Черткову после смерти писателя должны быть отданы все рукописи и бумаги для подготовки к изданию.

** Татьяна Андреевна Берс-Кузминская, сестра жены писателя Софьи Андреевны Толстой.

Айхенвальд посчитал эту книгу столь важной, что издал ее в Берлине также и по-немецки. Встав в позицию адвоката С. А. Толстой, критик в этой статье произносит страстную речь в защиту жены писателя, и в этом проявляется и обычное для него обостренное чувство справедливости, желание защитить женщину, подвергавшуюся откровенной травле со стороны толстовцев.

Еще не раз Айхенвальд будет обращаться к этой теме. В частности, в статье «Толстой и Толстая»²⁷, где критик рецензирует только что вышедшие «Дневники» жены писателя, он говорит: «Наконец, в семье сделали Толстую ‘бичом’: на нее возложили всю материальную, всю хозяйственную сторону жизни, а потом к ней же относились за это презрительно и свысока. Было много в ней от Марии – ее заставили стать Марфой и такой ценой фарисейски приобрели для себя славу христианской бескорыстности...»²⁸ «Между Толстой и Толстым, тачавшим сапоги, встало всяческое толстовство»²⁹, – заключает критик. Пытаясь понять истоки морализма Толстого, его сложного отношения к любви в поздний период, критик пишет статью «Еще о Толстом»³⁰. К октябрю 1928 г. относится и обширная рецензия на книгу Т. И. Полнера «Лев Толстой и его жена – история одной любви», где Айхенвальд, отмечая беспристрастность исследователя, с сожалением замечает: «...неотразимо то обвинение, что Толстой не показал или что Толстой не доказал любви»³¹.

Айхенвальд продемонстрировал последовательную, принципиальную на протяжении всего эмигрантского периода защиту С. А. Толстой от нападок, и это лучше всего рисует перед нами нравственный образ критика, которого Б. Зайцев с полным основанием охарактеризовал в некрологе как «рыцаря» и «джентльмена»³².

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Чертков, В. Г.* Уход Толстого / Берлин: Изд-во И. П. Ладыжникова, 1922. 195 с.
2. *Каменецкий, Б.* Литературные заметки / «Руль». 1923. 7 января. № 640. – Сс. 2-3.
3. *Мельгунов, С. П.* Уход Толстого в освещении В. Г. Черткова / «На чужой стороне». Берлин: «Ватага – Пламя», 1923. Вып. I. – Сс. 147-174.
4. *Каменецкий, Б.* Литературные заметки / «Руль». 1923. 11 февраля. № 670. – С. 2.
5. *Айхенвальд, Ю.* Силуэты русских писателей. В 2-х томах. Т. 1 / М.: Терра-Книжный клуб, изд. «Республика», 1998. – С. 219.
6. *Айхенвальд, Ю.* Посмертные сочинения Л. Н. Толстого / СПб.: «Энергия», 1912. – С. 59.

7. Айхенвальд, Ю. Силуэты русских писателей. – С. 228.
8. Булгаков, В. Трагедия Льва Толстого (дневник) / «На чужой стороне» // Под. ред. С. П. Мельгунова. / Берлин: «Ватага – Пламя», 1924. Вып. IV. – Сс. 5-49.
9. Каменецкий, Б. Литературные заметки / «Руль». 1924. 13 апреля. № 1022. – С. 11.
10. Вал. Б. [Булгаков, В.] Рец. на: [Ю. И. Айхенвальд «Лев Толстой». – М.: Изд. центр Т-ва «Кооперативное Изд-во». (Серия «Строители жизни»). 1920. 70 стр.] / «Истинная свобода». 1920. № 2. – Сс. 28-29.
11. Там же. – С. 29.
12. Гольденвейзер, А. А. Счастье или позор? Из заметок о Льве Толстом к 95-летию со дня его рождения / «Сегодня». 1923. 9 сент. – С. 3.
Алексей Александрович Гольденвейзер (1890–1979), известный российской юрист, писатель и издатель, эмигрировал из России в 1921 году, будучи уже крупным правоведом, профессором Киевского университета. Проживая в эмиграции в Берлине, А. А. Гольденвейзер принимал активное участие в сообществах русских юристов и адвокатов за рубежом (член Русского третейского суда в Берлине и берлинского отделения Комитета съездов русских юристов за границей), а также в еврейских организациях. Свои статьи по самым разным вопросам – от внешней политики до узких правоведческих тем – он публиковал в берлинском «Руле», рижских «Сегодня» и «Народной мысли», парижских «Последних новостях» и др. Перед Второй мировой войной иммигрировал в США. Был членом первого состава корпорации «Нового Журнала» и ее соучредителем (1953). Архив содержится в Бахметевском архиве русской эмиграции, Колумбийский университет, Нью-Йорк. Подробно о деятельности А. А. Гольденвейзера в довоенный период эмиграции можно прочитать в изд.: Будницкий, О. В. Русско-еврейский Берлин, 1920–1941. – М.: Новое литературное обозрение. 2013. 490 с.
13. В Берлине: «Толстой и право» // «Руль». 1928. 7 марта. № 2213. – С. 5.
14. ГАРФ. Ф. Р-5981. Оп. 1. Ед. хр. 180. Л. 246-279.
15. Будницкий, О. В. Указ. издание. – С. 220.
16. Г-ер А. А. [А. А. Гольденвейзер]. Вблизи Толстого / «Руль». 1924. 5 апреля. № 1015. – Сс. 2-3; Г-ер А. А. 1910 год в Ясной Поляне / «Руль». 1924. 17 апреля, № 1025. – Сс. 2-3.
17. Г-ер А. А. [А. А. Гольденвейзер]. Вблизи Толстого. – С. 3.
18. Там же.
19. Г-ер А. А. [А. А. Гольденвейзер]. 1910 год в Ясной Поляне. – С. 2.
20. Всем, написанным до 1881 года, а также неопубликованным, распоряжалась Софья Андреевна по доверенности. В последние годы жизни Толстой хотел, чтобы после его смерти всё, им написанное, перешло в общественное достояние, в связи с чем и составил новое завещание.
21. Г-ер А. А. [А. А. Гольденвейзер]. 1910 год в Ясной Поляне. – С. 3. В ука-

занном фрагменте Гольденвейзер имеет в виду запись в дневнике Толстого от 28 октября 1928 года: «Лег в половине 12. Спал до 3-го часа. Проснулся и опять, как прежние ночи, услышал отворяние дверей и шаги. В прежние ночи я не смотрел на свою дверь, нынче взглянул и вижу в щелях яркий свет в кабинете и шуршание. Это С[офья] А[ндреевна] что-то разыскива[ет], вероятно читает. Накануне она просила, требовала, чтоб я не запираю дверей. Ее обе двери отворены, так что малейш[ее] мое движение слышно ей. И днем и ночью все мои движенья, слова должны быть известны ей и быть под ее контролем. Опять шаги, осторожно отпирание двери и она проходит. Не знаю отчего, это вызвало во мне неудержимое отвращение, возмущение. Хотел заснуть, не могу, поворочался около часа, зажег свечу и сел. Отворяет дверь и входит С[офья] А[ндреевна], спрашивая ‘о здоровье’ и удивляясь на свет у меня, к[оторый] она видит у меня. Отвращение и возмущение растет, задыхаюсь, считаю пульс: 97. Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать». (Толстой, Л. Н. Полное собрание сочинений в 90 томах / Т. 58. Дневники и записные книжки 1910 года. // Под общ. ред. В. Г. Черткова // М.-Л.: ГИХЛ, 1928–1958. / М.-Л., 1934. – С. 124.

22. ГАРФ. Ф. Р-5774. Оп. 1. Д. 60.

23. Гольденвейзер, А. А. [Рец на кн.: Ю. И. Айхенвальд Силуэты русских писателей. «Новая литература» / Изд. «Слово». Берлин, 1923] // «Руль». 1923. 25 ноября. № 905. – С. 7.

24. Каменецкий, Б. Литературные заметки // «Руль». 1924. 12 ноября. №1200. – С. 2.

25. Каменецкий, Б. Литературные заметки // «Руль». 1925. 4 июня. № 1367. – Сс. 2-3.

26. Там же. – С. 3.

27. Айхенвальд, Ю. Толстой и Толстая // «Руль». 1928. 12 сентября. № 2379. – Сс. 2-3

28. Там же. – С. 3.

29. Там же.

30. Каменецкий, Б. Еще о Толстом // «Руль». 1928. 26 сентября. № 2382. – Сс. 2-3.

31. Айхенвальд, Ю. Литературные заметки // 1928. 17 октября. № 2400. – С. 2.

32. Зайцев, Бор. Ю. И. Айхенвальд // «Возрождение». 1928. 22 декабря. №1299. – С. 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ

А. А. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР – Ю. И. АЙХЕНВАЛЬДУ¹*Берлин, 16 апреля 1924*

Многоуважаемый Юлий Исаевич!

Я чувствую потребность написать Вам несколько слов по поводу тех строк Вашего последнего фельетона², в котором Вы говорите о семейной драме Толстого. Последние недели я жил в атмосфере Ясной Поляны, благодаря книге моего двоюродного брата, которую я подробно реферировал в «Руле»³. И я вынес впечатление диаметрально противоположное Вашему.

Вы пишете, что «слишком много посторонних вмешивалось в отношения супругов». Но, во-первых, это не были посторонние, а взрослые дочери и многолетние друзья, стоявшие к Толстому духовно несравненно ближе Софьи Андреевны. А во-вторых, никто самовольно и непрошено не вмешивался. Агрессивной стороной была С. А., окружающие только оборонялись. Если в последние месяцы жизни Толстого некоторые из окружающих (и в частности, Александра Львовна) стали считать своим долгом стать на защиту Толстого, то ведь к этому была властная причина: Толстой угасал на глазах у обожавших его друзей, он стал жертвой экстравагантностей и злобных выходов истерички. Возможно ли было равнодушно пройти мимо этого?

Я не вижу доказательств Вашего утверждения, что «чертковская партия раздувала огонек вражды». И я совершенно не понимаю Вашего предположения, что без этого он «потух бы совсем». В Толстом не могло не таиться чувство протеста против женщины, которая его, властного, могучего, хотела превратить в школьника и в орудие своего тщеславия (если не корыстолюбия). Он подавлял это чувство рассудочным «непротивленством», но в конце концов оно прорвалось. Он ушел и написал из Шамардина то потрясающее письмо Ал. Льв-не⁴, которое я цитирую в своей статье (оно впервые опубликовано только в 1920 г.). В этом письме слышен голос не Толстого-моралиста и христианина, а того Толстого, который после обыска в Ясной Поляне в 1961 г. хотел эмигрировать в Лондон⁵.

В семейном конфликте Толстых Вы «берете сторону жены». Вы неправы. Вы тысячу раз неправы! Вы ссылаетесь на то, что она обняла его ноги во время болезненного припадка – но ведь она же сама этот припадок вызвала! Это так характерно для истерички – переходы от ярости к самобичеванию.

Нет, Толстой был глубокий психолог и душевед, и если он заклеил душевную жизнь С. А. теми словами, которые слышал из его уст А. Б. Гольденвейзер (словами об отсутствии всякой нравственной основы и о всепоглощающем тщеславии), – то он знал, что говорит.

Я в своей статье исходил из принципа: *de mortuis nil nisi verum*⁶; но я пощадил живых, и поэтому скрыл от читателей те позорные страницы, которые в книге «Вблизи Толстого» посвящены его сыновьям. Когда-нибудь выйдет наружу и это, и тогда никто не будет колебаться, на чью сторону встать в семейном конфликте Толстых. А между тем про худшего из своих сыновей – Льва Львовича – он сказал: «Точная⁷ копия матери! Это Софья Андреевна в будущем! Совершенная⁸ София Андреевна!»

Простите, многоуважаемый Юлий Исаевич, что я досаждаю Вам непрошеной полемикой.

Искренно преданный и глубоко уважающий Вас

А. Гольденвейзер

1. Публ. по: [РГАЛИ. Ф. 1175. Оп. 2. Ед. хр. 95]. Письмо написано от руки на листе бумаги с оборотом, с перфорацией сверху. Вверху слева личная печать А. А. Гольденвейзера. Письмо было передано в составе архива Айхенвальда в РЗИА в Праге, о чем имеется штемпель сверху листа.

2. Речь идет о публикации: *Каменецкий, Б.* Литературные заметки / «Руль». 1924. 13 апреля. № 1022. – С. 11. Фрагмент этого текста, посвященный книге Булгакова, приведен в настоящей статье.

3. *Г-ер А. А. [А. А. Гольденвейзер]* Вблизи Толстого // «Руль». 1924. 5 апреля. № 1015. – Сс. 2-3; *Г-ер А. А. [А. А. Гольденвейзер]* 1910 год в Ясной Поляне // «Руль». 1924. 17 апреля. № 1025. – Сс. 2-3.

4. Имеется в виду письмо от 29 октября 1910 г. из Оптиной Пустыни, впервые опубликованное в статье А. С. Николаева «К последним дням жизни Льва Николаевича Толстого» («Дела и дни». 1920. № 1. – Сс. 289-290). Гольденвейзер приводит строки письма, в которых Толстой обращается с просьбой к детям внушить Софье Андреевне, что «с этими подглядыванием, подслушиванием, вечными укоризнами, распоряжением мной, как вздумается, вечным контролем, напускной ненавистью к самому близкому и нужному мне человеку, с этой явной ненавистью ко мне и притворством любви, что такая жизнь мне не неприятна, а прямо невозможна, что если кому-нибудь топиться, то уж никак не ей, а мне, что я желаю одного – свободы от нее, от этой лжи, притворства и злобы, которой проникнуто всё ее существо». (*Толстой, Л. Н.* Полное собрание сочинений в 90 томах. Т. 82. Письма 1910 (май-ноябрь) / М., 1956. – С. 218). Под «самым близким и нужным человеком» имеется в виду В. Г. Чертков.

5. Летом 1862 г. в имении Толстого был произведен обыск: жандармы искали студентов, исключенных из учебных заведений по политическим мотивам и якобы работавших в яснополянских школах учителями. Толстой направил возмущенное письмо императору Александру II. Перед этим, в письме от 7 августа, он писал своей двоюродной тетке А. А. Толстой, фрейлине Императорского двора: «Выхода мне нет другого, как получить такое же гласное удовлетворение, как и оскорбление (поправить дело уже невозможно), или экспатрироваться, на что я твердо решился. <...> Я и прятаться не стану, я громко объявляю, что продаю именья, чтобы уехать из России, где нельзя знать минутой вперед, что меня, и сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут, – я уеду» (*Толстой, Л. Н.* Полное собрание сочинений в 90 томах. Т. 60. Письма 1856–1862 / М., 1949. – С. 435). Однако в Англию Толстой грозил уехать после другого инцидента: в 1872 году в его имении произошел несчастный случай: бык убил пастуха – и прибывший следователь взял с писателя подписку о невыезде. «Я под следствием, связан подпиской не выезжать из дома. <...> Теперь я так раздражен, что решил уехать в Англию и продать всё, что имею в России», – пишет Толстой в письме к Н. Н. Страхову (*Толстой, Л. Н.* Указ. соч. Т. 61. Письма 1863–1872 / М., 1953. – Сс. 312–313).
6. *de mortuis nil nisi verum* (лат.) – о мертвых ничего, кроме правды.
7. Перед словом *Точная* зачеркнутое слово.
8. Слово *Совершенная* надписано со знаком вставки над зачеркнутым словом.

Публикация – И. Кочергина

Борис Чичибабин

«Только любовь может научить любви»

Из писем Полине Брейтер

Из всех библейских заповедей одной из наиболее важных Борис Алексеевич Чичибабин считал заповедь любви к людям. Поэт полагал, что в ней «особенно мучительно-непостижимо проявляется религиозный закон совмещения несовместимого». Об этом – десяти страниц его писем. Фрагменты некоторых из них были опубликованы в «Новом Журнале» № 301 (Борис Чичибабин. «Я не знаю, как любить людей»). Но эта подборка вместила только часть размышлений поэта о любви к людям, которые он излагал в ходе нашей переписки, то повторяясь, то противореча самому себе, то развивая мысль, начатую гораздо раньше.

Настоящая публикация является, по сути, продолжением той, первой. Все приведенные фрагменты взяты из писем Б. А. Чичибабина, написанных в течение долгого времени – с 1979 года по 1992 год.

П. Брейтер

* * *

...Вы, наверное, помните, что с самого начала нашей дружбы всё это время моя мысль возвращалась к Божьей заповеди любви к людям: я спрашивал – у себя и у Вас, – что это значит, как надо любить их по этой заповеди. <...> И как только мы начинали разговаривать обо всем этом, между нами было принято, как нечто само собой разумеющееся и не подлежащее сомнению и разъяснению, Ваше желание любить всех людей. Вы всегда так прямо и говорили, что **всех** их хотите любить, что **всех** их Вам жалко до самых настоящих слез и мук. Но чем больше я Вас узнавал, тем мне становилось понятнее и явственнее, что это Ваше желание любить **всех** – желание не сердечное, а умственное, в какой-то степени «платоническое», искусственное, не отвечающее Вашим возможностям, Вашему характеру.

Вы – живой, земной, естественный человек, и я ни капельки не огорчаюсь тем, что Вы, как и все люди на земле, никогда не только не сможете, но и не захотите полюбить **всех**. Меня огорчает то, что Вы сами этого не хотите знать о себе, что Вы, в своей гордости, продол-

жаете в «теоретических», «платонических» разговорах настаивать на своем желании любить *всех*.

* * *

Мысленно я сейчас всё время разговариваю с Вами о том, о чем мы когда-то долго – с перерывами – говорили и спорили и так все-таки не договорились, согласившись на том, что между нами нет в этом вопросе принципиальных разногласий, что в моем *нет* («я не могу любить людей, распявших Бога») есть и Ваше *да* («нужно любить всех – и палача, и жертву»), а в моем *да* («я ведь тоже хочу любить людей, научите меня») есть Ваше *нет* («я не могу с ними жить, заберите меня от них!»).

Но мы поторопились согласиться, потому что какое-то таинственное расхождение между нами остается, и иногда оно дает себя знать яростно и мучительно.

По всему, что может быть названо словами, действительно получается так, что мы совсем одинаковы и согласны – и в нашем отчаянье и страхе перед миром «взрослых» людей, и в нашей жалости и любви к ним, – и я не мог бы, сколько бы ни напрягался, облечь это ощущаемое мной и иногда болезненно чувствуемое расхождение в какую-то словесную формулировку. И однако же, оно есть, и мы оба это знаем.

Мы знаем это, когда Вы вдруг чувствуете невозможность принять слова Померанца, что только повернувшись спиной к людям, можно набраться света, и пусть шутя, а все-таки немножко и раздраженно относите меня к одному лагерю с Талой (так, кажется, зовут Вашу дальнюю корреспондентку). <...> То, что «нет в мире виноватых», это, безусловно, святая правда, но разве Вы думаете, что Григорий Померанц не знает этой правды на несколько лет раньше Вас и глубже, правильное и трагичнее, чем Вы?¹

В наших словарях не хватает слов. Я испытываю физическое ощущение задыхания, когда мы одним и тем же словом называем разные вещи и явления. Я никогда-никогда, и в последнюю минуту, не забуду, как Вы сказали однажды: «Толстой – брат мой». И не нужно же ни мне, ни кому на свете объяснять, что это совсем не в том смысле, в каком и Софья Андреевна – сестра Ваша. Это совсем в другом смысле. И как бы Вам показалось (и правильно, естественно, прекрасно показалось бы) обидным, оскорбительным, кощунственным, если бы на Ваше «Толстой – брат мой» кто-нибудь ответил Вам: «Да, а Софья Андреевна – сестра». Ведь показалось бы?

И когда мы говорим своим любимым: «Я люблю тебя», разве мы думаем о том, что и всех без исключения людей на свете мы должны любить и, если верить индийским святым, любить так же, как любим

своих возлюбленных? Ведь Божий замысел, конечная цель мировой жизни именно в том, чтоб все и всё в мире было слито в такой любви.

Но я не могу так любить не то что всех людей, но еще кого-нибудь, кроме своей любимой. Я и Христа не мог бы любить такой любовью. Я скажу Вам то, что, может быть, Вас ужаснет и отвратит от меня, но я скажу это с полной ответственностью за свои слова и без всякого раскаянья: я не только не могу, я и не хочу любить всех людей так, как мне дано было полюбить свою любимую.

Я, знающий о том, что Божий замысел, Божья воля, Божья цель именно в том, чтоб любить всех людей такой любовью, но я – земной, смертный, сегодняшний – не хочу любить их так, не хочу быть любимым ими так, как я любим своей любимой. Я не могу, но я хотел бы так любить Христа, Моцарта, Толстого, моих друзей, многих хороших людей. Но я и не хочу, и не могу любить так, как я люблю свою любимую, тех людей, которые мучили Вас в Кировограде², тех, кто мучает сейчас Генчика³. Я не хочу их любить и не хочу быть любимым этими людьми. Я не хочу любить вульгарных певичек и до ярости не хотел бы, чтоб они меня любили, как моя любимая. Мне страшно это представить. Думаю, что и Вам это было бы страшно представить. <...> Разве Вам не было бы страшно, если бы я назвал этих женщин моими сестрами в том исключительном и радостном значении, в каком Вы назвали Толстого братом? Или назвал бы начальников и подонков братьями в том единственном смысле? Ведь страшно же, ведь невозможно!

А Вы, – так мне иногда представляется, – в какие-то моменты думаете, что Вы и сейчас, сию минуту готовы вместить такую любовь, готовы полюбить такой любовью всех людей и принять от них такую любовь. Не всегда, но в какие-то минуты Вам кажется, что Вы готовы, по крайней мере, что Вы должны, что этого от Вас хочет Бог. Во всяком случае (в те минуты), что это не просто конечная цель человечества, но наша личная цель в этой жизни, что такая любовь ко всем без различия людям прекрасна, нравственна, религиозна.

Но это не так. Я чувствую какую-то путаницу. Я знаю, что и я путаю. Я чувствую, всегда, давно, и уже писал и говорил Вам об этом, что Ваша правда выше моей, истинней моей, но и в ней время от времени я ощущаю досадную путаницу, которую не могу принять.

Мне это трудно объяснить, пожалуй, до конца и невозможно объяснить, но ведь Вы должны что-то дослышать, додумать – и мне помочь – и вместе со мной идти дальше.

* * *

Теперь, вот только теперь, я до конца понимаю, почему я раз-

дражался и «сердился» на Ваши разговоры о любви к убийцам, к Каину, к «лидерам» почему меня само это слово «лидер» раздражало.

<...> Вам не приходит в голову, не смущает Вас, что Вы, вместе со мной говорящая о своей нелюбви ко всему «привилегированному», о своем враждебном отношении к нему, о неприятии «привилегированного», во всех известных мне конкретных случаях проявления Вашей жалости, сочувствия, заинтересованности, симпатии, выбирали привилегированных – холодных или горячих, гордых, сильных, «красивых», «лидеров»?

И опять-таки, в том, что во всех известных мне случаях это было именно так, я Вас ни капельки не упрекаю, потому что выбор свойствен человеческой природе, и нормален и естествен для нее именно такой выбор. Я просто отмечаю путаницу в Ваших словах о любви ко всем, о желании любить всех, отмечаю несоответствие этих слов Вашим истинным, природным, «сокровенным» желаниям.

Вы и сейчас по-настоящему не хотите любить всех, не готовы хотеть любить всех. И я не могу хотеть, чтоб Вы их любили, но я не хочу, чтоб Вы гордились своим желанием любить всех, пока не готовы к этому.

* * *

Сейчас я опять думаю об этом, может быть, под непрямым и неосознанным воздействием Вашего страшного рассказа о молодом и «симпатичном» хаме, спокойно и уверенно оскорбившем женщину. В своих мыслях я прихожу к очень грустным и страшным выводам, а сказать точнее, никуда я не прихожу, а захожу в грустный и страшный тупик.

Сейчас я абсолютно уверен, что в этой самой главной Божьей, самой главной Христовой заповеди есть великая и непостижимая тайна.

* * *

...Читая Ваш страшный рассказ, я вдруг с новой силой и совершенно отчетливо, осознанно, ощутимо *пережил*, что не могу любить, и не только не могу, но и не хочу, <...> и не только не хочу, но и считаю аморальным, безнравственным, нерелигиозным любить вот этих, убивающих. Да, кстати, и к убиваемому у меня нет чувства любви: ведь и он такой же, как они, из их «кодла».

Вы скажете: а Христос? А я отвечу, как уже много раз отвечал: не знаю. Христос простил распинающих его, простил убийц – но, во-первых, только убитый, только убиваемый и может, и имеет право простить убийцу, не Вы, не я; а во-вторых, простить – значит ли полюбить?

В отношении Христа мы знаем, мы уверены, что он любил всех

людей, истинно любил, и в этом у нас нет сомнений. Но **как** он любил, что он имел в виду, когда проповедовал всеобщую любовь. Он, изгоняющий торгашей из храма, разлучающий близких, принесяший «не мир, но меч», не верю, не могу поверить, не могу почувствовать, проникнуться, принять, что для него были одинаково любимы убийца и убитый, палач и жертва, плохой и хороший. Да, я знаю, от Него знаю, что грешники, «недолюбленные» (по Вашему определению) более нуждаются в любви, их больше нужно любить. Но что значит «нужно», когда речь идет о любви? Ведь у самого Иисуса среди учеников были любимые, более любимые, чем остальные. И вряд ли это были «худшие», более «недолюбленные». Не знаю. Скорее всего, речь идет о разных «любовях», о разных чувствах, называемых одним словом, как уже давно говорю и думаю. Одно дело – любить, простив, не держа зла на тех, кто тебя распинает, мучает, глумится над тобой; другое дело, любить, как Вы любите тетю Лизу, <...> третье дело – любить так, как возлюбленные любят друг друга. Это не одна любовь. Это разные чувства. Помните, что я писал Вам о любви ко всем, к любому пришедшему, нуждающемуся, какого-нибудь отшельника, пустынноика. Для него воистину все были одинаковы, но это же понятно, это же «и мы так могли бы»: ведь он от жизни ушел, из мира ушел, от людей ушел. Он не слышал, как человека убивали, а многие знали и молчали, сидели, не высовываясь, – и вот к нему за утешением, за прощением, за благословением приходят и те, кто убивал, и те, кто сидели и не высовывались, а ему всё равно.

Я не хочу такой любви – ни к себе, ни от себя. Даже думаю, что так-то я уже и сейчас «люблю всех людей», то есть всем хочу добра, за всех молюсь, за всё живое молюсь (в самом деле молюсь) – за убивающих и убиваемых. Но это же не любовь! А любить – можно ли? Нет, всё страшно непросто.

* * *

Вот, понимаете, я никогда не мог понять, как это Иисус своей любовью, своим актом любви, своим распятием, своей крестной мукой мог **искупить** (вроде опять «торговля») грехи тысяч, миллионов людей. В это верят **все верующие христиане**. А я не мог ни поверить, ни понять.

Тех, кто верил Ему, кто слышал Его, была горстка, и эта горстка потерялась в море харь, орущих: «Распни его, распни!» Вы же помните, они все орали, они Варавву выбрали, Его отдали. **Как же можно это искупить?** Что же, они после его смерти, после его последнего вздоха на кресте опомнились, раскаялись, пожалели? Да нет же! Всё в мире так и осталось, как было.

Как может один человек – самым невероятным подвигом, самой немислимой жертвой, самыми небывальными муками – искупить чужой грех, грех другого человека, не тысяч, не миллионов, а одного другого, орущего «распни!»? Не может этого быть. И Вы не можете в это поверить, я знаю. И если мы с Вами в это поверим, то именно как в Чудо, как в Божье Чудо, в Божью Тайну, которую умом-разумом объяснить нельзя, понять нельзя. Но в Чудо мы с Вами поверить можем. Потому мы и «не взрослые», что можем.

Но ведь и всякая любовь – Чудо, всякая любовь – распятие, крест. Иисус не думал на кресте, что «они» – грешники. И мы, если пожалеем Вашу директрису, если полюбим ее, не должны думать о том, что она грешница, что она о Вас плохое говорит, что она Вам зла хочет. Мы, скорее, должны думать, что мы хуже ее, что мы еще большие грешники перед Богом. <...> Мы не можем, не смеем, не должны судить других, только себя. И тогда и будет искупление. Не потому что «спасем», или «очистим», или «поднимем», или хотя бы чему-то «научим», чем-то «поможем», а потому что любовью своей сами спасемся, сами очистимся, сами поднимемся, сами научимся, самим себе поможем. Вот, наверное, правда.

Я понимаю, что это отчасти «декламация», но если не так – иначе никак...

* * *

...Всякая любовь – это возвращение к Богу, возвращение в Рай, и поэтому освобождение от трудов, мук и страхов. Любовь сама по себе Дело, Божье Дело, противостоящее данным в наказание земным, корыстным, часто ложным, мнимым человеческим делам.

Конечно, когда Христос ходил по земле и проповедовал, учил Добру и Истине, он делал свое, Божье Дело (хотя, думаю, люди склада В. в душе должны считать его бездельником: а как же они могли иначе думать о человеке, призывающем, между прочим, жить «как птицы небесные», которые «не сеют, не жнут, а сыты бывают?»), и его крестные муки, распятие на Голгофе и – самое главное – то, что Он простил распинавших Его, были венцом этого Божьего Дела, подвигом во славу Бога и во спасение людям, но это же не земное, не человеческое дело, без земных последствий и результатов: те, кого он простил, умирая, не обратились в его веру и продолжали жить той же суетной, мерзкой, страшной жизнью, и те из этих распинавших и глумившихся, кто был голоден, не стали сытыми, и больной не исцелился, и отчаявшийся не воспрянул.

<...>Любовь друг к другу дорастает <...> у двоих до любви ко всему миру, ко всему живому и неживому, к Богу. Когда я употребил

нехорошие, не любимые мной слова «жертвы», «отказы», «уступки», я поступил так для большей ясности, для необходимого, для меня, по крайней мере, в таком разговоре упрощения, не забывая о «совместимости несовместимого». Одинаково верно и то, что, как говорят, любовь требует жертв (отказов, уступок), и то, что любовь не терпит жертв, что в любви не бывает жертв, отказов, уступок.

Жертвы, принесенные любви, уже не жертвы, они должны называться как-то иначе, да любящие и не считают их жертвами и часто так не думают и не считают, что они приносят жертвы, такие блаженно-сладостные для них самих, пока они любят.

Отказываясь от своего, от лично-своего, в любви «взамен» приобретают *наше*, так что все отказы и уступки оборачиваются взаимообогащением, взаимодарением. Но такое взаимообогащение непременно же сопряжено с трудами, с усилиями, с поисками, с падениями и срывами. <...> Это всё сложно, сложно, сложно.

* * *

Я спросил Вас, уверены ли Вы, что хорошо, что нужно, чтобы «преступивший», «согрешивший», повинный «ушел со светом», для него, для повинного, и для Бога – хорошо ли и нужно ли. Вы, не задумываясь, сказали, что безусловно, что, конечно, хорошо и нужно. Но это потому, что я плохо спросил, невнятно спросил и не до конца. В этом и у меня нет ни малейшего сомнения, что первое движение – прижать к себе голову, пожалеть, заступиться, успокоить, утешить, – ну а потом, а дальше?

Вы помните, я это же спрашивал Вас о том мальчике-«убийце», который бил топориком человека? Умеете ли Вы, знаете ли Вы, как с ним быть, *как* любить, *как* жалеть, *как* утешить?

Когда Раскольников сказал Сонечке о том, что он убил, ее первое движение было прижать голову, «как же Вам жить с этим?», пожалеть, приласкать. Но потом, сразу же – «иди на площадь».

Вот о чем я спрашивал. Не поможет ли ему тот свет, с которым он уйдет, обласканный и успокоенный, забыть вину, грех, забыть об обязанности и блаженстве раскаяния, искупления?

...Если он уйдет «со светом», не значит ли это, что, забыв о вине, грехе, без покаяния, без прощения, без искупления и навсегда забывший о них, он отказывается от них? Можно, нужно, должно пожалеть в беде так, чтобы забылась беда, чтоб и не вспомнилось о ней. Но нужно ли, но можно ли пожалеть в грехе, в вине так, чтобы и грех и вина забылись и не захотелось покаяния и искупления?

* * *

Я понимаю, что этот вечный мой вопрос к Вам – «как любить

людей» – вопрос риторический, на него нельзя ждать ответа; если и дождешься, ничего не изменится, потому что *научить любви нельзя*.

Нет, наверное, можно, безусловно, можно, но не словами, не разговорами, не мыслями. Только любовь может научить любви. И все рассуждения только мешают.

Ведь когда хороший, добрый человек делает кому-то добро, он делает это не ради награды или благодарности (хотя он может ждать благодарности и может огорчиться, если не дождется), а просто потому, что это ему нравится, это ему радостно, потому что он так живет и иначе не может жить. Ведь стыдно же, безнравственно, плохо делать добро и ждать за него награды. Так ведь любовь – самое большое добро и самое таинственное и святое. Зачем же искать в ней смысла? Смысл – это ведь тоже награда, благодарность, корысть. Это же то, что Вы называете «торговлей».

Вчера я рассуждал приблизительно так. В книге, которую я сейчас читаю, Бердяев говорит, – не говорит, а напоминает, – что Христос говорил, что любить нужно не добро, не идею человека или человечества, а самого человека, живого, грешного человека, и что в любви в первую очередь нуждаются грешные, заблудшие, пребывающие во тьме, не знающие света. Он к ним и шел, он с ними и жил, между ними, для них.

Это хорошо, это понятно. Понятно, когда об этом читаешь, когда об этом думаешь. Но любить нужно *грешников, а не грех*. Любить нужно, *потому что* грешники, потому что нуждающиеся в свете, в жалости, в спасении, в любви, *но не за то*, что грешники, не за грех, не за зло.

Как же «совместить» любовь к этим людям, к грешникам, к «злым», с неприятием их греха, их зла, их тьмы? Возможно ли это для смертного человека, не для Христа, не для Бога? Готовы ли к этому Вы, я?

Вот конкретно, как любить эту женщину, Вашу директрису? Ведь наша любовь, жалость, доброта, сочувствие должны не просто радовать, улаживать, нежить, но очищать от зла и тьмы, вносить свет, помогать, лечить, спасать. Как?

Я готов вместе с Вами жалеть и любить Каина, жалеть и любить Иуду, – ведь каялся же, мучился! – но как пробиться к этой бабе? Понимаю Ваше желание «посадить на диванчик» «лидера» Кольку, возможного убийцу, и разговаривать с ним как с другом, как с братиком. Верю, что Вы могли бы дозваться, «долюбить» до его души, потому что должна же она в нем быть. Но это – ребенок, мальчик.

Вы когда-то говорили о разных людях, что они «не проснулись», что в них душа не проснулась. Ну а как быть, если уже и не проснет-

ся, и Вы это точно знаете, если она была, да человек сам ее в себе растоптал, вытравил, убил, дал зарости мясом, глупым, жадным и злым?

Сказано – любить людей «как самого себя». Но о «самих себе» в других местах, во многих, прямо же сказано, что «не плоть, а дух». Помните Вашу «трактовку» Нарцисса? Ведь только так же самого себя и, значит, так же, только так – и других, и всех.

Опять, не всё так просто и однозначно, мы как-то говорили об этом, в любом человеке плоть и дух, преходящее и вечное неразделимы, границы нет, – но все-таки и Вы же не спорите, что не тьму же любить, не грех, не зло.

Так вот – как совместить, как разделить, как пробиться, как любовью возвысить и озарить, а не еще больше унижить и затемнить?

Можно ли быть уверенным, что светлые чувства жалости, сочувствия, любви не послужат тьме? Разве так не бывало? Разве так не бывает? Вы же сами вот совсем недавно писали о том, что люди сделали с любовью, сколько мерзости, пошлости, корысти, святотатства примешано к этому безусловно светлomu, безусловно Божьему чувству.

Так и еще много другого, похожего, развивающего думал я вчера.

И опять я запутался. Как же можно, говоря про Бога, про Божье, сказать «трудно», «страшно»? Да, и легко, и радостно, но все-таки трудно и страшно – так получается. Это всё потому, что не я запутался, а все люди запутали свою жизнь, которая могла бы быть прекрасной, легкой и радостной.

Вы знаете, в чем неправда этих моих вчерашних рассуждений? Да в том, что это именно рассуждения. Когда любят, не рассуждают, а пока рассуждаешь, не то что еще не любишь, а и не даешь места любви, не позволяешь ей стать и быть.

* * *

Когда спрашивают, как любить, и для чего, и есть ли в этом смысл, – это уже не любовь. Это головное, искусственное, и можно заранее сказать, что из этого ничего не получится.

В моих мысленных разговорах с Вами я больше всего и чаще всего касаюсь именно этой темы. По-моему, в этой Божьей заповеди особенно мучительно-непостижимо проявляется религиозный закон совмещения несовместимого, и из всех вопросов это самый «правильный», то есть такой, на который заведомо не может быть ответа.

Ну вот посмотрите. Божий мир. Земля, море, деревья, птицы, воздух, свет. Здесь-то уж точно не может быть, не должно быть никакого зла, никакого греха. Уж Божий-то мир точно можно только любить.

А землетрясения, наводнения, извержения вулканов, сметаю-

щие целые города, бури на море, топящие корабли, а эпидемии, болезни? <...> Но ведь есть же и люди, которые как землетрясение, как болезнь, которых *нельзя*, безнравственно, безбожно любить! <...> Иисус мог простить распинающих Его. Но, если мы полюбим тех, кто его мучил, распинал, издевался над ним, умирающим на кресте, мы будем *с ними, а не с Ним*.

Когда-то мы говорили «о палаче и жертве». В отвлеченном, абстрактном разговоре всё получалось – нет, не просто, но проще, чем в жизни, тем более, что мы же знаем заповедь, знаем, что любить заповедано всех, а грешника больше, чем праведника, тем более недолюбленного.

Ну а если представить, что у Вас *на глазах* палач издевается над своей жертвой, подвергает мукам, унижает, предает мучительной казни? Могли бы Вы *на глазах* у жертвы любить палача? Ну хотя бы разговаривать с ним, как с братом, как с другом, как с любимым? Не была бы эта любовь к палачу на глазах у жертвы *безбожной*, недопустимой? Но и не любить – безбожно!..

В любви не нужно, нельзя искать смысла. Не потому, что его нет вообще, а потому, что он скрыт от нас.

Окончательный смысл любви, окончательный смысл добра скрыт от нас. Это Божье Дело, Божья Тайна. Тот смысл любви, которого мы добиваемся, который мы пытаемся постигнуть своими рассуждениями, – простите за то, что повторяюсь, – это и есть награда за «мое добро», воздаяние, «плата», «торговля». *Такого смысла в любви не может быть*. И Вы это знаете лучше меня.

* * *

Вы помните мою любимую, постоянную мысль о том, что религиозное сознание – это не простое сознание, это «неэвклидов разум», это сознание не четырех измерений, не пяти чувств, а гораздо большего их количества, это сознание, в котором совмещается, нет, все-таки не совмещается, потому что совместить нельзя, но укладывается несовместимое, вмещается несовместимое, противоположное, и да, и нет. Понимаете, и то, что Вы думаете «о людях», о любви к ним, о том, что «виноватых нет», и то противоположное, что я думаю, – одинаково и *так*, и *не так*.

Подождите, я, кажется, придумал. Вы знаете толстый роман Ефремова «Лезвие бритвы»? Это, по-моему, довольно средняя книга, беллетристика, но само название – это прекрасный и очень точный образ, многое объясняющий. Лезвие бритвы – вот на такой тончайшей грани держится всё большое и главное, заветное наше. В любви, в религии, в искусстве – всё на лезвии бритвы.

Мы в пути, мы идем и знаем, что в этой жизни не дойдем, и в следующих жизнях не дойдем, но мы идем, мы в пути.

Подумать: «А я всё равно не дойду, ну одним грехом меньше или больше – какая разница, сегодня скушаю братца теленочка, завтра поблужу с женщиной, ведь всё равно не дойду» – подумать так и поступать так – это грех, это уже не просто уступка неизбежному, Богом же данному, не просто вынужденные задержка или уклонение, но отказ от пути, возвращение к началу.

Но и подумать: «Хоть и знаю, что не дойду, но вдруг для меня исключение, я же святой, я же хороший, я же праведный, я же лучше других» – это еще бо́льший грех (наверное), это гордыня и неразумие.

Понимаете, одинаково нехорошо и делать из своей слабости, из своего несовершенства, из своих поступков и уклонений закон и оправдание для будущих уступок и уклонений – и совсем не принимать в расчет своих слабостей и несовершенств, не знать о них, пускаться в путь легкомысленно и ослепленно. Одинаково неверно и нехорошо считать, что цель недостижима – и что она достижима тобой в этой жизни.

Правда – на лезвии бритвы, и такая тонюсенькая, что словами о ней не скажешь, она неназываемая, невыговариваемая, несказанная.

Понимаете, не «и то – правда, и то – правда», как мы с Вами думали, а не то и не то, а между ними – на лезвии.

Религия указала путь для человечества – на всю его историю – и для каждого человека, и каждый человек этот свой путь проходит как человечество, так, как будто он и есть человечество, не думая о том, что не дойдет, иначе зачем же в путь пускаться.

* * *

Вы говорите, что «их» – «взрослых» – нужно любить так, «как им надо». А что это значит? Значит, не так, как Вы хотите, умеете и знаете; не так, как, по-Вашему, Бог велел и как Ему надо, а так, «как надо им», как они сами себя любили бы, если бы могли, «как надо им», не знаящим Бога, не знаящим Главного? А Вы можете так любить их?

Еще Вы часто говорите, что знаете, что «всем им бывает больно и все они, когда им больно, плачут». Вам хочется отыскать в них человеческие черты, думать о том, какие они дома, с друзьями, с детьми, с любимыми, какие они в минуты опасности, беды, горя. Но в минуту опасности и беды (как и в минуту экстаза, восторга, страсти) подонок, подлец, насильник, властолюбец может оказаться более достойным, более «красивым», «привлекательным», трогательным, чем Мандельштам, Моцарт, Эйнштейн, Вы или я.

* * *

Помните, я говорил Вам о вопросах, на которые нет – и не будет, и не может быть в этой жизни – единого однозначного, годного для всех и на все случаи жизни, ответа. Вы спросите: «Но это же не относится к Божиим заповедям, которые не могут быть нарушима?» Относится.

Не возмущайтесь и не огорчайтесь. Я сейчас поясню.

Конечно, «не убий» – навсегда, на все времена, на все случаи, для всех людей. Конечно, *убивать нельзя* – ни на войне, ни в революции, ни на охоте, нигде и никого. Нельзя убить живое существо. Для нас с Вами это действительно аксиома и Божья ненарушимая заповедь.

Но *Реальность, Истинность выше* даже и *Божьих заповедей*. И одна из аксиом религиозной «высшей, неевклидовой математики» говорит, что *любая ненарушимая заповедь может быть нарушена ради высшего, чем сама заповедь*.

Я недавно прочитал прекрасную статью Померанца «О свободе нравственного выбора». Она давно написана, наверное, несколько лет назад, но я прочитал ее только в эти дни. Это очень *наша* статья.

Автор отвечает человеку, приславшему ему письмо с Вашим вопросом «так что же делать?». И отвечает так, как я отвечал Вам когда-то, говоря, что есть вопросы – и это как раз те Ваши вечные, самые главные вопросы, – которые всегда будут решаться разными людьми в разных обстоятельствах по-разному.

Автор остроумно говорит, что сравнительно легко сделать выбор между добром и злом, но что для него лично самое трудное и страшное в жизни было выбрать между добром и добром.

В том-то и дело, что в нашей безбожной, крайне запутанной, искаженной, почти что нереальной жизни не бывает или практически не бывает случаев выбора между абсолютным злом и абсолютным добром.

Автор рассматривает как раз Ваш случай (когда Вы несколько лет назад очень всерьез хотели «выйти из игры»). Он говорит, что для одного добром будет «выйти из игры» и грехом остаться, а для другого (и я думаю, что это как раз Ваш случай) грехом было бы «выйти из игры», а несомненным, явным добром – продолжать свою работу учителя.

Он пишет, что «прелюбодеяние», «преступная любовь», таимая и скрываемая, может привести к Богу. <...> И даже убийство в каком-то случае может быть меньшим грехом, меньшим злом, чем неубийство. Ну хотя бы в том примере, что я приводил: когда нужно убить, защищая жизнь дорогого Вам существа, и когда даже свою жизнь отдать не поможет, только убить.

Конечно, это грех, нарушение заповеди. Но оказывается (это я

уже от себя в развитие его мысли), что может быть *религиозное* нарушение заповеди. Понимаете?

Померанц вспоминает слова Достоевского о том, что, если бы ему пришлось выбирать между Христом и истиной, он выбрал бы Христа. Потому что Христос (для Достоевского) – нечто большее, высшее, чем истина. **Бог выше заповедей**, хотя они и Божьи. **Бог больше заповедей**. В нашей жизни, пишет автор, сплошь и рядом бывают случаи, когда солгать бывает меньшим злом, чем сказать правду. Так и во всем остальном.

Это очень сложно и страшно, но это еще потому, что я плохо пересказываю. Когда читаешь статью, то со всем соглашаешься и радуешься. Она очень религиозная, очень наша, а такое не может быть нам страшно.

И он, в общем, ничего нового, неожиданного для нас не говорит. И мы так думали. И мы так могли бы сказать. Но он (и я, пересказывая Вам его мысли) не спорит с Вами, с Вашим внезапным озарением, что «убивать никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах нельзя и нельзя». Мира⁴ спорит с Вами, потому что она спорит с заповедью «не убий», отстаивает право на «справедливое» убийство («справедливую» войну, «справедливую» революцию), отвергает Божью заповедь ради человеческой – мнимой и ложной – правды. Он же не спорит с Вами, потому что *жизнь* – не в смысле временной «мирской» жизни, майи, суеты, а в смысле вечной, реальной, истинной жизни – **больше заповедей**, заповеди – не цель, не смысл, не суть, а даны людям как указание, как ориентиры, как маяки на пути к цели, к смыслу, к сути, на пути к Богу...

* * *

Божьи заповеди людям, они не на «когда-то», не на «потом», не на какое-то отдаленное время – они на сейчас, на сию минуту, на каждый день жизни, этой земной, конечной жизни.

Ты сейчас – не убий. Ты сейчас – не прелюбодействуй. Ты сейчас – подставь левую, когда ударяют по правой. Ты сейчас – возлюби брата своего и сестру свою как самого себя, как любимую или любимого, как Бога.

Это недвусмысленно сказано, не символически, это правда, это так. Но не просто же так. Это и заповедь каждому на каждый день, но и идеал, почти недостижимый, это путь, понимаете?

* * *

...И все-таки Бог и Природа не враждебны друг другу.

Еще без всяких рассуждений, – рассуждения будут потом, – до

всяких рассуждений, чисто импульсивно, инстинктивно: Бог не может быть чему-либо враждебен. Если даже правда (а это неправда), что Бог и Природа противоположны (как внешне, «на слух» можно вывести из Божьих заповедей, которые как будто все спорят с Природой), то Бог не враждебен природе. Бог не может враждовать, не может ненавидеть, тут нужно какое-то другое слово, какого нет в словарях.

Вы это «бессознательно», досознательно, сверхсознательно чувствуете, когда говорите, что «бороться нельзя» (нельзя бороться с соблазном, с грехом, с тоской, с отчаянием, когда они приходят; не поддаваться им, но и не бороться, ждать, молиться, терпеть, я не знаю, что еще; я ведь никогда не соглашался с Вами, всегда спорил, но и всегда тоже «бессознательно» чувствовал какую-то Вашу высшую, таинственную, не человеческую, не земную – Божью правду: Вы так же говорили о «мужском» и «женском», что «нельзя» с ними бороться, «нельзя» отказываться от них, «уничтожать» их в себе, нужно, чтоб они перестали быть пугающим, темным, разъединяющим, чтоб они – это уже не Ваше, а мое слово – «преобразились»).

И еще – без и до всяких рассуждений. Мы с Вами никогда не говорили о том, что такое Бог, никогда не пытались «выяснить», «определить», это не дано и не нужно людям. Но мы сразу согласились, что Он – не «над», а «в» – внутри, в глубине. Пусть эта *наша* глубина так глубока, так недоступна, что уже как-то мистически, непонятно перестает быть *лично нашей*, совпадает с всечеловеческой, всеприродной, всемирной, космической глубиной, и «геометрические» понятия глубины и высоты теряют всякий смысл, и становится мало всех наших измерений, и Бог, который – мы знаем! – внутри нас, становится Богом всех и всего, Отцом, Творцом, Создателем. Пусть это так, мы этого никогда не узнаем, не поймем, и не нужно ни говорить, ни думать об этом.

Но начинается Он с «в», а не с «над», и путь к Нему начинается с пути внутрь себя, в глубину.

Так может ли Он враждовать с тем, что он сам создал, в глубине чего он «пребывает» и осуществляется?

Пусть Он не совпадает с понятием Природы, пусть Он – не она, не только она, «больше», чем она, но Он – и она, Он был бы невозможен без нее. Он есть только поскольку есть мы, наша природа, наши души в телесной, материальной, природной оболочке. И Он не может быть этому врагом...

* * *

Судя по Вашему письму, по тому, что Вы пишете в нем о своих «изменившихся отношениях с Небом», Вы что-то неправильно пони-

масте, в чем-то запутались. Это не страшно, потому что любой на Вашем месте запутался бы. Ведь и Христос молил: «Да минует меня чаша сия». Это тоже естественно, прекрасно, трогательно, — и я не укоряю Вас и не учу. Я сам учусь вместе с Вами. Потому я и не огорчился Вашим письмом, хоть и не согласен почти со всем, что в нем написано. Если бы оно не было написано, я бы не узнал про это и не научился бы вместе с Вами истинному отношению к этому. На Вашем месте я, наверное, тоже или, скорее всего, еще больше, чем Вы, растерялся и испугался бы. Но только то, чего Вы боитесь и перед чем Вы себя чувствуете рабой, это не Небо и не от Неба исходит.

Бог — это то, что освобождает от страха. В числе тысячи определений, что такое Бог, можно и так определить. И Вы, по моему, и без меня уже это знаете. То, что Вы говорили — когда я сказал Вам о вере, «движущей горами», а Вы ответили, немножко «не услышав», что Вам и не нужно «доказательств» (или «наград» Вашей вере, Вашему добру), — гораздо ближе к Богу, чем то, что Вы написали в письме. Я так и знал, что это письмо просто случай...

* * *

Люди, которые не верят в Бога и мучаются этим, хотят поверить, хотели бы верить, но не могут, — таких людей мало, но они есть, и Вы их тоже, наверное, знаете, вот, может быть, и Ваш В. такой, — **потому и не могут поверить**, что они ставят это рядом, что **для них Бог — это идея**, очередная идея, может быть, высшая, обширнейшая, спасительнейшая, но такая же идея, как другие человеческие идеи.

Они искренне страдают из-за своей неспособности принять эту идею. Но Бог — это не идея, это свобода от всех ложных идей (а все они, в конечном счете, ложные, любая идея, самая прекрасная — если не явная ложь, то нечто временное, «ограниченно-земное», суетное и, значит, в общем, мнимое, «неглавное», **ложное**), в том числе и от идеи Бога, от Бога как идеи, от Бога католического, православного, баптистского, толстовского и т. д.

К Богу приходят не умом, не сознанием, не так, как приходят к другим идеям, а как-то совсем иначе.

Для Бога нужно **освободиться** от всего ложного, мнимого, неглавного.

Бог — это и есть свобода. Это — выход из «царства земного» в Царство Божие, из времени в Вечность, из привычных измерений в какое-то другое, непривычное, новое. <...> К Богу приходят не умом, не сознанием, не так, как приходят к другим идеям, а как-то совсем иначе. <...> Может быть, в первую очередь от ума нужно освободиться для того, чтобы прийти к Богу.

* * *

Я когда-нибудь расскажу Вам, <...> как я понимаю Троицу, почему я считаю, я уверен, что Бог должен быть воплощен, что должно быть что-то, что называется Бог-Сын. Смертному человеку не то что трудно или даже невыносимо, но и просто невозможно, просто не дано – человеку, постигающему мир чувственно – глазами, слухом, осязанием, – невозможно и не дано по-настоящему полюбить невоплощенного Бога.

Всё, что Вы думали в поезде из Киева в Вильнюс и о чем попытались рассказать, вся видимая, чувствуемая, радующая и мучающая душу красота мира, и не сотворенная человеком, – пролетающие поля и рощи в солнечном свете или под пасмурным небом или морозящим дождем, берег моря – в Коктебеле или Одессе, скалистый или степной, зеленые луга, лес – высокий, непроходимый, глухой, как на Севере, или наш украинский, «ручной», уютный, или даже одесский, почти воображаемый, тополя, платаны, ландыши, ромашки, розы, белые кувшинки, и сотворенная человеком, рукотворная, духовнотворная – Ферапонтово, костел Анны, музыка Баха и Моцарта, «Даная» в Эрмитаже, пушкинские строки, стихи Марины и Мандельштама, «Гамлет», «Воскресение», «Декамерон», пьесы Шварца, «Золотая лихорадка», акварели Волошина, даже наша харьковская церковь (даже – потому что не такая уж она древняя и славная, не такая «знаменитая», как всё перечисленное перед нею) – всё это воплощенный Бог.

Но во всем этом, в отдельности – в поле, в тополе, в церковке, в мессе, в акварельке, в «Декамероне» – не весь Бог, а какие-то его черты, свойства, «кусочки Бога», «частицы Бога».

А самое полное, самое «всецельное» (насколько может бесконечное проявиться в конечном, вечное – в смертном) воплощение Бога – в самых прекрасных и святых человеческих обликах, в таких, как Христос или Будда, в таких, какой для Данте была Беатриче. <...>

Бог – это так огромно, так прекрасно, так свято-огромно, что перед ним все равны – самый совершенный святой и самый закоренелый и нераскаявшийся грешник. Об этом хорошо сказано у Померанца в том куске «Снов земли», который называется «Лестница Иакова».

Для Бога одинаковы и равны святой и убийца, может быть, для Него убийца еще первее и дороже (потому что убийце Он нужнее), но, говоря «первее и дороже», я не удержался и опять-таки наделил его «нашим», «человеческим»; для него все-таки все одинаковы и равны, я даже иногда не по-христиански, а скорее, по-индийски, думаю, что и человек, и муравей, и дерево – всё одинаково и равно. Но мы – смертные люди, и не можем, и не смеем так относиться. Для

нас было бы **безбожным** одинаково относиться к святому и убийце, к Пушкину и Аракчееву, и вот поэтому мы не равны в своем счастье.

* * *

Всё человечество, мир, космос, может быть, и придут к цели, и сольются с Богом в Единое, в Единую Любовь, Единый Свет, Единую Гармонию; отдельный человек – Вы, я, Толстой, Христос – никогда не дойдут; но путь у всего человечества, у десятков и сотен его поколений, и у меня и у Вас – один путь, тот же путь, и мы его проделываем, как будто мы и есть мир и космос, как будто это мы придем к Единому.

Я опять запутался, но это не страшно и понятно – ведь по лезвию же. Вы уже почувствовали, что я хочу сказать, а мыслью это всё равно не охватить и не прикрепить.

Любовь к людям – вся на лезвии бритвы. Правда не в моих словах, что «я не могу любить людей», что многих из них и нельзя и не нужно любить, и не в Ваших, что всех их нужно любить, «потому что все они плачут, когда им больно» и что «они не виноваты».

Правда – между тем и тем, на лезвии, и мы ее никогда не говорим друг другу и никогда не скажем, потому что она на лезвии, тонюсенькая, неуловимая: как же сказать словами то, что на лезвии?

Ваша неправда не в том, что «людей нужно любить». Ваша неправота – в Вашей гордыне и в Вашей наивности, в том, что Вы забываете, что мы в пути, и что любовь эта тоже в пути.

Святые и истинные слова Вашей Миры (о том, что она не может «отступиться» от своего ученика, если даже он будет убийцей), сказанные учительницей, то есть в каком-то смысле матерью своих учеников, и сказанные об учениках же, то есть о детях, Вы наивно распространяете на всех людей, на взрослых людей, которые не связаны с Вами отношениями учеников и учителя, младших и старшей, и которые вовсе не хотят, чтоб Вы их жалели, утешали или наставляли.

И то, что Вы иногда проявляете упорство в своем стремлении любить всех, считая себя готовой к этому, оборачивается – на мой слух, на мое понимание – прямой неправотой, неправдой и безнравственностью.

Для нас с Вами, таких, какие мы есть сегодня, сейчас, на том уровне, на том отрезке пути, на котором мы находимся, для нас, знающих о Толстом, о Пушкине, о Марине, было бы безнравственным, нерелигиозным любить такой любовью, какой мы любим своих любимых, и любить одинаково Толстого и Софью Андреевну, Пушкина и Дантеса, Марину и Сталина. Не вообще, не навсегда безнравственным и нерелигиозным, а на сегодня, на сейчас, – потому что не готовы, потому что в пути.

И Бог не хочет, не может хотеть, чтоб мы сегодня любили их одинаково.

Для нас с нашими сегодняшними представлениями это было бы ужасно, святотатственно. Мы бы не то что не выдержали и надломались – мы бы стали хуже, чем мы есть. Нам сегодня нельзя любить Сталина – и не стать хуже тех, кто его не любит, хуже самих себя, не любивших его.

Вам с этим будет трудно согласиться, Вы же сейчас повторяете, что «нет в мире виноватых», но Вы хорошенько подумайте – и, может быть, согласитесь со мной.

То, что в мире нет виноватых – это истинная правда. Но, во-первых, это правда, которая одновременно может быть вывернута наизнанку: нет в мире ни одного не виноватого перед Богом, нет никого не виноватого в первородном грехе, в распятии Христа – и в том, что было на Голгофе, и в тех, что каждый день совершаются; нет ни одного не виноватого перед убитыми, замученными, несчастными, больными, нелюбимыми; нет виноватых – и все виноваты, каждый виноват – это одно и то же, понимаете?

Во-вторых, то, что виноватых нет, – это религиозная правда, для человеческого сознания и совести невыносимая, неместимая правда, такая «странная» правда-истина, которая одновременно и должна быть прямым «руководством к действию» в наших конкретных каждодневных отношениях с людьми и не может быть таким «руководством» в слишком наивно-торопливом, обиходно-житейском смысле, который Вам не терпится в нее вложить (видите, опять всё на лезвии бритвы и не может быть выражено словами).

Опять-таки, не в том Вы не правы, что утверждаете эту истину, а в том, что слишком легко и безусловно ее утверждаете, не вдумываясь в ее невыносимый и страшный смысл.

Когда Вас кто-то обижает, делает Вам больно, Вы знаете, что он виноват перед Вами, Вы прощаете или не прощаете ему его вину перед Вами. И сами Вы каетесь в своих мнимых или не мнимых грехах, то есть винах перед Богом или людьми (что, наверное, одно и то же).

Ну хорошо. Это мы. Нам с Вами так и надо – единственных себя считать виноватыми. О других, обо всех это Бог знает, а для нас нет виноватых в мире, кроме нас самих. Хорошо. Это правильно и хорошо. Ну а Марина? Вот она в Елабуге всовывает голову в петлю, затягивает на шею, качается, задыхается, мертвая. Кто-то же довел ее до этого. Кто-то же мог спасти – и не спас. И, может быть, только и надо было прийти, улыбнуться, куском хлеба поделиться, доброе слово сказать.

Что ж, перед ней, перед повешенной Мариной, так-таки и нет виноватых? Да весь мир перед ней виноват, а уж о России и говорить

нечего. И я ведь – с Мариной – взял случай не прямого убийства – ножом в сердце или головой о камень, не прямого насилия – кулаком «под дыхало».

Понимаете, чем для меня страшно Ваше такое вот отношение к людям, к их преступлениям, порокам и грехам? Тем, что Вы **снимаете с них ответственность**. Вы сравнительно недавно напомнили мне мои слова о том, что не нужно преувеличивать нашу свободу (свободу выбора, свободу ответственности). Мне не нужно было говорить Вам тех слов, потому что Вы никогда не преувеличивали. Зато Вы преувеличиваете «в другую сторону» – преувеличиваете власть наследственности, природы, кармы, предопределения, судьбы, чего угодно, только не нашей личной воли, свободы и ответственности.

У Вас получается, что все наши определения хорошего и плохого человека, прекрасного или дурного поступка попросту не имеют никакого смысла. Когда Вы так говорите, упорствуете, настаиваете, мне иногда хочется кричать или плакать от отчаянья, – такая это явная и страшная для меня неправда.

У Вас вообще происходит какая-то путаница с человеческой свободой. Вот именно перепутана «западная» активность, действенность (добиваться желаемого во что бы то ни стало, совершать невозможное; вспомните Ваши слова – что-то вроде того, что «Божьей воле надо помогать») с «восточной» пассивностью, загипнотизированным смирением перед тем, перед чем не нужно и не должно смиряться (когда к Вам приходит «болезнь» – тоска, отчаянье, неверие, ожидание смерти – и Вы говорите, что «это» само пришло и бороться с ним нельзя, «оно» само должно и уйти). <...> Вы чудовищно преувеличиваете власть природы – генов, темперамента, чувственности, потребности. Разве Вы собственными глазами не видели, что с абсолютно одинаковыми «природными данными», с абсолютно одинаковой потребностью люди бывают целомудренными и развращенными, чистоплотными и распущенными, боящимися причинить боль или неприятность другому человеку и думающими только о себе, о своем наслаждении, о своей потребности? <...> Вы и свое великое открытие о Божьем замысле так повернули, что всякая ответственность с человека снимается. «Они не виноваты», «у них такая потребность», «они не доросли», «у них такой уровень».

А Вы попробуйте Вашим друзьям сказать, что «они не доросли», что они (по сравнению с Вами) стоят на более низком уровне. Да ведь то, что Вы называете «уровнем», это и есть хороший или плохой человек. Об уровне можно говорить, когда речь идет о дикаре с тихоокеанских островов или из африканских степей, на худой конец, о деревенских жителях. Но Вы и Н. воспитывались в одинаковых усло-

виях, в одном городе (или в похожих), одни книги читали. Почему же она должна стоять на более низком уровне?

Вот Вы бросили курить. Просто бросили пачку, которая у Вас была, и с того дня больше ни разу не закурили. А я не могу бросить. Знаю, что это нужно и хорошо, но не могу. Что ж, у меня гены такие, природа такая? Просто развращенность привычкой, распущенность. Просто и в этом я хуже Вас, ниже Вас, слабее Вас – не в биологическом, природном, не зависящем от меня смысле слабее, а слабее доброй волей, готовностью к совершенствованию.

Человеку всё дается от природы – сама жизнь, темперамент, характер, потребности, талант, красота, ну всё, одним словом, – но этим «всем» он распоряжается по своей воле, он это «всё» может употребить в добро и во зло, развить и погубить.

И красоту можно изуродовать, исказить косметикой и дурной жизнью. И талант можно пропить, заспать, продать.

Вы читаете дневники Толстого. Гений ему был дан от природы. Но Вы же видите, как он сам с собой боролся, как он совершенствовался, рос, поднимался со ступеньки на ступеньку. Это же уже не от природы, это же уже от него самого, и Вы же за это его любите, поэтому братом называете. <...> Вы почему-то не приняли простых, «человеческих», «житейских», из письма Померанца слов о том, что набраться света можно, только повернувшись к людям спиной, а лицом – к деревьям, небу, музыке. Я не знаю, что Вам почудилось и послышалось в этих словах, но Вы их почему-то активно не приняли.

А между тем в каком-то смысле (я уже когда-то давно писал Вам об этом) любить людей – не жалеть, не сострадать, а любить, любить так, как мы любим своих любимых или похоже, – можно только отвернувшись от людей. Ну, не отвернувшись, но удалившись, уйдя, настолько уйдя, что станет всё равно – Пушкин или Дантес, Толстой или те, кто арестовывал и ссылал его последователей, Марина или Сталин.

Не снимайте с людей ответственность. Это несправедно, это нехорошо.

* * *

Когда мы думаем о любви, что наша любовь к любимой, к любимому научит нас любить и всех людей, что эта наша любовь, воспитываясь в «школе любви», совершенствуясь, вырастая, со временем перерастет в любовь ко всему и ко всем, мы, конечно, правы, но мы таинственно правы, несказанно правы, необъяснимо правы. Потому что я должен признаться, хотя это, наверное, смешно и очень стыдно, что я представлял это по-детски наивно-прямолинейно: вот мы с любимой будем любить друг друга всё больше, всё лучше, всё рели-

гиознее, и постепенно эта наша любовь будет охватывать сначала близких нам по духу, по вере, по любви, потом всех хороших людей, а когда-нибудь и плохих, и злых, и жестоких, и всех-всех. Как в дневниках Толстого — распускать от нас, любящих, паутину любви и захватывать в нее всё больше и больше.

А это не так. Вы, наверное, это всегда знали, а я не знал, я только сейчас это понял.

Я запутался, и мне страшно...

...Если мы не имеем права судить никого на свете, карать или награждать по этому мысленному суду, то ведь и прощать за чужие обиды мы также не имеем права.

Убийцу мог бы простить только убитый.

Мы можем, не судя убийцу, жалеть его, утешать, даже любить, но простить ему грех убийства мы не вольны и не смеем. Обидчика может простить только обиженный им.

* * *

Я сейчас скажу Вам такое, с чем Вы сразу не согласитесь, против чего восстанет всё Ваше и Вы закричите: я не хочу. *Да, людей нужно любить как Бога, как своих любимых, и именно так заповедовал любить людей Бог*, — но, любя людей такой любовью, *нужно любить не Толстого, не Моцарта, не свою любимую, а человека* (помните, я Вам говорил о своем таинственном, неназываемом «открытии», о душе — о теле и Духе, о том, что «всё наоборот»?); нужно любить не духовного, индивидуального человека — гения, святого, праведника, героя, поэта, царя, начальника, палача, убийцу, подонка, а человека, *живого, живущего человека. И даже больше, даже всё живое, саму жизнь.*

Помните (это мало кто помнит), в «Войне и мире», когда французский офицер, даже, кажется, маршал, встречается взглядом с арестованным, как шпионом, Пьером и видит в нем человека — на несколько мгновений? Он же не Пьера видит, а человека, живого человека, которого нельзя убить, потому что он живой, независимо от того, шпион он или нет.

Вот в чем дело. Величайшие язычники и величайшие святые в этом совпадали. Самая высокая, самая утонченная индийская религиозная философия утверждает, что *священна жизнь*, — жизнь гения и жизнь муравья — просто *жизнь*.

Те русские святые, которые в своих лесных «скитах» и «пещерах» молились за всех и утешали всех, *не знали Пушкина*. Для них всё связанное с именем Пушкина — писание стихов, дружба с декабристами, вражда с царем — было *суею* мирской, ничего не значащей суетой.

И Бенкендорф, и Пушкин, и Толстой, и Победоносцев – всё суета, *одинаковая суета*. Поэтому *не суета* – именно *плоть*, то вечное, неиндивидуальное, что есть в плоти. То, что живет, то, что растет.

Так для природы, так для человечества. Дух только в плоти может проявляться, только в телесной оболочке, и поэтому и она (если она не оболочка Толстого или Победоносцева, Марины или Сталина, а нечто большее, вообще оболочка, то, без чего невозможен Дух) священна и вечна.

Русским святым было легче, чем нам с Вами, – они не знали Пушкина, Моцарта, Толстого, Марины. Для них всё это было суетой. Понимаете, они и правда не знали Пушкина, не знали Толстого, Достоевского. Им было легче.

Представляете, живет пустынный в скиту, в пещере, в лесу, в глуши, приходит к нему Пушкин, Дантес, Толстой, Николай I или II – ему всё равно, для него они – *люди, живая плоть* (значит, и *живой дух*?!)... Он, пустынный, одинаково помолится за того и за другого, утешит того и другого, он одинаково любит того и другого.

Высший это уровень или низший? *Высший*. Я это знаю – но мне это больно знать.

Понимаете, есть два разных уровня: на одном то, что ты не знаешь Пушкина, Толстого, – это невежество, это плохо; на другом то, что ты их уже не знаешь, – это хорошо, религиозно хорошо.

И сейчас я скажу самое страшное. Для той, заповеданной Богом, любви нужно отрешиться от самих себя, от своей любви. Ничего исключительного. Ничего – Ты и Я. Нет ни Пушкина, ни Дантеса, ни Толстого, ни тех, кто арестовывал и ссылали его учеников, ни Марины, ни тех, кто подвел к петле, кто не спас от петли, нет моей любимой, нет меня. Есть только человек, только все – и все одинаковы и равны.

Вы хотите так? Я – нет, не хочу!..

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Григорий Соломонович Померанц (1918–2013), философ, культуролог, писатель.
2. В 1973 году по инициативе и при участии КГБ Полина Брейтер была уволена из Кировоградского пединститута «за антисоветские разговоры со студентами». Тогда же было направлено ходатайство в ВАК о лишении ее звания кандидата наук и решался вопрос об открытии уголовного дела, но ограничились «профилактическими мерами».
3. Генрих Ованесович Алтунян (1933–2005), народный депутат Украины 1-го созыва, диссидент и политзаключенный.
4. Мира Доновна Блинкова (1929–2004), педагог, жила в Киеве, в Израиле.

Андрей Красильников

Неизвестные линии предков

А. С. Пушкина

К 185-летию со дня гибели А. С. Пушкина

«Пушкин – наше всё». С каждым годом мы больше и больше понимаем глубинный смысл этого утверждения.

Значит, и знать о нем мы должны тоже всё. Если с жизнью и творчеством Пушкина так и происходит, то с генеалогией дело обстоит намного хуже. Постоянное упоминание лишь двух фамилий – Пушкин и Ганнибал – создает ложное представление о полурусском-полуафриканском происхождении национального поэта. А ведь пресловутый «черный дед» в действительности приходился ему прадедом, следовательно, эфиопской крови там лишь восьмая часть. Такая же доля и от супруги арапа Петра Великого – немки фон Шёберг. Остальные три четверти – сугубо русские.

О них и пойдет этот рассказ.

В дореволюционные времена, когда происхождению человека придавалось большое значение, родословные утверждались в специальном сенатском департаменте, куда затем полагалось подавать сведения о вновь родившихся для сопричисления их к роду отца. Сегодня это помогает восстанавливать поколенные росписи, однако дает представление о предках лишь по прямой мужской линии, в лучшем случае – об их женах. Выявить другие линии, возрастающие с каждым поколением в геометрической прогрессии, можно только методами, применяемыми в научной генеалогии. А она, едва появившись, была фактически уничтожена после 1917 года и, к сожалению, не возродилась до сих пор, несмотря на повышенный интерес к родоведению в последние тридцать лет. Но родоведение соотносится с генеалогией примерно так же, как краеведение с историей или топонимика с географией. Отдельные родословные подобны схемам городских улиц, тогда как аналогом географической карты может быть только их соединение.

К двухсотлетию со дня рождения А. С. Пушкина, отмечавшемуся

в 1999 году, вышла так называемая «Пушкинская библиотека», один из томов которой вобрал, как писала его составительница О. В. Рыкова, «наиболее значительные исследования по истории предков А. С. Пушкина». Их в книге четыре: «Род и предки А. С. Пушкина в истории» академика С. Б. Веселовского, «Предки Пушкина» М. О. Вегнера, «Из семейного прошлого предков Пушкина» П. И. Люблинского и «История рода Ржевских» (выдержки из монографии «Забываемые родственные связи А. С. Пушкина») Н. К. Телетовой. Общее число фамилий прародителей поэта, не считая его собственной и Ганнибала, во всех четырех составляет семнадцать. Почти половина из них относится к родам, представительницы которых вышли замуж непосредственно за Пушкиных: Чичерины и Ржевские (III колено), Головины и Коренёвы (IV колено), Есиповы (V колено), Желябужские (VI колено), Сунбуловы (VII колено). Внимательный читатель сразу удивится, откуда взялись две фамилии в третьем и четвертом коленах: обычно такого не бывает. Дело в том, что бабушка поэта по материнской линии Мария Алексеевна Ганнибал – тоже из рода Пушкиных, и ее прадед Петр Петрович – дважды пращур Александра Сергеевича, как по прямой линии, так и через правнучку, а Сергей Львович, таким образом, приходился своей жене Надежде Осиповне троюродным дядей.

Другие десять родов, приводимых в книге, – Приклонские, Глебовы, Челюсткины, Радиловы, Домогацкие, Чириковы, Милославские, Поджогины-Шигоны, Одоевские, Холмские.

Уже в новом веке, в 2005 году, вышло второе издание монографии А. А. и Л. А. Черкашиных «Тысячелетнее древо А. С. Пушкина: корни и крона». Однако новых сведений о женских линиях оно не прибавило. А ведь М. О. Вегнер в упомянутой статье, написанной еще в 1937 году, пенял своим коллегам на их игнорирование, подчеркивая: «И если искать надежных и научно ценных результатов от изучения генеалогии Пушкина, то надо одинаково обстоятельно изучать всех предков поэта, в особенности ближайших, а не только тех, которые носили фамилию Пушкиных. Материнские линии не менее важны, и имеются некоторые основания думать, что среди предков поэта эти линии представляют больше значения и интереса, чем мужская по отцу».

Вегнер частично взял такой труд на себя в главе «Предки поэта со стороны Пушкиных, Головиных, Ржевских, Чичериных и Приклонских». Повествуя о Чичериных, он высказал предположение, что сам Пушкин не знал род своей бабушки и крестной матери Ольги Васильевны (она умерла в его младенческую пору), иначе «несомненно очень заинтересовался бы и этой линией своих прямых предков, если бы что-либо толкнуло его интересы в эту сторону. Один из них, Дмитрий Иванович, был убит в 1552 году при взятии Казани. Родной

прапрадед поэта Иван Андреевич Чичерин вместе с братом и двумя племянниками были убиты в Полтавской битве 1709 года. Вообще фамилия Чичериных сильно пострадала в войнах Петра Первого».

Собственные исследования Вегнер дополнял примечаниями, где приводил поколенные росписи по опубликованным источникам. В случае с Чичериными он адресовался к «Родословному сборнику русских дворянских фамилий» В. В. Руммеля и В. В. Голубцова, которые, в свою очередь, опирались на материалы дворянских дел в Департаменте герольдии.

Трудно сказать, знал ли при этом Вегнер труд первого русского генеалога игумена Ювеналия (Воейкова) под названием «Историческое родословие благородных дворян Чичериных, собранное из достоверных известий», изданный еще до рождения самого поэта, в 1792 году, когда составление дворянских родословных книг по жалованной грамоте 1785 года только начиналось. А если знал, то почему предпочел ей более позднее исследование? Сегодня приходится жалеть об этом потому, что автору восемнадцатого века воистину удалось собрать более достоверные сведения, чем почерпнутые Руммелем и Голубцовым почти через сто лет.

У последних женой Ивана Андреевича Чичерина, прапрадеда Пушкина, показана Юлиана Андреевна Челюсткина, что затем перекочевало в статью Вегнера. У Воейкова же читаем: «Иван служил в кавалерии майором и, сражаясь с неприятелем не щадя своей жизни, под Полтавой убит; женат был на Иулиане Иродионовне Челюскиной».

Незначительное расхождение в написании имени и фамилии не мешает догадаться, что речь идет об одном и том же человеке. Но почему разные отчества? И почему свыше восьмидесяти лет эта путаница никем не прокомментирована? Более того, в уже упоминавшейся монографии А. А. и Л. А. Черкашиных «Тысячелетнее древо А. С. Пушкина: корни и крона» среди предков поэта значится и некий Андрей Челюсткий, не имеющий ни отчества, ни каких-либо пояснений, связанных с родом деятельности или местом жительства.

Устранение этой двойственности и стало отправной точкой настоящего исследования. Искать долго не пришлось, поскольку в отказных книгах Поместного приказа несложно найти сведения о переходе недвижимого имущества в качестве приданого при венчании. В одной из них по городу Карачеву (что ныне в Брянской области) нашлись даже две записи за 1688 год, сделанные практически одна за другой: 22 и 28 сентября. По первой, стольнику Ивану Андреевичу Чичерину отказано «прожиточное поместье девки Ульяны Родионовой дочери Челюсткиной да вотчина Ивана Родионова сына Челюсткина, кою он написал в рядной ему, Чичерину, за сестрой своей девкой

Ульяной в Белёвском уезде в деревне Париносовой». Из второй следует дополнение, что «отказано ему прожиточное поместье девки Ульяны Родионовой дочери Челюстинина в Карачевском уезде в деревне Гавриловской и в пустоши Архиповской».

В одном из столбцов есть и более подробное описание приданого: «по посланной из Поместного приказа грамоте прожиточное поместье девки Ульяны Родионовой дочери Челюскина в Карачевском уезде в деревне Гавриловской да в пустоши Архиповской пашни семьдесят три четверти да в Белёвском уезде в деревне Париносовой пашни десять четвертей да Иваново променное поместье и вотчину Челюскина в той же деревне Гавриловской и в пустоши Архиповской пашни осьмина да вотчины в деревне Париносовой пашни сорок четвертей».

Для пушей убедительности процитирую ещё один столбец от 1688 года: «Ивану Чичерину дана приданая вотчина по поступке шурина его Ивана Челюскина».

Надеюсь, четырех архивных источников достаточно, чтобы поставить точку в споре и объявить победу игумена Ювеналия (Восейкова), а прапрабабушкой Пушкина отныне именовать Ульяну Родионовну Челюстинину, родившуюся, судя по дате замужества, приблизительно в 1670 году. Что касается посрамления Руммеля и Голубцова, то это урок тем, кто идет по их следам и всецело доверяет сведениям из дворянских дел Департамента герольдии. Опыт показывает, что достоверны там лишь данные, касающихся самих заявителей, их родителей и детей, в лучшем случае – дедов, а остальное нужно перепроверять.

Но вернемся к Челюстинным. Получение приданого не от отца невесты, а от ее брата явно намекает на их сиротство. Поэтому попробуем для начала разобраться с личностью Ивана Родионовича.

Как выясняется из других документов, он был стольником времен дуумвирата – одновременного нахождения на престоле единокровных братьев Ивана и Петра Алексеевичей. И, что более интересно, отцом знаменитого полярного исследователя Семена Ивановича Челюскина, чьим именем названы известные по школьным урокам географии полуостров и мыс, а по урокам истории – ледокольный пароход, потерпевший катастрофу в 1934 году (за спасение его команды и пассажиров впервые вручались новые высшие государственные награды – Золотые Звезды Героя Советского Союза). Нетрудно подсчитать, что сын Ульяны Родионовны Василий Иванович Чичерин приходился кузеном прославленному полярнику, его дочь Ольга, бабушка Пушкина, – двоюродной племянницей, а наш великий поэт – двоюродным правнучатым племянником.

Однако род Челюстинных (одна буква из фамилии, как мы видим, позднее выпала) прослеживается и в глубину. В тех же отказ-

ных книгах обнаруживаем сделанные в один день 21 ноября 1678 года записи. По одной, «отказано Родиону Матвееву сыну да Ивану Родионову сыну Челюсткиным поместье первого брата родного, а последнего дяди родного Семена Матвеева сына Челюсткина ж Белёвского уезду в деревне Княгининой, в пустоши Диком поле», а по другой – «отказано Родиону Матвееву сыну Челюсткину вотчина Семена Матвеева сына Челюсткина Белёвского уезду в селе Мишине Поляне, в деревне Париносовой».

Из них логично предположить, что Семен Матвеевич Челюсткий умер бездетным, недвижимость его досталась брату и племяннику, причем вотчина поначалу только первому. Стольник Иван Родионович получит из поместья в вотчину в Белёвском уезде, как видно из столбцов, позднее, 22 марта 1685 года, «для перемирья солтана турецкого и хана крымского», а потом и 22 января 1694 года «за Троицкий поход да за чигиринскую службу да за вечный мир с польским королем».

Братья Семен и Родион Челюсткины известны в русской истории. Оба служили головами московских стрельцов, о чем сохранились свидетельства в различных источниках. Старший начинал рейтаром и в 1653 году показан в столбцах «серпанином рейтарского строя», затем был полуголовой, и в книге С. А. Белокурова «Дневальные записки Приказа тайных дел 7165–7183 гг.» регулярно о нем сообщается с 1660 года. Вот, к примеру, запись от 26 марта: «На карауле стоял полковника и головы Семёнова приказу Полтева полуголова Семён Челюсткий с его приказом». А в начале 1665 года, как утверждает автор монографии «Стрельцы московские» М. Ю. Романов, Семен Матвеевич встал во главе подразделения, отправленного на год в Смоленск. Он же указывает, что «стрелецкий голова С. М. Челюсткий последний раз упомянут в качестве командира здешнего приказа в 1671 г.». Впоследствии с марта 1672 года по апрель 1674 года, как свидетельствуют столбцы Севского стола Разрядного приказа, Семен Матвеевич значился калужским воеводой.

Нас же больше интересует прапрапрадед Пушкина Родион Матвеевич. Головой московских стрельцов он стал после старшего брата. По сведениям из столбцов Белгородского стола Разрядного приказа, в августе 1675 года назначался в приказ к луцким и торопецким стрельцам, однако через полгода сломал ногу и «вследствие болезни» отправился назад в Москву. Окончательно в строй, видимо, не вернулся, ибо служил в полку князя Хованского и едва ли пережил бы известный стрелецкий бунт 1682 года, вошедший в историю под названием *хованищина*. В дальнейшем его имя встречается преимущественно в связи с многочисленными поместьями в разных уездах: Алексинском, Белёвском, Вяземском, Зарайском, Карачевском и др.

Но большую часть недвижимости Родион Матвеевич унаследовал от отца, что помогает выявить имя последнего. Звали его Матвей Матвеевич, и от него сыну перешло, в частности, село Благовещенское (Ильинское тож) в Белёвском уезде, которым сам он владел наряду с братом Михаилом. В отказных книгах событие датируется октябрём 1644 года, а в столбцах оно же записано с датой 22 февраля, и это, пожалуй, самое раннее указание Родиона как собственника. Чуть позже, в 1646 году, серпанин Родион Матвеев сын Челюсткин упомянут в одной из писцовых книг по Рязани в качестве владельца части деревни Старой Перевицкого стана, числящейся по другим писцовым книгам (обе относятся к концу 1620-х годов) за Матвеем Матвеевичем.

Сложнее оказалось углубиться еще на одно колено и определить родителя Матвея Матвеевича. По возрасту им должен быть персонаж Смутного времени и последующего сопротивления польской интервенции. И подходящий Матвей Челюсткин легко обнаруживается: так звали лебедянского воеводу 1616-17 годов, оборонявшего затем летом 1618 года Елец от нашествия запорожского войска во главе с гетманом Сагайдачным и включенного потом в список «московских осадных сидельцев в королевичев приход» спустя несколько месяцев. Но принципы научной генеалогии требуют более убедительных доказательств, чем совпадение имени и лет жизни. Во времена, когда еще не велись метрические записи и не составлялись ежегодные исповедные росписи, важнейшими источниками являются документы о преемственности недвижимости. Именно они помогли нам точно установить прапрабабушку Пушкина, ее отца, деда, и для определения более дальнего предка без них тоже не обойтись.

Попытка двигаться в обратном направлении, условно приняв лебедянского воеводу за искомого Матвея, сразу завела в тупик. Владения его обнаруживались в Воронежском, Калужском уездах, в той же Лебедяни, но никак не там, где обитали уже выявленные нами персоны. Да и наследника его звали Никитой, а не Матвеем и не Михаилом. Иными словами, алексинский дворянин Матвей Калининвич Челюсткин полностью отпадает. Называю его полным именем, чтобы никто не пошел по ложному следу.

В перечне «Жалованных и других грамот польского короля Сигизмунда московским сановникам, дворянам, детям боярским и другим лицам на отчины и поместья, чины, денежные и хлебные оклады, дворы и проч. по случаю избрания сына его, королевича Владислава, на московский царский престол» под номером 557 от 20 ноября 1610 года находим: «Серпанину Петру Васильеву сыну Челюстину дано поместье, выслуга отца его, в Серпейском уезде, в Замошском стану сельцо Высокая Гора, полдеревни Скворцовы да

полдеревни Монины, деревня Маслова с двумя починками, деревня Дурнина, по брате его Матвее Челюсткине, которого не стало, в его оклад по росписе в книгах». Вспомним теперь явно нелишнее слово *серпянин*, уже встречавшееся нам перед именами Родиона Матвеевича и его дяди Семена Матвеевича, возьмем на заметку Матвея Васильевича, умершего до ноября 1610 года, и обратимся к боярским спискам. В списке жильцов по Серпейску 1602–1603 годов значится Курбат Васильевич Челюсткин с окладом 450 четей. Упоминается он и в «Росписи русского войска, посланного против самозванца в 1604 году»: «...да из украинских городов казаков конных с пищальми с Ливен з головой с Курбатом с Челюсткимым да з 2-мя сотники 200 чел.». В боярском списке 1606–07 годов оклад у него уже больше – 500 четей.

Дальнейшую судьбу его можно проследить по исследованию профессора А. Л. Станиславского о действиях правительственных войск против И. И. Болотникова и его сообщника лжецаревича Петра: «...к началу 1607 г. на сторону Василия Шуйского перешли многие дворяне юго-запада России: выборными дворянами по Серпейску, как и Е. Д. Бартенев, служили в начале XVII в. С. И. Толстой, М. О. Беклемишев и К. В. Челюсткин. Характерно, что захватить Серпейск было поручено именно им». Далее автор приводит сохранившийся в фонде Успенского собора Государственного исторического музея перечень погибших от рук мятежников и комментирует его: «Особенно примечательно присутствие в верхней половине списка имени К. В. Челюсткина, посланного под Серпейск, – это последнее упоминание о нем в источниках. Не встречаются в документах 1607 г. и другие лица, поименованные в списке. Таким образом, в верхней части листа, до заголовка, перечислены дворяне, погибшие, по-видимому, во время восстаний Болотникова в боях за Угрой».

Итак, Курбат Васильевич Челюсткин – действительно серпейский дворянин, и умер он до 1610 года, а точнее – в 1607 году. Но был ли носитель этого некалендарного имени в крещении Матвеем?

И здесь снова приходится обращаться к документам Поместного приказа. Сам Курбат Челюсткин в них не встречается, но в отчестве сыновей нередко присутствует. В частности, в писцовой книге по Рязани (1628 год) часть села Юрина числится за Михаилом Курбатовым сыном Челюсткина; спустя восемнадцать лет в переписной книге по Шацку она же записана за уже известным нам Семеном Матвеевичем, доводившимся родным племянником Михаилу Матвеевичу. В отказных книгах по Белёву за 1616 год Михаил Курбатович значится одним из наследников Петра Васильевича Челюсткина, чьим братом, как мы помним, был погибший в 1607 году Матвей. Наконец, последний и решающий штрих: в писцовой

книге по Белёву (1640 год) сказано, что «село Благовещенское, Ильинское тож – за Михайлом и Матвеем Курбатовыми детьми Челюсткина и Иваном Григорьевым сыном Спешнева». Сравним со списком писцовой книги Белёвского уезда, опубликованным во втором томе «Белёвской вивлиофики»: «За Михайлом Матвеевым сыном Челюсткина в поместье, что ему дано из дворцовых сёл, жеребий села Благовещенского, Ильинское тож, на р. на Вырке; а село без жеребья за братом его за Матвеем Челюсткиным да за Иваном Спешневым». Надеюсь, сопоставление двух цитат в комментарии не нуждается.

Однако сопоставить, точнее, систематизировать все полученные сведения совершенно необходимо. Пытаясь установить отчество Ульяны Чичериной, урожденной Челюсткиной, мы заодно выявили ее брата, прославленного племянника, отца, дядю, деда родного и деда двоюродного, а также прадеда и его брата. Знаем теперь и имя прапрадеда. Более того, из «Памятников обороны Смоленска (1609–1611 гг.)» известна вдова Матвея Васильевича, которую звали Марфой. Однако считать и ее прямым предком Пушкина без дополнительной проверки сведений преждевременно, поскольку она может оказаться не матерью, а мачехой Матвея Матвеевича. Из того же источника следует, что Петр Васильевич Челюсткий имел жену Катерину, пять дочерей, а также сыновей Никиту и Осипа. Иными словами, в ходе проведенного исследования удалось не только уточнить полное имя прапрабабушки Александра Сергеевича Пушкина, но и составить верифицированную роспись ее рода еще на несколько колен. Если вспомнить слова Михаила Вегнера, выявленная ветвь столбовых дворян Челюстких может оказаться такой же важной в родословной поэта, как и прочие женские линии, поскольку ее представители неизменно оказывались в центре важных исторических событий.

В приведенной Вегнером поколенной росписи Чичериных мать погибшего под Полтавой стольника и майора Ивана Андреевича Ирина Федоровна указана с девичьей фамилией – Домогацкая, а у его бабки, жены Григория Петровича, значится лишь имя и отчество – Марфа Яковлевна, да имя в схеме – Мария. Обращение к столбцам позволяет установить и ее происхождение. В них сохранилось челобитье на имя царя Михаила Федоровича: «бьют челом рабы твои бедные вдовы Григорьевская жена Матова Васца да Григорьевская жена Чичерина Марфицы Яковлевы дочери Бахтина», в котором просительницы просят передать им после смерти в 1638 году бездетной невестки их Марьи, жены убитого «ворами-казаками» в 1617 году брата Афанасия, выслуженную еще их отцом за московское осадное сидение при царе Василии Ивановиче Шуйском вотчину в Воротынском уезде в деревне Бражниково. О той же вотчине проси-

ли и два Федора, Большой и Меньшой, Воиновы дети Бахтина, называя покойного Афанасия Яковлевича своим дядей. Эта родственная связь важна, поскольку в дореволюционном энциклопедическом словаре говорится о происхождении рода Бахтиных от их отца Воина Ивановича. В действительности не он был родоначальником, а более ранний предок, общий для всех перечисленных – Иван, чьи сыновья Айдар (в крещении Иван) и Сульмень (в крещении Яков), упоминающиеся в писцовых книгах 1614 года, продолжили род. Однако вторая линия пресеклась после гибели бездетного Афанасия Яковлевича, и в документах более позднего времени закрепились версия о Воине Ивановиче как старшем прародителе.

Иван, Яков Иванович и Марфа Яковлевна Бахтины – еще одна выявленная в ходе нынешнего исследования неизвестная прежде ветвь предков Пушкина.

В 2020 году увидела свет книга «Пушкины. Генеалогическая энциклопедия». Наряду со статьями о самих Пушкиных есть в ней и статьи о родах их жен, в частности, о Есиповых, где говорится, что «Петр Петрович Пушкин (1644–1692), прямой предок Александра Сергеевича Пушкина, с 1680 года был женат на Федосье Юрьевне Есиповой, которая, по всей видимости, принадлежала к рязанским Есиповым». Та же фамилия указана и у М. О. Вегнера в связи с родословием Приклонских: бригадир Василий Иванович Приклонский женился на Ульяне Юрьевне Есиповой, умершей 12 февраля 1740 года, и от этого брака происходит Лукерья Васильевна, прабабка поэта, мать его крестной, Ольги Васильевны.

Авторы «Тысячелетнего древа А. С. Пушкина» А. А. и Л. А. Черкашины, непрофессиональные историки, сближают Федосью и Ульяну по распространенному у генеалогов-дилетантов принципу: раз фамилия и отчество совпадают – быть им родными сестрами, о чем с непосредственной прямоотой и указывается в книге. В общие отцы им определили Юрия Силыча Есипова.

В действительности Федосья и Ульяна не только не родные, но даже не двоюродные и не троюродные сестры. Хотя обе, как правильно угадано в генеалогической энциклопедии, имели рязанское происхождение.

Юрий Силыч – личность очень интересная, и его великий потомок наверняка бы заинтересовался его судьбой. Вот как вкратце изложена она им самим в челобитной на имя царя Алексея Михайловича 12 октября 1670 года: «...по государеву де указу был он на государевой службе под Конотопом и как приходил крымский хан с татары да изменник Ивашка Выговской с черкасы и его на бою взяли крымские люди в полон изранена и был де он в Крыму в неволе полдесята года

(Девять с половиной лет. – *А. К.*) всякую нужду и наготу и голод терпел и в кандалах семь лет ходил. Да на том же бою взят в полон брат его родной Иван и продан на каторгу».

Ясно, что речь идет о знаменитой Конотопской битве, произошедшей летом 1659 года с объединенными силами Крымского ханства и Войска Запорожского, которое после смерти Богдана Хмельницкого возглавил Иван Выговский, вскоре переметнувшийся на сторону врагов России. Считается, что татары истребили всех пленных, захваченных под Конотопом. Однако братьям Есиповым удалось выжить ценой страданий и лишений, а Юрий Силыч даже вернулся домой.

Читаем продолжение челобитной: «А без них де мать их, не ведая их в живых, отдала зятю их Михайлу Пушкину выслугу отца их вотчину деревню Осово со крестьяны».

Вот так поворот! Мало того, что возникла любопытная интрига, разрешенная вскоре Высочайшим повелением в пользу челобитчика, так еще и замешанной в ней оказался представитель рода Пушкиных Михаил Федорович, женатый на Анне Силичне Есиповой и не попавший ни в одну поколенную роспись и даже в недавнюю генеалогическую энциклопедию, хотя документов, связанных с ним, в делах Поместного приказа множество. Сразу оговорюсь: специально этим персонажем не занимался, но предполагаю, что он был сыном считающегося бездетным стольника Федора Ивановича Пушкина, бывшего воеводой в Михайлове, расположенном в сорока верстах от Осова.

Теперь мысленно представьте испытания, выпавшие на долю прапрапрадеда поэта. В Конотопском сражении он уцелел чудом, потом остался в живых вопреки устоявшемуся мнению о казни всех пленных, претерпел почти десятилетние издевательства, которые могли в любой момент прервать его жизнь, сумел вернуться в родные края, где не без труда вернул себе отцовскую вотчину, справленную за ним с братом Иваном еще в 1633 году. Не случись всего этого, имели бы мы Пушкина?! Ведь Ульяна Юрьевна родилась после всех описанных событий.

Из ее совместного с сестрой Анной челобития известно, что Юрий Силыч умер в 1682 году. Спустя шесть лет не стало его жены, предполагаемой их матери Варвары Васильевны, бывшей в первом браке за Деем Степановичем Язвцовым, от которого у нее осталась дочь Степанида. Анна и Ульяна Есиповы всюду называют ее сестрой.

Осово известно с XVI века. В его конце половиной села владел Иван Афанасьевич Есипов, затем его сын Сила Иванович, упоминаемый в писцовых книгах вплоть до 1629 года. Жenu его, мать Юрия Силыча, звали Пелагея. Одну свою дочь, Афимью, она выдала замуж за князя Евдокима Ивановича Гагарина, а другую, Анну, в 1664 году, как уже отмечалось, – за Михаила Федоровича Пушкина.

Проследим теперь ветвь другой прародительницы Пушкина, носившей в девичестве ту же фамилию. Из писцовых книг 1628-29 годов видно, что Сенницы, считавшиеся родовым селом князей Гагариных, были в свое время даны им пополам с Борисом Ивановичем Есиповым. От него вотчина перешла сыновьям Тимофею и Андрею, через брак дочери которого Василисы с князем Юрием Гагариным соседи породнились. Тимофеева часть досталась его наследнику Юрию и в 1674 году разделена между его дочерьми Аграфеной и Федосьей, «а во 188 (т. е. 1680) году девка Федосья Юрьева дочь Есипова с тою вотчиною вышла замуж за стольника Петра Петрова сына Пушкина». Вторая дочь Юрия Тимофеевича, Аграфена, в качестве супруга обрела стольника Юрия Петровича Лутохина, командира 1-го Стрелецкого стрелянного полка, – личность историческую, сыгравшую не последнюю роль в ходе известных событий мая 1682 года, когда в результате стрелецкого бунта фактическая власть в стране перешла к царевне Софье Алексеевне, повелевшей сослать Лутохина на Яик. В итоге опальный полковник постригся в монахи под именем Германа и прожил после этого еще десяток лет. Любопытно, что в сравнительно недавних «Известиях Русского генеалогического общества» (выпуск 25, 2013 год) в статье «Круг родства и свойства головы московских стрельцов Юрия Петровича Лутохина» не говорится не только о Пушкиных, но и о его собственной жене Аграфене Юрьевне. Ох, нелюбопытны современные российские генеалоги!

Мать Федосьи звали Аксиньей. Имя и фамилия отца Аксиньи неизвестны. Зато удалось найти в столбцах следы Федосьиной бабки Акулины, жены Тимофея Борисовича, и ее родителей: «была нам челом вдова Анна Борисова жена Булатова. Нашего де жалованного за нею с дочерьми с девками с Акулиницею да с Авдотьицею прожиточного поместья в Каширском уезде в Ростовском стану в деревне Алферьево да жеребий пустоши, что была деревня Черемошняя, а в них сто четей, и она большую свою дочь Акулину в прошлом в 129 (т. е. 1621) году сговорила замуж за Тимофея Борисова сына Есипова и того своего и дочери своей прожиточного поместья ста четей поступает зятю своему Тимофею Есипову».

Из того же дела известно, что сам Борис Иванович Булатов, еще один пращур Пушкина, был убит при царе Василии под Тулой, иными словами, погиб, как и Курбат Челюсткин, при подавлении восстания Ивана Болотникова в 1607 году. Сестра Акулины Авдотья стала женой Федора Даниловича Павлова.

Если суммировать, получается, что за фамилией Есиповы, дважды указанной среди предков поэта в книге из «Пушкинской библиотеки», стоят выявленные нами две их самостоятельные линии.

Объединить однофамильцев и вероятных родственников в одну пока не получается. Посудите сами: цепочка, идущая от Ульяны Юрьевны, включает имена Юрия Силыча, Силы Ивановича и Ивана Тимофеевича. В восходящем древе Ульяны Юрьевны – Юрий Тимофеевич, Тимофей Борисович, Борис Иванович. Последний никак не мог быть сыном Ивана Тимофеевича, поскольку в 1594-97 годах показан помещиком села Сенницы, тогда как Иван Тимофеевич в то же время владел половиной Осова, селцами Миндюкино и Дубинки, а также двумя третями села Константиново, последняя треть которого была поделена между Семеном Федоровичем и Василием Михайловичем Есиповыми – более вероятными его родственниками. Выходит, что связь между Ульяной и Федосьей Юрьевными не просматривается не только в предыдущих трех коленах, но и выше. Хотя, повторюсь, не исключено ее существование в середине XVI века, к примеру, через таинственного Инозема Тимофеевича Есипова, упомянутого в сотной грамоте 1567 года. Возможно, разгадка найдется в новгородских документах более раннего периода, ибо Есиповы числились новгородскими боярами еще в XV столетии.

Существует еще один род, разные ветви которого не замечены до сих пор исследователями предков Пушкина. Это Желябужские, чья прямая мужская линия подробно описана от родоначальника Станислава, выехавшего из Польши при Великом князе московском Василии Васильевиче. Его праправнук Григорий Федорович служил дьяком у последнего царя династии Рюриковичей Федора Иоанновича. Имел семерых сыновей. Дочь одного из них, Афанасия, Анастасия отражена во всех родословиях Пушкиных как жена стольника Петра Петровича-старшего и прапрапрабабка поэта. Но прародительницей его – правда, на два колена выше – стала и ее кузина, еще одна Анастасия, дочь Петра Григорьевича, вышедшая замуж за Петра Петровича Головина, о чем родословие последнего почему-то умалчивает. Обнаруживается этот факт из челобитной, в которой «боярина Петрова жена Петровича Головина Настасья да Степановская жена Унковского Афимья Петровы дочери Желябужского» напоминают, что «государева жалованная была за отцом их вотчина в Козельском уезде полсельца Булатово; дана та вотчина отцу их Петру за царя Васильево московское осадное сидение; да отцу ж де их дана была вотчина брата его родного, а их дяди Федора Желябужского в Козельском же уезде в деревне в Красном Клину», и просят дать всю недвижимость теперь им, поскольку умерли и отец, и мать их Аграфена, и брат их Афанасий, оставив бездетную вдову, «а по государеву указу вдовам бездетными теми вотчинами де владети не указано». Знакомая, не правда ли, тема? Как под копирку, челобитная сестер

Бахтиных, даже имя брата такое же. Но главное, что их роднит, – повод, послуживший к появлению вотчин: и старшему Бахтину, и старшему Желябужскому их дали за оборону Москвы от войск Лжедмитрия Второго в конце 1600-х годов.

Цепочка от Анастасии Петровны к Пушкину идет через ее сына Петра Петровича, внука Михаила Петровича, правнука Ивана Михайловича, чья дочь Евдокия вышла замуж за Александра Петровича и стала прабабкой поэта. У Анастасии Афанасьевны, приходившейся родной бабушкой Александру Петровичу, она короче. Сын же Евдокии Ивановны и Александра Петровича – Лев – по линии Желябужских в результате оказался сам себе пятиуродным внучатым племянником – как, впрочем, и шестиуродным дедом одновременно.

Обратимся теперь к невестке Александра Петровича, жене его брата Федора. В доступных на сегодняшний день источниках сведения о ней и ее роде самые минимальные. В генеалогической энциклопедии так и написано: «Дочь рязанского дворянина Ивана Михайловича Коренёва и жены его Марьи Ивановны, девичья фамилия которой неизвестна». Проще говоря, линия эта пока никем не исследована.

Что ж, попробуем восполнить пробел. Из дела по челобитной фендрика лейб-гвардии Семёновского полка Василия Ивановича Коренёва, поданной Петру Великому в последний месяц жизни императора, узнаём, что «он, Василий, с матерью своею в 1713 году дал в приданое за сестрою, а мать за дочерью девкою Акинсьею Федору Пушкину в деревне Шадееве пятнадцать да в деревне Подымове семнадцать четей». Но этой записью наш интерес к делу не ограничивается. В другом месте находим: «за сыном Михайловым Иваном Коренёвым поместья по даче 199 февраля 3 (т. е. в 1691 году), что ему поступилась вдова Авдотья Ивановская жена Беклемишева за дочерью своею за девкою Марьею из прожиточного своего поместья и вотчины в Рязанском уезде в Каменском стану в селе Дубовичах двадцать пять четей».

То, что неизвестно авторам генеалогической энциклопедии, теперь узнают все читатели этого журнала: Марья Ивановна Коренёва происходит из старинного рода Беклемишевых, который не обойден вниманием в «Тысячелетнем древе А. С. Пушкина», но почему-то в связи с материнскими линиями князей Д. М. Пожарского и М. И. Кутузова, а не главного персонажа книги.

Восходящее мужское древо Беклемишевых изучено достаточно подробно, а вот жены известны далеко не все. Отец Марьи Иван Иванович был сыном Ивана Савельевича и внуком Савелия Петровича, рязанских помещиков. Это видно из подробной поколенной росписи их рода. Сведения о ее матери пришлось поискать в архиве. Обнаружились они в столбцах по Рязани: «Царь, государь и великий князь Алексей

Михайлович, всяя Великая и Малая и Белая России самодержец, бьет челом холоп твой Ивашко Иванов сын Беклемишев. В нынешнем, государь, во 181 (т. е. 1673) году сговорился холоп твой жениться у Микиты Степанова сына Волынского на дочери его на девке Авдотье, а написал он, Микита, мне вместо приданого из поместья своего в Рязанском уезде в Каменском стану жеребей в селе Дубовичах двадцать пять четвертей в поле, а в дву потому ж и со крестьяны и со всеми угодыями». И там же: «Царю, государю и великому князю Алексею Михайловичу, всяя Великая и Малая и Белая России самодержцу. Бьет челом холоп твой Микитка Степанов сын Волынский. В нынешнем, государь, во 181 (т. е. 1673) году сговорил я, холоп твой, дочь свою девку Авдотью замуж за Ивана Иванова сына Беклемишева...»

Комментарии, как принято говорить, излишни. Хотя один не помешает: в развесистом древе предков Пушкина теперь появились еще две ветви и две неизвестные прежде фамилии. О Волынских, как и Беклемишевых, рассказано немало. Добавлю: Никита Степанович – сын стольника Степана Демидовича, внук Демида Константиновича – в 1664–65 годах служил воеводой в Арзамасе.

Наибольшую трудность вызвало исследование родословной самих Коренёвых. В самом начале приведенной челобитной возникает некоторая загадка: «в прошлом 1706 году отец мой Иван Михайлович, будучи на службе Вашему Величеству в Астраханском походе, умре...» Прерву цитату для пояснения. Речь идет явно не об обычной смерти в походе, а о гибели при подавлении Астраханского восстания, представленной в более щадящей форме для глаза императора. Но еще большая загадка ждет впереди: «недвижимое имение за отцом после смерти деда Михаила Даниловича Коренёва в писцовых книгах Рязанского уезда 136 и 137 (т. е. 1628 и 1629) годов за Воином, за Андреем да за Иваном Даниловыми детьми Коренёвыми отца их поместье жеребий деревни Казначеевой двадцать пять четей да вотчины жеребий деревни Болотово тридцать четей, жеребий сельца Шадеево восемьдесят четей».

Поначалу цепочка выстраивается легко: Василий и Марья – Ивановы дети, их отец Иван Михайлович, дед Михаил Данилович. А дальше? Михаил среди наследников Данилы не перечислен. Неужели цепочка разрывается? Ответ содержится в том же деле, немного ниже: «и в 167 (т. е. 1659) году Воина Коренёва на службе под Конопотом убили, а его поместье и вотчина в 174 (т. е. 1666) году даны сыну его Михаилу Коренёву». Оказывается, отцом Михаила Даниловича был участник уже упоминавшегося в связи с историей Юрия Силыча Есипова Конотопского сражения, носивший некалендарное имя Воин и крещённый, судя по всему, как Данила. Следовательно, прадеда

Марья Ивановны Пушкиной, часть имения которого в Шадееве она получила в приданое, величали Воином Даниловичем. Свое прозвищное имя, как мы видим, он полностью оправдал.

Еще одна сложность, связанная с параллельным употреблением в документах разных имен одного человека, проявилась при определении рода жены Алексея Ивановича Ржевского.

Ржевские, как известно, прямые Рюриковичи. Исследованы, казалось бы, вдоль и поперек. Более того, ушедшая от нас уже в новом веке Наталья Телетова посвятила немало страниц этому роду, полагая, что именно его представители являются прототипами поэмы «Езерский». И всё же супруга окольного Алексея Ивановича названа ею лишь по имени и отчеству, без указания девичьей фамилии.

Найти ее в архиве оказалось совсем не трудно. Правда, и Анна Игнатьевна, и ее сестра Марья всюду фигурируют как Образцовы, а не как Игнатьевы дочери. Дело в том, что их отец Игнатий Прокофьевич Бестужев больше известен под некалендарным именем Образец. Умер он, видимо, молодым, потому что выдавать замуж одну из дочерей пришлось зятю: «И во 174 (т. е. 1666) году февраля 15 Алексей Иванов сын Ржевский своячину свою девку Марью Образцову дочь Бестужева с вотчиною отца ее, что ей досталась по полюбовному разделу с сестрой ее Анной в Кинешемском уезде в Мериновской волости... выдал замуж за Петра Дмитриева сына Давыдова».

Родитель Игнатия-Образца Прокофий Патрикеевич поначалу присягнул королевичу Владиславу и даже получил от короля Сигизмунда в 1610 году грамоту на свои поместья в Еленском, Катынском и Максимовском станах Смоленского уезда, но после Земского Собора 1613 года участвовал в Можайском и московском осадных сидениях и служил затем стряпчим при царе Михаиле Федоровиче Романове. Его отец Патрикей Данилович был воеводой и пал во время Ливонской войны в знаменитом сражении под Кесью в 1578 году (в исторической литературе она именуется битвой под Венденом, а сейчас это латвийский город Цесис). Впрочем, нет смысла пересказывать историю славного рода Бестужевых: она приводится во многих источниках.

Гораздо сложнее оказалось отыскать сведения о матери Алексея Ивановича Ржевского, чье имя, по признанию Н. К. Телетовой, ей установить не удалось. Но в отказных книгах нашлись и они. Есть запись об отказе Никитой Савиным вотчины в деревне Буцнево Болховского уезда зятям своим Ивану Иванову сыну Ржевскому и ИстOME Григорьеву сыну Киреевскому, датируемая 1638 годом. В тех же отказных спустя десять лет говорится о переходе во владение Марье Ивановой жене Ржевского части этой вотчины, принадлежавшей ИстOME Киреевскому. Сопоставляя эти два факта, можно вывести тре-

тий: окольный Иван Иванович Ржевский женился на Марье Никитичне Савиной. Об отце ее известно, что звали его Никита Прокофьевич и что в писцовых книгах 1620, 1625 и 1646 годов он значится помещиком Болховского и Орловского уездов. Дальнейшими владельцами его имений записаны сын Самойла Никитич и внук Иван Самойлович.

Единственным достижением пушкиноведения в области генеалогии за время после двухсотлетия поэта стало установление девичьей фамилии жены Юрия Алексеевича Ржевского. А ведь еще в 1995 году в книге «Род и предки А. С. Пушкина» находим: «Имя жены Юрия Алексеевича можно было до недавнего времени лишь предполагать – Екатерина, так как имя это неизменно носили старшие внучки Юрия Алексеевича, дочери Ивана, Анастасии и Сарры». Согласитесь, довольно странный для генеалогии довод. Читаем дальше: «Недавняя публикация подтвердила это предположение, расширив сведения и об именах родителей этой Екатерины – Никифор и Анастасия. Так, в синодике Алексеевской нижегородской церкви, очевидно дети Юрия Алексеевича, в конце 1729 или 1730 г. поминают усопших родных Георгия, Екатерину, Софию девицу, Алексия, Анну, Никифора, Анастасию...» Затем делается вывод: «Георгий (Юрий) и Екатерина – родители поминающих; Алексей и Анна – дед и бабка по отцу; Никифор и Анастасия – без сомнения, дед и бабка по матери...» Позднее стала называться и девичья фамилия Екатерины – Плещеева (есть она и в упоминавшейся генеалогической энциклопедии), однако находка эта до конца в научный оборот так и не введена, а ветвь рода Плещеевых, являющихся непосредственными предками Пушкина, до сих пор детально не описана.

Какие бы мысли ни возникали при чтении синодиков, они могут служить лишь гипотезами, которые должны проверяться документами. Одно из подтверждений происхождения Екатерины Никифоровны содержится в деле тайного советника Алексея Львовича Плещеева, находящемся в фонде Поместного приказа архива древних актов: «За ним же Алексеем Плещеевым по даче 1729 года мая 14 и по отказным книгам июня 22... отказано по купчей сестры его двоюродной Катерины Никифоровой дочери Плещеева Юрьевой жены Алексеева сына Ржевского в Муромском уезде в Дубровском да в Куземском станах в деревне Тереховицах, в селе Ковардицах, в селе Святцах, в деревне Переложникове, в деревне Карпове, в пустоши Артёмовке Большой, в пустоши Артёмовке Меньшой с жеребьями деревень и пустошей 230 четей с осминою». Алексей Львович и Екатерина Никифоровна действительно являются кузеном и кузиной, поскольку их отцы – стольники Лев Богданович и Никифор Богданович – родные

братья. Общий же их дед Богдан Ильич имел крестильное имя Кузьма и был московским дворянином. Всего у Екатерины Никифоровны известно двенадцать колен предков, начиная с черниговского боярина Федора Михайловича Бяконта, выехавшего в Москву еще при Великом князе Данииле Александровиче, сыне Александра Невского.

Изучение столбцов помогло установить также род матери Екатерины Никифоровны. Вот выдержка из челобитной на имя царя Федора Алексеевича, датированной 1677 годом: «Бьют челом рабы твои Никифорова женишка Богдановича Плещеева Настка да Иванова женишка Семеновича Ларионова Анютка. Сестра наша, государь, родная Василиса Степанова дочь Степановича Ушакова выдана замуж за Луку Григорьева сына Ртищева, а за нею, государь, дана в приданое выслуженная вотчина деда и отца нашего в Тарусском уезде треть села Волковского. А ныне, государь, сестры нашей волей Божьей не стало, а после нее детей не осталось никого...» Тема, заметим, прежняя.

В том же деле поясняется, что: «в 170 (т. е. в 1662) году Степана Ушакова не стало, а его вотчины даны дочерям его трем девкам Василисе да Анне да Настасье по жеребьям по 103 четьи с третником. И Василиса, и Анна, и Настасья с теми своими прожиточными поместьями и вотчинами вышли замуж: Василиса за стольника Луку Григорьева сына Ртищева, Анна за Ивана Семёнова сына Ларионова, а Настасья за Никифора Плещеева».

Степан Степанович Ушаков в молодости был стольником отца царя Михаила Федоровича патриарха Филарета, после смерти которого служил стряпчим. Род его жены пока неизвестен, а имя ее значится в другом столбце, в челобитной царю Алексею Михайловичу: «бьет челом холоп твой Микишка Богданов сын Плещеев, в нынешнем, государь, в 180 (т. е. 1672) году поступилась мне, холопу твоему, теща моя Степанова жена Ушакова вдова Федосья прожиточного своего поместья в Серпуховском уезде в Окологородном стану». К слову, раньше это имение принадлежало отцу Степана Степановича – Степану Михайловичу Ушакову, назначенному первым Романовым своим посланником в Европе сразу после возведения на престол, потом бывшему на воеводстве в Костроме, Михайлове, Курске, а напоследок – в сибирском Нарыме, где он и скончался в 1628 году.

Ушаковы – прямые потомки легендарного касожского князя Редеди, погибшего ровно тысячу лет назад в поединке с князем Мстиславом Владимировичем Храбрым, сыном крестителя Руси Владимира Святого. Степан Михайлович – пятнадцатое колено от Редеди. По преданию, сын Редеди Роман женился на дочери Мстислава Татьяне, поэтому Ушаковы по женской линии происходят от Рюриковичей.

Вы наверняка полюбопытствуете, как связан с Пушкиным его

старший современник – прославленный адмирал Федор Федорович Ушаков. Довольно витиевато, несмотря на кровное родство, поскольку ветви их разошлись еще в XVI веке. Дед Степана Михайловича Андрей Юрьевич – родной брат прямого предка флотоводца Степана Юрьевича, бывшего воеводой и служившего наместником в Ливонии. Поэтому адмирал приходился восьмьюродным братом бабке Пушкина Марии Алексеевне, а сам поэт ему, соответственно, восьмьюродный внучатый племянник.

И уж если обращаться к занимательной генеалогии, надо отметить, что намного ближе к Пушкину по крови известный поэт и переводчик Алексей Николаевич Плещеев, праправнук того самого тайного советника Алексея Львовича, кузена Екатерины Никифоровны. Они – шестьюродные братья.

Подведем итог. В эту небольшую статью вместились сведения о тринадцати генеалогических линиях Пушкина, десять из которых до сих пор не были известны, – новых семи фамилиях его предков. И это только результат исследования архивных дел, без данных из литературных источников. В частности, еще двумя фамилиями могут быть Васильевы и Юсуповы. О первых сообщается в «Русском биографическом словаре» А. А. Половцова в статье за подписью В. Корсаковой о предке поэта Богдане (Иване) Даниловиче Глебове (со ссылкой на книгу Г. А. Власьева «Род дворян Глебовых»): «Глебов был женат с 1671 г. на дочери подьячего Поместного приказа Петра Васильева, падчерице патриаршего дьяка Парфения Иванова». В ряде публикаций матерью Богдана Даниловича называется Марья Никитична, урожденная княжна Юсупова. Однако сведения из книжных и журнальных публикаций, не подкрепленные документальными материалами, для введения в научный оборот всегда требуют верификации.

Помимо чисто генеалогических, не менее ценны и биографические результаты. Корпус предков Пушкина пополнен новыми историческими персонами, людьми с подчас интереснейшей судьбой. Практически не происходило ни одного судьбоносного для страны события, в котором тот или иной из них не принимал бы участия. Проживи Александр Сергеевич дольше, возможно, он бы и сам отыскал эти данные и сделал бы если не всех, то многих персонажами неоконченной поэмы «Езерский» или другого произведения. Нет никакого сомнения, что его интерес к истории предков постоянно возрастал, а всё, что было Пушкину интересно и важно, в итоге воплощалось в творчестве.

Сегодня восполнять пробелы надлежит нам, благодарным почитателям русского гения.

Рита Джулиани

Последний шедевр «Русского Ренессанса» *«Образы Италии» Павла Муратова. К 110-летию издания*

Павел Муратов (1881–1950) – человек многосторонних интересов, писатель, искусствовед, переводчик, публицист, военный историк – обязан своей славой прежде всего книге «Образы Италии», самому знаменитому и самому оригинальному его произведению. Шумный успех книги, вышедшей в 1911–1912 гг. в двух томах, был обусловлен и высочайшими художественными достоинствами ее текста, и тем чарующим воздействием, которое издание имело на русского читателя, влюбленного в итальянскую тему в русской литературе на протяжении всего классического периода ее развития. Сразу вслед за первым вышло второе издание книги (1912–1913), а в 1924 г. издательство З. И. Гржебина, русского эмигранта в Берлине, выпустило и третье, полное издание «Образов» в 3 томах¹.

Появление «Образов Италии» стало событием в русской культуре этого времени. Книга дала мощный импульс: она вольно или невольно воспитывала и развивала эстетический вкус читателя и способствовала «перечитыванию» Италии в свете картин и внезапных озарений ее автора². Такому успеху способствовала и абсолютная жанровая новизна произведения, чье своеобразие принципиально несводимо к известным и мгновенно идентифицируемым жанровым традициям: в зачине предисловия сам автор подчеркнул особенности ее жанра: «Эта книга является опытом изображения Италии: ее городов и пейзажей, ее исторического и художественного гения. Удержанные здесь образы Италии можно назвать также воспоминаниями» (Муратов. 1911: 1). В 1993 г. В. Н. Гращенков в послесловии к «Образам Италии», отметил, что «<...> давнюю литературную традицию путевых записок Муратов соединил с приемами английского художественно-критического эссеизма и методологическими достижениями нового европейского искусствознания» (1993: 313). И для лучшего понимания жанрового своеобразия книги Муратова тем более важно определить жанровые традиции, на которые он опирался, и выявить их конструктивные элементы.

Как известно, стиль и нарративные стратегии Муратова испытали влияние не только русских образцов подобного жанра. В пред-

словии к первому изданию Муратов открыто назвал своих предшественников: «<...> у английских писателей мне не только пришлось учиться Италии, но и учиться писать об Италии. Высокие примеры Дж. А. Симондса и Уолтера Патэра были у меня всегда перед глазами» (1911: 15). Эти писатели дали Муратову отсутствовавшие в русской литературной традиции новые формальные, композиционные и стилевые модели и своим авторитетом укрепили и без того свойственный личности Муратова эстетизм и предпочтительную склонность к отдельным эпохам итальянского искусства, таким как Кватроченто и искусство «примитивов»³. Именно из английской традиции Муратов почерпнул прием оригинальной контаминации разных жанровых тенденций. Тексты Патера стали образцом блестящего и увлекательного стиля – но от беспокойства и нервной дрожи викторианской эпохи английской культуры и самого Патера Муратов бесконечно далек. Из работ Вернон Ли в книгу Муратова пришла склонность к поискам и описанию «гения места». С английской эссенсткой Муратова роднит и острая интуиция – но ее стиль, несколько излишне графичный, ему чужд. И уж совсем отсутствует в стиле Муратова свойственная Симондсу одержимость эротикой.

Стиль Муратова отличается от стиля англосаксонской эстетической критики своей страстностью и солнечным энтузиазмом, как если бы он был защищен от декадентствующего эстетизма своих литературных претекстов самим «щитом» романтического итальянского мифа русской литературы. Его книга стала живительной русской прививкой к жанровой традиции и рафинированной чувствительности декаданса, гармоничным сплавом достоинств английской эстетической критики и мощной русской интенции вечных поисков истины.

И в том, что касается жанра травелога, которому писатель очевидно обязан, его образцы тоже восходят к европейской традиции: это Стендаль, Грегоровиус, Гёте. Итинерарий путешествия Муратова в первом издании воспроизводит, с некоторыми вариациями, канонический итинерарий так называемого Grand Tour. Беря свое начало в Венеции, он включает посещение Падуи, Феррары, Болоньи, Равенны, Флоренции⁴ и других тосканских городов, Рима и Кампани⁵, Неаполя, Помпей, Амальфи, Равелло, Пестума, Палермо и других городов и местностей Сицилии (Сираузы, Агригент, Этна). В издании же 1924 года итинерарий расширен за счет посещения Умбрии (Ассизи, Перуджа) и – на севере Италии – Пармы, Милана и других городов Ломбардии. В результате итинерарий Муратова, представленный в третьем издании, почти полностью накладывается на маршрут Гёте, который, однако, отправившись из баварского Мюнхена, вступил в Италию через Трентино. Как и Гёте, Муратов

«проскочил» Сорренто, руководствуясь достаточно своеобразными для русского путешественника критериями выбора. Как и для Гёте, и для многих интеллигентных поклонников Grand Tour, путешествие имеет для Муратова характер инициации, ведущей к более глубокому пониманию красоты и искусства. Эта инициация осуществляется посредством молниеносных озарений в длящемся откровении красоты и истины искусства и жизни. И в отличие от своих нарративных моделей «Образы Италии» абсолютно современны и по своему увлекательному образному стилю, и по свободе нарратива от общепризнанных литературно-критических стереотипов.

С точки зрения профессиональной, путешествие Муратова становится своего рода воспитательным романом: писатель возвращается из него зрелым и авторитетным искусствоведам. Путешествие становится лабораторией ученого, который апробирует в Италии свою компетентность, интуицию, видение искусства – и в контакте с шедеврами многих столетий вырабатывает собственную концепцию первоначал и эволюции художественных форм.

Говорить об образности применительно к историко-критическому этюду – достаточно нетипично, поскольку образность – это неотъемлемое свойство поэзии. Образность стиля Муратова обладает теми самыми качествами, которые Роже Кайлуа считает неотъемлемым признаком поэтического образа: у нее есть собственная энергия, она «верна и предполагаема» и как бы колеблется между «очевидностью и неожиданностью» (Caillois. 1946: 78). Словесная ткань текста пронизана неожиданными вспышками этой образности, которая абсолютно соответствует признакам, упомянутым Кайлуа: «...и сама пыль спит крепким сном, и ветер напрасно будит ее» (Муратов. 1993–1994: Т. I, 226). Желая придать своему стилю эту образность, писатель постоянно использует технику экфрасиса, применяя ее не только к описанию произведений невербальных искусств, но и к описанию видов, пейзажей, к воссозданию словесных портретов воображаемых или реально встреченных людей. Его манера письма имеет достоинство живописности, его хроматическая гамма обладает яркостью и насыщенностью цвета. Посредством образов он передает ощущение, чувство, очарование, ауру и дух посещаемых местностей, тем самым давая доказательство экстраординарной творческой и миметической силы своего воображения.

Грандиозную и гармоничную картину создает искусное сочетание образов, будь то лаконичная метафора («Даже акведуки кажутся здесь стадами, бегущими через пространства» – о Римской Кампанье; Там же: Т. II–III, 100) или массовая сцена, жанровая картинка или описание памятника, пейзаж или биографический набросок, истори-

ческий эпизод или адресация к эмоциям. Визуальный компонент текста книги силен до степени самодостаточности, так что иллюстрации представляются драгоценным, но не строго необходимым дополнением к тексту. Образы вовлекают в рецепцию текста не только зрение, но и другие ощущения: обоняние, осязание, слух и даже вкус. Субъективно-личностный критерий их отбора и тот факт, что в основу книги легли воспоминания и впечатления путешествия, столь частотные в ее нарративе, позволяют рассматривать ее жанровую специфику на фоне автобиографических жанров – таких, как мемуарная литература и «эссеистика», и говорить об автобиографизме Муратова, подразумевая под этим термином метод писателя, переносящего в текст субъективные переживания (Медарич. 1998: 5-6).

В статье 1926 года «Искусство прозы», излагая свою собственную теорию прозы, Муратов определил особенности так называемого «эссеизма». Согласно его суждению, историки, путешественники, мемуаристы, «эссеисты» сопрягают в своих произведениях «прозу повествовательную и описательную» и «кажутся нам уже совсем ‘художниками’ по мастерству и изяществу языка, <...> ‘эссеисты’ вообще доказывают, что мысль может быть таким же элементом художественного делания, как и слово» (Муратов. 1926: 241). И в частности, «всякий мемуарист стремится восстановить былое, воскресить жизнь. В рассказе его должна быть для этого особая степень жизненной *заразительности*» (Там же. Курсив Муратова. – Р. Д.). Этот критерий – «заразительность» – Муратов унаследовал от Толстого, утверждавшего в статье «Что такое искусство?»: «Признак, выделяющий настоящее искусство от поддельного, есть один несомненный – *заразительность искусства*» (Толстой. 1951: 148). Все эти нарративные элементы легко обнаружить в «Образах Италии» – специфика муратовской манеры повествования самым счастливым образом предвещает его же собственную теорию прозы.

В книге Муратова ясности и утонченности образов сопутствует точность выражений, особенно это очевидно в финальных фрагментах глав: «Судьба заставила искусство сказать последнее слово в Риме гравюрами Пиранези. Содержанием этого последнего из процветавших в Риме великих искусств был пафос разрушения» (Муратов. 1993–1994: Т. II–III, 96); «маска, свеча и зеркало: вот образ Венеции XVIII века» (Там же: Т. I, 64).

Сверкающий веер образов скреплен, как печатью, негромким титулом, почти что формулой скромности (*topos modestiae*). И тем не менее, этот титул весьма пронизателен, поскольку он освобождает автора от традиции записок-воспоминаний об итальянском путешествии и предзнаменует дистанцирование от жанра травелога, обнару-

живая желание автора, руководствующегося собственными критериями выбора мест и произведений искусства, предложить читателю не столько систематическое изложение темы в ее полноте, сколько свою на нее точку зрения. Так, например, в части книги, повествующей о Риме, Муратов посвящает главу Мелозцо да Форли, но обходит молчанием творчество Караваджо.

Любовь Муратова к Италии заключена в тот период русской культуры начала XX в., в котором итальянский миф снова расцвел по всей Европе, будучи оживлен исследованиями по истории итальянского искусства таких писателей и ученых, как Буркхард, Вёльфлин, Ампер, Вернон Ли, Патер, Беренсон, Вентури, Симондс.

Муратов смотрит на Италию под индивидуальным углом зрения, нетипичным для русской литературы той эпохи. В Италии он ищет следы «гения нации», которым созданы бессмертные произведения искусства и дана жизнь культуре, оживившей Западную Европу. Он ищет и воссоздает дух минувших времен, закрепленный и сохраненный в различных художественных формах. В искусстве и в народной жизни Италии он выше всего ценит гармонию и витальность. Он любит бурлящую, бьющую через край жизнь народа – более всего это очевидно в главе, посвященной Неаполю, в которой Муратов возрождает традицию романтического неаполитанского мифа о «лаццарони»⁶ и не касается современной полнокровной неаполитанской культуры, за исключением нескольких строк, повествующих о народном театральном искусстве. Для него простой необразованный народ является носителем естественности не тронутой цивилизацией «италийского гения». Эта убежденность может показаться слишком руссоистской, но не забудем и о том, что в те времена около 70% итальянцев были неграмотными.

Муратов видит и переживает Италию как противоядие от торжествующей серости современности, как миф европейской интеллигенции о красоте и радости жизни. В Италии ему дорого всё: в каждом городе и местности, им посещенной, он ищет то, что уверило бы его в незыблемости их уникальной самоидентичности, отличающей эти места от общеоитальянского контекста. И для каждой местности он находит особые слова и чувства. Встреча с Италией погружает его в солнечную эйфорию, приглушающую «русское уныние» и оставляющую лишь легкую вуаль меланхолии, которая временами окутывает повествование и провоцирует особую приверженность автора, иной раз склонного очаровываться упадком, к поэзии руин и к любовным описаниям закатов и переживанию магии вечера.

Казалось бы, жизнь современной Италии не должна быть видна под этим специфическим углом зрения, но это не так: паломник-любитель искусства неожиданно являет себя внимательным наблю-

дателем жизни молодой итальянской нации, способным уловить такие аспекты общественной жизни и политики, которые, как правило, остаются в тени у других русских литераторов, оставивших воспоминания о своих путешествиях по Италии. Муратову же принадлежат наблюдения, актуальные и для наших дней и временами даже пророческие. По поводу жизни Рима он замечает: «Строительная лихорадка кажется хронической болезнью новой Италии парламентов и муниципалитетов. Новые кварталы вырастают в Риме с такой быстротой, которая мало оправдывается какими бы то ни было необходимостями» (Там же. Т. II-III, 72). И далее клеймит урбанистические новшества нового политического режима, разрушающие классический облик Рима. В неаполитанской главе книги его суждение о каморре не утратило своей актуальности и сегодня: «Неаполитанская каморра является, в сущности, установлением глубоко национальным. Она управляет городской жизнью при помощи преступлений. Действуя на воображение толпы, каморра завоевывает тем самым вечную популярность вместе с народным праздником и с народным театром» (Там же. Т. II-III, 146).

Писатель не оставил в книге ни своего портрета, ни портретов своих спутников. Его облик, вырастающий из текста, не материален, а психологичен, эмоционален и духовно-интеллектуален. Этот облик не маркирован подчеркнутой «русскостью», а скорее какой-то неопределенной «северностью» («мы, северные люди...») и сближен с психологическим обликом человека той эпохи, которая утратила ценность самоидентичности, простоты и истины. Используя личное местоимение во множественном числе первого лица, Муратов разумеет под ним не столько себя и своих спутников, сколько свое поколение.

Предисловие, в котором писатель реконструирует эволюцию итальянского мифа русской литературы, откровенно адресовано соотечественникам; но не так обстоит дело с текстом книги: напротив, он предназначен для более широкого круга, он ориентирован на подразумеваемого читателя – просвещенного космополита, «европеиста», которому хорошо вняты постоянные отсылки к авторам и произведениям западноевропейской литературы, критики и науки.

Тем более необычным является тот факт, что Муратов, творец полных жизни итальянских пейзажей и рафинированных экфрастических описаний произведений искусства, практически не упоминает дорогих сердцу русского читателя пейзажей и произведений искусства, которые обрели бессмертие в произведениях русских художников и писателей. В его книге отсылки к русским реалиям вполне спорадичны (Степанов. 2014) – положение вещей, абсолютно нетипичное для русско-европейского травелога, в котором явной или

скрытой точкой отсчета и сопоставительным фоном неизменно является Россия. И в этом Муратов тоже предстает совершенно оригинальным – поскольку даже в Италии русских не оставляли мысли о далекой родине. Для Муратова, напротив, Италия дорога прежде всего тем, что она – своего рода лакмусовая бумага современного европейского типа сознания. И этим книга Муратова разительно отличается от итальянских мемуаров его современников – Василия Розанова, Бориса Зайцева, Бориса Грифцова, Николая Анциферова⁷, бледных по сравнению с «Обрами Италии».

И всё же «Образы Италии», как кажется, не создали традиции в русской словесности: в сущности, книга Муратова так и осталась «другой» в русле художественно-критической литературы эпохи. И одну из причин этого феномена несомненно следует вменить в вину советскому режиму, который на 70 лет блокировал ее распространение в России – но не в эмигрантской среде, где, впрочем, она тоже осталась не столько образцом, сколько мифом⁸. Другой причиной стали радикальные перемены, последовавшие за Первой мировой войной, которая завершила эпоху, навсегда упразднив привычки, изменив ментальность и иерархию культурных ценностей. И, наконец, это изменения, которые произошли в послевоенной Италии, вставшей на путь модернизации и индустриализации, что тоже способствовало «побледнению» итальянского мифа. Но последней и главной причиной инакости «Образов Италии» на фоне русской и даже европейской эссеистики, очерковой традиции и литературы путешествий стало то, что книга Муратова была и остается уникальным явлением, недостижимым в силу особой «концентрации» элементов, которые делают ее шедевром.

На фоне русской литературы нарратив «Образов Италии» явно выделяется своей оригинальностью: оригинальна прежде всего своеобычность гармонического сплава эрудиции, яркой художественности повествовательной манеры, которая не характерна для литературы путешествий, и безусловно общепризнанного эстетического вкуса. Оригинален язык Муратова, которым он излагает основы истории и теории искусства, – язык, бесконечно далекий как от терминологии, так и от банальности академических трудов, ориентированный на язык современной писателю западноевропейской художественной эссеистики. Оригинальны страсть, энтузиазм, лирические порывы, сердечный восторг и внушительное количество упоминаемых историко-литературных и критических претекстов. Оригинальна глубина интерпретации итальянского мифа и элементов, из которых он складывается: искусство, история, пейзажи, города, специфика «италийского гения», архаические первозданные черты которого были еще доступ-

ны Муратову и высоко ценимы им на фоне того, что происходило в других странах. И совершенно вне стереотипов травелога было то, что Италия стала для Муратова своего рода мастерской, в которой из паломника выковался искусствовед.

В попытке определить своеобразие нарративной манеры Муратова прибегну к иноязычным терминам. В этой связи можно говорить о *Stimmung* (настроение, нем.), объекте постоянного стремления Муратова в его страсти к познанию атмосферы и характера того или иного региона; о *genius loci* (лат.), глубинной прародительской энергии, которая определяет эти искомые характер и атмосферу; о *hanter* (в переносном смысле – самозабвение, фр.) – термин, употребленный Марио Працем (2013: 304), которым он определил типологический признак повествовательной манеры Вернон Ли, свойственный также Муратову, – то есть стремление позволить этой атмосфере овладеть душой, а душе – проникнуться ею; наконец, о непереваемом *Sensucht* (нем.) – неудовлетворенной ностальгии и томлении по Италии, которые, подобно *basso continuo*, звучат за текстом Муратова.

Обращусь также к понятию, в сущности, довольно чуждому для русской литературы: Ренессанс. Действительно, темперамент и многогранность Муратова периодически определяются этим понятием (Остойя. 2008; Сарабянов. 2012): возможно, это и есть главная составляющая своеобразного стиля писателя, позволяющая, как утверждает Борис Зайцев, по неотъемлемому праву поставить его в один ряд с самыми крупными представителями того краткого расцвета русской культуры, который получил название «Русского Ренессанса» и причислить его книгу к самым значительным произведениям этой золотой осени русской культуры: «В русской литературе нет ничего равного по артистичности переживания Италии, по познаниям и изяществу исполнения. Идут эти книги [«Образы Италии»] в тон и с той полосой русского духовного развития, когда культура наша, в некоем недолгом ‘ренессансе’ или ‘серебряном веке’, выходила из провинциализма конца XIX столетия к краткому, трагическому цветению начала XX-го» (Зайцев. 1999: 215-216).

«Чувствительный путешественник», искатель «гения места» и дуновения воздуха прошедших эпох, Муратов одновременно уловил и дух своего времени и своей литературно-художественной культуры, создав в «Образы Италии» гармоничный синтез наук и стилей, который, как в зеркале, отразил всепоглощающую жажду синтеза искусств, свойственную его эпохе. Благодаря этому своеобразному и счастливому синтезу, который позволил ему воссоздать минувшее, Муратов в совершенстве воплотил саму душу русской культуры первого десятилетия XX века. В настоящее время «Образы Италии»

общепризнанно считаются своего рода квинтэссенцией утонченной русской культуры начала XX в., а их автор – ее классиком. Но при этом остается вопрос: как случилось, что эта книга до сих пор не вошла в русский литературный канон (Джулиани. 2019)?

Возникает и другой вопрос: если «Образы Италии» являются уникальным произведением русской словесности, что же в них специфически русского? Полагаю, что Муратова делает именно русским писателем неявная, но прочная связь с национальной культурной традицией. Его книга хранит генетическую память великого произведения, ознаменовавшего собой рождение новой русской литературы на рубеже XVIII и XIX веков. «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина – тоже синтез разножанровых традиций эссеистики и литературы путешествий в автобиографическом повествовании – сформировали и воспитали вкус русского читателя. Кроме того, муратовское «чувство Италии», которое ознаменовано той же эмпатией и той же любовью, вплоть до идеализации, заставляющей благосклонно относиться даже к национальным и местным недостаткам, вписывается в традицию русской литературы, идущую от Гоголя к Бродскому. Гоголя, Муратова, и, в наше время, Бродского следует счесть величайшими *италофилами* русской культуры; они не только проникновенно любили Италию, но и глубоко понимали ее и сумели избавить ее образ от вековых клише литературы, ей посвященной. Гоголевская пронзительность чувства и чувствительность в отношении к Италии, равно как и культ гармонии и красоты, делают Муратова глубоко причастным к самому сердцу, к самой душе русской культурной и литературной традиции. Скажу больше: «Образы Италии» – это самая прекрасная книга из всех, которые русская литература посвятила Италии.

Однако было бы неправомерно ограничивать значение «Образов Италии» только позицией в русской культуре, поскольку дыхание этой книги гораздо более мощно, так же, как и место, занимаемое ею в ряду великих книг об Италии, созданных западноевропейской словесностью⁹. В антологии похвальных слов «Образам Италии» и той роли, которую книга Муратова сыграла в русской и европейской культуре, некоторые кажутся мне особенно значимыми. Уильям Аллен, английский друг писателя и соавтор его последних трудов исторического характера¹⁰, после смерти писателя в 1950 г. написал: «Павел Павлович сделал для России то, что сделали Рёскин и Патер для английской культуры»¹¹. А критик Клайв Джеймс пошел еще дальше, утверждая: «Как книга об итальянском Grand Tour [«Образы Италии»] не только непосредственно примыкают к традиции Гёте, Грегоровиуса, Буркхарда и Артура Симона¹², но и превосходят эти книги» (2007: 527).

Европейский масштаб и ценность «Образов Италии» исчерпы-

вающе определены архимандритом Киприаном: «‘Образы Италии’ – это одно из свидетельств великого прошлого России, один из последних лучей ее безвременного заката. Вышедшая незадолго до 14 года, она явилась каким-то прощальным приветом той неповторимой нашей просвещенности и утонченности, по которой мы были настоящими европейцами» (2008: 161).

И, может быть, именно неповторимое своеобразие этой книги, невозможность отнести ее к какой-то канонической жанровой традиции, ее счастливая и поистине гениальная гетерогенность и послужили причиной того, что шедевр Павла Муратова, «русского европейца», до сих пор остается вне русского литературного канона.

Перевод с итальянского О. Б. Лебедевой

ПРИМЕЧАНИЯ

Первая публикация текста – в «Зборнике Матице српске за славистику». №100, 2021. – Сс. 455-467.

1. *Муратов, Павел*. Образы Италии. Тт. I-III // Лейпциг [Берлин]: Изд. З. И. Гржебин. 1924. В России это полное издание было опубликовано только после распада СССР: *Муратов, Павел*. Образы Италии. Полное издание: В 3-х тт. / В. Н. Гращенков (ред., ком., послесл.) // Москва: Галарт. Т. I. 1993; Т. II-III. 1994; *Муратов, Павел*. Образы Италии / В. М. Толмачёв (подгот. текста и послесл.) // Москва: «Республика». 1994.

2. *Муратова, Ксения*. «Павел Муратов и Италия». // Образы Италии в России – Петербурге – Пушкинском доме / Под ред. А. Б. Шишкина // Санкт-Петербург: Изд. Пушкинского дома. 2014. – Сс. 5-8.

3. Об английской эстетической критике, см.: *Praz, Mario*. Il patto col serpente. Paralipomeni di «La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica» / Milano: Adelphi, 2013. – Pp. 199-329.

4. В первом издании отсутствует глава «Пленный дух», посвященная Микеланджело, и параграф о Понтормо в главе «Бронзино и его время».

5. В первом издании нет части, посвященной Лациуму, одной из самых прекрасных и оригинальных частей книги.

6. Об образе Неаполя в русской литературе эпохи романтизма, см.: *Лебедева, Ольга; Янушкевич, Александр*. Образы Неаполя в русской словесности XVIII – первой половины XIX веков / Salerno: Europa Orientalis. 2014.

7. В качестве наиболее показательных случаев отмечу: *Розанов, Василий*. Итальянские впечатления // Санкт-Петербург: Изд. А. С. Суворина. 1909; *Осоргин, Михаил*. Очерки современной Италии // Москва: Типо-литография Т-ва И. Н. Кушнерев и К°. 1913; *Грифцов, Борис*. Рим // Москва: Типо-литография Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1914; *Зайцев, Борис*. Собрание сочинений.

- В 5 тт. // Москва: «Русская книга». Т. VI (доп). 1999. – Сс. 256-284 («Италия»: очерки, опубликованные в разных издательствах между 1954 и 1962 гг.); *Анциферов, Николай*. Отчизна моей души. Воспоминания о путешествиях в Италию / Сост. Д. С. Московская, ред. М. Г. Талалай // Москва: Старая Басманная. 2016. (Н. П. Анциферов был в Италии в 1910–1914 гг.).
8. В беседе с писателем В. Карпиньским И. Бродский именно так определил гений Муратова-эссеиста // *Карпиньский, Войцех*. Разбойничьи книги и города. Часть вторая / «Новая Польша», № 2, 2018. – С. 33.
9. «Образы Италии» были переведены на польский и итальянский языки; английский перевод – в печати. См.: *Murатов, Pawel*. Obrazy Włoch. Т. I-II. P. Hertz (tłum., przypis. i posł.) // Warszawa: Państwowy Instytut Wyd. 1972; *Murатов, Pavel*. Immagini dell'Italia. Т. I / R. Giuliani (a cura di), A. Romano (trad.) K. Petrowskaja (saggio) // Milano: Adelphi, 2019; Т. II / R. Giuliani (a cura di), A. Romano (trad.) // Milano: Adelphi, 2021; *Murатов, Pavel*. Evocations of Italy / X. Muratova (pref.), J. Presto (introd.), L. M. Lenček (transl., notes & afterw.) // Evanston: Northwestern University Press. 2022.
10. О библиографии Муратова см.: *Деотто, Патриция*. Библиография П. П. Муратова // Archivio italo-russo II / Русско-итальянский архив II. / D. Rizzi e A. Shishkin (a cura di). // Salerno: Europa Orientalis. 2002. – Pp. 365-394.
11. Цит. по: *Муратова, Ксения*. Павел Муратов и Италия... 2014. – С. 162.
12. Среди источников «Образов Италии» упомянуто также творчество Артура Симонса.

ЛИТЕРАТУРА

- Муратов, Павел*. Образы Италии. Т. I // Москва: «Научное слово». 1911; Т. II // Москва: «Научное слово». 1912.
- Муратов, Павел*. Образы Италии. Тт. I-III // Лейпциг [Берлин]: Изд. З. И. Гржебин. 1924.
- Муратов, Павел*. Образы Италии. Полное издание: В 3 тт. / Указ. изд-во.
- Муратов, Павел*. Образы Италии / В. М. Толмачёв (подгот. текста и послесл.) // Москва: «Республика». 1994.
- Муратов, Павел*. Искусство прозы / «Современные Записки», XXIX (1926). – Сс. 240-259.
- Murатов, Pawel*. Obrazy Włoch. Тт. I-II / P. Hertz (tłum., przypis. i posł.) // Warszawa: Państwowy Instytut Wyd. 1972.
- Murатов, Pavel*. Immagini dell'Italia. Т. I / R. Giuliani (a cura di), A. Romano (trad.) K. Petrowskaja (saggio) // Milano: Adelphi, 2019; Т. II / R. Giuliani (a cura di), A. Romano (trad.) // Milano: Adelphi, 2021.
- Murатов, Pavel*. Evocations of Italy / X. Muratova (pref.), J. Presto (introd.), L. M. Lenček (transl., notes & afterw.) // Evanston: Northwestern University Press. 2022.

* * *

Гращенко, Виктор. П. П. Муратов и его «Образы Италии» / *Муратов, Павел.* Образы Италии. Полное издание. В 3 тт. / В. Н. Гращенко (ред., ком., послесл.) // Москва: Галарт, Т. I. 1993. – Сс. 290-314.

Джулиани, Рита. Павел Муратов, или инерция литературного канона / «Известия РАН». Серия литературы и языка. Т. 78, 2. 2019. – Сс. 1-4.

Зайцев, Борис. П. П. Муратов / *Зайцев, Борис.* Собрание сочинений. В 5 тт. // Москва: «Русская книга». Т. VI (доп). 1999. – Сс. 214-220.

Киприан (Керн), архимандрит. «Образы Италии» Муратова // Возвращение Муратова. От «Образов Италии» до «Истории кавказских войн» / Г. И. Вздоров и К. М. Муратова (общ. ред.) // Москва: «Индрик», 2008. – Сс. 160-161.

Медарич, Магдалена. Автобиография / Автобиографизм // Автоинтерпретация. Сборник статей / А. Б. Муратов и Л. А. Иезуитова (ред.) // Санкт-Петербург: Изд. СПб. ун-та. 1998. – Сс. 5-32.

Муратова, Ксения. Павел Муратов и Италия // Образы Италии в России – Петербурге – Пушкинском доме / А. Б. Шишкин (ред.) // Санкт-Петербург: Изд. Пушкинского дома. 2014. – Сс. 161-186.

Остой, Вера. О Муратове в последние годы его жизни // Возвращение Муратова... / Указ. изд-во. – С. 162.

Панфилова, Марина. Образы Италии в культуре Серебряного века // Вестник Томского ГУ. Культурология и искусствоведение, № 3 (19). 2015. – Сс. 5-16.

Сарабьянов, Дмитрий. Грани многополярного таланта // «Наше наследие», № 104. 2012. URL: <http://nasledie-rus.ru/podshivka/10404.php> – 13.05.2021.

Степанов, Андрей. Образы России в «Образях Италии» Павла Муратова / Образы Италии в России – Петербурге... / Указ. изд-во. – Сс. 187-191.

Толстой, Лев. Что такое искусство? // *Толстой, Лев.* Полное собрание сочинений: В 90 тт. Т. 30 // Москва: Художественная литература. 1951. – Сс. 27-203.

Caillois, Roger. Vocabulaire esthétique // Paris: Fontaine. 1946.

James, Clive. Paul Muratov // James, Clive. Cultural Amnesia. Necessary Memories from History and the Arts // New York – London: W. W. Norton & Company. 2007. – Pp. 524-532.

Muratova, Xenia. Overview of Muratov Studies and Activities of the “Centro Internazionale di Studi Pavel Muratov” / R. Giuliani (a cura di) / *Lecture Muratoviane III. Studi in memoria di Xenia Muratova* [Третьи Муратовские Чтения. Сборник научных статей памяти К. М. Муратовой] // Roma: Lithos. 2021. – Pp. 87-95.

Рим

Елена Кулен

Миссия честного историка

О жизни и деятельности С. П. Мельгунова

ОСМЫСЛЕНИЕ НАСЛЕДИЯ С. П. МЕЛЬГУНОВА В ИСТОРИОГРАФИИ РОССИИ И РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Степень изученности наследия С. П. Мельгунова периода вынужденной эмиграции в России и за рубежом различна. В русской зарубежной историографии место и значение Мельгунова-историка и общественного деятеля весомо не только благодаря его историческим сборникам «На чужой стороне» первых лет его эмиграции 1920-х годов и воспоминаниям его супруги Прасковьи Евгеньевны Степановой-Мельгуновой (1882–1974)¹, но и благодаря отдельным историческим сборникам конца 1940-х гг., а также материалам журнала «Российский Демократ» (1948–1957), опубликованным после Второй мировой войны в Париже.

Ярким документом, освещающим биографию С. П. Мельгунова, стала посмертная публикация его дневников и воспоминаний в 1964 году в Париже, подготовленная его супругой. Русскому читателю открылись не только интересные факты становления личности Сергея Петровича Мельгунова как ученого, публициста, издателя, политика до и после Февраля 1917-го, но также информация о его арестах и заключении после захвата власти большевиками. Эта публикация стала документом времени, ярко повествующим об общественно-политической жизни Москвы после большевистского переворота в период беспрецедентного «красного террора» и голода в городе.

Дневники вышли лишь через восемь лет после смерти Мельгунова. Прасковья Евгеньевна Степанова-Мельгунова первоначально издала в Париже отрывки из воспоминаний и дневников мужа, а затем в течение 1964 года отдельными книгами вышли три части его воспоминаний: 1-я и 2-я части повествуют о московском периоде, о детстве, гимназии, студенчестве, работе педагога, историка; 3-я часть посвящена периоду 1918–1922 гг., это «записки внутреннего эмигранта», рассказывающие об общественно-политической борьбе С. П. Мельгунова и его друзей против диктатуры большевиков и террора в России, о полутора годах его тюремного заключения.

Работа, проделанная вдовой по сохранению памяти о Мельгунове, огромна. Восемь лет длилась подготовка материалов, которую вела неутомимая женщина в свои тогда 72 года, ища пути финансирования издания, сама находясь в трудных материальных условиях. С этой целью в 1961 г. она продала часть архива² в British Library of Political and Economic Science в Лондоне³. Большую помощь в установлении контакта с Британской библиотекой вдове Мельгунова оказал английский ученый Леонард (Бертрам Наман) Шапиро⁴.

В качестве издательства и адреса заказов на книги Мельгунова в 1964 году было указано «Les Editeurs Reunis» («Объединенные издатели» при YMCA Press), 11 rue de la Montagne Sainte-Gebeviève, Paris 5 (Тираж не указан, издатель – г-н Березняк). Дневники и воспоминания С. П. Мельгунова являются не только сохранением памяти о нем, они представляют историческую ценность как интереснейшие документы времени, которые вносят много нового в понимание и толкование событий эпохи и могут занять достойное место в научном инструментарии исторических источников о двух революциях 1917 года уже в силу того, что они написаны не постфактум, а являются записями текущего момента.

Англоязычному читателю дневники Мельгунова стали доступны лишь в 1972 году благодаря стараниям Сергея Германовича Пушкарева⁵, известного историка Русского Зарубежья. Книга вышла под названием «S. P. Melgunov. The Bolshevik Seizure of Power» в издательстве «ABC-Clio Press» в Санта-Барбаре в Калифорнии со вступительной статьей С. Г. Пушкарева; соредактором стал его сын Борис Сергеевич Пушкарев. Читателям в России пришлось ждать 39 лет после парижской публикации 1964 года: в 2003 году в России появился прекрасный сборник «С. П. Мельгунов. Воспоминания и дневники»*. В сборник вошли также дневники предвоенного и военного периодов. Как указывает Ю. Н. Емельянов, эти материалы представлены «на основе машинописной копии дневника из 87 страниц: 2 страницы – 1933 год, 85 страниц – 1939–1944 годы.»⁶ Благодаря этому сборнику началось восстановление честного имени Мельгунова на родине после многолетнего забвения.

В российской историографии интерес к трудам С. П. Мельгунова сохранялся всегда, но его работы были абсолютно недоступны советскому читателю и исследователям на родине.

* С. П. Мельгунов. Воспоминания и дневники / Сост. Ю. Н. Емельянов // М.: «Индрик» 2003. Тираж книги насчитывал 1000 экземпляров, что для российского книжного рынка крайне мало.

Исторические труды С. П. Мельгунова как дореволюционного, так и эмигрантского периодов «ходили по рукам» лишь в самиздате, перепечатанные по книгам, выпущенным в Лондоне и Нью-Йорке в 1970–1980-х гг. Привлечение запрещенного самиздата к научно-библиографической базе было абсолютно невозможно до 1991 года*. Лишь после падения СССР честное имя С. П. Мельгунова было официально реабилитировано – спустя 70 лет после его выдворения из страны в декабре 1922 года.

Благодаря первым публикациям Ю. Н. Емельянова в 1998 году в России начался процесс научного осмысления и уважительного отношения к историческому наследию С. П. Мельгунова. В 2003 году тиражом 1500 экземпляров увидели свет «Дневники» Мельгунова с научными комментариями того же исследователя. В 2007 и 2008 гг. Емельянов продолжил работу над наследием Мельгунова, выпустив новые книги. Российские ученые И. С. Ратьковский (2012), С. В. и И. А. Гавриловы (2016) и С. Н. Дмитриев (2017) продолжили изучение наследия С. П. Мельгунова. Однако большинство этих работ затрагивает предэмигрантский период жизни и деятельности историка С. П. Мельгунова.

ПРЕДЭМИГРАНТСКИЙ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С. П. Мельгунов, москвич по рождению, прожил пять лет в Москве после захвата власти большевиками и установления диктатуры пролетариата – по ноябрь 1922 года, до момента его вынужденного выезда из страны. Из этих пяти лет полтора года пришлось на тюремное заключение.

Убежденный либерал, Мельгунов начал свою общественно-политическую деятельность еще в 1906 году, в партии кадетов, но уже через год покинул ее и вступил в Трудовую народно-социалистическую партию (народные социалисты, энесы). От всех других социалистических партий она отличалась тем, что в основу ее программы было положено отрицание террора как средства политической борьбы, а интересы человеческой личности ставились превыше всего, что и определяло задачу «обеспечить всем людям возможность всестороннего и гармонического развития». Вот как характеризовала партию

* Первая книга С. П. Мельгунова «Красный террор в России» вышла в Москве в 1990 году в период перестройки. Книга была быстро раскуплена и молниеносно обрела популярность. Тираж книги насчитывал 200 тысяч экземпляров. Снятие запрета с имени С. П. Мельгунова в России произошло в 1991 году, с приходом к власти Ельцина.

энесов П. Е. Степанова-Мельгунова: «Это был умеренный социализм, непрерывная защита государства как целого, интересов нации, что привлекло в ее ряды лучших представителей русской демократической интеллигенции. Мельгунов состоял товарищем председателя Центрального Комитета партии и был выставлен кандидатом в Москве на выборах в Учредительное Собрание»⁷.

Трудовая народно-социалистическая партия была создана в период революции 1905 года, но просуществовала лишь до 1907 года ввиду ареста и ссылки ее лидеров. Партия была возобновлена спустя 10 лет, после Февральской революции 1917 года. Партия была немногочисленной, насчитывала около 2 тысяч членов, в подавляющем большинстве – городская интеллигенция, земские служащие, незначительное число крестьян. Видными партийцами были историки и публицисты В. А. Мякотин, А. В. Пешехонов, Н. Ф. Анненский, В.Г. Богораз, В. И. Семевский, С. Я. Елпатьевский, Ф. Д. Крюков. Официальным печатным органом с февраля 1917 года стала газета «Народное слово», после большевистского переворота в ноябре 1917 года партия просуществовала недолго, так как в 1918 году большинство членов ее были арестованы.

Мельгунов, убежденный народный социалист, не мог не протестовать против разгона большевиками Учредительного Собрания в ноябре 1917 года – единственного демократически и легитимно избранного органа власти в России в переходный период; он не мог не противодействовать начавшемуся необоснованному и беспредельному повсеместному насилию, террору большевиков, отмене всех государственных институтов правосудия в стране, разнузданной охоте на инакомыслящих и «классово чуждых».

Систематические гонения большевиков на социалистическую оппозицию начались уже с начала 1918 года. В этом сказывалось программное стремление Ленина к железной однопартийной системе и тотальной власти. Мельгунов, как член Правления Народно-социалистической партии, одним из первых был подвергнут аресту после очередного покушения на Ленина членом партии эсеров Ф. Каплан в ночь на 1 сентября 1918 года. Это послужило лишь началом к массовому террору и арестам. Мельгунов и его партия, не имеющая никакого отношения к покушению, на себе испытали абсолютную юридическую незащищенность от большевиков. Началось физическое уничтожение социалистической оппозиции, пользующейся бóльшей народной поддержкой и представляющей реальную конкуренцию большевикам.

Физически «сохраниться» С. П. Мельгунов смог в эти времена, полные хаоса и насилия, лишь благодаря личным, еще дореволю-

ционными, знакомствам с большевиками, многие из которых принадлежали ранее к другим социалистическим группировкам. Вот как вспоминает в дневниках сам С. П. Мельгунов о спасении после первого тюремного заключения: «Меня освободили вследствие хлопот большевиков. Возбудили ходатайства Бонч-Бруевич, Керженцов, Дауге (написал Петерсу), Подбельский, Фриче, Рязанов, Луначарский, Ландер и др.»⁸.

Об этом времени пишет и П. Е. Степанова-Мельгунова в после-словии к первой, 1964 года, публикации дневников мужа: «...в 1919 году Мельгунов должен был перейти на нелегальное положение, продолжал, однако, свою работу... Большевицкая власть его выпускала, постоянно ходатаями выступали старые революционеры, как В. Фигнер и П. Кропоткин. В 1920 г. Мельгунов был судим по большому политическому процессу, к которому было привлечено много московских профессоров и общественных деятелей. Его обвиняли как одного из организаторов 'Союза Возрождения', политической группировки, в которую вошли представители всех антибольшевицких демократических партий: народной свободы, народных социалистов, правых социал-революционеров, правых социал-демократов. 'Союз Возрождения' вел активную борьбу с большевиками, поддерживая демократическую тенденцию, – так позади белого движения пытались создать единый национальный фронт против большевиков»⁹.

Борьба с социалистическими партиями внутри страны стала государственным проектом большевиков уже с января 1918 года; она не только включала в себя физическое истребление противников режима (истинных и потенциальных), но и конституировала мифологизированную историю революции, где другим социалистическим партиям отводилась роль врагов. В контексте такой идеологической заданности им всем была предначертана трагическая участь в СССР. Официальная интерпретация событий внедрялась путем полного искоренения имен оппозиционеров из исторической национальной памяти. Против этой доктрины яростно и неутомимо выступал Мельгунов-историк, за что он не раз рисковал поплатиться жизнью.

В последний раз перед высылкой С. П. Мельгунов был арестован 7 февраля 1920 года по сфабрикованному делу «Тактического центра», в феврале 1921-го временно освобожден, но в мае 1922 года вновь арестован; в августе он был приговорен к смертной казни, которая была заменена десятью годами тюремного заключения. После пребывания в одиночной камере он был освобожден по ходатайству Академии Наук и лично П. А. Кропоткина, В. Фигнер и др. Вера Фигнер посодействовала контакту с Л. Красиным, который, в свою очередь, заступился за Мельгунова. Решение об изгнании неугодного

С. П. Мельгунова было принято в августе 1922 года, его имя попало в список высылаемых за границу. Но в этом было его спасение.

П. Е. Степанова-Мельгунова вспоминает: «В 1922 году, в момент массовых высылки [за границу] интеллигенции, когда Мельгунов вновь сидел в тюрьме, вызванный свидетелем на известный процесс социал-революционеров, он намечался к ссылке в Чердынь (на севере Пермской губернии), что было заменено решением выехать за границу при условии, что он не вернется на родину. Мельгунов сделался эмигрантом, так как через год он официально был лишен всех прав гражданства, вместе с тем конфискованы были его богатейшая библиотека и архив, переданные ныне Социалистической Академии. Поводом для этой меры явились статьи Мельгунова о красном терроре»¹⁰, и также: «Пока тянулся эсеровский процесс, в обеих столицах составляли списки нежелательных советской власти представителей интеллигенции: ученых, профессоров, писателей, общественных деятелей и т. д., многие из которых преследовались властью, уже посидели в тюрьмах, подверглись угрозе расстрела (Е. Кускова, С. Прокопович, М. Осоргин и др. члены т. н. Голодного Комитета или Лиги спасения детей, избежавшие суровых кар благодаря представительству Фритьофа Нансена), их всех постановлено было выслать за границу. В списки не вошли те, кто сидел в тюрьме во время эс-эр-процесса. Политический Красный Крест с В. Н. Фигнер во главе, мало веря в продолжительность 'передышки', намечавшейся в связи с возникающим Н.Э.П.'ом, хлопотал за добавление к уже высланным за границу Сергея Петровича, которого по этому поводу Менжинский вызвал в ГПУ. Отпускать не хотели... Из Москвы выслали уже около 70 человек с семьями. Выслали две партии: одну через Ригу, другую через Петербург... Со всех высылаемых брали какие-то подписки. Всем предъявляли обвинение в контрреволюции. На Петербург уехала большая партия. Мы провожали и тех, и других. Перед их высылкой у нас на квартире был прощальный вечер. Собралось, кажется, 60 человек, люди еще не были так пришиблены, как теперь, было оживленно, все как будто верили в хорошее будущее. <...> 10 октября 1922 года проводы. На вокзале собралось более 70 человек. Шныряли агенты, но никого не трогали. Тяжелое расставание с полной неизвестностью будущего. Увидимся ли?»¹¹

ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЭМИГРАЦИИ.

БЕРЛИН, ПРАГА. ОКТЯБРЬ 1922 – ДЕКАБРЬ 1926

Нам неизвестны подробности выезда семьи Мельгуновых из Советской России в октябре 1922 года. Произошло ли это пароходом

через Петербург в Штеттин, как в случае с «Философским пароходом», или поездом Москва – Берлин, сведений об этом не обнаружено. В своих дневниковых записях С. П. Мельгунов не упоминает об этом, как они с женой выбирались из Советской России. Известно лишь по записям П. Е. Степановой-Мельгуновой, что еще перед последним арестом Мельгуновы успели отправить за границу ее родителей и брата. Семья воссоединилась лишь в Берлине. Мельгуновы встретились там также с друзьями и соратниками по московскому издательству «Задруга».

Издательское товарищество «Задруга» было создано С. П. Мельгуновым на кооперативных началах в 1911 году и имело большой успех в кругах либерально настроенной русской интеллигенции. Товарищество было построено на принципе полного равноправия всех членов – от Мельгунова-директора до типографского рабочего. После выдворения Мельгунова из страны издательство было закрыто, его банковские счета в 1924 году национализированы. «Задруга» – это 12 лет издательской деятельности Мельгунова-историка, давшие «500 наименований книг тиражом в 4 миллиона экземпляров»¹². Издательство находилось в Москве на Воздвиженке (Крестовоздвиженский переулок, 9), книжный магазин – на Моховой, 20.

Первые годы в эмиграции – сначала в Берлине, далее в Праге – были трудными для семьи Мельгуновых: поиск постоянного места жительства, преодоление различных юридических требований пребывания эмигранта в стране и его права на работу, отличных в Германии и Чехии. Это была кочевая жизнь между Берлином и Прагой в поиске старых друзей, которым удалось вырваться из советской России в поиске деловых контактов. К 1923 году в Берлине оказалось 17 бывших сотрудников Товарищества «Задруга». Это дало возможность быстро организовать новое издательство – «Ватага», на правах преемства с московской «Задругой». Еще перед самым отъездом из России С. П. Мельгунов был уполномочен Советом издательства открыть его заграничный филиал, для чего он получил юридическое право распоряжаться денежными средствами Товарищества. И вплоть до середины 1923 года, до национализации всех банковских счетов «Задруги» в СССР, у Мельгунова сохранялась эта возможность.

Уже через год после прибытия в Берлин С. П. Мельгунов начал издавать исторический журнал «На Чужой Стороне», который являлся продолжением ежемесячного журнала «Голос Минувшего», созданного им и издававшегося в Москве в 1913–1923 годах. (Правописание всех слов в названии журналов Мельгунов предпочитал с заглавной буквы).

Московский предреволюционный «Голос Минувшего» был образцом внепартийных либерально-народнических публикаций по вопросам истории и литературы. За десять лет существования журнала было выпущено 65 номеров. Традицию внепартийной политики издания Мельгунов-редактор продолжил в эмиграции в неперIODических исторических сборниках «На Чужой Стороне» и всех последующих. Он сознательно приглашал к сотрудничеству разных по политическим воззрениям сотрудников.

Сборники «На Чужой Стороне» начали издаваться в Берлине с января 1923 года. В связи с закрытием «Задруги» в Москве в середине 1923 года и последующей «национализации» денежных сумм издательства, возникла проблема с финансированием.

Первый номер «На Чужой Стороне» вышел в Берлине в 1923 году в издательстве «Ватага». В статье «От редакции» указано следующее: «'На Чужой Стороне' – так будут называться наши сборники. Мы все – вольные или невольные изгнанники родной страны. Многие из нас еще недавно только покинули Россию, других от нее отделяют уже годы. Правда, немного лет прошло, как мы расстались, но как много было пережито за это время!.. Различны, быть может, наши политические настроения, различны, возможно, оттенки нашего общественного демократизма, но едино наше восприятие старой русской культуры, едина наша оценка ее духовной и моральной сущности. И неизбежно в современных условиях общественной растерянности и упадка, с одной стороны, и неясных исканий, с другой, наше единство многие назовут интеллигентским староверием. Мы приступаем к работе с чувством горячей любви к далекой родине. Наш невольный досуг хотим мы использовать, готовясь служить русскому народу»¹³.

Первый сборник «На Чужой Стороне» посвящен двум могикам русской литературы – Льву Толстому и В. Г. Короленко, умершему 25 декабря 1921 года. Этот сборник, выпущенный в изгнании, являлся также осмыслением шестилетней власти большевиков; это период пересмотра «идеологии, какую жило русское общество, точнее говоря, русская интеллигенция, до революции Февраля 1917 года. Что привело Россию к пути террора? Какие надежды и ожидания, возлагавшиеся на эту Февральскую революцию, не оправдались?»¹⁴ – писал В. А. Мякотин¹⁵ в статье «На распутье».

Журнал был напечатан на хорошей плотной бумаге, что соответствовало финансовым возможностям – оставшимся деньгам «Задруги». Общий объем сборника насчитывал 248 страниц. Первый сборник печатался в Берлине, со второй книжки появляется указание на двойное издание – Берлин–Прага: в Берлине – издательство «Ватага»,

адрес типографии Куммер и К^о: Berlin 2, Neue Promenade 6, – это центр Берлина, поблизости с метро Хаккешер Маркт (Hackescher Markt), адрес редакции: Kurfürstenstrasse 124, и в Праге – издательство «Пламя». Двойной адрес издания указывает, что поиск более дешевых типографий и условий печати в период начинающейся инфляции в Европе привел Мельгунова в Прагу.

Мельгуновский сборник «На Чужой Стороне» занял достойное место среди огромного числа русскоязычных изданий Берлина в период расцвета эмигрантской печатной деятельности в 1920-е годы – насчитывалось более 150 маленьких и больших русскоязычных издательств, газет и журналов¹⁶. «Арестованные» счета в России и начавшаяся инфляция в Германии в 1920-е годы привела к большим финансовым затруднениям для большинства, и Мельгунов-издатель не был исключением. Он искал – и находил выходы. Одним из решений стало сотрудничество с пражским изданием «Пламя», созданным Евгением Александровичем Ляцким (1868–1942)¹⁷, известным литературоведом и писателем, близким по политическим взглядам к эсерам. В 1916–1917 гг. Е. А. Ляцкий был сотрудником в московском издании «Голос Минувшего» С. П. Мельгунова.

Но и это сотрудничество не стало решением проблем финансирования первого эмигрантского журнала Мельгунова «На Чужой Стороне». И чета Мельгуновых, как и многие русские эмигранты, выбрали для себя новое пристанище – Париж. Русская диаспора в Берлине начала существенно редеть уже в конце 1920-х годов в связи с нагнетающейся атмосферой фашистской идеологии в Германии, а также из-за изменения правового положения иностранцев. Париж привлекал еще и языком, которым многие русские эмигранты владели в совершенстве. С переездом четы Мельгуновых в Париж издание сборников «На Чужой Стороне» было перенесено туда. Всего за 1923–1926 гг. было выпущено 13 сборников: семь – в Берлине и Праге, шесть – в Париже.

ПАРИЖСКИЙ ПЕРИОД. 1926–1939

Лишь в 1926 году, т. е. через четыре года после высылки из России, для С. П. Мельгунова наступает период относительной стабильности; в Париже кое-как налажен скромный эмигрантский быт, восстановлены дружеские связи. Мельгуновы получают вид на жительство во Франции. Обязательные для иностранцев формальности длятся более полугода, но именно это дает возможность получения лицензии на продолжение издания журнала «На Чужой Стороне». В Париже журнал получил новое название – «Голос

минувшего на чужой стороне», соединив оба прежние названия исторических сборников. Главными редакторами стали С. П. Мельгунов и Т. И. Полнер¹⁸.

К тому моменту в СССР полностью ликвидировано издательское товарищество «Задруга» в Москве, а после выхода книги о красном терроре Мельгунов был внесен в список «персон нон грата», въезд в СССР запрещен, имеющееся у него гражданство Российской империи объявлено недействительным. С июля 1924 г. он имел паспорт Нансена, как и большинство русских эмигрантов. Для Мельгунова продолжается период больших финансовых проблем. И всё же он не сдаётся и ищет спонсоров для своего нового журнала и распространяет его в русской эмигрантской общине в Париже и других европейских центрах диаспоры. Учитывая общее тяжелое материальное положение русской эмиграции во всех центрах рассеяния (в одном лучше, в другом хуже), работа по сбору пожертвований была непростой.

Сборники «Голос минувшего на чужой стороне» сосредоточились на публикации мемуаров участников событий революции и Гражданской войны – таким образом предоставляя широкой аудитории правдивые документы тех событий. По качеству публикаций и именам авторов эти мельгуновские сборники могут занять достойное место в одном ряду с замечательными 22-мя томами «Архива русской революции», изданными Иосифом Владимировичем Гессеном¹⁹ в Берлине в 1921–1937 годы.

В 1929 году «Голос минувшего...», несмотря на востребованность, прекратил свое существование, возможно, ввиду непреодолимых материальных проблем, а еще и по причине начатого Мельгуновым параллельного издания политического еженедельника «Борьба за Россию» (1926–1931 гг., №№ 1-259), предназначавшегося также для распространения в СССР.

ОТХОД ОТ ПОЛИТИКО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Период 1930-х годов ознаменован в русской эмиграции противодействием советской агентуре в Европе и созданием конспиративных эмигрантских парамилитаристских организаций, таких, как «Крестьянская Россия» (эсеры и правые кадеты), «Братство Русской правды» (ген. П. Н. Краснов, герцог Г. Н. Лейхтенбергский и др.), «Народный Союз защиты Родины и Свободы» (Б. Савинков), Русский Общевоинский Союз (РОВС) (ген. П. Н. Врангель). Мельгунов также создал в этот период собственную политическую группу «Борьба за Россию», в которой сплотились его единомышленники А. В. Карташов²⁰, П. Я. Рысс, М. М. Федоров²¹, Т. И. Полнер.

Мельгунов-публицист разоблачает на страницах журнала «Борьба за Россию» советских агентов в рядах некоторых эмигрантских политических организаций. Стоит заметить, что предвоенные годы для Мельгунова – время общего разочарования в политической эффективности русской эмиграции, разобщенной и ослабленной деятельностью советской контрразведки после разгрома Русского Общевоинского Союза (РОВС)²² и второго «Треста». После похищений председателей РОВСа генерала Кутепова в январе 1930 года и его последователя генерала Миллера в 1937 году в русской эмиграции царило ощущение «всемогущества» советской разведки. Общее настроение подавленности совпало с начавшимся мировым экономическим кризисом. Выросшие цены на бумагу, на аренду помещений для издательств и жилья повлекли за собой прекращение издательской деятельности С. П. Мельгунова.

Чета Мельгуновых переезжает из Парижа сначала в тихое местечко в Сан-Пиа, в ближайший к Парижу уголок Нормандии на берегу реки Эр (1930–1932). А двумя годами позже Мельгуновы переезжают в городок Шампиньи-сюр-Марн под Парижем. Вот что об этом периоде вспоминает Н. С. Тимашев²³: «Тяжелый экономический кризис, поразивший Францию, заставил С. П. из историка, журналиста и политического деятеля превратиться в куровода и садовника... Вскоре выяснилось, что в большом доме, центре его хозяйства, есть место для ‘платных гостей’, и вот летом 1932 года мы всей семьей поселились у Мельгуновых. И быстро стали у них своими людьми... Только один раз нам всей семьей довелось длительно прожить в ‘имении’ С. П. С огорчением узнали мы, что почти райскому житью в Сан-Пиа подошел конец. Мельгуновы переселились в один из далеких восточных пригородов Парижа Шампиньи-сюр-Марн. Добраться туда было трудно, но мы продолжали видеться, пока судьба не перенесла сначала меня, а потом мою семью, в Америку»²⁴.

Но не только разочарование в эмиграции повлекло переезд Мельгунова из французской столицы. Начиная с конца 1920-х гг. и вплоть до начала немецкой оккупации Франции в стране открыто действовали т. н. Иностранный Отдел ОГПУ, агенты Коминтерна, разведывательно-диверсионная СГОН (Спецгруппа особого назначения при НКВД СССР) под руководством Якова Серебрянского²⁵. Этой группой, при активной помощи французских коммунистов, совершалась не только вербовка агентов из рядов эмигрантов, но и диверсионные и террористические операции по ликвидации РОВСа, похищения, а также убийства видных деятелей эмиграции, кража архивов (например, архива Л. Троцкого у его сына Л. Седова) и т. д.

Из-за опасений за жизнь чета Мельгуновых и решает, в конце

концов, переехать из Парижа. Этот период «затишья» для Мельгунова длится около пятнадцати лет, вплоть до освобождения Парижа от немецкой оккупации 25 августа 1944 года. Разочарование в реальных возможностях эмиграции противостоять мощному аппарату советской агентуры привело Мельгунова к выводу о тщетности какого-либо политического противостояния и сосредоточило его на исследовательской деятельности; он всецело уходит в научную работу. В 1939 году С. П. Мельгунов записывает в дневник: «Давно завел эту тетрадку. Хотел записывать то, что происходит: сами мы нигде не бываем. И до сих пор ничего не записал»²⁶.

Список его исследовательских трудов обширен. Вот общая хронология публикаций С. П. Мельгунова:

1923 — «Дела и люди Александровского времени» (Берлин).

1924 — «Красный террор в России. 1918–1925» (Берлин). Эта книга, получившая огромный общественный резонанс, была переведена на немецкий, английский, испанский, голландский и французский языки, сделав публичными факты массового террора в Советской России. Книга принесла Мельгунову первый гонорар в эмиграции. Платой за эту книгу стал и полный запрет его имени на родине.

1929 — «Гражданская война в освещении Милюкова» (Париж), «В годы Гражданской войны (Чайковский)» (Париж).

1930 /1931 — «Трагедия адмирала Колчака» (Белград), «На путях к дворцовому перевороту» (Париж).

1938 — «Российская контрреволюция. Методы и выводы ген. Головина», «Как большевики захватили власть. Октябрьский переворот. 1917» (Париж).

1940 — «Золотой немецкий ключ большевиков» (Париж). Эта книга была опубликована Мельгуновым уже после подписания Договора Молотова–Риббентропа. В исследовании С. П. Мельгунов постарался показать, опираясь на факты, истоки союза между Германией и СССР в преддверии Второй мировой войны; союза, заложенного еще до большевистского переворота 1917 года и получившего свое продолжение в большой геополитической игре 1939–1940 годов.

Книга «Золотой немецкий ключ большевиков» оказалась как никогда актуальной. 18 сентября 1939 года начался процесс многочисленных аннексий Советским Союзом территорий Западной Украины и Западной Белоруссии; было оказано мощное давление на Литву, Латвию, Эстонию, вследствие чего эти независимые страны вынуждены были подписать с Москвой так называемые «пакты о взаимопомощи», а в июне 1940 года на территорию прибалтийских

государств вступили советские войска. Как продолжение политики аннексий, Красная Армия заняла румынскую Бессарабию, образовав Молдавскую ССР и создав, таким образом, шестнадцатую советскую республику. На очереди был план по созданию Карело-Финской, семнадцатой, республики, – план, вылившийся в Советско-финскую войну. На всех аннексированных территориях начался страшный период массовых арестов, расстрелов и депортаций.

Интересно наблюдение Мельгунова за реакцией русской консервативной эмиграции в отношении аннексии территорий новых независимых государств: «В большинстве эмиграции захват Галиции и Белоруссии вызывает несомненное удовлетворение. И то же повторяется относительно Финляндии... Есть ли уверенность, что и в России с удовлетворением не воспринимались эти захватнические деяния?.. Это будет чувство желать восстановить Россию в старой довоенной территории, ибо исторически сложившееся тело не так легко уходит из жизни. Называется это империализмом, но это так будет»²⁷.

ВОЕННЫЙ ПЕРИОД. 1939–1945

Начало Второй мировой войны Мельгуновы встретили в Шампиньи под Парижем. Вот какую запись вносит С. П. Мельгунов в свой дневник 3 сентября 1939 года: «Вот и опять война. В Шампиньи все довольно спокойно»²⁸. И далее – о политическом потенциале русской эмиграции: «Эмиграция – рассыпанная хранина, ни на что политическое не способная»²⁹.

На фоне масштабных мировых военных действий в Европе, еще до немецкой оккупации Франции и Парижа, дневниковые записи Мельгунова полны его размышлений не только о политике и ситуации в мире, но и о положении русского эмигранта во Франции: «Есть статья в защиту русских апатридов. Благая цель, но формулировка: русским оказали честь и призвали защищать Францию. Но отцы и дети не могут сражаться. Справедливо и им дать льготы. В действительности, русские апатриды остаются только иностранцами – да еще менее привилегированными, чем советские граждане. В комиссариате П. Е. сказали: 'Будь вы советские, сейчас продлили бы карты *carte d'identité*, а теперь не можем.'»³⁰. А 21 января 1940 года Мельгунов записывает в дневник: «Следовало бы подробно записать бюрократическую волокиту с нашей *carte d'identité* после 16 лет пребывания во Франции. Нежелание в префектуре признавать наши удостоверения вопреки определенному тексту закона и т. д.»³¹.

Кроме общего подавленного настроения в кругах русской эмиг-

рации, с началом Второй мировой войны начались дополнительные бюрократические проволочки с документами для всех русских эмигрантов во Франции; остро чувствовалось шаткое юридическое положение апатрида и его бесправность. Вот какой пример приводит Мельгунов в своем дневнике: «А 9 сентября 1939 уже все иностранцы были проверены и зафиксированы. Французов нельзя не похвалить. Сегодня ездили в комиссариат – отпечатки пальцев делали на карте (*carte d'identité*). Какой смысл? Газовых масок нам, как иностранцам, не дают, сделали самодельные»³².

Для лучшего осмысления правового статуса русского беженца во Франции позволим себе краткий экскурс в тему. Всеми формальностями русских эмигрантов до 1921 года занималось русское дипломатическое представительство в Париже, которое с октября 1917 года возглавлял В. А. Маклаков³³. Он находился в этой должности вплоть до признания СССР Францией в 1924 году. Русские эмигранты, покинувшие родину после революции и Гражданской войны, были лишены прав гражданства по Декрету Совета Народных Комиссаров от 28.10.1921 «О лишении прав гражданства некоторых категорий лиц, находящихся за границей». Многие русские эмигранты числились беженцами и имели паспорта Российской империи с дополнительным документом «*carte d'identité*», идентифицирующим личность и дающим право на пребывание в стране и работу. После основания Лиги Наций во всех европейских странах действовали филиалы Международного бюро Ф. Нансена по делам беженцев. Паспорт Нансена был признан легитимным документом после Международного соглашения, достигнутого на Межправительственной конференции по удостоверениям личности для российских беженцев 3-5 июля 1922 года (в роли Верховного Комиссара был Фритьоф Нансен). Паспорта Нансена выдавались через Комитеты Нансена во всех европейских странах с 1922-й по 1942 год. На основании этого документа оказывалась также минимальная материальная помощь эмигрантам.

В октябре 1924 года Маклаков ушел с должности посла и создал Эмигрантский комитет, взявший на себя обязательство представлять правовые интересы российских эмигрантов во Франции. Комитет именовался «Офис русских беженцев», он начал свою работу с 9 мая 1925 года под контролем Министерства иностранных дел Франции. В период немецкой оккупации Офис был распущен, Маклаков, как видный масон, арестован.

Июнь 1940 года воистину стал трагически-судьбоносным для Франции на последующие четыре года войны. Немецкие войска достигли реки Сены 8 июня 1940 года, а 14 июня вступили в Париж.

Германией были аннексированы департаменты Франции в Эльзасе и Лотарингии; северные департаменты Нор и Па-де-Кале были объединены в Рейхскомиссариат «Бельгия – Северная Франция». Около $\frac{2}{3}$ всей территории Франции были оккупированы: весь юг страны и ее колонии перешли под контроль коллаборационистского правительства маршала Филиппа Петена, на юге установлен итало-фашистский режим Виши.

17 июня 1940 года Мельгунов отправился в Париж пешком из Шампиньи. Вот что Сергей Петрович записывает в дневнике: «Пошел в Париж пешком отнести работу, а главное, хоть что-то узнать. Мы как бы отрезаны от жизни. По радио что-то говорят, но большинство не слушает. У нас радио нет, и ни от кого ничего не узнаешь. Прошел совершенно спокойно. Никто ничего не спрашивает. Метро ходит. Приехал в Biotherapie. Там узнал о начавшейся катастрофе. Радио подтверждает сообщение немецкое. Они идут беспрепятственно. Линия Мажино прорвана»³⁴. Мельгунов описывает свои впечатления от начавшейся немецкой оккупации так: «Получается какая-то бессмыслица. Здесь, в Париже, ‘налаживается’ жизнь... Открывают кафе, ставят столики, люди пьют. Ректор объявляет о возобновлении занятий, открытии библиотек. А там идет еще борьба! Молодежь будет здесь ‘учиться’ и фланировать в кафе, а там будет погибать. Где вообще французский патриотизм? Он куда-то исчез – все довольны только тем, что избавились от опасности. Никто не отдаст себе отчета в тягости положения»³⁵.

Нападение Гитлера на СССР 22 июня 1941 года также имело свои существенные последствия для русской диаспоры в оккупированной части Франции. Так, уже 23 июня 1941 произошли массовые проверки идентичности личностей русских эмигрантов и проверки на предмет лояльности к немецкой власти. Многие из них очутились в сложной, часто просто безвыходной, ситуации как лица без гражданства, имеющие только «Нансенские» паспорта*, многие не имели даже таковых, сохраняя паспорта Российской империи. Их правовая ситуация была просто непредсказуемой при немецкой оккупации.

С началом немецкой оккупации во Франции была прекращена выплата социальных денежных пособий, пенсий русским эмигрантам, а для тех русских эмигрантов, кто состоял до войны на государственной службе во Франции, началась волна увольнений. Для большинства наступило время выживания, острой нужды в ситуации растущих цен, заботы о пропитании и топливе, а часто о новом крове,

* Нансенские, или Нансеновские, паспорта – оба названия использовались в период функционирования этого документа.

так как русских эмигрантов стали выселять из центра Парижа. Но главное, над всеми нависла неизвестность и тяжелая зависимость от распоряжений новой немецкой оккупационной власти.

В качестве координационного бюро для русских эмигрантов было создано «Управление по делам русских эмигрантов во Франции» во главе с Георгием Жеребковым³⁶, который занимался преимущественно переписью русских эмигрантов и сбором информации о них; бюро занималось также выдачей документов, подтверждающих жилищную прописку. По сути же это был сбор сведений о политической благонадежности каждого эмигранта по отношению к немцам и, в зависимости от этого, выдавался документ «вид на жительство». Шла также фильтрация российских эмигрантов по расовым и идеологическим критериям: евреи, масоны, коммунисты, социалисты были интернированы.

Наиболее известен концентрационный немецкий лагерь Рулье (camp de Royallieu) вблизи города Компьень на севере Франции, который был размещен в здании бывших армейских казарм; после оккупации Франции здесь находились военнопленные французы. С 23 июня 1941 года, после нападения Гитлера на СССР, лагерь был преобразован в прифронтовой транзитный «Сталаг 122» (нем. «Frontstalag 122») для интернированных гражданских лиц иудейского вероисповедания, лиц разного гражданства и национальностей. В числе узников были не только евреи, но и масоны и коммунисты. В период с июня 1941-го по август 1944-го через этот лагерь прошло около 50 тысяч узников³⁷.

Усугубляло положение русской эмиграции ее расчлененность и хроническая вражда между различными политическими лагерями. Вот что сообщает Евгений Иванович Балабин³⁸, генерал-лейтенант Донского войска: «К сожалению, во Франции происходит то же самое, что и во всех русских центрах эмиграции по приходе немцев. Многочисленные русские организации засыпали немцев жалобами друг на друга, и каждый из них настаивает, чтобы немцы слушались только их и никого больше»³⁹. Разобщенность русской эмиграции давала немцам возможность манипуляции эмигрантскими группами. Большинство русских эмигрантских организаций было распущено.

С июня 1941 года общий контроль за русскими эмигрантскими организациями во всех европейских центрах диаспоры осуществлялся через центральный Берлинский офис «Управление по делам русских беженцев в Германии» (Russische Vertrauensstelle in Deutschland, или «RVst»). Эта организация существовала негласно при Германском министерстве внутренних дел и вела контроль за русскими эмигрантами в 1923–1936 гг. только в Германии, но с августа 1939 года начался

превентивный контроль за русскими эмигрантами и на оккупированных территориях. В преддверии нападения Гитлера на СССР было создано т. н. Рейхское министерство по делам оккупированных восточных регионов (Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete, RMfdbO), называемое кратко «Восточным Министерством» (Ostministerium, RMO), оно действовало с марта 1941-го по май 1945-го. Министром стал балтийский немец А. Розенберг⁴⁰. «Управление по делам русских беженцев в Германии» вошло в состав «Восточного министерства» и контролировало учет русских эмигрантов во всех оккупированных европейских центрах, включая Париж. Так, например, через это Управление для вермахта вербовались переводчики из среды русских эмигрантов. Возглавлял эту организацию генерал В.В. Бискупский⁴¹ – в 1923–1936 гг. негласно, с мая 1936 года официально⁴². Его заместителем был Сергей Таборицкий⁴³. В ситуации острой материальной нужды многие русские эмигранты соглашались на работу переводчиками – как в Европе, так и в оккупированных регионах СССР. Им выплачивалось жалование, после смерти – пенсия вдовам и детям.

Работать русским эмигрантам предлагали не только переводчиками для вермахта; также на оккупированной территории СССР эмигрантов брали на административные места: почта, Биржи труда для депортации рабочей силы (остовцев) в рейх, администрация пунктов распределения питания, местная полиция. Интересно отметить тот факт, что была предпринята попытка восстановления и объединения всех русских эмигрантских воинских организаций – как, например, РОВС, а также казачьих подразделений. Этот процесс начался после аннексии Судетских земель в Чехословакии и продолжался по мере быстрого продвижения вермахта по Европе. Так, например, генерал-майор Алексей фон Лампе⁴⁴ после прихода нацистов к власти в 1933 году был обвинен в шпионаже, заключен на три месяца в тюрьму на предмет проверки лояльности к новой нацистской власти. В 1938 году он возглавил «Организацию русских военных союзов» и был привлечен Рейхским министерством внутренних дел Германии к сотрудничеству по реорганизации русских эмигрантских воинских союзов. Вот что сообщает по этому поводу донской казак М. А. Ковалев из Праги 25 ноября 1939 года: «Приезжал к нам в Прагу и пробыл 10 дней ген. Лампе. Он, согласно распоряжению немецких властей, свел все наши воинские организации в одну. Теперь так: в каждом городе, где раньше было несколько воинских организаций, будет одна организация с наименованием 'Русская воинская группа в Праге' (в Брно, Пльзне и т. д.), во главе ее начальник. У нас ген. Харжевский. Он подчинен начальнику Юго-

Восточного отдела (в Протекторате) капитану Первого ранга Подгорному, а Яков Иванович – ген[ералу] Лампе, которому подчинены начальники всей Великой Германии»⁴⁵. С осени 1940 года процесс реорганизации союзов русской эмиграции во Франции проходил по той же схеме.

Русская диаспора в Париже разделилась в зависимости от отношения к немецким оккупантам и начавшейся войне Германии против СССР. Наступил момент решающего выбора для каждого эмигранта; для одних это был переход на патриотические позиции, что выражалось одновременно в поддержке Советского Союза в надежде на изменение его политического строя после войны; у других эмигрантов союз с Германией вызывал надежды на реванш и свержение ненавистной советской власти. Третьи заняли выжидательную позицию. Это был явный раскол. Вот какую запись в дневнике сделал С. П. Мельгунов: «С выступлением СССР выдвинулся русский вопрос. Произведены аресты. Говорят, что в Виши хотели всех арестовать, но были-де остановлены немцами. Там, в неоккупированной зоне, всё же были массовые аресты. Здесь – кое-где в провинции. Жена Деникина, самого главнокомандующего не решились. Здесь в Компьен посажены Альперин, Зеелер, Одинец, Фондаминский, Колтышев (освобожден) Из знакомых больше никого не знаю. Сидел Мустафа Чокаев, а теперь увезен в Берлин для переговоров, также уехали-де грузины. Очевидно, арестовывали тех, кто считался или советолобом, или готовым [оказать] помощь большевикам во имя национального дела. Под домашним арестом Романов»⁴⁶.

Географическая оторванность Мельгунова от центра Парижа во время немецкой оккупации, отсутствие достоверных сведений о ситуации в национальных русских и французских газетах влекла за собой одиночество и неосведомленность. Особенно в первый период немецкой оккупации сказывался недостаток газет, достоверных радиосообщений о мировых событиях; не доставало известий о друзьях и соратниках. Лишь после войны стали известны невосполнимые потери в кругах русской эмиграции во Франции: одни были интернированы, другие арестованы и депортированы в Германию.

Источником новостей в период немецкой оккупации в Париже стала прогермански настроенная газета «Русский вестник» под редакцией Жеребкова. Большинство русских эмигрантских изданий прекратили свое существование. Свободный печатный голос русской эмиграции во Франции стал слышен лишь в 1946 году благодаря журнальным сборникам С. П. Мельгунова.

ПОСЛЕВОЕННАЯ ЕВРОПА.
С. П. МЕЛЬГУНОВ В 1945–1948 ГОДАХ

После высадки западных союзников в Северной Франции 6 июня 1944 года, вошедшей в историю как «Операция Оверлорд» (Operation Overlord, или «День Д»), в неоккупированной части страны было создано Временное правительство. Правительство в этом составе просуществовало с июня 1944 по 1946 гг. и подготовило почву для нового конституционного строя в послевоенной Франции. Результатом стало образование т. н. «Четвертой Республики» (1946–1958). Вплоть до мая 1947 года Франция находилась под управлением коалиции лево- и правополитических партий, включавших в себя коммунистов как крупнейшую политическую силу в парламенте.

Чем объясняется народная популярность французской компартии после войны? Время немецкой оккупации стало лакмусовой бумажкой для всех политических партий Франции. Благодаря активному участию в антифашистском движении Сопротивления французских социалистических партий и коммунистов, их популярность у населения после войны была особенно высока. Ненависть к немецким и итальянским фашистам толкнула многих французов, да и русских эмигрантов, в объятия французской компартии, а следовательно, и СССР, так как деятельность французских коммунистов осуществлялась при «чутком» руководстве Советского Союза. Это «чуткая» связь выражалась в идеологическом руководстве со стороны СССР. Состав французского Сопротивления был различен: члены французской коммунистической партии, партизанское движение «маки», члены вишистского движения, которые тайно поддерживали Сопротивление и движение «Свободная Франция» под руководством де Голля, патриотическая группа «фран-тирер». По численности наибольшей и влиятельной группой были французские коммунисты – также и наиболее организованной.

В результате Французская коммунистическая партия стала после войны одной из самых влиятельных политических сил в стране. Статистика говорит сама за себя: в конце 1946 года компартия Франции насчитывала около 900 тысяч членов (возглавил партию Морис Торез и Жак Дюкло). Многие ключевые позиции во Временном правительстве заняли коммунисты. Например, Торез был избран в Национальное собрание в 1945 году, вошел в правительство Де Голля в качестве министра, в 1946–1947 гг. занимал пост вице-премьера французского правительства.

Во Временное правительство Франции (1944–1946) вошли представители основных политических партий, участвовавших в

Сопротивлении: коммунистическая партия, социалистическая партия, католическая – «Народно-республиканское движение». Правительство возглавил де Голль.

Советско-французские отношения вошли в фазу апогея дружеского взаимопонимания именно благодаря вице-премьеру Торезу. За лояльность к СССР он был щедро вознагражден советскими соратниками. Его именем были названы многочисленные улицы и проспекты в огромной Стране Советов. Особенно «повезло» городам Юга России, где Торез проводил традиционные бесплатные отпуска в городах-санаториях Евпатории, Нальчике, Сочи, Ялте. В Донецкой области, например, до 2016 года город Чистяково именовался Торез.

Четыре года «молчания» либеральной русской эмиграции во время немецкой оккупации Франции при отсутствии своего национального печатного голоса обрекали большинство русских эмигрантов на бездеятельность. Контакты сохранялись лишь на уровне религиозных общин или внутри ограниченных по численности групп родных и друзей (существовал и запрет на собрания в течение четырехлетнего оккупационного периода). Это, без сомнения, влекло за собой разъединение русской эмиграции. Тем острее была потребность высказаться и определить свою общественно-политическую позицию для многих эмигрантов сразу же после освобождения Франции.

В сентябре 1944 года Мельгунов отмечает в своем дневнике: «Прошло целых три года. Я ничего не записывал. Трудное время в материальном отношении пережили мы. На государственный паек прожить было нельзя, хотя Франция не пережила таких условий, которые мы видели в России в 19-20 гг. Всё время уходило на текущую работу – огород, который питал нас, рубку дров и пр. Дрова на черной бирже мы покупать не могли. Нас спасло то, что Маневскому (Володя Маневский, наш родственник, офицер Великой и Гражданской войн) удалось получить дерево, сорванное наводнением на Марне. Ходил в Varenne его распиливать – работа по возрасту и силам слишком для меня трудная. Не мог освободиться от простуды в течение ряда месяцев. Зимой приходилось жить в маленькой кухне, где поставили печурку, данную нам соседями. В таких условиях приходилось писать свою книгу о революции 17 года. Это была единственная отрада, давшая возможность уйти от современности, которая представлялась мне безнадежной. Я никогда не сомневался, что при длительной войне Германия должна проиграть. Успех на Западе вскружил голову немцам, и они бросились в Россию очертя голову, не считаясь с ее политико-географическими условиями. Повторение '1812' должно было иметь те же результаты. И когда немцы явились в качестве злых завоевателей, картина должна была измениться –

большевизм (всё же свой) должен был отойти на второй план. Подъем национальный мог бы закончиться свержением большевизма. Но люди всё сделали, чтобы реабилитировать большевизм в мировом масштабе. *Это считаю величайшим преступлением управителей мира. Умиравший 'коммунизм' может возродиться в России – неважно, в каких формах будет этот рецидив. Победивший большевизм почти наверное приведет к советизации Европы.* Отсюда мой пессимизм, мешавший мне вести дневник. В этом пессимизме были все-таки надежды. Я пытался уйти всё же в историческую работу. Очевидно, теперь пессимизм лишь увеличился. Я не могу закончить своей работы – так безнадежно мне представляется ее напечатание при жизни. Поэтому психологически принимаюсь за дневник – придется пережить новую полосу событий»⁴⁷.

Пессимизм Мельгунова объясняется «рецидивом» возрождения коммунизма в Европе с победно марширующей Красной Армией. Он пишет: «Война, ставшая Отечественной, изменила ситуацию: возможная борьба против большевиков отошла на второй план. Большевизм узурпировал патриотическую идею в своих интересах и обеспечил себе победу. Спасение Отечества стало, таким образом, и спасением большевизма: трагедия новой России – только выявление двойной преступности большевиков»⁴⁸.

По мере успешного продвижения Красной Армии в Восточной и Южной Европе начался массовый отъезд русских эмигрантов из Прибалтики, Польши, Болгарии, Чехословакии, Югославии в зоны западных союзников в Германии, Австрии, Италии – из-за страха перед репрессиями, из-за опасности депортации в СССР. Это повлекло за собой необратимый процесс исчезновения европейских центров диаспоры или их существенного видоизменения. Массовой послевоенной миграции русских эмигрантов из Бельгии, Франции, Нидерландов не наблюдалось. Оказавшись в лагерях Ди-Пи в оккупационных зонах союзников, «старые» русские эмигранты очутились в сложной правовой ситуации, связанной с проверкой идентичности их личности, регистрацией в новых странах и упразднением Нансенских паспортов.

Упразднение Лиги Наций 18 апреля 1946 года повлекло за собой необходимость решения вопроса легитимности Нансенских паспортов для русских эмигрантов. В каждой отдельной европейской стране было найдено свое решение. Так, например, «старые» русские эмигранты, оказавшиеся в Германии после войны, получили статус «Ди-Пи» и временные документы, идентифицирующие их личность, – паспорта от международных организаций ООН (УНРРА и ИРО). При дальнейшем расселении с августа 1948 года и выезде в другие страны дипийцы получали легитимное юридическое право на приобрете-

ние гражданства принявшей их страны – и новые паспорта. С конца 1948 года начался период географического рассеяния «старой» и «новой» русской эмиграции из послевоенной Германии в страны Южной и Северной Америки и в Австралию и формирование новых центров за пределами Европы.

Что касается «старых» эмигрантов во Франции, и Мельгунова в том числе, мало кто из них получил за межвоенный период эмиграции французское гражданство. Получение французского гражданства для русских эмигрантов предполагало продолжительный процесс с предъявлением часто невыполнимых требований – таких, как наличие постоянного места работы, владение языком, наличие жилищной прописки, предварительных пяти лет проживания в стране и т. д. Согласно французскому законодательству от 1939 года, приобретение французского гражданства возможно было до и после войны лишь по категории натурализации или женитьбы/замужества с гражданином/гражданкой Франции. После окончания войны все русские эмигранты во Франции были подвергнуты проверке на идентичность личности и подлинность документов.

С. П. Мельгунов так описывает правовое положение русских эмигрантов во Франции после войны: «Неопределенность правового положения российской эмиграции вообще и во Франции, в частности, несомненно являлась не последним козырем в руках советской власти. Сыграть на измотанных нервах старых и, в особенности, новых эмигрантов, заронить в их мозги жуткую мысль о том, что после фатального срока 1 ноября 1946 года ‘непокорные сыны Родины’ будут отданы французскими властями на милость полпредству, и эмигрантский статус рухнет сам собой, – какой это прекрасный, красноречивый аргумент! Советская власть должна была поторопиться им воспользоваться, ибо с недавнего времени появились первые вести о готовящихся в демократических странах переменах, весьма благоприятных с точки зрения правового положения эмиграции. Сейчас появились уже более точные сведения, позволяющие думать, что тревога о нашем будущем скоро рассеется. Исключительно хорошо осведомленная швейцарская газета ‘Gazette de Lausanne’ сообщила 28 июня 1946 ценные уточнения о том новом статуте иностранцев во Франции, который должен войти в силу с 1-го октября 1946. По этим сведениям, с названного числа иностранцам, постоянно проживающим во Франции, в том числе и российским эмигрантам, карт-д’идентите будут выдаваться сроком на 10 лет, и получение их не будет связано с хлопотами и формальностями в Министерстве Труда. Одновременно будет положен предел и немотивированным высылкам из пределов Франции. Иностранцы, постоянно проживающие во

Франции, будут высылаться лишь по приговору особого трибунала, который для каждого случая будет выносить мотивированное решение. Лица, коим грозит высылка, могут поручать свою защиту адвокату»⁴⁹.

Как мы видим, сложность правового положения русских эмигрантов во Франции была важным рычагом давления на эмиграцию через Министерство внутренних дел Франции и Префектуру Парижа, чьи ведомственные сотрудники, зачастую – члены французских социалистической или коммунистической партий, были просоветски настроены. Травля «неудобных» для советского правительства личностей, как С. П. Мельгунов, выражалась в затягивании выдачи соответствующих документов и лицензии на печать русского эмигрантского общественно-политического журнала. Это было систематичное противостояние С. П. Мельгунову во французских учреждениях, и продолжалось оно вплоть до конца 1948 года.

Ввиду открытого просоветского настроения по всей Европе, положение русской антикоммунистически настроенной эмиграции было чрезвычайно сложным. Открытая антисоветская борьба делом и словом, прежде всего в эмигрантской прессе, становилась невозможна. Мельгунов пишет в своем первом послевоенном сборнике, вышедшем под названием «Свободный Голос» в феврале 1946-го в Париже: «Свободный голос русской эмигрантской печати замолк в июне 1940 года. С тех пор говорили и ныне призывают к эмиграции иные голоса! Вновь зазвучавший 'Свободный Голос' должен был на них отозваться!»⁵⁰

«Свободный Голос» был создан С. П. Мельгуновым в содружестве с В. А. Лазаревским⁵¹ в Париже в 1946 году. Мельгунов постепенно отвоевывал свое право русского историка-эмигранта, политика и издателя на собственный печатный орган в прокоммунистически настроенной Франции. Он издавал свои исторические сборники под разными названиями на протяжении трех лет. Три года длилась его борьба за право получения издательской лицензии и за право публикации журнала «Российский Демократ» в Париже. Лишь в 1948 году это стало возможным.

Чтобы глубже понять атмосферу во Франции послевоенного периода, а также в среде русских эмигрантов, стоит обратиться к анализу целевой программы советского правительства по дестабилизации и идеологическому расслоению русской эмиграции.

СОВЕТСКАЯ ПРОГРАММА ПО ПРОПАГАНДЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ НА РОДИНУ

Хорошо известна роль русских эмигрантов в создании движения Сопротивления и факт многочисленного их вступления в его ряды.

Однако надо вспомнить, что во время войны, 3 октября 1943 года, внутри Движения была создана и подпольная группа «Союз русских патриотов». При Союзе издавалась газета «Русский патриот» просоветского толка.

Целью «Союза русских патриотов» была не только пропаганда идеи возвращения русских эмигрантов на родину, но и нацеленная вербовка лиц для выявления прогермански настроенных и сотрудничающих с вермахтом русских эмигрантов. Вот что сказано в документе, обнаруженном российским историком Е. М. Макаренковой в ноябре 2002 года в фонде ВА/681 Префектуры парижской полиции, Кабинет префекта по архивным делам: «Накануне Освобождения члены 'Союза русских патриотов' ставили своей целью вхождение в контакт с их соотечественниками, завербованными в бригады вермахта. В ходе немецкого отступления некоторые из этих солдат дезертировали и, в конечном счете, перегруппированные, попадали в руки советских офицеров при посредничестве некоего Паспорсика, югославского лейтенанта, атташе, при правительстве маршала Тито, который, вероятно, был в тесных отношениях с этой организацией. 'Союз русских патриотов' рекрутировал многих членов в среде русских эмигрантов, проживающих во Франции»⁵².

После освобождения Парижа «Союз русских патриотов» был быстро переименован в «Союз советских патриотов», расширив свою работу уже в освобожденной столице с осени 1944 года, т. е. лишь год спустя после своего основания. Газета Союза была, соответственно, переименована в «Советский патриот». Это открыто обозначило политическую позицию организации и источник ее финансирования. В программу входила целенаправленная идеологическая «обработка» русских эмигрантов, живущих во Франции, для возвращения их в СССР. Юридически этот процесс был обозначен как «добровольная репатриация». Кампания была крупномасштабной, около 11 тысяч человек заявили о своем желании возвратиться на родину. Все ли они, зарегистрировавшиеся на выезд в СССР, действительно сумели выехать, нам неизвестно.

«Союз советских патриотов» и газета «Советский патриот» открыли свои филиалы в 1945 году в Лионе, Марселе, Ницце, в департаментах Алье, Савое, Марокко. Это был мощный инструмент идеологического воздействия на эмиграцию в руках советского правительства. При активном содействии советского посольства в Париже председателем «Союза советских патриотов» был избран Дмитрий Михайлович Одинец⁵³ (1883, Санкт-Петербург, – 1950, Казань). Одинец был известен в среде эмигрантов. Он, коренной петербуржец, принадлежал к первой волне эмиграции, за его плеча-

ми лежали долгие годы материальной нужды и неустроенности беженца. В русской диаспоре в Париже за свои заслуги он завоевал доброе имя, был председателем правления Тургеневской библиотеки в Париже, профессором истории права в Сорбонне (1922–1948), председателем Русского Педагогического комитета во Франции, основателем учебной части Русского Народного университета в Париже. Предложение от советского консульства Одинец получил в свои 62 года. Вероятно, он почувствовал себя нужным родине и в патриотическом порыве начал активную пропаганду «возвращенчества». Заметим, это также давало ему финансовую стабильность в наступающей старости.

Роман Гуль, с 1933 по 1950 гг. проживавший в Париже, так описывает послевоенное время в своих воспоминаниях «Я унес Россию»: «Русский послевоенный Париж являл сумбурную и неустойчивую картину. <...> Советское посольство создало и ‘Союз Совпатриотов’ (официально ‘Союз советских граждан’) под почетным председательством совпосла-чекиста А. В. Богомолова. А в ‘Союзе’ большую роль играл старый эмигрант, бывший офицер, бывший узник Бухенвальда, заслуженный масон Игорь Александрович Кривошеин... Просто страшно и странно вспоминать сейчас эти анекдотически постыдные и политически нелепые факты, когда вся эта акция чекистов по уничтожению эмиграции давно выявилась... Для советских эмигрантов второй волны открыли лагерь ‘Борегар’, куда насильно свозили тех, кого захватывали (хоть на улице). А некоторых и убивали, как лейтенанта Николая (забыл фамилию), которого среди бела дня насильно вытащили из квартиры наших друзей Л.А. и И.М. Толстых в их отсутствие и увезли не то в ‘Борегар’, не то в посольство, где и убили. ‘Борегаром’ ведал советский полковник-чекист Никонов и его помощник, лейтенант-чекист М. Штранге. Всё это происходило под властью генерала де Голля, при полном попустительстве, а иногда и при содействии французской полиции. Причем среди эмиграции распускались упорные слухи, ‘что всё равно де Голль выдаст всю эмиграцию Советам’. И в это все верили, этого боялись... Чекисты лезли напролом, поставив своей целью уничтожение эмиграции, замаскировав его в ‘патриотизм для дураков’. <...> Евлогий–Бердяев–Кукова – под руководством А. Е. Богомолова – били по эмиграции, загоняя эмигрантов на Архипелаг ГУЛаг»⁵⁴.

Большинство членов «Союза советских патриотов», как и его председатель Д. М. Одинец, получили советское гражданство и выехали из Франции в СССР. Судьбы многих из них были трагичны, редко кто из них получил то, о чем мечтал. Сравнивая судьбы массы репатриантов, судьба Д. М. Одиноца была относительно смягчена за

его «заслуги» в реализации программы возвращения на родину. Он не был отправлен в советский концлагерь, как это случилось с большинством, а получил место скромного преподавателя в Казанском университете, подальше от двух столиц. Ему, прошедшему немецкий концентрационный лагерь «Руаль» в Компьене, заболевшему и отпущенному из-за операции на сердце, судьба дала возможность сравнить условия в немецком и, позднее, в советском транзитном лагерях. В Казани он прожил лишь два года, скончавшись от сердечного приступа в 67 лет, и, вполне вероятно, мучаясь чувством вины перед возвращенцами.

Огромный аппарат пропаганды советской агентуры широко финансировался государством с 1918 года. Русская эмиграция материально крайне бедствовала – и на это делался расчет советской послевоенной программы по возвращению на родину, включавшей предложения по улучшению социального положения, обеспечение работой, пенсией по старости, часто – квартирой и другими социальными благами и привилегиями. Это соблазняло, давало надежду многим эмигрантам, измученным многолетней безысходностью на чужбине.

В дополнение к деятельности «Союза советских патриотов» была подключена массивная пропагандистская кампания через «каналы» митрополита Евлогия. С 1931 года он принадлежал к юрисдикции Константинопольского Патриарха, «временно единой особой экзархии Святейшего Патриаршего Вселенского Престола на территории Европы»; с августа 1945 года Митрополит Евлогий перешел в юрисдикцию Московского Патриархата, Западноевропейский экзархат Русской Православной Церкви. Как глава церковного управления в Париже и несомненный авторитет, Митрополит внес огромный вклад в жизнь русской заграничной православной паствы во Франции, начиная с 1920 года. При его участии был создан Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже, Митрополит Евлогий являлся его ректором в 1925–1946 гг., всецело поддерживал Русское студенческое христианское движение (РСХД). Его влияние на православную паству после войны было огромным. Неслучайно именно он и стал предметом особого внимания советских разведывательных органов. Не без его влияния число русских эмигрантов, желающих вернуться в СССР, значительно возросло. Вот как анализирует С. П. Мельгунов эту ситуацию: «С того момента, как парижские митрополиты стали окончательно на советскую платформу и превратились в советских епископов и, конечно, в советских граждан, они сами и духовенство, которое последовало за ними, неизбежно порывают связь со свободной эмиграцией. <...> Люди,

ушедшие в свое время из России не только из оппортунизма и страха, а потому, что большевизм для них неприемлем по существу; люди, оставшиеся верными заветам тех, кто неустанно боролся за свободу русского народа, должны лишний раз выступить в защиту этой свободы и приступить, не откладывая, к восстановлению нормальной церковно-приходской жизни. Там, где они смогут пробудить совесть у изменившего духовенства и понудить его вернуться на путь свободного исповедания веры и честного и нелицеприятного выполнения своих церковных обязанностей – нужно к этому приложить все силы. Там, где священники голосу совести недоступны, где они уже окончательно связали себя с новыми господами – нужно организовать новые православные независимые общины и строить заново церковно-приходскую жизнь, не смущаясь малым стадом и трудностями момента»⁵⁵.

Пропаганда «возвращенчества» проходила среди российских эмигрантов на разных уровнях: в церкви, в прессе, в политических и культурно-общественных организациях эмиграции. К репатриации призывали эмигрантов двух категорий:

1. Подданные бывшей Российской Империи, оказавшиеся вне ее пределов после революции 1917 года, которые рассматривались советской разведкой как давние враги.

2. Лица, утратившие советское гражданство или оказавшиеся в Европе в период Второй мировой войны, т. е. советские «перемещенные лица» (в зонах оккупации Германии известны как «Ди-Пи»). Люди, пережившие советский террор и носители информации об истинной ситуации в СССР.

Целью советского правительства было полное уничтожение существующей еще с послереволюционного периода антисоветской оппозиции «старых» эмигрантов и разгром зарождающейся новой эмиграции из рядов бывших советских граждан. Эта программа распространялась на все страны мира, где существовали центры диаспоры, но для каждой страны определялась своя специфика, в зависимости от сферы влияния, в которой находилась та или иная страна после окончания войны. Например, в Югославии, Польше, Болгарии, Чехословакии, Восточной Германии, находившихся в советской сфере влияния с мая 1945 года, от желания «старых» или «новых» эмигрантов ничего не зависело, их жизнями «правили» советские военные оккупационные власти.

В Германии и Австрии, разделенных после войны на четыре оккупационные зоны (три зоны западных союзников и советскую), выдачи, добровольные и насильственные, производились Военными администрациями западных союзников с 1945 по март 1947 гг. в соот-

ветствии с договоренностями западных союзников и СССР в январе 1945 на конференции в Ялте – их согласие на «безусловную и всеобщую репатриацию всех находящихся в их оккупационной зоне советских граждан» по состоянию границ на 1 сентября 1939 года. Около двух с половиной миллионов советских граждан (советские военнопленные, «остовцы», гражданские беженцы) были насильно возвращены западными союзниками в СССР⁵⁶. Таким образом «старых» эмигрантов насильственная репатриация не касалась, официально они не подлежали выдачам. Но фактически такие выдачи наблюдалось после войны повсеместно.

После признания юридического права для «невозвращенцев», бывших советских граждан, в декабре 1946 года на уровне ООН насильственные репатриации были официально осуждены и прекращены, но вплоть до 1948 года зафиксированы случаи нарушения «права выбора» в лагерях Ди-Пи в Баварии. Экстрадиция регулировалась международным юридическим договором о выдачах определенных лиц одним государством другому с возможностью запроса о правовой помощи. Разгул нелегитимных насильственных репатриаций в западных зонах оккупации Германии, Австрии, Италии, прежде всего в американской и британской зонах, был окончательно прекращен лишь к концу 1948 года.

Во Франции программа по возвращению российских эмигрантов в СССР была нацелена на «старых» эмигрантов, т. к. «новых» было мало. Советская программа «возвращенчества» осуществлялась при регулировании советским посольством в Париже и консульствами в других французских городах при активном участии «Союза советских патриотов» и его филиалов. Массивное административное давление, особенно на антикоммунистически настроенных русских эмигрантов, оказывалось на всех уровнях также со стороны прокоммунистически настроенного правительства Франции вплоть до мая 1947 года, времени изгнания коммунистов из правящей коалиции. Это выражалось прежде всего в создании трудностей разного характера; Министерством внутренних дел – при проверке идентичности личности, подлинности русских документов и права на пребывание в стране в зависимости от статуса эмигранта или нансенского беженца; в отказе работы на Бирже Труда; в отказе на получение социальных пособий и в других ущемлениях социальных прав.

Чтобы проанализировать масштаб программы СССР по возвращению русских эмигрантов, в данном случае из Франции, стоит обратиться к статистике. Историк Е. М. Макаренкова ссылается на статистику Министерства Труда Франции перед войной: русская диаспора насчитывала «100 тысяч беженцев, из них 26 тысяч в париж-

ском районе. Но, по информации доктора Нансена, их, по-видимому, проживало в стране до 400 тысяч. Так или иначе, статистика на 31 декабря 1946 года в Париже указывает на 21.772 человек»⁵⁷.

В контексте этих данных, 11 тысяч человек, пожелавших получить советское гражданство и выехать в СССР, из предполагаемых 400 тысяч российских эмигрантов (и даже 100 тысяч), проживающих во Франции после войны, – ничтожно мало; масштабную программу советского правительства по «возвращенчеству» трудно назвать успешной. Вот и Роман Гуль так оценивает ситуацию: «В ответ на указ (1946 года. – Е. К.) масса эмиграции, ее ‘молчаливое большинство’, не тронулась. Масса оказалась как бы в нетях, была дезориентирована, но предпочла всё же сидеть дома. Конечно, в этой массе были и коллабо. Те, кто безобидно коллаборировал с немцами, уехал в Германию в глупой надежде ‘через две недели быть в Киеве’. Были и мелкие коллабо, жившие во Франции, но никто их по пустякам не преследовал. В основном масса была настроена бесповоротно анти-советски»⁵⁸.

Но лишь после смены состава французского правительства с середины 1947 года и изгнания из него коммунистов изменился политический климат в стране. В 1948 году начинает работать американский план Маршалла по восстановлению послевоенной Европы, началась экономическая стабилизация Франции. Одновременно существенно изменилось отношение к русским эмигрантам в стране, права на постоянное место жительства во Франции т. н. «апатридов» были юридически закреплены, время тревог за собственные судьбы и боязнь экстрадиции в СССР осталось позади.

В анализе программы по возвращению российских эмигрантов из европейских стран в СССР нам интересен момент ее юридического основания, а именно – Указы Президиума Верховного Совета СССР, изданные в 1945, 1946 и 1947 гг. Первый из них – Указ «О восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской Империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Маньчжурии» от 10 ноября 1945 года. Данный документ предполагал подачу заявок до 1 февраля 1946 года *во всех странах мира* с предъявлением документов, удостоверяющих личность заявителя и его принадлежности в прошлом к подданству бывшей Российской империи или советскому гражданству. Ввиду немногочисленности поданных заявок в указанный срок действие Указа было продлено, были выпущены новые дополнительные Указы, нацеленные на отдельные страны, а именно:

14 июня 1946 – для Франции, Болгарии, Югославии;

26 сентября 1946 – для Японии;

5 октября 1946 – для Чехословакии;

28 мая 1947 – для Бельгии.⁵⁹

Текст всех Указов идентичный. Хочется верить, что открытие русских архивов даст возможность когда-нибудь проанализировать реальную статистику добровольно возвратившихся эмигрантов после Второй мировой войны в СССР, как и насильно возвращенных лиц из разных стран мира.

Позиция Д. М. Оudinца интересна нам в сравнении с четкой гражданско-политической позицией С. П. Мельгунова как человека, не верящего в эволюцию коммунистической идеологии с ее программой перевоспитания всего народа, с рабочими лагерями для инакомыслящих. На волне эйфории от побед Красной Армии в среде «старой» русской эмиграции во Франции, голос Сергея Петровича Мельгунова звучал одиноко. Мельгунов ратовал за полное прекращение контактов с советскими представителями, призывал не предаваться иллюзиям о «человеческом лице» этой власти. Показательной является реакция С. П. Мельгунова на визит эмигрантской делегации во главе с бывшим послом Временного правительства В. А. Маклаковым к послу СССР А. Е. Богомолу. Мельгунов направил свое письмо-протест В.А. Маклакову, а также опубликовал статью в «Свободном Голосе» в феврале 1946 года. Статья имела ироничное название «Визит в Каноссу» по аналогии с покаянным посещением императора Священной Римской империи Генрихом IV Папы Григория VII.

С. П. Мельгунов пишет: «Нас зовут в Каноссу к советской власти. Эти призывы к примирению с красным фашизмом раздаются не только со стороны вульгарных ‘перелетов’, именуемых ныне ‘советскими патриотами’. К глубокому прискорбию нашему, мы слышим их от недавно еще искренних и непримиримых врагов ново-аракчеевской власти. Приходится думать, что эти проповедники новой эмигрантской тактики никогда и раньше не верили в моральные силы и творческую мощь русского народа. Иначе они не изумлялись бы факту, что 25 лет террористической диктатуры не убили в нем патриотизма и гражданственности... Зовущие к ‘признанию’ большевистской власти делают всю эмиграцию на две группы: примкнувших к Германии против России и оставшихся с Россией и, тем самым, со Сталиным. ‘Гитлер или Сталин’ – третьего не дано. Мы, огромное большинство эмиграции, ни пойти за Гитлером, смертным врагом нашей родины и нашей культуры, ни ощутить ‘своей’ ‘советскую власть’ не могли. Душою и сердцем, всегда и неразрывно, мы были с Россией и русским народом, но советская власть национальной властью для нас не была, ибо национального дела никогда не творила. Мы не желали и морально не могли принять на себя частицу ответ-

ственности за творимое 'советской' властью в оккупационных ею областях»⁶⁰. Декларация протеста была подписана С. П. Мельгуновым, А. В. Карташовым, И. Херасковым, В. Лазаревским, кн. С. Трубецким, С. Водовым, В. Синяковым, В. Безбахом, Я. Бычком. Позиция Мельгунова была категоричной.

Эта открытая антисоветская позиция С. П. Мельгунова и его соратников не осталась незамеченной советским правительством. Через французских коммунистов было оказано массивное давление на С. П. Мельгунова уже осенью 1945 года; давление приняло систематический характер травли через французские ведомственные учреждения с января 1946 года. В частности, в отказе выдать лицензию на выпуск печатного периодического журнала. Для получения разрешения на печать или публикацию, в особенности иноязычных газет и журналов, требовалось обязательное разрешение от Министерства внутренних дел Франции. С 1945-го по 1948 год министром внутренних дел был Жюль Мок⁶¹, ведущий идеолог Социалистической партии Франции; он всячески препятствовал публикациям антикоммунистической русской эмигрантской прессы во Франции.

Мельгуновские сборники начали выходить под разными названиями как отдельные журналы. Смена названий позволяла каждый раз делать заявку на новое издание, таким образом избегать полного запрета публикаций. Но выход каждого нового сборника сопровождался ведомственной волокитой. Восхищаясь терпению и мужеству Мельгунова и его соратников, с какими они продолжали свое дело, открыто высказывали свои политические взгляды в атмосфере политической травли, став мишенью для советского и французского правительств!

С. П. Мельгунов так анализирует положение в статье «Когда не было печати»: «Единственный на европейском континенте антибольшевистский политический орган русской печати — 'Свободный Голос', в критические дни жизни русской эмиграции не выходил. Очевидно, это побудило отдельные группы снова обратиться к 'тектографированию' воззваний и листов. Так было распространено обращение по поводу указа 14 июня 1946-го. Оно гласило: 'В настоящее время российская политическая эмиграция является единственной частью российского народа, которая ценой своего добровольного изгнания сохранила право свободно мыслить и отстаивать интересы России. Принимая советское гражданство, российская политическая эмиграция признала бы перед лицом всего мира, а главное, перед народами России, правоту сталинской власти. Сделав этот шаг, эмиграция изменила бы взятой на себя сознательно миссии, ибо причины, вызвавшие факт эмиграции, до настоящего времени не только не

устранены, но приобретают все более и более острый характер. Эмиграция протестует самым категорическим образом против стремления некоторых зарубежных печатных органов представить дело так, как будто вся эмиграция желает воспользоваться сталинской милостью, и заявляет, что этим поклепом советская власть стремится скомпрометировать в глазах всего мира и народов России эмиграцию как реальную политическую силу, выражающую стремления российского народа»⁶².

Мельгунов твердо верил, что он будет услышан соотечественниками и понят ими. Вот как он формулировал свое право на печатный голос в атмосфере травли в послевоенные годы:

«Мы твердо верим, что в демократической стране мы можем открыто исповедовать свои общественные и политические верования и что уста наши насильственно не будут замкнуты. Мы остаемся на непримиримых позициях к насильничающей на нашей Родине власти, которая ничем не отличается от тоталитарных фашистских диктатур. Мы выпускаем сборник в момент полного разброда в эмиграции, но совершенно очевидно, что националистический угар – своего рода психоз, охвативший некоторые слои даже зарубежной элиты, – постепенно исчезает. Атмосфера расчищается, и в таких условиях ‘Свободный Голос’ не может оставаться в подполье. Наша информация – пусть случайная и неполная – должна служить некоторым противовесом той работы по разложению широких эмигрантских кругов, которую систематически пытаются вести на страницах существующих в Париже русских органов печати те, кто сменил вехи. Надо ли говорить что-либо о ‘Советском патриоте’?»⁶³

Сколько нужно было энергии и силы, чтобы отстоять свое право на принципиальную политическую позицию при общей эйфории, в атмосфере работы всемогущих советских разведывательных органов, в распоряжении которых были большие финансовые ресурсы для борьбы с такими, как Мельгунов! Для многих русских эмигрантов он был примером мужества. Вот как описывает Б. Н. Уланов позицию С. П. Мельгунова: «Начало 1946 года было время триумфа Советов и Красной Армии. Но это же было и время испытания эмиграции: кто сменил вехи и пойдет к Советам, а кто сохранит свою антисоветскую позицию, останется верным идее борьбы с большевиками. Именно в это время, в феврале 1946 года выходит ‘Свободный Голос’ – сборник первый, и в нем декларация за подписями: С. П. Мельгунова, А. В. Карташева, И. Хераскова, В. Лазаревского, кн. С. Трубецкого, С. Водова, В. Синякова, В. Безбаха, Я. Бычека, под заглавием ‘Идти ли в Каноссу?’»⁶⁴

Наряду с борьбой за собственное печатное слово Мельгунов под-

нимает вопрос о репатриации в Союзе русских писателей и журналистов во Франции. Так, 16 марта 1946 года состоялось собрание Союза на эту тему, Мельгунов пишет: «Некоторые члены правления Союза, как, например, писатель Н. Я. Рошин, предлагали принять резолюции, чтобы Союз оформили как парижское отделение Союза советских писателей. Против этой резолюции резко выступили члены правления С. П. Мельгунов и Роман Гуль, в результате чего ‘советчики’ были ‘биты’, председателем был выбран Б. К. Зайцев, а товарищем председателя — С. П. Мельгунов. Подробное выступление Мельгунова и Гуля привело, по свидетельству последнего, к массовому отказу эмигрантов от получения советских паспортов с целью возвращения»⁶⁵.

Журналист-эмигрант Аркадий Слиской предлагает свой взгляд на послевоенную ситуацию русской эмиграции: «Во время последней войны все карты у русской политической эмиграции были смешаны. ‘Была та смутная пора’, когда все перегородки между ‘правыми’ и ‘левыми’ были нарушены и все критерии потеряли свое значение: военные успехи, новое понятие о новом ‘патриотизме’, знаменитая амнистия 1946 года в СССР внесли путаницу в эмигрантские мозги. Робкие эмигрантские обыватели наперебой спешили доказать свою лояльность к Советам и срочно начали перестраховываться в различных подсоветских организациях, а кое-кто поспешил даже встать в очередь для получения советского паспорта. Увлечение ‘советчиной’ и в русской колонии было так велико, что хозяйничающие в Париже органы советской Госбезопасности считались явлением совершенно нормальным, и это никого не удивляло. Все притихло, и ‘антисоветская акция’ упала до нуля. И вдруг ‘Свободный Голос’. Гром, грянувший с безоблачного неба. Маленький мельгуновский журнальчик действительно оказался настоящим свободным голосом, и все почувствовали, что в эмиграции еще остались люди, могущие рискнуть многим во имя правды. Журнал Мельгунова встретил яростное сопротивление со стороны тайных и явных большевиков, но С. П. не обращал внимания ни на травлю, ни на ‘давления’ и свое дело продолжал настойчиво и упорно. За период с 1946 г. по 1948 г. журнал принужден был 12 раз менять свое название... Успех ‘Свободного Голоса’ как-то сразу выправил эмигрантские мозги и всё поставил на свое место. Вместо старых партийных перегородок появился некий новый критерий, отделивший большевизанствующих лиц от эмигрантов. Появилась надежда и вера в сопротивление, а вскоре возникла и довольно прочная надежда на материальную поддержку ‘русской политической акции’ со стороны американской общественности»⁶⁶.

СБОРНИКИ С. П. МЕЛЬГУНОВА. 1946–1948

Первый послевоенный сборник «Свободный Голос» вышел при финансовой поддержке В. А. Лазаревского, он указан как директор издания. Сотрудничество было кратким, до поры создания Лазаревским своей собственной газеты: он, как и Мельгунов, после долгих мытарств с Министерством внутренних дел получил лицензию на возобновление печати «Русской мысли» (фр. «La Pensée Russe»)⁶⁷. Первый номер «Русской мысли» вышел 19 апреля 1947 года.

Роман Гуль так описывает Лазаревского: «И всё же, несмотря на разобщенность, растерянность русской эмиграции, в ответ на нажим чекиста-посла Богомолова, в феврале 1946 года в русском Париже совершенно внезапно раздался Русский Свободный Голос. Зачинателем этого сопротивления – надо увековечить его – был смелый, несгибаемый человек, журналист Владимир Александрович Лазаревский. <...> еще действовала во Франции ‘разрешительная система’ периодической печати. Лазаревский обошел ее. Имея французские связи, он выпустил русский антибольшевистский сборник ‘Свободный Голос’. <...> Я плохо знал В. А. Лазаревского. Немудрено: он вращался больше среди правых, я – среди левых. <...> Чтобы в тогдашнем Париже издавать такой ‘Свободный Голос’, надо было быть мужественным человеком. Представляю советское негодование на рю де Гренель: эмиграция не сдается, оживает, воскресает. Но ничего не поделаешь – ‘непериодические издания’ выходить могли. И Лазаревский в 1946 году издал три номера ‘Свободного Голоса’»⁶⁸.

Кратковременный союз Лазаревского и Мельгунова объясняется не только близкими политическими воззрениями, но также финансовой ситуацией: Лазаревский имел капитал на момент лета 1946 года, Мельгунов средствами не располагал – лишь неутомимой энергией и жаждой дела. Важно учитывать и общую финансовую ситуацию во Франции: летом 1945 года был проведен обмен старых денежных купюр на новые, в итоге денежная масса на частных банковских счетах сократилась на 30%. Это не было денежной реформой, как в послевоенной Западной Германии в июне 1948 года, но июньский обмен денег существенно сократил и без того малые сбережения русских эмигрантов. Мельгунов к этому времени материально бедствовал – и всё же был уверен в успехе сборников!

Весной 1947 года В. А. Лазаревский получил лицензию на публикацию «Русской мысли». Новая газета была создана на основе журнала, прекратившего свое существование в 1927 году. Лазаревский оставался в роли издателя и редактора «Русской мысли» только три года; смерть прервала его деятельность в 1953 году. Но его

«детище» «жило» дальше, превратившись в 1960–1970-е гг.⁶⁹ в одну из самых популярных и читаемых газет в эмиграции во Франции, прежде всего благодаря редакторству Зинаиды Шаховской⁷⁰.

В период с февраля 1946 года до конца 1948 года Мельгуновым было выпущено 13 тематических сборников. Их названия были различны. Смена названий сборников диктовалась единственно возможной стратегией выживания антикоммунистического журнала в послевоенной Франции. Вот как этот период кратко обозначил В. Никитин, соратник С. П. Мельгунова, в 1957 году в последнем номере «Российский Демократ», посвященном памяти Мельгунова: «После окончания Второй мировой войны, когда большевистские ищейки рыскали по Европе и ловили беглецов из коммунистического рая, С. П. с группой единомышленников начинает выпускать сборники под разными названиями, которые впоследствии получают название ‘Российский Демократ’ и становятся органом ‘Союза Борьбы за Свободу России’»⁷¹.

Итак, в 1946 году было выпущено шесть сборников под разными названиями.

«Свободный Голос», № 1-3, 1946 (февраль, март, июль).

Номера вышли под единым названием при В. А. Лазаревском-издателе под ред. С. П. Мельгунова. Все три номера имеют по 32 страницы, цена каждого – 25 франков.

В состав редакции вошел Антон Владимирович Карташев⁷² и Иван Михайлович Херасков⁷³. С первых номеров «Свободного Голоса» начали печататься письма «новых» эмигрантов. Русская эмиграция во Франции не имела достоверной информации о происходящем в послевоенной Германии, о трагедии насильственных выдач «перемещенных лиц». Благодаря мельгуновским сборникам через письма читателей во Францию проникли новости из разных оккупационных зон Германии. Так, во втором сборнике «Свободного Голоса», 1946 год, напечатано воспоминание советского военнопленного, который прошел советский фильтрационный лагерь «возвращенцев», но сумел бежать. Свои воспоминания он подписал «Невозвращенец». В мельгуновских сборниках появляются и другие сообщения о советских сборных пунктах в разных зонах оккупации Германии. Это своего рода «Письма в редакцию», анонимные или авторизованные, в том числе от старых эмигрантов. Эти номера «Свободного Голоса» могут считаться уникальными документальными свидетельствами очевидцев, ибо в лагерях Ди-Пи эта тема до середины 1948 года была табуирована. Для сегодняшнего исследователя эти «письма в редакцию» могут служить важной информационной базой для правильного понимания послевоенных событий в Германии и быть задействованы в научном исследовании.

В «Свободном Голосе» за 1946 год появился также информационный раздел о жизни и судьбах русской эмиграции в разных центрах рассеяния, например, в Америке, в Чехии. В разделе «Из откликов читателей» ярко представлены отклики на мельгуновские сборники – как позитивные, так и негативные. И в этом Мельгунов остается так же честен и объективен в освещении разных взглядов.

«Свободное Слово», № 1 (4-й), 1946.

Сборнику дано новое название и введена новая нумерация. С этого номера всё руководство по изданию исторических сборников, т.е. функции редактора и издателя, переходят к С. П. Мельгунову. К этому моменту В. А. Лазаревский отошел от издания сборников. О периоде сотрудничества с Мельгуновым он поведал в газете «Русская мысль» в 1947 году, описав, как возникла идея создания сборников, а также почему он вынужден был покинуть коллективную редакцию. Объем и цена выпусков остаются прежними.

«Независимое Слово», № 2 (5-й), 1946.

Вновь введено новое название ввиду давления со стороны французского прокоммунистического правительства. С этого сборника изменился формат (с DIN A5 на DIN A4), объем – 40 страниц при прежней цене в 25 франков. В качестве авторов подключается Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс⁷⁴.

«Независимая мысль», № 3 (6-й), 1946.

Введено новое название сборника и указан лишь № 6, без последовательной нумерации; объем 48 страниц, цена 25 франков.

В 1947 году было выпущено 4 сборника, все они имели разные названия.

«Независимая мысль», № 7, 1947.

Указан лишь № 7, без общей последовательной нумерации, объем 48 страниц, цена 30 франков. Повышение стоимости журнала объясняется неоднократной послевоенной девальвацией франка. Денежная реформа была проведена, однако, лишь в начале 1960 года, гораздо позднее.

«Независимый Голос», № 8, 1947.

Объем 52 страницы, цена 30 франков. Была введена рубрика «Из откликов читателей» и платные объявления о розыске пропавших, об услугах переводчиков, врачей и т.п. Эти объявления являются для исследователя прекрасной информацией о топографии послевоенно-

го русского Парижа. С № 8 был дан также обзор новых русских книг, выпущенных разными издательствами, а также представлен отчет о пожертвованиях сборнику.

Взносы за рекламу должны были стабилизировать финансовую базу журнала. В качестве банковского счета указан редакторский: М. Melgounoff, Serge, Paris C. 1841-19. Почтовый адрес издательства: Почтовый сейф I. Vysek, Boîte postale 36, Paris XV.

«Независимый Голос», № 9, 1947.

Объем 52 страницы, цена 30 франков. Начиная с № 9, С. П. Мельгунов называет свои сборники «коалиционным печатным органом», предоставив возможность публиковаться видному марксистскому публицисту Б. Г. Двинову – сообщая, что «при некоторой разности в идеологическом подходе, его статья созвучна настроениям всего нашего редакционного коллектива. Мы получили согласие на сотрудничество в наших сборниках также от Д. Ю. Далина и Б. И. Николаевского (США)»⁷⁵. Здесь Мельгунов остается верен себе в понимании важности плюрализма в редакционном освещении разных политических мнений.

«Свободная Мысль», № 10, 1947.

Объем 52 страницы, цена 30 франков. С этого номера были введены разделы «Хроника наших дней» и «Русские лагеря в Германии».

В 1948 году было опубликовано 4 отдельных сборника – прежде, чем было начато издание периодического журнала «Российский Демократ».

«Россия и Эмиграция», № 11, 1948.

Весь сборник посвящен анализу путей русской эмиграции 30-летнего периода после Февральской революции и Октябрьского переворота.

«За Россию», № 12, 1948.

Этот номер посвящен анализу прошедшего 1947 года. В передовой статье «1947-й год» Мельгунов пишет: «Отличие этого года от прошлых – толпа восторженных загнипотизированных поклонников коммунизма сильно поредела и почти все, за исключением профессиональных царедворцев и прихлебателей, узрели, что – со времени дружеских объятий с Риббентропом – фрак стерся до дыр и что от демократической тоги Атлантической Хартии остались одни лохмотья. Год 1947-й – переломный и, прежде всего, год избавления от

призраков, год преодоления легенд, постепенного очищения атмосферы демократического мира от дурмана большевистской пропаганды. Если для демократий основной задачей являлась ликвидация последствий войны, то для изуверов коммунистического толка именно эти тяжелые условия были особенно благоприятны для их дела. Если экономическая разруха опасна для всех свободных наций, то для большевиков хозяйственные трудности в странах 'капиталистического окружения' создают ту почву, где легче всего бросать семена гражданского раздора. Если всё человечество мечтает о вечном мире, то коммунистическая партия, подчинившая теперь значительно больше, нежели $\frac{1}{7}$ часть, суши, все свои усилия направляет к разжиганию международных или внутренних конфликтов, и, наконец, если демократии ищут наиболее совершенных форм для установления всеобщего мирного сотрудничества, то коммунисты готовы на всемирную организацию лишь при условиях, если таковая будет создана под их исключительным, тоталитарным руководством. <...> Первые же существенные мероприятия по восстановлению Европы – план Маршалла – выявили, что попытки честного сговора обречены на неудачу: большевики из СССР и их филиалы во всех странах приняли этот план в штыки. <...> С той минуты, когда перед всеми раскрылась акция возрожденного под вывеской Коминформа Коминтерна, стало очевидно, что достигнуть компромисса между двумя системами – между идеалом вольной жизни и тюремным строем деспотии – невозможно. Давно обозначившаяся трещина между двумя тенденциями продолжала шириться»⁷⁶.

В этом номере приняли участие следующие авторы: А. Тыркова-Вильямс, П. Рысс, С. Карин, А. Карташев, Н. Жегулев, М. Павлов, проф. А. Амран, В. Желиховский, В. Сидорова. Там же было сделано и первое сообщение о программе политического «Союза борьбы за свободу России».

«За Свободу России», № 13, 1948.

Это сборник имеет тот же объем в 64 страницы, но стоимость повышена до 50 франков, что отражает послевоенную инфляцию во Франции и по всей Европе. Редакционный состав: С. П. Мельгунов, А. В. Карташев, И. М. Херасков.

Заглавная статья «Конец политики уступок» написана С.Оболенским и посвящена Чехословакии и «модели» государственного переворота в ней, используемой советским правительством по образованию «аванпостов предпринятого наступления Сталиным на Западную Европу. <...> переворот был повторением переворотов, произведенных Сталиным ранее в Польше, Румынии, Болгарии и

Венгрии. <...> Ибо нет никакой разницы в степени подчиненности советской диктатуре между Румынией, Латвией, между Чехословакией и Украиной»⁷⁷. (С. 3)

И. Херасков опубликовал статью «Революция и эволюция в Советской России» как ответ на статью В. А. Оболенского о страхе революции в СССР и, вместе с этим, о возможном уничтожении российской государственности. Херасков пишет: «Гадок советский строй, но, не дай Бог, рассыплется как груда бирюлек: рассыплется за ним и Россия». (С. 6) Владимир Романовский, новый эмигрант, пишет в этом сборнике о многонациональной среде послевоенных эмигрантов, об их опыте жизни в СССР и о роли антикоммунистического движения в политической борьбе русской эмиграции (статья «Идейное оружие антибольшевистской эмиграции»): «И всё же, как большевизм ни разлагает народ духовно и физически, желаемых результатов он не достигает и вынужден с каждым годом увеличивать количество физически уничтожаемых, количество тюрем и лагерей. <...> Действуя по принципу древнеримского рабовладельческого государства 'разделяй и властвуй', большевизм расщепляет всё, в том числе и народы, искусственно создавая иные народности, сея между ними вражду, в предупреждение их объединения на базе непримиримости к большевизму. Искусственно созданные национальные республики являются порой чисто фиктивными, значатся лишь на бумаге». (Сс. 15-16)

В этом сборнике печатаются материалы новых эмигрантов как свидетелей жестокости советского режима – такие как «Допросы в тюрьмах НКВД» за подписью «проф. И. С., новый эмигрант», «'Забота' о человеке» за подписью «Свидетель», статья о денежной реформе в СССР проф. А. Амрана или анонимный репортаж «В советской зоне. Оккупационная армия. Голодные и усталые победители». Анонимность авторов обусловлена страхом за свои жизни при охоте СМЕРШ на бывших советских граждан в послевоенной Европе.

Теме объединения русской политической эмиграции в Европе, в Южной и Северной Америке Мельгунов посвящает свою статью «На путях объединения», сопровождая ее анализом эмигрантской прессы за 1948 год. Интересны материалы «Правда истории» о сознательно искаженном, идеологически мотивированном представлении о захвате власти большевиками в эмигрантской просоветской прессе. Эта статья подписана «Историк» (автор неизвестен), в ней говорится: «Велики насилия и преступления, творимые советской властью, бесчисленны ее жертвы, поэтому и нет надобности за факты выдавать фантастику, которая со страниц эмигрантской печати переходит в иностранную и только нас дискредитирует. <...> И уже совсем непри-

емлемо, когда фальсификация прошлого сознательно производится во имя современного эмигрантского политиканства». (Сс. 22-24)

В этом же выпуске мы узнаем о подвижниках и создателях «Общества помощи русской эмиграции» в 1946 году в Париже. Так, С.Карин пишет: «Нужна была экстренная помощь представителям новой нашей эмиграции. Ни одна из парижских русских благотворительных организаций этой помощи в то время не оказывала, уклоняясь, как это ни странно сказать, из соображений политических, навешанных военным психозом и соглашательским умонастроением некоторых представителей ведущего строя эмигрантской общественности. <...> Помощь могла быть оказана довольно существенная по всей Франции в силу того, что парижское для внешних сношений наше представительство, шуточно или для удобства названное сокращенно 'Мегусом' (Мельгунов, Гуль, Струве), через посредство нью-йоркских друзей (главным образом Николаевского, Зензинова) получило от еврейско-рабочих организаций в США, Литературного Фонда и добровольных лиц пожертвования деньгами, продовольствием и вещами. Естественно, что после своего официального регистрирования Общество обратилось за поддержкой к Комитету, распределяющему в Париже между благотворительными эмигрантскими организациями отчисления от Нансенского сбора. Обратилось и получило отказ. <...> Это свидетельствует, скорее, о некоторой утере подлинного общественного инстинкта у людей, стоящих ныне на командных постах, ибо морально было совершенно необходимо именно теперь отказом не усиливать настороженного, чтобы не сказать большего, отношения новой эмиграции к учреждениям, – предубеждения законного после всех тяжелых психологических переживаний новых русских изгоев за последние годы». (Сс. 57-59)

Мельгуновское Общество помощи новым эмигрантам «попыталось оказать в частном порядке минимальную поддержку новым собратям по эмигрантской бездомности. «Нужды 'подсоветских' были и остаются почти безграницными, начиная с Домоклова меча – страха выдачи советской власти. Велика нужда среди старых эмигрантов, но 'перемещенным лицам', по мере возможности оказывается помощь». (С. 59)

Представлен в номере и отчет о распределении вещевых и продовольственных посылок из США, а также «распределено мелкими суммами нуждающимся (на территории Франции) несколько сот человек, мы снабжали их в трудные дни минимальными продовольственными посылками, некоторым помогли найти заработок, подыскать помещение и т. п. Не только материальная, но и правовая помощь была в сфере внимания нашей инициативной группы. Остро

стоит вопрос о помощи образовательной. До сих пор лишь в единичных случаях, благодаря отзывчивости отдельных лиц, мы смогли обеспечить школьное образование. Мы не преследуем политических целей» (С. 60). Под «мы» были поставлены подписи жен видных деятелей русской эмиграции в Париже, такие как П. П. Карташева, председатель этого Общества; его члены О. А. Гуль, М. А. Иорданская, П.Е. Мельгунова, Е. Ф. Иловайская. Интересны данные о пожертвованиях: от устроителей заседания памяти ген. Деникина было пожертвовано 4 тыс. франков, от скаутов – 5.500 фр., от «сочувствующего иностранца» – 5 тысяч фр., от разных лиц – в размере 13 тыс. фр. Всё это является для нас, исследователей, важной летописью подвижничества русских эмигрантов старшего поколения «новым» «подсоветским» эмигрантам. Это развеивает миф о напряженной конфронтации между этими волнами эмиграции, подогреваемый советской агентурой, особенно в лагерях Ди-Пи в Западной Германии, в целях расслоения эмигрантов и их деморализации.

«Борьба за Россию», № 14, 1948.

Формат сборника 64 страницы, цена 50 франков. Состав редакции указан тот же, что и в предыдущем сборнике. В этом сборнике участвовали В. А. Оболенский со вступительной статьей «Советская ветка мира» о невозможности мирного сосуществования западных демократий с СССР.

Интересный исторический экскурс об организации «Крестьянская Россия» сделан Василием Ф. Бутенко, представившим внутрироссийские ячейки и группы этой политической организации, зачинателями которой была группа москвичей, бывших социал-революционеров-кооператоров, активно боровшихся с разогнавшими Учредительное Собрание большевиками на многих фронтах и пробравшихся в конце 1920 года в столицу после Гражданской войны. В Праге было создано Центральное бюро этой политической организации, в состав которого вошел А. А. Аргунов. Для анализа эмигрантских союзов этот материал очень интересен, т. к. содержит хронологию создания этой политической организации вплоть до начала Второй мировой войны, включая и период аннексии Чехии немцами и этап упразднения организации.

В № 14 было опубликовано также письмо Нины Берберовой Мельгунову в разделе «Из читательских откликов», где она подвергает сомнению мажорный тон редактора по поводу объединения сил русской эмиграции, сомневается в возможности успеха, задает конкретные вопросы.

На страницах почти всех 14-ти сборников слышны голоса

«новых» «подсоветских» эмигрантов. Так, и в № 14 в статье «Компрачикосы» автор по имени «Уральский» сообщает о своем опыте восточного рабочего в немецком лагере вблизи Гамбурга и о своей послевоенной судьбе в статусе Ди-Пи. Это воистину бесценные документы времени, свидетельства очевидцев.

Завершая анализ исторических сборников Лазаревского–Мельгунова, хочется привести слова С. Каприна из сборника № 13 «За свободу России». Вступая в спор с автором Торопецким, опубликовавшим статью «Общественный Париж» на страницах нью-йоркского «Нового русского слова», Каприн пишет: «Торопецкий называет русский Париж ‘аморфной массой обывателей’, но Торопецкий ничего не слышал о нашей упорной борьбе за право существования свободной русской эмигрантской печати в атмосфере нависшего в Париже страха. Наши сборники, представляющие собой суррогат периодической печати, систематически появлялись под разными наименованиями, несмотря на противодействие со стороны такого могучего врага, каким в отношении нас являлось советское посольство, – противодействие даже мелочное, вплоть до закулисных влияний на типографии, на книжные магазины. Нам пришлось на первых порах организовать даже свой собственный аппарат распространения созданием цепочек читателей! – нет, г. Торопецкий, это была работа не обывателей, а российских граждан, состоящих политическими эмигрантами! <...> Это только теперь в связи с ликвидацией ‘Советского патриота’ орган Ступницкого вспомнил добрые демократические, во французском понимании, традиции о свободе печати. Раньше принципы новой московской ‘демократии’ требовали безоговорочного уничтожения литературного противника. Циники иногда обладают смелостью. Может быть, редакция ‘Русских Новостей’ расскажет сама о том, что она делала за кулисами? Мы можем помочь ей историко-юридическими справками – например, в деле привлечения С. П. Мельгунова к судебной ответственности имеется указание на четверократное (sic) настоячивое представление советского посольства перед французскими властями о ликвидации наших сборников!» (Сс. 56-57)

Итак, все 14 номеров были опубликованы на протяжении двух лет и выходили как ежеквартальные журналы с разными названиями. Начиная с № 15 с середины 1948 года в Париже Мельгунов начинает печатать ежемесячный журнал «Российский Демократ».

(Окончание в следующем номере)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Мельгунова-Степанова, П. Е. Где не слышно смеха / Книжное дело «Родник» // Париж, 1928.
2. Архив С. П. Мельгунова был продан за 2000 фунтов. См: Мельгунов, С. П. Воспоминания и дневники / Изд-во «Индрик» // М., 2003. – С. 19.
3. Archives Division. British library of political and economic science.
4. Schapiro, Leonard Bertram. An Intellectual Memoir / Ed. Peter Reddaway // Woodrow Wilson International Center for Scholars, 1984. Леонард Шапиро (1908–1983), британский академик и ученый, преподававший много лет в Лондонской школе экономики; с 1970 года был директором в Институте исследований политических конфликтов (Institute for the Study of Conflict).
5. С. Г. Пушкирев (1888–1984, Нью-Йорк), историк. Окончил историко-филологический ф-т Харьковского Императорского университета, также Киевский университет. Из-за марксистских юношеских увлечений был под надзором полиции, выехал на учебу в Гейдельберг. С 1916 г. снова в России. В эмиграции с 1920 года. Состоял доцентом Русского народного университета (позднее переименованного в Русский свободный университет) в Праге, был постоянным научным сотрудником Чешской Академии наук, членом Славянского института в Праге. После войны уехал в американскую зону оккупации Германии, с июня 1945 в Мюнхене. В июне 1949 года с семьей выехал в США. Работал в Колумбийском университете (Нью-Йорк).
6. Мельгунов, С. П. Воспоминания и дневники / Указ. издание. – С. 19.
7. Мельгунов, С. П. Воспоминания и дневники. Выпуск II, часть 3 / Париж: Les Editeurs Reunis, 1964. – Сс. 84-85.
8. Там же. – С. 38.
9. Там же.
10. Там же. – Сс. 85-86.
11. Там же. – С. 81.
12. Кооперативное издательство «Задруга» и изданные там книги см.: в Музее книги Красноармейской ЦБС. URL: krasno.ru
13. «На чужой стороне», № 1 / Берлин, 1923. – Сс.1-2.
14. Там же. – С. 196.
15. В. А. Мякотин (1867–1937, Прага), один из основателей партии народных социалистов, председатель ЦК партии, создатель «Союза возрождения России» (1918), друг и соратник С. П. Мельгунова.
16. Russische Emigration in Deutschland. 1918 bis 1941 / Hrsg. Karl Schlögel // Akademie Verlag, Berlin, 1995.
17. Личность Ляцкого интересна: с 1917 года он находился в эмиграции в Финляндии, с 1922 года переехал в Прагу по персональному приглашению президента Т. Массарика для преподавания в Карлове Университете, смог получить деньги на организацию собственного издательства «Пламя» в Праге.

18. Тихон Иванович Полнер (1864–1935), российский журналист, историк, издатель. В дореволюционный период пропагандист земского движения. С 1919 г. в эмиграции в Париже. Работал в Земско-городском комитете помощи российским гражданам за границей. В 1920 г. основал и возглавил кооперативное издательство «Русская земля», крупный издательский проект русской эмиграции. В дальнейшем соредактор журналов «Голос минувшего на чужой стороне» (1926–1928) и «Борьба за Россию» (1926–1931).

19. Иосиф Владимирович Гессен (1865–1943, Нью-Йорк), русский государственный и политический деятель, юрист, публицист.

20. Антон Владимирович Карташов (1875–1960, Ментона, Франция), российский государственный деятель, последний обер-прокурор Святейшего Синода; министр исповеданий Временного правительства: богослов, историк Русской Церкви, церковный и общественный деятель.

21. Петр Яковлевич Рысс (1870–1948), кадет, сотрудник ж. «Русское богатство»; политический деятель русской диаспоры в Праге, позднее во Франции, прославился в эмиграции книгой воспоминаний «Русский опыт» о русских революциях 1917 года. Михаил Михайлович Федоров (1858–1949, Париж), российский государственный и общественный деятель, экономист, министр торговли и промышленности. Участник Белого движения. В 1934–1937 гг. был вице-президентом Всемирного Пушкинского комитета, являлся инициатором постройки православных церквей во Франции, включая храм Успения Пресвятой Богородицы на русс. кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа (1939).

22. Внутренняя линия РОВС (контрразведка РОВС), создана в 1924 г. по указанию генерала А. П. Кутепова. Эта секретная организация Белого движения была развернута к 1927 году, имела филиалы более, чем в 17 странах мира. Формально организация подчинялась РОВС, но руководители последнего не были осведомлены о ее конспиративной деятельности.

23. Николай Сергеевич Тимашев (1886–1970, Нью-Йорк), социолог и правовед, публицист, общественный деятель. В 1918 г. был избран профессором и деканом Санкт-Петербургского политехнического института, деканом. Был участником сопротивления петроградской интеллигенции террору большевиков, обвинен по делу Таганцева. В 1921 г. бежал с семьей в Финляндию, переехал в 1921-м в Берлин, где сотрудничал в г-те «Руль» и др. эмигрантских изданиях, в 1923-м переехал в Чехословакию, куда приглашен как профессор в Пражский университет. С 1928 года жил в Париже, где был помощником редактора г. «Возрождение» в 1928–1936 гг. В 1936 г. по приглашению проф. Питирима Сорокина переезжает в США, работает в Гарвардском университете. Был одним из сооснователей корпорации «Нового Журнала» в 1953 году; с первых номеров – автором НЖ, а первые годы после кончины проф. М.М.Карповича – соредактором вместе с Р. Б. Гулем.

24. *Тимашев, Н. С.* Встречи с С. П. Мельгуновым / «Новый Журнал», 1957, № 48. – Сс. 246-248.

25. Яков Исаакович Серебрянский (1891–1956, Москва), полковник госбезопасности (1945), руководитель Спецгруппы особого назначения (СГОН) при НКВД СССР, сотрудник Иностранного отдела ОГПУ–НКВД, один из руководителей заграничной разведывательной и диверсионной работы советских органов госбезопасности. О существовании СГОНа знали только 3 человека: Сталин, Менжинский и Пятницкий как глава ОМС Коминтерна.
26. *Мельгунов, С. П.* Воспоминания и дневники / Сост. Ю. Н. Емельяновым // М.: «Индрик», 2003. – С. 409.
27. *Мельгунов, С. П.* Указ. Издание. – С. 434.
28. Там же. – С. 416.
29. Там же. – С. 428.
30. Там же. – С. 425.
31. Там же. – С. 426.
32. Там же. – С. 416.
33. Василий Алексеевич Маклаков (1869–1957, Баден, Швейцария), российский адвокат, политический деятель. Член Государственной думы II, III и IV созывов. Во время Февральской революции был комиссаром Временного комитета Государственной думы в Министерстве юстиции. Назначен Временным правительством послом во Францию, прибыл в Париж в октябре 1917 года. До установления дипломатических отношений между СССР и Францией в 1924 г. де-факто исполнял обязанности посла. С 1924 возглавлял Эмигрантский комитет, взявший на себя представительство интересов русских эмигрантов во Франции. Был членом Комитета русских юристов за границей, членом Совета Русского высшего технического института, членом Общества друзей Русского народного университета и т.д. С 1937 г. председатель комитета Франко-русского института. В эмиграции занимался литературной деятельностью; автор работ по истории российской общественно-политической жизни начала XX века, мемуарист. Сторонник консервативного либерализма. Во время Второй мировой войны занимал антифашистскую позицию, в апреле 1941 был арестован гестапо как видный русский масон, пять месяцев содержался в тюрьме. В феврале 1945 посетил советское посольство в Париже в составе делегации русских эмигрантов. В марте 1945 был избран почетным председателем Объединения русской эмиграции для сближения с Советской Россией. Вскоре решительно дистанцировался от контактов с советскими властями и не солидаризировался с просоветской эмиграцией.
34. *Мельгунов, С. П.* Указ. издание. – С. 445.
35. Там же. – Сс. 446–447.
36. Юрий Сергеевич Жеребков (1908 – после 1980), артист балета, политический деятель. Эмигрировал в Югославию, затем жил в Германии. Одно время входил в состав труппы М. Н. Кузнецовой-Массэн. Во Франции с 1940-го, в Париже с 1941-го. Во время Второй мировой войны сотрудничал с оккупационными властями, издатель прогерманской газеты «Парижский вестник».

37. Среди русских узников были поэт и журналист, граф Петр Бобринский, художники Юрий Черкесов, Савелий Шлейфер и Янкель Готковский; сын бывшего премьер-министра Правительства П. Н. Врангеля Игорь Кривошеин, микробиолог Сергей Чахотин, адвокат Израиль Павлович Кельберин, писатель Виктор Емельянов, граф Сергей Алексеевич Игнатъев и др. Один из барачников был превращен в православную часовню, в которой настоятель католической Троицкой церкви крестил по православному обряду Илью Фондаминского. 26 февраля 1943 года в лагерь из Форта де Роменвиль были переведены мать Мария (Скобцова), иподиакон Юрий Скобцов и Федор Тимофеевич Пьянов, секретарь правления организации «Православное дело», участник Сопротивления. В лагере содержался также священник Дмитрий Клепинин, двоюродный брат вел. кн. Владимира Кирилловича, сын балерины Матильды Кшесинской и др.

38. Евгений Иванович Балабин (1879–1973, Вена), военный деятель, донской казак, генерал-лейтенант. Участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1920 г. жил в Константинополе, с декабря 1921-го в Чехословакии. После оккупации Германией Чехии возглавил «Общеказачье Объединение в Протекторате Богемия (Чехия) и Моравия». Во время Второй мировой войны воевал на стороне Германии. С 1940 года в Общеказачьем Объединении состояли казачьи организации Германии, Венгрии и оккупированных стран, новое название – «Общеказачье Объединение в Германской империи, Словакии и Венгрии», Балабин стал его атаманом (1940–1945). В 1944 году приглашен А. А. Власовым в Комитет освобождения народов России. С мая 1945 по май 1947 гг. скрывался близ Зальцбурга, Австрия. В июне 1947 года выехал в Южную Америку. Позже вернулся в Австрию.

39. *Худоборов, А. Л.; Яшина, М. А.* Российское казачество на чужбине. 1920–1940-ые гг. / Челябинск, 2017, – С. 278.

40. *Heiber, Helmut.* Der Generalplan Ost / In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Dokumentation 6 (1958) // Heft 3, – Pp. 281-325.

41. Василий Викторович Бискупский (1878–1945), генерал от кавалерии, придерживавшийся легитимистских взглядов. В 1919 году эмигрировал в Германию, с 1923 г. активно участвовал в деятельности тайной организации крайне правых «Aufbau Vereinigung», созданной прибалтийским немцем Максом Эрвином фон Шойбнер-Рихтером. Был руководителем организации до 9 ноября 1923 года. С 1936 г. был директором «Русского национального управления» (нем. Russische Vertrauensstelle) в Германии (сменив впавшего в немилость германских властей и переехавшего в 1934 году в Париж С. Д. Боткина) и одновременно был доверенным лицом (нем. Vertrauensmann) Министерства внутренних дел Германии.

42. *Stephan, John J.* The Russian Fascists: Tragedy and Farce in Exile 1925–1945 / London 1978. – P. 18.

43. Сергей Владимирович Таборицкий (нем. Sergius von Taboritzki, 1897, в

нем. документах 1895, – 1980), русский националист-монархист, редактор журнала «Луч света». С 1920 г. жил в Берлине, с 1922-го – в Мюнхене. Совместно с П. Н. Шабельским-Борком – участник покушения на П. Н. Милокова, убийца В. Д. Набокова. В 1936–1945 гг. заместитель руководителя Бюро для русских беженцев в Германии, член НСДАП (1942), действовал в тесном контакте с Гестапо.

44. Алексей Александрович фон Лампе (1885–1967), участник Гражданской войны, начальник оперативного отдела Добровольческой армии, генерал-майор Генерального штаба Белого движения. В эмиграции с 1920-го; с 1922-го представитель Врангеля в Германии. Один из организаторов эмигрантских военизированных объединений, в т. ч. РОВС. В 1924 году возглавил 2-й отдел РОВСа в Берлине. (Ref.: Prof. Dr. Dietmar Neutatz. Generalmajor Alexej A. von Lampe und die russische Emigrantenkolonie in Berlin 1923 B 1945. URL: Web: <https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/>) В 1926–28 гг. издал семь сборников «Белое дело». В 1933 г. арестован нацистами, освобожден по протекции влиятельных друзей. С 1938 г. – глава РОВС в Германии. С началом Второй мировой войны работал в крупной издательской фирме, занимался организацией Русского Красного Креста в Германии. В конце 1944 г. вошел в состав Комитета освобождения народов России (РОА). После окончания войны работал во французской оккупационной зоне в Красном Кресте в Германии. В 1950 г. переехал во Францию. Был заместителем председателя РОВС, затем – председателем. Скончался в Париже, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

45. Худоборов, А. Л.; Яшина, М. А. Указ. Издание. – С. 279.

46. Там же. – С. 453.

47. Там же. – Сс. 457–458.

48. Емельянов, Ю. Н. С. П. Мельгунов: общественно-политическая деятельность в России и эмиграции / Эдиториал УРСС. – М, 1998. – Сс. 80–81.

49. «Свободный Голос» / Под ред. В. А. Лазаревского, С. П. Мельгунова // № 2, июль 1946, Париж. – С. 5.

50. «Свободный Голос» / № 1, февраль 1946, Париж. – С. 18.

51. В. А. Лазаревский (1897–1953) журналист, переводчик, основатель и главный редактор «Русской мысли». В 1947 г. издание возобновлено в Париже как газета, 1 раз в неделю, с 1948 г. – 2 раза в неделю. С начала издания между В. А. Лазаревским и Мельгуновым начались расхождения в понимании назначения издания. Лазаревский встал на просоветскую позицию, считая, что социалистическая власть в СССР эволюционировала. Имя Лазаревского было известно каждому «старому» русскому эмигранту во Франции как редактора и основателя журнала «Русская мысль» в дореволюционной России, органа кадетской партии (до 1918 года). Далее издание выходило с 1921 года – в Софии, в 1922–1924 гг. – в Берлине, в Париже в 1927 году вышел ее последний номер.

52. Макаренкова, Е. М. Русская колония в Париже во время оккупации

Германией (реконструкция научного перевода) / В кн.: Люди и судьбы Русского Зарубежья // РАН: Институт всеобщей истории – Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет / М, 2011. – Сс. 262-265.

53. Общественно-политический путь Д. М. Оди́нца начался еще в Киеве задолго до падения Временного правительства России, по заданию которого он переехал на Украину из Петербурга. После революции работал в правительстве Украинской Народной Республики. Бежал в Одессу в 1919 году, нелегально перешел границу в Румынию. В 1920 году был интернирован из Румынии в Белград. Работал директором Русской гимназии, с 1921 года в Варшаве, затем в Париже. Был председателем Русского Педагогического союза во Франции, получил должность заведующего учебной частью в Русском Народном Университете в Париже. С 1933 года – председатель правления Тургеневской библиотеки (в октябре 1940 года была перевезена в Германию). С 1943 года перешел на просоветские позиции. В среде «старых» русских эмигрантов во Франции ему вменяется вина по выдаче многочисленных членов «Союза русских и советских патриотов» в СССР в послевоенный период. Действительная роль Д. М. Оди́нца в движении «возвращенцев» не изучена.

54. «Новый Журнал», Нью-Йорк, 1985, № 160. – Сс. 5-6.

55. «Свободный Голос», № 1 (4), 1946, Париж. – Сс. 31-32.

56. *Epstein, Julius*. Operation Keelhaul. The Story of Forced Repatriation from 1944 to the Present / Devin-Adair, Old Greenwich, CT. 1973; *Tolstoy, Nikolai*. Victims of Yalta / Hodder and Stoughton, London. 1977; USA-Ausgabe als: The Secret Betrayal / Charles Scribner's Sons, New York, NY. 1978.

57. *Макаренкова, Е. М.* Указанное издание. – С. 266.

58. «Новый Журнал». Нью-Йорк, 1985, № 160. – С. 9.

59. «Ведомости ВС СССР», 1946, № 21 / Сборник законов СССР и указов Президиума ВС СССР, 1945–1946 гг. / М., 1947.

60. «Российский Демократ». Нью-Йорк, № 1 (15), 1946. – Сс. 2-3.

61. Жюль Мок (1893–1985), политик, государственный деятель. Разочарованный в социализме как идее, покинул партию социалистов незадолго до своей смерти в 1975 году.

62. «Свободный Голос», № 1 (4), 1946, Париж. – Сс. 31-32.

63. «Свободный голос», № 1, 1946, Париж. – Сс. 12-13.

64. «Российский Демократ», Нью-Йорк, № 1 (27), 1957. – Сс. 11-13.

65. *Емельянов, Ю. Н.* Указ. издание. – Сс. 86-87.

66. «Свободный голос» / Под ред. С.П. Мельгунова // Париж, 1946. – С. 14.

67. Весной 1947 года Мельгунову на помощь пришел К. Брюне, один из руководителей католического профсоюза «Французская конфедерация трудящихся-христиан», который предложил издавать газету как орган конфедерации для русских трудящихся-христиан. Для выпуска первого номера требовалось 50 тысяч франков; В. А. Лазаревский вложил 40 тысяч (почти весь свой капитал), еще десять тысяч смог найти Петр Ковалевский.

68. «Новый Журнал». Нью-Йорк, 1985, № 160. – Сс. 13-14.
69. «Русская мысль» издавалась в Париже вплоть до 2006 года, редакция переехала в Лондон. В 2011 году «Русской мысли» был возвращен исторический формат журнала 1880 года. С 2016 года в журнале также публикуются материалы на английском языке. С 2021 г. журнал вновь выпускается в Париже в связи с выходом Великобритании из Европейского союза.
70. Шаховская Зинаида Алексеевна (1906–2001), русская и французская писательница, мемуаристка, редактор. Печаталась также под псевдонимами Жак Круазе (фр. Jacques Croisé) и Зинаида Сарана (фр. Zinaïda Sarana).
71. *Никитин, В.* Сергей Петрович Мельгунов / В ж. «Российский Демократ», № 1 (27), 1957. – С. 6.
72. А. В. Карташев (1875–1960), кандидат богословия Петербургской духовной академии (1900), профессор Сорбонны (1926–1939), доктор церковной истории Свято-Сергиевского Православного богословского института (1944). Деятель довоенной либеральной оппозиции, член ЦК Конституционной-демократической партии.
73. И. М. Херасков (1878–1963), историк, публицист, литературный критик, преподаватель, участник революционного движения, член Социал-демократической партии.
74. А. В. Тыркова-Вильямс (1869–1963, Вашингтон), писательница, критик; член Конституционно-демократической партии. Во время Второй мировой войны проживала во Франции. С 1951 года – в США.
75. «Свободный Голос» / Под ред. С. П. Мельгунова, № 9 (из числа всех сборников), Париж, 1947. – С. 1.
76. «За Россию!», № 1 (из 12), 1948. – С. 3.
77. «За Россию!», № 3 (из 13), 1948. – С. 3. Здесь и далее в тексте указаны страницы этого выпуска.

Мюнхен

ОБ АВТОРАХ

БАРАНОВА Евгения Джен (1987, Херсон). Поэт, переводчик. Окончила Севастопольский государственный университет. Публиковалась в ж. «Дружба народов», «Звезда», «Новый Берег», «Интерпоэзия», Prosodia, «Крещатик», «Юность», и др. Лауреат премии журнала «Зинзивер», Всесибирской премии им. В. П. Астафьева, премии журнала «Дружба народов» и др. Финалист премии «Лицей». Автор нескольких поэтических книг, в их числе «Рыбное место» и «Хвойная музыка». Живет в Москве.

БРЕЙТЕР Полина. Прозаик. Окончила факультет романо-германской филологии Одесского университета, кандидат наук по математической лингвистике. Была уволена из Кировоградского пединститута за антисоветские разговоры со студентами; работала в сельской школе под Одессой. В 1992 эмигрировала в США. Автор книг «Уроки чтения», «Октава», «Бирюзовый дождь» (2021).

БУКУР Вячеслав Иванович (1952, Пермская обл.). Прозаик. Окончил Пермский университет, работал в книжном издательстве; в частном порядке преподавал иврит. Начинал как фантаст, публиковался в журналах и сборниках фантастики. Автор книг «Чужая орда», «Поиск». С 1980 года пишет в соавторстве с Н. Горлановой. Соавтор «Романа воспитания» (короткий список «Русского Букера», 1996), повести «Лидия и другие. История одной компании»; публикуется в российских литературных журналах.

ВУЛЬФИНА Лариса (г. Чехов). Историк, журналист, коллекционер. Окончила исторический факультет КГУ (Киев). Автор статей в журналах и научных изданиях о художниках первой и второй волн русской эмиграции, книг «Москва как место проживания. Д. П. Сухов. Архитектор. Реставратор. Художник» (в соавторстве), монографии о художнике Н. Ремизове «Неизвестный Ре-Ми». Американский корреспондент альманаха «Панорама искусств» (Москва) и журнала «Антиквар» (Киев). Живет в Филадельфии.

ГОРЛАНОВА Нина Викторовна (1947, Пермская обл.). Прозаик, художник. Окончила Пермский университет. Участвовала в многочисленных экспедициях по сбору диалектной лексики. Работала в детском доме; с 2014 года работает в Пермском детском онкологическом центре им. Ф. П. Газа, ведет занятия арт-терапии, была удостоена звания «Человек года. 2014». Печатается с 1980 года, член СП России. Автор книг прозы, в их числе «Линия обрыва любви», «Пермь как текст», «Тургенев, сын Ахматовой», «Учитель иврита и другие повести». Соавтор «Романа воспитания» (с В. Букуром; короткий список «Русского Букера», 1996). Лауреат литературных премий, награждена

медалью им. М. А. Шолохова Министерства культуры России. Произведения переводились на английский, испанский, немецкий, польский, французский языки.

ГРЖОНКО Владимир (Баку, 1960). Писатель, сценарист, журналист, переводчик. Автор романов «The House», «Свадьба», «Дверной проем для бабочки»; рассказов в сборнике «Городу и миру»; публикуется в нью-йоркских газетах и журналах.

ДЖУЛИАНИ Рита. Профессор русского языка и литературы в Sapienza Università di Roma. Область научных интересов: русские писатели XX в., русско-итальянские культурные связи, русские художники и писатели, жившие в Риме в XIX–XX вв. Член редколлегии международных журналов «Studia Litterarum» (Москва), «Русская почта» (Белград) и «Specimina Slavica Lugdunensia» (Лион). Научный редактор и автор сборников трудов о литературных и культурных отношениях России и Италии, антологии русской поэзии XIX в. на «римскую» тему («Гладиатор и Русалка», перевод на итал., 2015), сб. «Третьи Муратовские чтения» (2021) и др. Автор более 40 научных публикаций, в т. ч. пяти монографий. Лауреат «Премии им. Н.В. Гоголя в Италии».

ДУБРОВИНА Елена (Ленинград). Поэт, прозаик, литературовед. Член редколлегии «Нового Журнала». Эмигрировала в конце 1970-х. Автор книг на русск. и англ. языках, в их числе сборники поэзии, прозы, книги по литературоведению. Составитель и переводчик антологии «Russian Poetry in Exile. 1917–1975. A Bilingual Anthology», а также Собрания сочинений Юрия Мандельштама (В 3-х тт.), сборника «Литература русской диаспоры. Пособие для ВУЗов» (2020). Была гл. редактором ж. «Поэзия: Russian Poetry. Past and Present» и ж. «Зарубежная Россия: Russia Abroad. Past and Present» (США). Лауреат Национальной литературной премии им. Шекспира за мастерство перевода (2013). Живет в США.

ЗЕЛЬДИН Сергей (Станица Ярославская, Краснодарский край). Прозаик. Печатался в ж. «Волга», «Дружба народов», «Сибирские огни», «Нева», «Москва», «Крещатик». Живет в Финляндии.

ЗОЛОТАРЁВ Сергей Феликсович (1973, Жуковский). Поэт. Автор книг «Яйцо», «Книга жалоб и предложений». Публиковался в журналах «Арион», «Дружба народов», «Новая юность», «Интерпоэзия» и др. Лауреат премии журнала «Новый мир» (2015).

КОЧЕРГИНА Ирина Владимировна. Учитель. Окончила МГУ, русский язык и

литература. Кандидат филологических наук. Специалист по творчеству Ю.Айхенвальда в эмигрантский период.

КРАСИЛЬНИКОВ Андрей (1953, Москва). Окончил Литературный институт им. А. М. Горького (семинар драматургии). Один из основателей телевизионного политического театра (1986). Лауреат Всероссийского конкурса драматургов «Долг. Честь. Достоинство» (2002). Автор романов «Отпуск», «Старинное древо», «Терпеливая история»; драматургических, прозаических и публицистических произведений. С 1992 года – первый секретарь правления СП России. В 1994-96 годах – член Общественной палаты при Президенте РФ.

КУЛЕН Елена (1964, Архангельск). Историк культуры, переводчик. Окончила историко-филологический факультет Северного университета (Архангельск), Институт Восточной Европы при Свободном Университете Берлина (Freie Universität). Работает в качестве историка-слависта в рамках научного исследования о русских ДиПи в послевоенной Баварии. Автор книги «Шляйсхайм / Schleissheim» (2021).

КУЛИШОВА Инна (1969, Тбилиси). Поэт, переводчик, эссеист, журналист, блогер. Кандидат филологических наук. Публиковалась в поэтических антологиях и научных сборниках России, Грузии, США, в периодике Грузии, России, Израиля, США, Украины, Англии, Польши, Дании, и т. д. Автор книг стихотворений «На окраине слова» и «Фрески на воздухе». Лауреат Международного интернет-кинофестиваля короткометражных фильмов «Diogenes 2020». Член Грузинского ПЕН-Центра.

ЛИТИНСКАЯ Елена (Москва). Прозаик, поэт. Окончила филфак МГУ. Автор книг стихов и прозы, в том числе «У восточной реки» (2020). Публикации в журналах «Новый мир», «День и ночь», «Зарубежные записки», и др., а также в сборниках и альманахах. Президент Бруклинского клуба русской поэзии, заместитель гл. редактора онлайн журнала «Гостиная». Живет в Нью-Йорке.

МАРКОВ Емельян Александрович (1972, Москва). Прозаик, поэт, драматург, литературный критик. Автор книги рассказов и повестей «Волки купаются в Волге» (Международная Царскосельская художественная премия, 2007), романов «Третий ход», «Маска», «Мирон», «Астра». Стихи публиковались в США, Канаде, России, Израиле, Германии, Бельгии. Переведен на китайский и армянский языки.

ПЕСОЧИНА Эмилия (Харьков). Доктор медицины. В 2001 году эмигрирова-

ла в Германию. Член Врачебной палаты Нижней Саксонии. Автор сборника стихов «Ковчег и качели», «Чужой город», «Волкополье», «Разговор со звездой». Публикуется в альманахах «Эмигрантская лира», «45-я параллель» и др., в журналах «Этажи» (США), «Новый свет» (Канада) и др. Член Харьковского клуба песенной поэзии им. Ю. Визбора; на стихи написано более двухсот песен. Лауреат, дипломант и финалист международных литературных конкурсов «Эмигрантская лира», «Русский Гофман», «Птица», «Пятая стихия» и др.

ЧИГРИН Евгений. Поэт, эссеист, автор шести поэтических книг. Публиковался в литературных журналах, в европейских и российских антологиях. Стихи переведены на европейские и восточные языки. Лауреат премии ЦФО России в области литературы и искусства (2012), Международной премии им. Арсения и Андрея Тарковских (2013), Горьковской литературной премии в поэтической номинации (2014), Общенациональной премии «Золотой Дельвиг» (2016) и др. Награжден несколькими медалями, в том числе медалью Николая Гоголя (Украина, 2014). На иностранных языках книги выходили в Польше, Украине, Сербии. Живет в Москве.

ЮДОВСКИЙ Михаил (1966, Киев). Поэт, художник. Пишет на русском и на украинском. Автор книг «Приключения Торпа и Турпа» (в соавторстве), «Поэмы и стихи», «Воздушный шарик со свинцовым грузом», «Тела и тени», «Полусредние века», «Сволочь» и «Богиня» (русс., укр.). Публиковался в литературных журналах и альманахах в Украине, России, Германии, Великобритании, Финляндии, Израиле, Австралии и США. С 1992 года живет в Германии.

ЯСЬКОВ Владимир (1957, Винницкая обл., Украина). Поэт, прозаик. Окончил Харьковский университет. Пишет на русском и украинском языках. Публиковался в ж. «Волга», «Звезда», «Новый берег», «Интерпоэзия» и др.; в антологиях и сборниках. Живет в Харькове.

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:

Patron: Russian Nobility Association in America; The Tcherepnine Society; Prince Nikita D. Lobanov-Rostovsky;

Sponsors: American-Russian Aid Association “Otrada”; Eli & Ludmila Flam Living Trust; Mrs. Larisa Vulfina & Mr. Yan Vulfin.

It requires the support of loyal friends for year 2022:

Patron – \$ 5,000 and up

Benefactor – \$ 2,000 and up

Sponsor – \$ 1,000 and up

Fellow – \$ 500 and up

Friend – \$ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity» pursuant to the provisions of the Internal Revenue code 501 (c) (3). Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks must be made payable to

THE NEW REVIEW
1216 Broadway, 2nd floor
New York, NY 10001

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Москва, Россия: Андрей Красильников – 111024 Москва, а/я 61

Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-921-940-0421

Париж, Франция: Виталий Амурский: [vitaly.amoursky@ gmail.com](mailto:vitaly.amoursky@gmail.com)

Израиль: Марина Кособок-Полонски: Polonskybooks@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» МОЖНО КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ:

Дом Русского Зарубежья: 109004 Москва, Нижняя Радищевская, д. 2

Магазин «Фаланстер»: Москва, Тверская 17; тел.: 7+495-629-88-21

Магазин «Подписные издания»: 191014 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.57

Librairie du Globe: 67, Bd. Beaumarchais 75003 Paris, France

Polonsky Books: Haifa, Huri Street, 2, Migdal ha Nevi'im, Israel; +972 55 968 24 16

На сайте журнала через PayPal (кнопка: Подписка)

Вы можете оформить электронную подписку на журнал. Подробности на сайте: www.newreviewinc.com (кнопка: Подписка)